

Константин Дмитриевич Воробьев (1917—1975). Родился в Курской области. Работал киномехаником и сельским корреспондентом местной прессы. После призыва в армию учился в Кремлевском военном училище. В 1941 году ушел на фронт. Защищал Москву, был ранен и попал в фашистский плен. Там был участником антифашистского Сопротивления. Организовал групповой побег из лагеря для военнопленных. Примкнул к партизанам. Командовал партизанской группой.

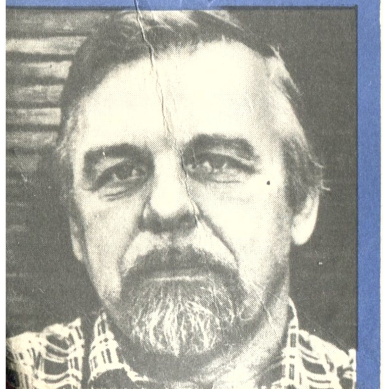
В 1956 г. вышел первый сборник его рассказов — «Подснежник». Его перу принадлежат повести «Убиты под Москвой», «Крик», «Тетка Егориха», «Почем в Ракитном радости» и другие.



Василий Егорович Афонин. Родился в 1939 году в исчезнувшей ныне деревне Жирновке на реке Шегарке в Новосибирской области.

Закончив семилетку, пошел «в люди». Работал грузчиком, разнорабочим, слесарем в разных городах страны.

Заочно закончив десятилетку, поступил на биологический факультет Томского университета, по окончании которого работал учителем, а затем преподавал в университете. Возглавлял областное отделение Всероссийского общества охраны природы. В. Афонин — автор многочисленных рассказов и повестей, в основном вошедших в сборники: «В том краю», «Последняя осень», «Чистые плесы», «Клюква ягода».



Андрис Леонидович Колбергс. Родился в Риге в 1938 году. Учился на редакторском факультете рижского отделения Московского полиграфического института. Писать начинал в журналистике. Работал в сатирическом журнале.

Широко печататься начал в 1969 г. Он автор романов «Три дня на размышление», «Человек, который перебежал улицу», «Вдова в январе», «Тень» и других.

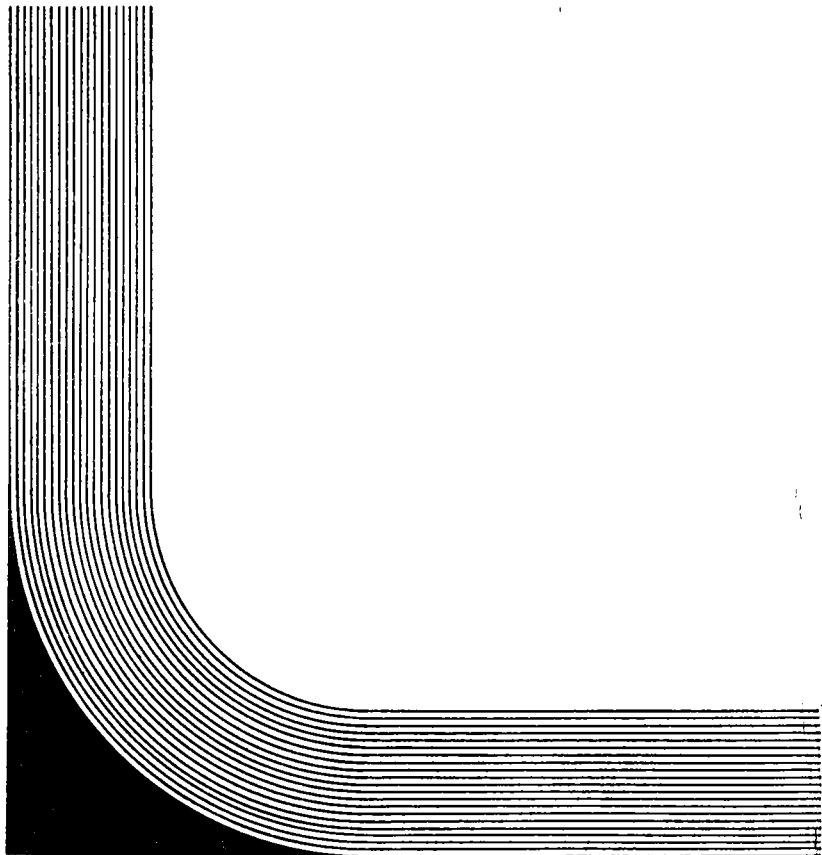
БИБЛИОТЕКА

**ГЕРОИ
И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
"СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ"

© «Молодая гвардия» 1988 г.

5



ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЦК ВЛКСМ

"МОЛОДАЯ

К. ВОРОБЬЕВ
В. АФОНИН
А. КОЛБЕРГС



ГВАРДИЯ"

МОСКВА 1988

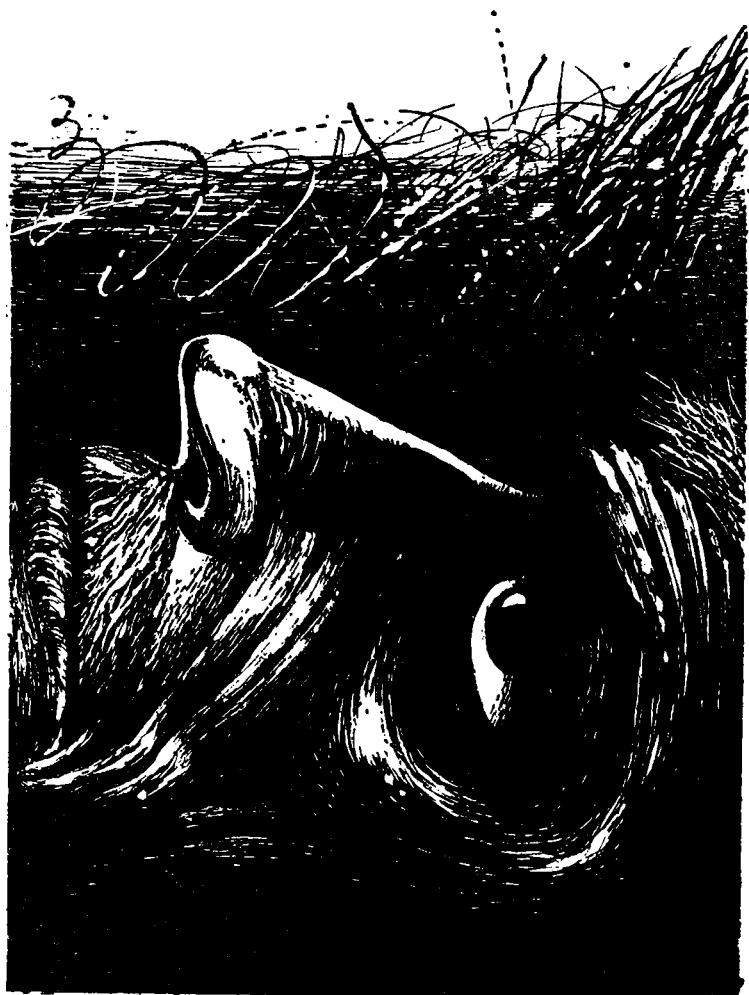
К. ВОРОБЬЕВ

ЭТО



МЫ, ГОСПОДИ !

ПОВЕСТЬ



Лице жъ бы потяту быти!,
неже полонену быти*.
«Слово о полку Игореве»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Немец был ростом вровень с Сергеем. Его колющие пороссячи глаза проворно обежали высокую статную фигуру советского военнопленного и задержались на звезде ремня.

— Офицер? Актив офицер? — удивленно уставился он в переносицу Сергея.

— Лейтенант...

— Зо? Их аух лейтнант! **

— Ну и черт с тобой! — обозлился Сергей.

— Вас?

— Што ви хофорийт? — помог переводчик.

— Говорю, пусть есть дадут... за три дня некогда было ни разу пожрать...

...Клинский стекольный завод был разрушен полностью. Следы недавнего взрыва, как бы кровотока, тихо струили чад угасшего пожара. В порванных балках этажных перекрытий четко застревало гулкое эхо шагов идущих в ногу немцев. Один из них нес автомат в руках. У другого он просто болтался на животе.

— Хальт! — простуженным голосом прохрипел немец.

Сергей остановился у большого разбитого окна, выходящего в город. В окно он видел, как на площади, у памятника Ленину, прыгали немецкие солдаты, пытаясь согреться. На протянутой руке Ильича раскачивалось большое ведро со стекаемой из него какой-то жидкостью.

* Лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганных полонёну! (Поэтическое переложение Н. А. Заболоцкого).

** Вот как? Я тоже лейтенант! (нем.)

Конвоирам Сергея никак не удавалось прикурить. Сквозняк моментально срывал пучочек желтого пламени с зажигалки, скрюченные от ноябрьского мороза пальцы отказывались слушать.

— Ком, менш! *

Пройдя еще несколько разрушенных цехов, Сергей очутился перед мрачным спуском в котельную.

«Вот они где хотят меня...» — подумал он и, вобрав голову в плечи, начал спускаться по лестнице, зачем-то мысленно считая ступеньки.

Обозленными осенними мухами кружились в голове мысли. Одна другой не давала засиживаться, толкались, смешивались, исчезали и моментально роились вновь.

«Я буду лежать мертвый, а они прикурят... А где политрук Гриша?.. Целых шесть годов не видел мать!.. Это одиннадцатая? Нет, тринадцатая... если переступлю — жив...»

— Нах линкс! **

Сергей завернул за выступ огромной печи. Откуда-то из глубины крошечной тьмы слышались голоса, стоны, ругань.

«Наши?» — удивился Сергей. И сейчас же поймал себя на мысли, что он обрадован, как мальчишка, не тем, что услышал родную речь, а потому, что уже знал: остался жив, что сегодня его не застрелят эти два немца...

Привыкнув, глаза различили груды тел на цементном полу. Места было много, но холод жал людей в кучу, и каждый стремился залезть в середину. Только тяжелораненные поодиночке лежали в разных местах котельной, бесформенными бугорками выясь в полутьме.

— Гра-а-ждане-е-е! Ми-и-лаи-и... не дайте-е помере-е-еть!.. О-о-й, о-о-ох, а-а-ай! — тягуче жаловался кто-то голосом, полным смертельной тоски.

— Това-а-рищи-и! О-ох, дороги-ия-а... один глоточек воды-и... хоть ка-а-пельку-у... роди-и-имаи-и!

— Прими, говорят тебе, ноги, сволочь, ну!..

— Эй, кому сухарь за закурку?..

— ...и до одного посек, значит... вот вдвоем мы только и того... без рук... попали к «ему»...

— Кто взял тут палатку?

— В кровь Иисуса мать!..

— Земляк, оставь разок потянуть, а?..

Разнородные звуки рождались и безответно умирали под мрачными сводами подвала, наполняя сырой вонючий воздух нестройным, неумолчным гамом.

Сергей, постояв еще минуту, медленно направился к груде угля и, аккуратно подстелив полу шинели, сел на большой кусок антрацита. Волнение первых минут как-то незаметно улеглось. На смену явилось широкое и тупое чувство равнодушия ко все-

* Идем, человек! (нем.)

** Налево! (нем.)

му да голодное посасывание под ложечкой. В кармане галифе Сергей нащупал крошки махорки и, осторожно страхнув его содержимое в руку, завернул толстую неуклюжую сигарку.

«Ну-с, товарищ Костров, давайте приобщаться к новой жизни!» — с грустной иронией подумал он, глубоко затягиваясь терпким дымом. Но сосредоточиться не удавалось. Разрозненные, одинокие осколки мыслей скользили в памяти и, легко совершив круг, задерживались, преграждаемые одной и неотвязной мыслью: почему он, Сергей, бравировавший на фронте своей невозмутимостью под минами немцев, никогда не думавший о возможности смерти, сегодня вдруг так остро испугался за свою жизнь? Да еще в каком состоянии! Пленный... когда желанным исходом всего, казалось бы, должна явиться смерть... Не все ли равно, какая смерть, каким руслом она ворвется в душу, мозг, сердце... Смерть есть смерти!

«Значит, просто струсил?!»

В памяти отчетливо встал недавний фронтовой случай. Рота Сергея занимала богатую деревню недалеко от Клина. Знали, что впереди, в небольшом леске, засели немецкие автоматчики, готовя наступление. Им организовывали встречу. Подходы к деревне были густо заминированы, десять дзэсовских пулеметов притаились на небольшой поляне, вероятном месте атаки. Ждали.

Каждый день немцы обстреливали деревню. С душераздирающим воем мины тупо рыли улицу и огороды колхозников, наводя ужас на стариков и женщин.

Однажды солнечным октябрьским утром Сергей и политрук Саша Жариков возвращались из штаба батальона.

— Без трех минут девять, — взглянул на часы политрук, — фрицы и францы допивают кофе. В девять ноль-ноль начнется минопускание по нашей вотчине...

Почти в ту же минуту тишина утра нарушилась диким воем мин: «Ии-июю-у-юю... Гахх! Гахх! Ии-ию-уу-юю»

— Пожалуй, укроемся, лейтенант?

Перепрыгнув плетень, зашли в небольшой сад. Под развесистой грушей, в давно заброшенном погребе, сидел ротный писарь и составлял строевую записку. Одна за другой две мины залетели в сад.

— Бац, телеграммы! — воскликнул писарь, наклоняясь к полу погреба. То же самое, как-то невольно, проделали Сергей и политрук.

— Грешно, комиссар, кланяться каждой немецкой мине, — пошутил Сергей.

Поднявшись, они отошли несколько шагов от ямы, договорившись: по очереди одному падать, а другому стоять при разрывах мин.

— Потренируем нервишки, а?

«Пи-и-июю-у-ю!» — вдруг слишком близко завывало в воздухе.

Политрук медленно присел на колени. Сергей, зажмурив глаза, остался стоять. Сухой обвальный взрыв огромными ладонями ударил в уши. Что-то с силой рвануло за полы плаща Сергея,

крошки недавно замерзшей земли больно брызнули ему в лицо. Открыв глаза, Сергей увидел плавающие в воздухе белые листки тетради. Колыхаясь и описывая спирали, они медленно садились на седую от изморози траву, как садятся измученные полетом голуби. С самой верхней ветки груши бесформенной гирляндой свисали какие-то иссиня-розовые нити. Тяжелые бордовые капли медленно стекали с них.

— Мина залетела в яму, — проговорил Сергей, — писарь убит, — указал он политруку глазами на ветви груши...

По улице шли медленно, не обращая уже внимания на рев и разрывы мин.

— А у тебя полы ведь нет у плаща, лейтенант! — удивился политрук.

— Да-да, — отвлеченно ответил Сергей, занятый своими мыслями. Он думал о смерти и тогда же понял, что, в сущности, не боится ее, только... только умереть хотелось красиво!

Всплыли и другие боевые моменты. И ни в одном из них Сергей не отыскал и тени намека на сегодняшнее свое поведение.

«Что ж, я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться!» — решил он, сидя на куче угля...

Нескончаемо долго текла первая ночь плена. Только к утру задремал Сергей, уткнув нос в воротник шинели. Разбудили его вдруг поднимающийся шум и движение среди пленных.

— Немцы бомбить идут! — крикнул кто-то в дальнем углу. — Прячь, братва, что у кого есть!..

Ничего не понимая, Сергей вглядывался в бледную полосу света, идущую от лестницы. Там стояла группа немцев, видимо, только что пришедших и оживленно разговаривающих с часовыми. Все они, как-то разом повернувшись, направились к пленным. Острые полосы света от ручных фонарей запылали по серым, нелепым от распушенных хлястиков шинелям, пилоткам, шапкам.

— Комахер! * — зарычал рослый фашист, схватив за плечо Сергея.

— Мантель ап! Ап, шнелль! **

Сергей снял шинель. Торопливо немец облапал его карманы. Вдруг его рука, дрогнув, замерла на грудном кармане гимнастерки.

— Вас ист дас? О, гут, прима! *** — осклабился он, рассматривая массивный серебряный портсигар. Это был подарок от друзей ко дню двадцатилетия Сергея. Затеяливый вензель из инициалов хозяина распластался на крышке. На внутренней ее стороне были выгравированы в шутку слова: «Пора свои иметь». Углубление этих букв было залито черной массой, и бравший папиросу из портсигара непременно прочитывал это назидание.

* Ко мне! (нем.)

** Шинель снимай! Снимай, быстрее! (нем.)

*** Что такое? О, хорошо, красиво! (нем.)

Сергей грустным взглядом проследил, как портсигар утонул в кармане зеленых измызганных брюк.

— Это же память!

— Вас бамаат?

— Память, знаешь, скотина?!

В полутьме немец видел, как лицо военнопленного покрылось меловым налетом, и, рванув пистолет, со страшной силой опустил его на висок Сергея...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Декабрь 1941 года был на редкость снежным и морозным. По широкому шоссе от Солнечногорска на Клин и дальше на Волоколамск нескончаемым потоком тек транспорт отступающих от Москвы немцев.

Ползли танки, орудия, брички, кухни, сани.

Ползли обмороженные немцы, напяливая на себя все, что попадалось под руку из одежды в избе колхозника.

Шли солдаты, накинув на плечи детские одеяла и надев поверх ботинок лапти.

Шли ефрейторы в юбках и сарафанах под шинелями, укутав онучами головы.

Шли офицеры с муфтами в руках, покрытые кто персидским ковром, кто дорогим манто.

Шли обозленные на бездорожье, на русскую зиму, на советские самолеты, штурмующие запруженные дороги. А злоба вымещалась на голодных, больных, измученных людях... В эти дни немцы не били пленных. Только убивали!

Убивали за поднятый окуроч на дороге.

Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки.

Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе.

Убивали за стон от нестерпимой боли в ранах.

Убивали ради спортивного интереса и стреляли не парами и пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями — из пулеметов и пистолетов-автоматов! Трудно было заблудиться немецкому солдату, возвращающемуся из окрестной деревни на тракт с украденной курицей под мышкой. Путь отступления его однокашников обозначен страшными указателями. Стриженные головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дорог. Шли эти люди к месту пыток и мук — лагерям военнопленных, да не дошли, полегли на пути в мягкой постели родной страны — в снегу, и молчаливо и грозно шлют проклятия убийцам, высунув из-под снега руки, словно завещая мстить, мстить!..

...Сергей открыл глаза и встретился ими с волосяной рыжей глыбой, свисающей к его подбородку.

«Где это я?» — подумал он.

Вдруг щетина зашевелилась, и мягкий гортанный голос заставил его шире открыть опухшие веки. «Да это же борода!» —

обрадовался он, встретившись с чуть насмешливым взглядом ее обладателя.

— Эх ты, мил человек, горяч, нечего сказать! Чай, запоминать, где ты? — урчал бородач, наклоняясь над Сергеем. — Портсигар пожалел... велика важность! Убить германец мог тебя, вот оно как...

Голос бородача напомнил что-то знакомое, и, силясь припомнить, где он его слышал, Сергей закрыл глаза.

— Полежи, я схожу погляжу — снег растаял ли. Попьешь водички...

«Да Горький так говорил! В кинокартине «Ленин в 1918 году», — вспомнил Сергей.

— Как зовут-то тебя, мил человек? — подавая Сергею консервную банку с полурастаявшим снегом, спрашивал бородач.

— Серегой, стало быть...

— Ну, добре, а меня Хведором, мил человек, Никифорычем, значит... Ярославский я, из Данилова, может, слышал?

Остаток дня и ночь Сергей провел в разговорах с Никифорычем. Задушевная простота и грубоватая ласковость его советов и нравов заставили Сергея проникнуться к старику чувством глубокой приязни, почти любви. Сергей сознавал, что Никифорыч неизмеримо практичнее, опытнее его; крепче стоит на земле чуть кривыми мускулистыми ногами, многое видел и знает и многое имеет «себе на уме». Не удивился поэтому Сергей, когда Никифорыч, подтащив вещевой мешок, долго рылся в белье, портянках, старых рукавицах, пока не нашел белую баночку с какой-то мазью.

— Помогает, слышь, крепко при побоях, — объяснил он, зачерпнув черным мизинцем солидную дозу снадобья. Сергей не возражал. «Значит, верно, помогает при побоях», — решил он и дал Никифорычу вымазать вздувшийся разбитый висок. Когда Сергей отказался от предложенного сухаря, Никифорыч вдруг урезонил его:

— Ты, мил человек, бери и ешь. Приказую тебе... — А помолчал, добавил: — Помогать будем друг другу. Это хорошо, слышь...

На второй день ранним утром всех пленных выгнали из когельной во двор завода. Построенные по пять, тихо двинулись по Волоколамскому тракту, окруженные сильным конвоем. Сергей и Никифорыч шли в первой пятерке. Колючий, пронизывающий ветер дул в лицо, заставлял в комок сжиматься исхудавшее тело.

— Лос! Лос! * — торопили конвойные, пытаясь ускорить процессию. Не успели отойти и трех километров от города, как сзади начали раздаваться торопливые хлопки выстрелов — то немцы пристреливали отстающих раненых. Убитых оттаскивали метров на пять в сторону от дороги. У Сергея тупо и непрестанно болело бедро, пораженное осколком... Контуженая левая

* Давай! Давай! (нем.)

часть лица часто подергивалась дикой гримасой. С каждым шагом боль в бедре все усиливалась.

— Держись крепче, Серег, не то убьют! — посоветовал Никифорыч. — Есть у меня три сухаря, подкрепимся малость, — продолжал он, невозмутимо шагая вперед.

Чем дальше шли, тем больше становилось убитых. Нельзя отстать от своей пятерки. На место выбывшего сразу становился кто-нибудь другой, место терялось, а вышедшего на один шаг из строя немедленно скашивала пуля конвоира. Люди шли молча, дико блуждая бессмысленными взорами по заснеженным полям с чернеющими на них пятнами лесов.

— Братцы, ну как же оправиться? — взмолился вдруг кто-то из пленных.

— Ай вчера от груди? Снимай штаны — и дуй! — поучали его из строя.

— Не умею, родненькие, на ходу, я же не жеребец...

— Пройдешь верст пять и сумеешь, — обещали несчастному.

— Ишь чего захотел! Знать, не голодный...

— Черт плюгавый!..

Плохо быть одному сытому среди сотни голодных. Его не любят, презирают. Этот человек чужой, раз ему не знаком удел всех.

К полудню впереди показалась небольшая деревенька, расположенная на шоссе.

— Журавель, ребята, виден, попьем водички!

— Эти напоят... захлебнешься...

— Ан, слава богу, третью недельку живу в плену и ничего, пью... Самому нужно быть хорошему, тогда и камраты будут хороши...

— Штоб твои дети всю жизнь так пили, как ты тут!

— Ишь сука паршивая, камрата заимел...

Лениво переругиваясь, пленные вошли в деревню. На крыльце каждого домика толпились женщины и дети, торопливо выискивая глазами в толпе пленных знакомых или родных.

— Тетя, вынеси хоть картошку сырую...

— Пить...

— Корочку...

— Окурочку...

— Да-а... Сюда-аа... Аа-я-оо-а-я!..

Двести голосов просящих, умоляющих, требующих наполнили деревеньку. На крыльце одной особенно низенькой и ветхой избенки старуха, крихтя, тащила большую корзину с капустными листьями. Видно, не под силу была ноша бедной, и тогда, схватив ревматическими пальцами охапку листьев, она бросила их в толпу пленных. Думала мать сына-фронтовика, что и ее Ванюша, может быть, шагает где-нибудь вот так, умоляя о глотке воды и единственной мерзлой картошке. И вынесла бы старуха-мать ковригу хлеба и кринку молока, да живет она, горемычная, на бойком месте, давным-давно взяли немцы корову, очистили

погреб от картошки, съели рожь и пшеницу... Только и осталась корзина капустных листьев пополам с навозом.

Как морской шквал рвет и бросает из стороны в сторону пенную от ярости волну, так пригоршни капусты, бросаемые старухой, валили, поднимали и бросали в сторону обезумевших людей, не желающих умереть с голода. Но в эту минуту с противоположной стороны улицы раздалась дробная трель автомата. Старушка, нагнувшись было за очередной порцией капусты, как-то неловко ткнулась головой в корзину, да так и осталась лежать без движения.

Как бы вторя очереди первого автомата, застучали выстрелы со всех сторон. Конвойные открыли огонь по пленным, сбившимся в одну кучу. Стоны, вопли ужаса огласили деревеньку.

— Ложись, Серег, — предложил Никифорыч, но, сразу побледнев, схватился руками за грудь.

— Что такое? Что? — бросился к нему Сергей.

— Убили-таки, ироды! — хриплым и тихим голосом проговорил Никифорыч, ложась на спину. — Вот... тебя тоже убьют, Серег... беги, — хрипел он. — Володька похож на тебя... сын. На фронте он... Ну, возьми мешок... Иди!

Выстрелы так же внезапно прекратились, как и начались. Сергей, распахнув шинель и фуфайку, увидел на груди Никифорыча две ямки выше левого соска. Коричневая густая кровь, пенясь, сочилась из них. Долго возился Сергей с бородой, пытаясь уложить ее горизонтально. Она упрямо торчала вверх, волнуемая холодным декабрьским ветром.

Вновь, построенные по пять, двинулись пленные в путь. Восемьдесят убитых остались лежать на снегу. Раненых не было, их добивали на месте. Сергей оглянулся еще раз на развешивающуюся бороду Никифорыча и, поправив мешок, зашагал по снежному тракту.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ржевский лагерь военнопленных разместился в обширных складах Заготзерна. Черные бараки маячат зловещим видением, одиноко высясь на окраине города. По открытому, ничем не защищенному месту гуляет-аукает холод, проносятся снежные декабрьские вихри, стоная и свистя в рядах колючей проволоки, что заключила шесть тысяч человек в страшные, смертной хватки объятия. Все дни и ночи напролет шумит-волнуется людское марево, нижеется в воздухе говор сотен охрипших, стонущих голосов. Десять гектаров площади лагеря единственным черным пятном выделяются на снежном просторе. Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега?

Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого проклятого квадрата! Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко-неумолимой смерти от голода советские военнопленные...

...Лишь на седьмые сутки жизни в этом лагере Сергей получил шестьдесят граммов хлеба. У него хватило сил ровно столько, чтобы простоять пять часов в ожидании одной буханки в восьмисот граммов на двенадцать человек. Диким и жадным огнем загорались дотопе равнодушно-покорные глаза человека при виде серенького кирпичика.

— Ххле-леб! — со стоном вырывается у него, и не было и нет во вселенной сокровища, которое заменило бы ему в этот миг корку месяц тому назад испеченного гнилого хлеба!

Сергей видел, как курносый белоголовый парень из его шеренги бережно и осторожно, как что-то воздушно-хрупкое и святое, принял из рук полицейского буханку хлеба. Смешно расширенными глазами глядел он на нее, покачивая в заскорузлых, давным-давно не мытых руках.

— Айда, ребята, к третьему бараку, — почему-то шепотом проговорил он. — Разделим хлебушко...

Опасался орловец, что вот тот же полицейский вдруг одумается да и крикнет:

— Эй, ты, ...в рот, отдай буханку!

Раздевшись, парень разостлал шинель, положил на нее хлеб. Одиннадцать человек сверлили глазами этот жалкий бугорок серой массы, терпеливо ожидая конца священнодействия орловского хлебороба.

Не так-то просто разрезать буханку хлеба! Из восьмисот граммов должно выйти двенадцать кусочков, но ровных, абсолютно ровных по величине. Крошки, размером в конопляное зерно, должны быть тщательно подобраны и опять-таки поровну разложены на двенадцать частей.

Сергей наблюдал за ножом и худым грязным лицом разрезающего хлеб и не мог понять: то ли желтоватые скулы орловца двигаются в такт ножу, то ли он нагнетает слюну, предвкушая горьковато-кислый хлеб...

— Ну как, братва, ровно? — спросил парень, закончив раскладку крошек.

— Вон там от горбушки надоть...

— Добавить суды...

— Ну, будя, будя! — проговорил парень. — Теперь становитесь по одному, чтоб номера помнить.

Сергей присутствовал первый раз при дележке паяк и потому охотно и покорно исполнял правила этой процедуры. Нужно было запомнить свой порядковый номер. Один из участников дележки оборачивался спиной к пайкам хлеба и на вопрос: «Кому?» — называл тот или другой номер.

Таким образом устранялись всякие нарекания на делящего, что он поступил в данном случае нечестно. Номер Сергея был пятый, называющий сказал его последним, и в минуты ожидания, видя, как за два укуса исчезал ломтик хлеба во рту его обладателя, Сергей почувствовал, как водянистая слюна заполнила весь его рот, не успевая проталкиваться в глотку...

С каждым часом все тяжелей становились ноги. Они отказы-

вались слушаться, вечно замерзшие и сырые. Все эти дни Сергей ночевал в третьем бараке на третьем этаже нар. Бараки не могли вместить и пятой части людей, находящихся в лагере. Спали там вповалку друг на друге. На четырехъярусных нарах ложились в три слоя. Счастливец был тот, кто оказывался между верхним и нижним. Было теплей.

Каждый день по утрам пленные выносили умерших за ночь. Каждый день около шестидесяти человек освобождали места для других. В середине лагеря, внутри одного барака, во всю его ширь и глубину вырыли пленные огромную яму. Не зарывая, сносили туда умерших, и катился в нее воин с высоты четырех метров, стучаясь голым обледеневшим черепом по ксяшкам торчащих рук и колен братьев, умерших раньше его...

Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячапудовую тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая душу, терзая тело. Не было дням счета и названия, не было счета и определения думам, раскаленной массой залившим мозг...

Соседом Сергея слева был обладатель синего прозрачного личика с заострившимся носиком. Личико тихо и размеренно дышало, выглядывая из-под полы шинели черными, похожими на зерна смородины глазами. Было в них что-то торжественно-печальное. То ли успокоение сознанием, что, слава богу, все это скоро кончится для него, то ли мольба... Личико не шевелилось.

— Давно здесь? — стараясь придать своему голосу тон сострадания, спросил Сергей.

— Месяц... нет, меньше, — тоненьким голоском пропищало личико. — Болен я... Пальцы отваливаются, — продолжал сосед, по-прежнему не шевеля ни единым членом тела.

— Как отваливаются?

— Гнали нас... на дороге танкист-немец... снял с меня валенки... пять верст босой... ноги отмерзли. Вот семь пальцев отвалились... Теперь только три... завтра, наверное, тоже отвалятся... И ноги гниют тоже... Тут нас много таких...

В гаме голосов терялся тихо шелестящий, часто прерывающийся звук речи. Личико не могло, а может быть, не желало усилить этот шелест. Зачем? Все равно бесполезно. Все равно!.. Но вдруг шелест повторился. Сергей, облокотившись, приблизил лицо к говорящему.

— Шесть верст до дому... Знала б мама... принесла бы картошки вареной, хлеба тоже... На шоссе мы живем... деревню Аксеновку знаете? Колей меня зовут... И как сообщить маме, вы не знаете?

Сергей глядел на влажный агат глаз тоскующего по маме сына и думал: «Да, принесла бы мать своему единственному Коле картошки вареной... и хлеба тоже... Долго бы ходила вокруг лагеря, утопая в снегу веревочными лаптями, до боли щуря слезоточащие глаза, ища ими Колю. Билось бы частыми толчками ее изнывшее сердце, и не поняла бы, не услышала она лающего окрика немца со сторожевой вышки. Прицелился

бы тот по склоненной голове в дырявом черном платке, и тихо опустилась бы мать в снег, схватясь руками за грудь, словно пытаясь задержать еще на минуту свою материнскую любовь к сыну, вырванную вдруг кем-то злым и ей непонятным...»

— Нет, не знаю, Коля, как сообщить твоей маме, — ответил Сергей и, пытаясь успокоить его, весело проговорил: — Ничего, Коля, все будет хорошо! Ты еще вернешься в свою Аксеновку!

— Э, нет! Поглядите-ка вот...

Ухватясь одной рукой за брезентовый ремень, прибитый к доске верхних нар, Коля пытался встать. Это ему никак не удавалось, и Сергей, поддержав его худую, ребристую спину, помог ему сест. Общими руками Коля бережно взял одну ногу и, пододвинув ее ближе к Сергею, начал разматывать полотенце.

— Как же я дойду? — повторил он, печально глядя на свою ногу.

Фиолетовый налет гангрены покрыл всю ступню. Ни одного пальца на ноге не было. В их основаниях торчали белые острые косточки или зияло углубление с сочившейся оттуда сукровицей.

— Вот я какой теперь! — проговорил Коля, ложась и накрываясь шинелью...

В этот день было объявлено, что в два часа будет выдаваться «баланда». Сергей уже знал, что в лагере так называют суп. Но именно это бессмысленное слово в точности определяло по достоинству ту несказанную по цвету и вкусу жидкость, которой питались пленные. Варилась баланда в полевых кухнях. Состояла она из чуть подогретой воды, забеленной отходами овсяной муки.

Сергей не имел ни котелка, ни ложки. Опечаленный сознанием своей немоги, он положил голову на вещевой мешок, служивший ему подушкой.

«Но что же в нем все-таки есть?»

Привстав, Сергей начал развязывать мешок Никифоруца. На самом верху там лежали серые суконные портянки. Потом аккуратно сложенное белье, рукавицы, старая пилотка и противоиридная накидка. Вынимая, Сергей раскладывал все это по порядку. На дне мешка лежала совершенно новая плащ-палатка — предмет, особо интересовавший полицейских. Она была свернута заботливо и толково. Развернув ее наполовину, Сергей увидел две небольшие пачки концентрированного гороха.

— Мы с тобой пообедаем сегодня, Коля! — обрадовался искренне Сергей. — Только вот котелка у меня нет...

Не меняя позы, Коля пошарил рукой в тряпье изголовья и протянул Сергею ржавую жестяную банку из-под консервов.

— На черпак баланды хватает, — пояснил он.

...Третий барак выстроился за получением баланды.

— Сказывают, гушша имеется в баланде...

— Потому наш барак последний, так она на дне...

— Не напирай, не напирай!

— Люди добрые, иуделайте божескую милость, получить ба на двоих... посудинки нету...

Медленно переступая с ноги на ногу, подвигаются пленные к бочке с баландой. Белые лохмотья пара крутятся над ней, отрываются, смятые ветром, разнося щекоучущий нос запах вара.

— Ну, добавь... ради Христа, добавь!..

И полицейский «добавлял». Вылетал из слабых пальцев смятый задрипанный котелок, выливалась из него сизая дрянь-жидкость, бухался горемыка на ток земли, утопанный тысячько ног, и, не обращая внимания на побои, слизывал-грыз место, оттаявшее от пролитой баланды...

Вдруг по толпе прокатился гул удивленных и испуганных голосов:

— Больше нету баланды?!

— Будьте вы прокляты, ироды! Три часа простоять зря...

— Р-расходись в б-барак! — кричали полицейские, крутя дубинками.

Помахивая пустой баночкой, Сергей вернулся в барак. С трудом поднявшись на вторые нары, он вдруг не увидел Коли. Лишь в его изголовье валялась одна рукавица да сиротливо свисал, напоминая ужа, зеленый брезентовый ремень, что служил поручнем его хозяину. Не было также и мешка Никифору.

— Какой-то мешок не давал малец полицаям... ну, и того — сбросили с нар. В четвертый понесли... помер, стало быть, — пояснил сосед.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Низко плывут над Ржевом снежные тучи-уроды. Обалдело плятятся в небо трубы сожженных домов. Ветер выводит-вытягивает в эти трубы песню смерти. Куролесит поземка по щебню развалин города, вылизывает пятна крови на потрескавшихся от пламени тротуарах. Черные стаи ожиревшего воронья со свистом в крыльях и зловещим карканьем плавают над лагерем. Глощают мутные сумерки зимнего дня залагерную даль. Не видно просвета ни днем ни ночью. Тихо. Темно. Жутко.

Взбесились, взъярились чудовищные призраки смерти. Бродят они по лагерю, десятками выхватывая свои жертвы. Не прячутся, не крадутся призраки. Видят их все — костистых, синих, страшных. Манят они желтой коркой поджаристого хлеба, дымящимся горшком сваренной в мундирах картошки. И нет сил оторвать горящие голодные глаза от этого воображаемого сокровища. И нет мочи затихнуть, забыть... Зацепился за пересохший язык тифозника мягкий гортанный звук. В каскаде мыслей расплавленного мозга не потеряется он ни на секунду, ни на миг: «Ххле-епп, ххле-еп... хле-е...»

На тринадцатые сутки умышленного мора голодом людей немцы загнали в лагерь раненую лошадь. И бросилась огромная

толпа пленных к несчастному животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо. По образовавшейся гигантской куче людей две вышки открыли пулеметный огонь. Может быть, первый раз за все время войны так красиво и экономно расходовали патроны фашисты. Ни одна удивительно светящаяся пуля не вывела посвист, уходя поверх голов пленных! А когда народ разбежался к баракам, на месте, где пять минут тому назад еще ковыляла на трех ногах кляча, лежала грудка кровавых, еще теплых костей и вокруг них около ста человек убитых, задавленных, раненых...

...В одно особенно холодное и вонючее в бараке утро Сергей с трудом поднял с нар голову. В висках серебряные молоточки выстукивали нескончаемый поток торопливых ударов. В первый раз не чувствующие холода ноги казались перебитыми в щиколотках и коленях.

«Тиф», — спокойно догадался Сергей и, сняв шапку, положил ее под голову.

Чуден и богат сказочный мир больного тифом! Кипяток крови уносит в безмятежность и покой иссыхающее тело, самыми замысловатыми видениями наполнен мозг. Лежит это себе такая мумия на голых досках нар с открытыми глазами, прерывисто дыша, и тихим величием светятся ее зрачки, как будто она только одна на свете вдруг вот теперь поняла смысл бытия и значение смерти! Какое ей дело до миллиардных полчищ вшей, покрывших все тело, набившихся во впадины ключиц, шевелящих волосы на голове, ползающих по щекам, лбу, залезающих в нос... Нарушается это величие лишь жаждой капли воды. От сорокаградусной жары в теле трескаются губы и напильником шершавится горло. Мумия тогда издает хрип:

— Пи-и-ить... ии-ить...

А потом вновь затихает — иногда навеки, иногда до следующего «ии-ить».

Командирское обмундирование Сергея прельщало полицейских. «Чаво гадить, все равно подохнет!» И на третий день забытья Сергей был раздет догола. Лишь на левой ноге остался белый пуховый носок, полный вшей. Получил эти носки Сергей на фронте. То был подарок-посылка от девушек какого-то уральского мясокомбината. Лежала тогда в носке и записка: «Желаю тебе, дорогой боец, до самых дырок износить эти носки. С любовью — Тося».

До слез смеялись тогда над этим Тосиным пожеланием. И, бережно надевая носки, Сергей урезонивал ржущих: «Вы вникните, черти, в смысл этих слов! Девушка с любовью желает, чтоб не убили меня... Ну-ка попробуй износить такие носки! К тому времени последний из фрицев в ящик сыграет...»

Ничего не стоило потом обитателям барака сбросить голый полутруп с нар и занять его вшивое место. В один миг Сергей оказался на полу, раскинув длинные ноги-циркуль поверх впо-

валку лежащих там людей. Где же ему место, как не под нижними нарами, куда сгартываются испражнения! И Сергея затискали-затолкали под нары, благо парень не издает ни звука...

Да крепок был костлявый лейтенант! Слишком мало уж было крови в его жилах, устала смерть корежить гибкое тело спортсмена, и выполз Сергей из-под нар через двое суток, волоча правую отнявшуюся ногу.

— Слезь... с моего... места, — прошептал он занявшему его «жилплощадь».

На крип этого привидения удивленно уставилась стриженная дынеобразная голова.

— Ты што, из четвертого появился?

— Слазь...

— Откуда этот хлюст взялся?

— Место, слышь, требует...

— В чем дело? В чем дело, почему голый, а?

Сергей медленно повернул голову по направлению голоса со звучащей в нем ноткой власти. В дверях барака стоял в белом халате низкорослый и крупноголовый детина.

— Где твоя гимнастерка, а? — протискиваясь к Сергею, спрашивал он.

По петлицам Сергей догадался, что это доктор. «Неужели тут есть доктора?» — мелькнула мысль.

— Я болен... видимо, тиф.

— Вижу, что ты болен. Но голый, голый ты почему?

— Раздели полицейские... обмундирование комсоставское... трудно не взять...

— Вы командир?

— Лейтенант... Помогите же, доктор... я потерял силы... Это вот мое место... сбросили, лежал там...

— Идите за мной.

В третьем же бараке, в небольшой загородке, лежало около двадцати командиров, больных тифом. Там и поместился Сергей на вторых нарах в самом тесном и темном углу. Пустотой и легкостью была наполнена затуманенная голова, не было в теле ни позыва, ни недуга.

Перед вечерними сумерками пришел доктор.

— Как живем, лейтенант? — спросил он, взобравшись к Сергею. — Правая нога? Гм... явление частое после тифа, да. Не чувствует? Ампутировать... как-нибудь, да!

— Резать не дам! — упрямо выговорил Сергей. — Я еще буду драться!..

— Дерутся здоровые, лейтенант... конечно, и в моральном смысле, да! Но... одну минуту! — Доктор, легко спрыгнув с нар, вышел из барака. Вернулся он с объемистым пузырьком беловатой жидкости и котелком в руках. — Растирать. Очень часто. Можно носком. Посмотрим, да. Спирт отечественный, у меня последний... И вот — баланда, ешьте. Я зайду. Поговорим, да!..

Аспидного цвета налет покрыл кончики пальцев ноги Сергея. Не чувствовала нога ни щипков, ни укола булавки.

«Я не нужен себе калекой, нет», — думал Сергей и всю ночь через небольшие промежутки изо всех сил растирал спиртом ногу. Тот бил в нос, колесом крутил слабую голову. На второй день в пальцах появилась тупая, ноющая боль. Она все усиливалась, по мере растирания ноги спиртом.

— Отлично! Будет толк. Боль — не что иное, как представление о боли, да! — отчеканивал доктор. — Но кусайте себе губы. Терпите. Нога останется...

И Сергей терпел. Превозмогая боль, он яростно комкал носок, растирая ногу.

Доктор заходил часто, засиживался у Сергея, расспрашивал его об учебе, жизни, фронте. Когда уж, казалось, обо всем поговорили, каждый, однако, сознавал, что о самом главном-то и умолчено, к чему и вели все беседы. Однажды, когда доктор помог Сергею остричь кишащие вшами волосы, он особенно долго засиделся на вторых нарах. Лежа Сергей всматривался в мясистый профиль эскулапа, потом сказал:

— Владимир Иванович, вы согласны с тем, что в представлении нашем, ровесников революции, честность, порядочность и... доброта, скажем, неизменно ассоциируются с понятием о любви к Родине, к русским людям?..

Доктор, насторожившись, внимательно слушал, наклонясь к Сергею.

— И, — продолжал Сергей, — я поэтому предполагаю в вас наличие такой же полноты второго достоинства, как и первого.

— Следовательно?

— Я люблю мою Родину!

— И?

— Вы ведь немного старше меня!..

— Вставайте. Учитесь ходить, да. Бланды сумеем достать. Приходите в амбулаторию. Там наши. Познакомитесь. Решим, да...

Лагерная амбулатория, где работал доктор Лучин, была единственным светлым пятном на фоне всего черного и безнадежного. Лаконичный в словах и действиях доктор подобрал себе в помощники трех боевых ребят, аттестовав их перед немцами как людей с медицинским образованием. На самом же деле этот народ занимался тем, что осторожно выискивал «в доску своих», общал их к амбулатории, а там думали-решали, как бежать, притом большой группой, сумевшей бы приобрести в пути оружие...

Прошло несколько недель, пока Сергей смог окончательно встать и наступать на ногу. За это время Лучин принес ему не один котелок бланды и не один кусок лошадиной печенки. Как-то солнечным февральским днем Сергей в первый раз зашел в «амбулаторию». На нарах лежал Лучин, а на единственном табурете сидел, широко расставив ноги, лучинский «санпн-структор». Он выслушивал трубкой повернувшегося к нему спиной полицейского.

— Та-ак. Ничего серьезного. Помажем...

Навернув грязную тряпку на палочку, «санинструктор» быстро сунул ее в чернильницу и, пристально поглядев на Сергея, ловко вывел свастику на спине дуралея, окантовав ее густыми мазками.

— Чрезвычайно полезно. Иди!

— Дело в том, — объяснил Лучин Сергею, — что имеющиеся медикаменты мы в первую очередь должны употреблять на эту сволочь, да. Приказ немцев. Мы же изыскиваем средства лечения этих господ на месте. Вы видели... Так-то, товарищ лейтенант, да!..

Осторожно мусолило снег солнце еще холодными щупальцами своих лучей. Все выше и выше взбиралось оно на небо, суля близкую весну и охапку надежд. Толковали одни:

— Весной должна кончиться война. Помогите мое слово! Потому што пропали мы тут...

Думали другие: «Зелень, лес... Пробраться к своим будет легче. Лишь бы удрать».

Март принес частозвон утренних капель с крыш барачных и тихие непроницаемые ночи. Столбом валит из дверей барачных зловоние оттаявших испражнений и трупный запах разлагающихся тел. Не спят уже на полу вповалку люди. Поредела за зиму толпа пленных, умещаются теперь на нарах. Каждый день выдается баланда — почти пол-литровый черпак воды пополам с грязью, соломой, копытами лошадей и двумя-тремя картошками величиной с голубиное яйцо. Неохотно отошел-отступился от барачных тиф, переваливая почти всех до единого. Поддерживая друг друга, выползают пленные из барачных, садятся с подветренной стороны, бьют вшей пока еще в шинелях. Кровачатся от них ногти больших пальцев, а «пройдено» только пол-рубца плечевого! Расстилается на проталинках шинелишка, становится ее обладатель в очередь за бутылкой. Ох, как нужна тут пивная бутылка! Прижал ее руками да и покати по шинели — и сыпанет тогда в уши дробный треск лопающихся вшей...

Шли дни. По утрам в чистом весеннем воздухе плыли к лагерю орудийные стоны. Торопливей и злей становились немцы, настороженней — пленные.

— Стучат, доктор, а?

— Зовут, лейтенант, да! Вот подтаает снежок — обстановка улучшится. Махнем, да!..

Но вышло все иначе. Однажды в помещение, где ютился Сергей, вошел комендант лагеря. Щуря подслеповатые глаза и поблескивая кокардой, он приказал сопровождавшему его унтеру построить командиров. Жидкой шеренгой вытянулись пленные вдоль нар. Унтер, макая новенькую кисть в красиво разрисованную баночку, лепил на левом рукаве каждого командира густой желтый крест.

На второй день поезд мчал пленных командиров на запад.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Клейка и непролазна вяземская грязь. словно искусно сваренный клей, вяжется желто-бурая жидкость на мостовых, доходя до щиколоток, а кое-где и до колен. Хорошо взмешена грязь тысячью ног каждый день проходящих на работы пленных. Хлюпают-чавкают в грязи сапоги, валенки, лапти, ботинки. Оборвется шпагат, которым привязаны на ногах тряпки, и тогда пишут узоры по грязи босые ноги...

За городом, на незаезженном поле, поросшем пыреем и мелким воробьиным щавелем, раскинулось немецкое кладбище. Сотни крестов торчат из глинистой земли, рябя в глазах черными пауками-свастикой. Роят пленные ямки-овражки; часто подползают к ним грузовики с трупами фрицев и францев из вяземских лазаретов. И, уложив двадцать, тридцать гитлеровцев в ямку-овражек, забрасывают их пленные тонким слоем глины, а потом ставят пять или десять крестов. Ну кто догадается из живых еще фрицев, что тут двадцать покойников? Пять! Об этом говорят кресты...

В тот день ни минуты не передохнул Сергей. Желтая вязкая глина липнет к лопате; огнем жжет ладони шершавая ручка; раскис-расползся сапог, которым нажимает Сергей на ушко лопаты... Красноватые пупырышки цветущего щавеля машут, зовут голодный блестящий взгляд. Да как отойти от могилы? Как нагнуться, чтобы вырвать пучок травы и запихать его в рот?

— Лос, лос, менш! — рычат конвоиры, многозначительно потряхивая автоматами...

...Попыхивает комендант лагеря гамбургской сигаретой. Досасывает ее до самых пальцев. Брызгается его пенсне искорками солнечных зайчиков, но не загораживают они горбатой мушки пистолета. Чиркнул в кучу пленных «бычок», бросились на него со всех ног двадцать человек. И поднимет торжественно пистолю фашист, и качнется назад, оттолкнутый выстрелом. Шарахнутся девятнадцать пленных в сторону, но обязательно останется лежать в грязи обладатель окурка, нелепо дергаясь телом. Да, плохо стреляет немец! Не может он сразу вырвать жизнь из русского. Долго колотит тот каблуками землю, словно требуя второй выстрел...

Партиями от десяти до двухсот человек каждый день гоняют немцы пленных на работы. На станцию железной дороги для выгрузки песка из вагонов всегда требовалось двести человек. Там от шести часов утра до восьми вечера пленные не получали даже капли воды. Зато через день в железных бочках из-под красителей варилась для них крапива. Рвали ее сами же пленные в оврагах и буераках близ станции. Целыми охапками запикивали ее в бочки, заливали водой и кипятили. Да не получишь ведь и этого больше установленной нормы! Согласно немецкому «закону», пленному полагалось 0,75 литра «варева».

За городом, в дымке утренних паров, вставало хохочущее до дрожи в лучах молодое весеннее солнце. Его появление каждый день встречали пленные, выстроившись по пяти. Становились по старшинству звания — майоры и равные им, капитаны и равные им — и, окруженные автоматчиками, уныло и молча шли на работу.

Вот уже третий день Сергей с партией в десять человек шел работать у зенитчиков. Располагались те в лесу, в пятнадцати верстах от города. Была там надежда получить граммов сто двести хлеба и «великая возможность смыться», как говорил новый приятель Сергея капитан Николаев. На работе старались держаться вместе. Несет ли Сергей полено дров — Николаев шагает сзади, поддерживая конец дровины и поглядывая: авось отвернется конвоир...

Как-то Сергей и Николаев работали в складе масел и красок.

— Подозрительна эта штука, — указал капитан на притаившийся в углу пузатый бочонок. — Спирт у них в таких бывает...

— И что?

— Как что? Фляга есть у меня, понял?

— Ну?

— На носу баранки гну!.. Полицейским отдадим — килограмм хлеба получим в побег.

Немец-старик ни на минуту не спускал глаз с работающих. Притулившись на бочке, он посасывал трубку.

— Задушить бы — и айда! — кивнул на него капитан.

— Закричит гад, немцы за стеной...

— Вот что, — предложил Николаев, — захоти-ка ты в уборную. Он меня оставит, так я установлю, что в бочонке...

Жестами и движениями кое-как объяснил Сергей немцу, что он хочет. Тот неохотно вскинул на ремень винтовку и ворча поплелся за Сергеем, оставив капитана в закрытом складе. Долго сидел в кустах Сергей, поглядывая на полуотвернувшегося от него немца.

— Шнелль, менш! — наконец не выдержал тот.

— Не лезет, дедушка!

— Вас ист дас, гедюшка?

— Трудно, говорю. Запеклось к черту все!

— Лос, сакрамент! * — разозлился фашист и, подойдя к Сергею, потащил его за плечо. Каково же было его удивление, когда он не увидел результатов сидения пленного!

— Ду люгст. Вильст нихт арбайтен?! **

Подталкиваемый прикладом, Сергей вернулся в склад. Николаев сосредоточенно продолжал перекачивать бочки.

— Готово! — пояснил он Сергею. — Древесный только...

Бежать, однако, не удавалось. Был за командирами особый присмотр, да и уходить хотелось наверняка, не попадаясь: пойманных убивали тут же.

* Давай, проклятый! (нем.)

** Ты врешь. Не хочешь работать?! (нем.)

Вдруг неожиданно-негаданно запретили командирам выход из черты лагеря на работы. Это отнимало многое и у многих. У одних рушились упования на «подкалымить жратву», у других гибли надежды на скорый побег.

— Вот тебе и смылисы! — сокрушался капитан.

— Опытнее будем! — злился Сергей.

...В пять часов утра выстраивался лагерь за получением хлеба — буханки на четверых. Шли нескончаемой вереницей люди, давно потерявшие человеческий облик в страшных условиях фашистского плена. Испуганные партизанским движением, гнали немцы в лагерь окрестных жителей — ребятишек двенадцати лет и стариков — семидесяти и выше.

В семь часов вечера вновь выростала бесконечная очередь пленных. К тому времени в кухнях попевала баланда. Ходуном прыгает черпак — раз в котелок, раз по голове просящего подбавить. Бывает, крепко стукнется черпачок по стриженной голове, и зазвенит-запрыгает отвалившаяся жестянка. Останется в руках у полицейского долгий дрын-ручка, и пойдет бандит выколачивать ею пыль из шинелей, а память из голов. Долго стоят в очереди, ожидая ремонтирующийся черпак, пленные, посылая сто чертей в душу и печенки тому, на чьей голове он обломился...

А за проволокой, не доходя до нее десяти метров, маячат разноцветным тряпьем бабы, дети. Пришли они из ближних деревень к отцам, дедам, сынкам. Подперев голову рукой, вдруг не выдержит какая-нибудь из них да и заголосит. Переливами печали и горести льется по лагерю причитающий голос:

И-и ты-и-и жа-а, мой родненьки-и-й сыно-о-чиик,
Ясненьки-и-ий све-е-етик ни-на-гля-а-дний...

За-а што-о тебе-ее доста-а-а-лась до-о-ля го-орьякая,
Го-о-оло-ву-шка ты-и моя-а ни-ща-сна-ая!..

Повернут головы на скорбный материнский голос дети-подростки и зашмыгают носами. Станет среди лагеря заросший бородой дядя, прислушается, сплюнет и скажет:

— Тьфу ты, скаженная! Все нутро волокеть...

Выходят послушать соло и немцы. Да непонятны им смысл и содержание русского плача-песни, не знают они, как рождаются такие звуки-стоны! Не слышат они в них смертельной тоски и ненависти, бесконечной любви и терпения...

Черной душной стеной обрушивается ночь на лагерь. Погребают ее обломки-минуты мысли и надежды людей, успокаивают их несложные желания...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вагоны, постукивая на стыках рельсов, лениво двинулись за паровозом и, лязгнув буферами, притихли вновь. Крепко-накрепко затиснуты в петли дверей ржавые кляпы железных засовов.

Все той же колючей проволокой забиты-спутаны окна, и задумай шальной воробей пролететь в окно — повиснет он, наколовшись на растопыренные рожки-колючки.

Сорок семь тел распластались в вагоне. Лежать можно только на боку, тесно прижавшись к соседу. И все равно десять человек должны разместиться на ногах лежащих вдоль стенок людей. Душно и вонюче в вагоне. Тяжело дышат пленные пересохшими глотками. Вторые сутки стоит состав на станции, не двигаясь с места. Знают пленные, что это — смерть для всех! Съедены еще в лагере «дорожные продукты» — две пайки хлеба. Кто знает, куда везут их, сколько дней еще простоит поезд?..

Жестокой дизентерией мучился Сергей. В желудке нет и грамма пищи. Еще три дня тому назад он перестал есть хлеб и баланду. За это время сэкономил три пайки хлеба, и вот теперь кричат они в раздувшемся кармане: «Съешь нас!» Нет сил отогнать эту мысль. Тянется невольной рука к карману с пайками, погружаются ногтистые пальцы в мякоть. «Корку лучше!» — мелькает мысль, одобряющая действие рук, и щиплют пальцы неподатливый закал корки, подносят украдкой от глаз ко рту. «Нельзя, подохнешь!» — шепчет кто-то другой, более твердый и властный, и пальцы виновато и бережно относят крошку хлеба назад в карман. И опять останавливаются на пути, благословляемые на преступление жалким, трусливым и назойливым шепотком: «Чего уж там, бери и ешь...»

— Нельзя, понимаешь, сволочь?! — громко шепчет Сергей.

Глядит Николаев сочувствующими глазами, спрашивает:

— Болит?

А сам думает: «Уже бредит, помрет...»

— Я не сошел с ума, капитан, — говорит Сергей, — но я до смерти хочу есть... противное желание!

— У тебя кровь идет и какая-то зелень. Есть нельзя.

— Есть «не есть»! — пробует шутить Сергей.

Стоит поезд. Вторая ночь! Хрипят, задыхаясь, пленные, льнут воспаленными лбами к железным обручам вагона. Лишь на рассвете третьего дня, дрогнув, дернулся состав, и на рассвете же Сергей не выдержал и съел сразу две пайки хлеба. «Все равно умру, так лучше наевшись», — решил он. А часа через два в животе начались жуткие рези. Корчится Сергей, задевая ногами лежащих, до крови кусает губы, стараясь не закричать. Выступили на его лбу росинки пота, и откуда взялись — бог весть! Вытащил из-за голенища ржавую корявистую ложку капитан и, наклонившись к Сергею, приказал:

— Разевай рот!

Полностью засадил Сергей ложку в горло. Рвутся наружу внутренности, наизнанку выворачивается желудок.

— Больше в тебе нет ничего, — успокоил Сергея капитан.

Чувствовал Сергей и сам невольную иронию в словах Николаева. Теперь в нем и впрямь слишком мало чего осталось... Нет, не так! Ты не прав, капитан! То, что там есть, в самой глубине души, не вырыгнул с блевотиной Сергей. Это самое «то»

можно вырвать, но только цепкими когтями смерти. Иным путем нельзя отделить «то» от этого долговязого скелета, обтянутого сухой желтой кожей. Только «то» и помогает переставлять ноги по лагерной грязи, только оно в состоянии превозмогать бешеное чувство злобы, желание вспыхнуть на минуту и испепелить в своем пламени расплывчатое пятно, маячащее перед помутившимися глазами, завернутое в зеленое, чужое... Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем! «Терпи и береги меня! — приказывает оно. — Мы еще дадим себя почувствовать!..»

— Нет, капитан, во мне осталось все, что было! — со злобой отвечает Сергей.

— Да вот оно, что было в тебе! — указывает на кучку сероватой массы Николаев.

— Ты одурел, мой друг, от голода, — уже спокойней проговорил Сергей, — возьми мою пайку и съешь...

На четвертый день пути пленных выгрузили в Смоленске. Большая часть командиров не могла двигаться. На станцию пришли автомашины и, нагрузившись полутрупам, помчались в лагерь. Из кузова грузовика Сергей глядел на безжалостно истерзанный город-герой. Сожженные немецкими зажигательными бомбами, дома зияли грустной пустотой оконных амбразур, и, казалось, не было в городе хоть единственного не пострадавшего здания.

На окраине города жили пленные. Лагерь представлял собой огромный лабиринт, разделенный на секции густой сетью колючей проволоки. Это уже было образцово-показательное место убийства пленных. В самой середине лагеря, как символ немецкого порядка, раскорячилась виселица. Вначале она походила на букву П гигантских размеров. Но потребность в убийствах росла, и изобретательный в этих случаях фашистский мозг из городского гестапо выручил попавших в затруднительное положение палачей из лагеря. К букве П решено было приделать букву Г, отчего виселица преобразилась в перевернутую Ш. Если на букве П можно было повесить в один прием четырех пленных, то новая буква вмещала уже восьмерых. Повешенные согласно приказу должны были провисеть одни сутки для всеобщего обозрения.

Секция командного состава лепилась в заднем углу лагеря. Состояла она из двух бараков и была строго изолирована от других. В Смоленском лагере пленные были разбиты на категории: командиры, политсостав, евреи и красноармейцы. Была предусмотрена каждая мелочь, чтобы из одной секции кто-нибудь не перешел в другую. За баландой ходили отдельными секциями — под строгим наблюдением густой своры немцев.

Командиры, политсостав и евреи не допускались до работы. Сидели эти люди на строгом пайке, томились без курева. По вечерам, когда пленные группами возвращались с работ, в самой большой секции, где были красноармейцы, открывался базар.

Было там все — начиная с корки хлеба и кончая пуговицей, ножиком, ремнем, обрывком шпагата и ржавым гвоздем. Делалось и добывалось это так: напрягая всю мочь, вскидывает тяжелую кирку пленный, ковыряя мостовую. Так и кажется: вот взмахнет еще разок — да и завалится в грязь вконец обессиленный и истощенный. И проходит мимо какая-нибудь старушка. Остановится она, долго глядит на касатика, потом, вздохнув, присядет на корточки и достанет из узелка яичко.

— Съешь, родимый, помяни грешную душу рабы божьей Апросиньи...

А вечером яичко переходит из рук в руки торгующих.

— Штой-то у тебя?

— Ицо.

— Сколько?

— Пайка.

— Дай погляжу... какой-то она таво... желтая.

— От породистой курицы потому...

— А ты што курицу то ...?

— Выходит же счастье вот таким тухтарям!

— И кто ему дал ицо, черти его возьми...

Так с каждым ассортиментом товара на базаре военнопленных. Уж не может стоять на ногах продавец кроличьей буддыжки. Плхнулся он в грязь, подогнув калачиком ноги, и бормочет в полузабытьи:

— Кому трусятины? Кому трусятины?

Сотни рук пробуют синеватый кусочек, соблазнительно пахнущий мясом. Падает он в навоз, очищается и вновь предлагается «покупателям».

— Да съешь ты сам свою трусятину! Помрешь ить, пока продашь.

— Эй, кому загнать по дешевке?

— Што-о?

— ..!

— Душа лубезный, купи котелок баланды! Свежий, вкусный, красивый!

— Кому ножик за понкрутку?

— У кого кусок резины есть?..

Сергей и капитан стояли у проволочной стены, следя за оживленной торговлей на базаре.

— А знаешь, — предложил Николаев, — не мешало бы сходить на эту черную биржу.

— Пайку перепродать?

— Нет, кальсоны; покурить бы малость...

Но в этот момент начали разгонять базар и строить людей. Построились и командиры.

— По направлению виселицы — шагом марш! — скомандовали полицейские.

Туда же шли и другие секции.

— Кому-то наденут сейчас гитлеровский галстучек, — шепнул Николаев.

Запрудив обширную площадь, пленные образовали пустоту вокруг виселицы. Немцы-конвоиры остервенело следили за секциями командиров, политсостава, евреев.

Кроваво-красным шаром закатывалось в полосу сизой тучи солнце на окраине лагеря. Духота летнего вечера повисла над площадью тяжелым пушистым одеялом.

— Дай проход! Разойдись в стороны! — слышались голоса.

В образовавшийся живой коридор вошли немцы. Их было семь человек. Окружили они понуро шагавших двух пленных. Долговязый нескладный офицер сразу же заговорил что-то на своем языке.

— Военно-полевой суд... — начал переводчик; и рассказал, что немцы решили повесить двух пленных за то, что, работая в складе на станции, они насыпали себе в карманы муки...

— А много мучки-то взяли? — слышался голос из толпы.

Обреченные были явными противоположностями друг другу. Первый являл как будто все признаки предсмертного отупения. Раскрыв губы, он бессмысленно глядел на переводчика белесоватыми неморгающими глазами. Парень был велик и широк костью, видать, вял и неповоротлив. Изредка он всхрапывал носом и проводил по нему рукавом гимнастерки.

Второй, лет под тридцать, щуплый и низенький, загорелый до черноты, был похож на скворца. Он стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу, ни разу не взглянув на толпу пленных и на читавших ему смертный приговор.

Пока переводчик говорил, немцы ладили петли веревок, встав на аккуратное сколоченные козлы.

— Дорогие, век не забуду... не надо! — заколотил себя кулаками в грудь «скворец». — Не буду... с голоду это я... Родимые, ненаглядные мои, — бредил он, упав на колени.

— Подымись, дура еловая! — спокойным басом загорланил его одновисельник. — Разя это люди? Это жа анчихристы! Устань жа, ну!..

И, неторопливо взяв за плечо коленопреклоненного, он легко поставил его на ноги.

Живчиком бился чернявый в цепких руках немцев. Брыкался и кусался, не давая просунуть голову в петлю веревки. Все так же не торопясь и деловито влез на козлы белоглазый парень, сам надел себе веревочный калачик на длинную грязную шею и, качнувшись, грузным мешком повис прежде чернявого, уродливо скривив голову...

...В голубени июльского неба кусками пышного всхожего теста плавают облака. Жарят погожие дни стальную вермишель колючек проволоки, разогревают смолу толевых крыш барakov, и сочатся блестящие черные сосульки каплями смачной патоки. Думают люди о пище днем и ночью. Подолгу ведутся в темноте разговоры-воспоминания — кто, когда и как ел.

— Ну, встаешь это себе, делаешь, понятно, зарядку, а на кухне уже слышишь: ттччщщии-и!.. Пара поджаренных яичек,

два-три ломтика ветчинки... Да-а! Запивал все это я стаканчиком холоденького молочка... знаете такое? А в обед...

— Это што-о! Я вот, так я кушал так: утром не ел ничего!

— Ну, это уж вы напрасно! Почему же?

— А, понимаете, не хотел. Привык!

— Как так можно! Могла же ваша жена, скажем, поджарить вам белый хлебец в сливочном масле... румяняный, горяченький... с сахаром, понимаете?

— Да, конечно, но.. рацион, так сказать...

— Ах, что там! Это вы просто... извините, дурак были, что не кушали!..

Это в углу где спали «старички» по чину и годам. Во втором же:

— Заходишь в буфет, берешь пару булок по тридцать шесть, пару простокваш — ббабах! А в двенадцать — в столовую. Опять берешь: селянку, пожарские, кисель и пять пива. Шарахнешь — и до семи!..

Это вспоминали свое житье-бытье те, кому не могла жена «поджарить в сливочном масле». Это были холостяки...

...В самую последнюю очередь получали командиры баланду. Поблескивают в их руках котелочки, баночки из-под консервов, а за неимением того и другого держат за ремешки некоторые и каски.

— У вас, капитан, губа не дура! Посудинку-то себе вы подыскали вместительную!

— Скажите, товарищ подполковник, вы... если не ошибаюсь?

— Да, я армянин.

— Встречали ли вы там, у себя, более роскошную пиалу, чем вот эта ваша?

— Майор Величко, что вы думаете, сколько касок баланды вы могли бы опрокинуть за один присест?..

Так доходили до кухни. Посреди бесстенного навеса стояли две ванны, наполненные чем-то желтым, жидким. Это и была баланда, сваренная из костной муки. Возвращались в бараки, бережно неся содержимое своих сосудов. Чинно рассаживались на нарах, и в первые минуты был слышен лишь жадный всхлип губ, сосущих баланду.

— Товарищ военинженер, вы жаловались на катар, так вот не желаете ли доесть мою баланду?

Молодежь была неутомимей. Выпив баланду, заводила она разговоры, споры, воспоминания.

— Повторяю, внешность не показатель внутреннего достоинства человека, — горячился лейтенант Воронов. — Я знаю один характерный случай. В моей учебной роте был курсант Пискунов. Фамилия его говорила за все: он был похож на цыпленка-заморыша. Учился плохо. Как-то спрашивает его тактический руководитель: «Вот вы, курсант Пискунов, ведете взвод. Наблюдатель подал знак — «воздух». Ваше решение?» А Пискунов стоял-стоял да и решил: «Я, — говорит, — подаю команду: «Спасайся кто как может!» Ну, понятно, хохот в аудитории,

плохая отметка и прочее. Но дело не в этом. Пискунов был аттестован на младшего лейтенанта. А в первые же месяцы войны, командуя взводом, он заработал орден Ленина. И заметьте: единственный из всего училища тогда!..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В один из августовских дней 1942 года, когда над лагерем проплывали белые мотки паутины, командиры были выстроены, чтобы получить «дорожные продукты». Путь, видимо, предстоял долгий: была выдана каждому целая буханка хлеба из опилок в 800 граммов, что составляло четырехдневную норму.

— В Германию везут. Надо бежать в пути, — пояснил Сергей.

Идя на станцию, Сергей и капитан съели одну буханку, оставив другую на дорогу. Погрузка проходила быстро. Немец отсчитывал десять пятерок и подводил их к вагону. В дверях сразу же создавалась пробка. Каждый стремился залезть в вагон не последним, ибо из пятидесяти человек двенадцати придется стоять за неимением места. Пятидесятку Сергея немец подвел к французскому вагону. Это были очень практичные и удобные вагоны для перевозки мертвых и братских гробов для пленных. Герметически закупоренные, без окон, обитые изнутри жестью, эти вагоны были настоящей тюремной камерой, уничтожающие малейшую возможность побега.

— Кажется, все! — покачал головой Николаев.

— Нет. Остановки.

— Не выпустят...

— Тогда... тогда останется последняя возможность — вот! — указал Сергей на железную петлю, вбитую в стенку вагона. Николаев долго не отрывал глаз от этой петли.

Поезд с места набрал скорость и около пяти часов не останавливался, убаюкивая разомлевших от нестерпимой жары людей. Никто не имел ни малейшего представления, куда идет состав и на какой станции остановился сейчас. Разразившаяся ночью гроза охладила вагон, дышать стало несколько легче. Когда в узкие, словно прорезанные осокой, щели дверей вагона просочилась молочная сыворotka рассвета, поезд, ухнув, вновь помчался вперед. За вторые сутки пути еще ни разу не открыли двери вагона. Душный смрад висел в воздухе, дышали через рот, чтобы не чувствовать вони. Первые сутки без воды. Вторые. Третьи. Утро четвертого дня. Грузный майор Величко, подложив под голову каску, служившую ему ранее котелком, не шевелился и не стонал вот уже несколько часов. А к вечеру четвертого дня пути, пронзительно завизжав, стали открываться двери вагонов. Хлынувший поток света и свежего воздуха ошеломил всех. Люди лежали, не двигаясь и ничего не желая.

— Раус, раус! * — вопили немцы.

* Вон, вон! (нем.)

От истощения пергаментной бумагой шелестели перепонки ушей, носом нельзя было дышать — шумом и треском наполнялась голова. Взяв за руки один другого, Сергей и Николаев вылезли из вагона. Ноги не держали, и Сергей опустился на рельс. Вокруг выгружаемых пленных собралась толпа зевак в гражданских одеждах. Слышался непонятный и смешной выговор чужого языка. Сергей с трудом поднял голову на фасад ближайшего здания. Жирной чернотой оттуда брызнуло слово из нерусских букв, «Каунас», — разобрал Сергей...

По городу шли медленно, нестройно. Завернутые в коверкот туши мяса немецких колонизаторов торжественно и самодовольно палили лорнеты на серую муть лиц пленных. Было интересно и странно видеть толпы гуляющих людей и еще непонятней воображать, что эти вот люди спят у себя в квартирах, ложась и вставая когда им вздумается, что они вдосталь имеют пищу и сами могут брать ее из шкафов... Станным казался и этот город с узенькими улочками и кафельными шпилеобразными крышами приземистых домиков.

Медленно и молча продефилировала партия пленных командиров по центру города. Было воскресенье, и острые шпили костелов начиняли воздух медными вздохами колоколов. Теперь шли уже по тесным улочкам предместья Каунаса. Из приусадебных садилов пахло прелой морковью и увядшими лопухами.

— Яки! — не закрывая губ, произнес Николаев.

Сергей повернул голову, и глаза его скользнули по бледно-розовым гирляндам яблок.

— Да, яблоки...

Каунасский лагерь «Г» был карантинным пересылочным пунктом. Не было поэтому в нем особых «благоустройств», свойственных стандартным лагерям. Но в нем были эсэсовцы, вооруженные.... железными лопатами. Они уже стояли, выстроившись в ряд, устало опершись на свое «боевое оружие». Еще не успели закрыться ворота лагеря за изможденным майором Величко, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног в страхе метавшихся людей. Умер на руках у Сергея капитан Николаев. Лопата глубоко вошла ему в голову, раздвоив череп.

...После смерти друга нервы Сергея сдали. Ходил он подавленный, мрачный. Все навязчивей липла мысль о «последней возможности».

«Разогнаться и об острый угол барака... самому», — думал Сергей.

На шестой день пребывания в этом лагере пришедшие конвоиры выстроили сто человек и повели их за лагерь. В это число попал и Сергей. Шли зеленеющей долиной, сплошь усеянной огромными камнями-валунами. Эти валуны пленные должны

были катить в лагерь. Для чего понадобились они там — было непонятно. Лагерь был карантинный, и под этим словом надо было понимать издевательство. Четыре человека катили пятидесятипудовый камень. Вдавливался он неровными формами в сырую почву, накатывался на ноги, выматывал последние шаткие силы. Долину, где белели валуны, окаймлял густой опушкой боярышник, а за ним позванивал золотыми сережками созревший овес. На две-три четверки пленных приходился один конвоир. Он оборачивался, поглядывая на отстающих, останавливался закуривать, уткнув морду в растопыренные ладони рук.

— А ну, братцы, бежим! — предложил своей тройке Сергей.

— Как?

— Подкатим валун к кустам, а там — врассыпную!..

— Побьют... День, видно...

Соглашался один, совсем еще мальчик, с вздернутым носиком и проникновенными голубыми глазами. На вид ему нельзя было дать и семнадцати лет. Двое же трусили.

— Ну, малыш! — чувствуя холодок в груди, шепнул Сергей пленному, доверчиво и вопросительно глядевшему на него: — Держись!.. А вы — как знаете! — бросил он оставшимся у валуна.

К кустам подошли шагом, не взглянув в сторону конвоира. Видел ли он их, нет ли, Сергей не знал. Уже далеко позади остались кусты; мнется под животом сухой, звенящий овес, путается в пальцах повитель гороха. Часто дышит ползущий рядом с Сергеем мальчик — не отстает. Но в долине уже поднялась суматоха и слышен гвалт немцев. Замерли без движения беглецы, стараясь не шелохнуть ни одной овсяной былинки. Эх, если б можно было провалиться в землю!..

Шарят, рыскают в кустах немцы, бьют тесаками оставшихся у злополучного валуна двух пленных. Щелкая затворами винтовок, пять фашистов редкой цепью направились к полосе овса.

«Девяносто восемь человек остались в долине и с ними лишь пять конвоиров! Если б они сыпанули в стороны... Не больше сорока убитых, а остальные и мы...» — думал Сергей, чувствуя приближение смерти.

Прыгают кованые сапоги по двум распростертым телам. Погружаются шипастые подошвы в мякоть животов, хрипящую грудь. Бьют немцы, не злясь, не нервничая. Бьют спокойно, расчетливо, методично. Уже перестали тихо стонать беглецы. При толчке носком сапога дрожит всем корпусом холодеющее тело. Но немцы любят «порядок». Сто человек должны быть живыми сданы в лагерь — беглецы будут наказаны в комендатуре...

...Прикушенный язык разбух во рту мочалкой: не ворочается он при желании произнести слово. Течет изо рта не переставая слюна пополам с кровью. Выталкиваются вздувшимися губами странные нечленораздельные звуки. Глядит одним незаплывшим глазом Сергей на чугунный цвет лица своего товарища. Видит

глаз две фиолетовые точки, доверчиво уставившиеся на него.

— Аакх ыие аукх?

— Не понимаю, — качает головой тот.

Не поднимет Сергей перебитую в плече руку. Закрыв от боли глаз, добрался до левого кармана гимнастерки. Не скоро вытащил оттуда карандаш величиной с воробьиный нос. Написал на стене: «Как тебя зовут?»

— Ванюшкой... Иваном.

— А-а-о. А ыая — Ыйзаяв.

— Что вы говорите?

«Хорошо. А меня — Сергеем», — написал Сергей.

— Ойкхю ы-е зыхк?

— Восемнадцать, — понял Ванюшка.

— А-а-о.

— Да хорошего-то мало!..

Выбрав глазом белое пятно извести на стене, Сергей написал: «А если б сейчас была вчерашняя возможность — ты бы вновь бежал? Только говори правду!»

— Немедленно! — с неразгаданным до того в нем упрямством ответил Ванюшка.

«Будем друзьями!» — размашисто начертил Сергей.

После четырнадцатидневного карцерного заключения, из которых семь дней были голодными, «сухими», как определяли это немцы, Сергею и Ванюшке объявили, что они отправляются в штрафной лагерь. К тому времени группа военнопленных, с которой Сергей и Ванюшка прибыли из Смоленска, была вывезена из лагеря «Г» в неизвестном направлении.

...Бархатистыми кошачьими шагами неслышно подкрадывалась осень. Выдавала она себя лишь тихим шелестом засыхающих кленовых листьев да потрескиванием стручков акаций. Истрадавшейся вдовой-солдаткой плачет кровавыми гроздьями слез опершаяся на плетень рябина; грустит по утрам солнце, встающее закутанным в шелковый сизый шарф предосеннего тумана...

Штрафников было двенадцать человек. Их собрали с разных каунассских лагерей и вот теперь отправляли в Латвию. В вагоне расселись кто как мог. Места было достаточно. Коренастый курносый парень, роясь в карманах штанов в надежде «найти хоть одну махорчинку», как он сам пояснил, рассказывал, не особенно обращая внимания на то, слушают его или нет:

— Завел он всех в лес — а ить нас батальон полный! — и говорит: «Сымай шинели!» Ладно, сняли. Он опять говорит: «Примыкай штыки!» Примкнули. «Неожиданным ударом, — говорит, — отбить Петровскую!» Ну, и пошли мы, значит. К деревне этой по ложшине итить надо было, а ветер — спасу нима, ноябрь потому был... Хрицы, знать, спали ишшо, не рассвело как надоть, и не видали нас. Эх, как закричали все «ура» — аш земля загудела — и пошли!.. Винтовка у меня об десяти патрон была, штык ишшо на ей такой, как ножик, каким свиней режут. Да-а. И вот аказия какая! Спят, черти, они в под-

штаниках на передовой — трибунал! а им — хоть ба хны!.. Я себе тоже бегу и «ура» кричу, потому не боязно и все кричат, и вижу: из машины, што стояла под повестью хаты, выпрыгнул хворменно одетый, при хвурашке, и то туда, то суда обкружится, а не бегит. Оробел вконец, зная, дурак... Я эта к ему, а он бултых на коленки! И так мне было желательно кольнуть его — ну хоть ты што тут! Кольнул... Штык, примерно, идет так, как в мешок, допустим, с рожью али гречихой, ишшо пострескивает штой-то внутрих. Ну, и када штычок залез, примерно, по дулу вот тут, пониже сисек, он и схватись за мою винтовку одной рукой, а другой — цоп за парабелку. Эх ты, думаю, босяк, крутульно умереть не желаешь! Бросил эта я «савате» свою, да как плюхнулся на его прямо пузом, а руками за хлебalkу, и задушил, значит... Задушил эта я его, взял «савате», как положено, и думаю: дай, думаю, загляну в автанабил, потому интересна. Полез. Гляжу — кулечки, коробочки какие-то... Разорвал одну — баночки такие зелененькие посыпались, номер на их стоит, как на нашем питаке. Да-а... Перервал пополам — цыгареты! Э, думаю, стоп! Ну, понятна, взял только шесть штук баночек, потому трахвейное все одно што казенное. И все. А в обед кличет меня комбат. «Горшков, — говорит, — возьми винтовку свою, да на вот мешок, иди соломы набей в его и ко мне явись». Ну, думаю, в анбар запрет, потому доказал хто-нибудь, што я во время боя на цыгареты трахвейные позарился...

Пока солому набивал в мешок — баночки в голяницу прятал. Ну, мешок набил как надо, потому на ем самому лежать придется, и прихожу к комбату. Явился, говорю, товарищ капитан, согласно приказу! «Пойдем», — говорит. Пойдем, говорю, а сам думаю: обыск ба не сделал в голянице!.. Идем эта мы, и вижу, што не к анбару. Он на огород — и я. Он через тын — и я. Залезли в сад. Што, думаю, он хочет учинить со мною? Спужался, признаться, малость. «Привяжи, — говорит, — мешок к сливине». Привязал. «А теперь, — говорит, — примкни штык и покажи мне, как ты хвашиста утром колол». Ээ, думаю, пронес Илья-пророк тучу! Не то! Обрадовался, понятно, да как садану в мешок штыком — аш с дулом нырнул. «Вот, — говорит комбат, — так нельзя пырять. Я, — говорит, — видел, как тебя хвашист чуть не застрелил. Хорошо, — говорит, — у тебя красноармейская находчивость была тогда, а то б хана тебе!» И целый час учил меня штыком пырять, пока солома не вывалилась из мешка... Ну, назад когда шли, желательно мне было отблагодарить комбата — потому не посадил в анбар. Я и говорю: товарищ капитан, погодите. «Што такое?» — говорит. Сапог сниму, говорю, и сел на улице. Скинул эта я сапог, да второпях не тот. Скинул другой — баночки вывалились. «Это ты в машине взял?» — спрашивает капитан и смеется. Ну я, понятно, сказал, што струхнул, думал, в анбар, и говорю: возьмите, товарищ капитан, на память от красноармейца Горшкова Алексея. Так он только одну сигарету закурил. Хороший был человек...

...Часов в двенадцать второго дня пути штрафники высадились в Риге. А на следующий день, в тяжелых деревянных колодках на ногах, Сергей и Ванюшка шагали по шоссе в штрафной командирский лагерь, отстоящий от Риги в восемнадцати километрах.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Саласпилсский лагерь командного состава «Долина смерти» раскинулся на правом берегу Западной Двины, на голой, открытой со всех сторон местности. Четыре пулеметные вышки и шестнадцать ходячих часовых охраняют пленных. Между густых рядов колючки, оцепившей и образовавшей лагерь, на метр от земли висят мотки проволоки-путанки «Бруно». Лагерь обнесен частым строем сильных электрических фонарей, ярко освещающих ряды проволоки. Бараки на ночь закрываются на замок; выход пленных за черту лагеря на работы строго воспрещен. Пайок пищи, выдаваемый пленным, составлял 150 граммов плесневелого хлеба из опилок и 425 граммов баланды в сутки...

Подходя к лагерю, Сергей и Ванюшка видели бледных, изнуренных людей, жуткими тенями бродящих по протоптанным ими тропинкам меж гряд тополей. У каждой тени вихлялась в руках аккуратно выстроганная палка-клюка, к ремню была прицеплена зачем-то миниатюрная лавочка. Пройдет бывший командир пять шагов, чувствует, что задыхается, ну и снимает лавочку и садится на нее передохнуть.

— Это, наверное, из барака больных, — вслух подумал Сергей, входя с Ванюшкой в ворота лагеря. Один из пленных грустно покачал головой, увидев две новые жертвы «Долины смерти».

— Идите, ребята, в третий барак, вон там! — прошептал он, указывая, куда должны пройти новички.

«Странно, — думал Сергей, — моя жизнь пленного началась в третьем бараке. Оканчивается она тоже в третьем... Но это же невозможно!.. Так умереть страшно...»

В новом жилище Сергея и Ванюшки было просторно. По голым доскам нар табуном ходят клопы — жирные, злые, вонючие. Лишь пятьдесят пленных жили в бараке к тому времени. Но это число уменьшалось с каждым днем на два, на три человека. Жуткой тишиной полнится барак. Редко кто обращается шепотом к товарищу с просьбой, вопросом. Лексикон обреченных состоял из десяти-двадцати слов. Только потом узнал Сергей, что это была мучительная попытка людей экономить силы. Так же строго расходовались движения. Тридцать медленных шагов в день считалось нормой полезной прогулки...

Обессиленными, ставшими как восковые свечи пальцами пробуют цепляться за жизнь люди. Тяжело переставляя колодки, идут, поддерживая друг друга, два товарища. В руках они держат по пучку травы. Существовала в лагере какая-то, только

пленным ведомая, «питательная» трава «березка». Толкли ее в котелках, пока она пустит сок, потом размеренно жевали... На нарах, в изголовье каждого пленного, покачиваются маленькие примитивные «весы». Тоненькие фанерные дощечки искусно прикреплены нитками к горизонтальной палочке. На этих весах делят пленные между собой выдаваемый немцами хлеб. Кусок хлеба в сто пятьдесят граммов разрезается на сто, двести долек. Раскладываются потом эти крошки на дощечки и, наколотые на иглу, подносятся ко рту. Смакуется хлеб! Растягивается блаженная минута еды... Тихо, спокойно угасают пленные. Получит обреченный пайку, положит ее около глаз — положу, полюбуюсь — да так и останется лежать навеки. В «Долине смерти» создали немцы непревзойденную систему поддержания людей в полумертвом состоянии. Пленных можно было уже не охранять — дальше одного километра от лагеря никто бы не ушел за целый день...

Растерялись, помутнели Ванюшкины глаза-васильки.

— Мы тоже умрем? — просто спросил он Сергея.

— Нет.

— А как же? Мне уже трудно залезать на нары... а только пятый день тут...

В этот день Сергей подошел к седоголовому иссохшему старику с сохранившимися знаками отличия полковника. Он сидел и что-то писал на обложке книги, каким-то чудом попавшей в лагерь. На приветствие Сергея полковник молча чуть наклонил голову.

— Товарищ полковник, мы знаем все, что погибнем... Вы, наверное, умрете завтра, если не дать вам сейчас кусок хлеба... Я умру через месяц. Я буду дольше всех жить тут, потому что только пять дней тому назад пришел сюда...

Старик спокойно и равнодушно глядел на Сергея.

— Нас шестьсот человек, — продолжал тот. — И если мы со всех сторон полезем на проволоку, то... человек сто останется, может быть, в живых...

— Нет. Я думал... Идите.

— Но почему же нет?

— В одну минуту... четыре пулемета выбрасывают... четыре тысячи восемьсот пуль... Восемь пуль на каждого... Всего нужно перелезть тридцать метров проволоки... Каждый метр — три ступеньки... В минуту — шесть ступенек... значит — пятнадцать минут... Следовательно, сто двадцать пуль... на каждого. Идите...

Как-то вечером, перед тем как должны были закрыть на замок бараки, Ванюшка подсел к Сергею радостный и возбужденный.

— Мы теперь живем, — зашептал он, — вот, глядите! — И опасливо, чтоб не заметили другие, вытащил из кармана пучок ботвы сахарной свеклы. — Ассенизатор мой земляк оказался... возит бочки за лагерь. Каждый день он будет давать нам по столько!..

По ночам Сергей и Ванюшка спали по очереди. Один должен

был сидеть у окна и следить за светом. Бывало, что фонари гасли на несколько минут, и этого было достаточно, чтобы выскочить в незарешеченное окно барака и броситься на проволоку. Шли дни. Силы таяли с каждым часом. В минуты отчаяния грезились смерть...

...Шуршат гонимые ветром скрюченные листья тополей. Сучат в небо черными ветвями мрачные деревья, словно посылая кому-то неведомому молчаливое, но грозное проклятье. Мерзнет в первых числах сентября бескровное тело, нищет его иголками прохлады вечеров. Редко выползают из бараков обреченные. Сидят они на нарах, не проронив ни звука. Люди молчат и не двигаются. Они экономят силы!

— Ты хочешь умереть, лежа на нарах? — спросил Сергей Ванюшку.

— Как все, — тихо ответил тот.

— Но можно иначе... Хочешь?

— Да...

— Завтра, когда придет немец конвоировать ассенизаторов, мы убьем его в уборной. Я переоденусь и выведу вас...

— Но лицо у тебя... и борода.

— Все равно ведь!..

На второй день утром, положив увесистые камни в карманы брюк, Сергей и Ванюшка сидели в уборной. Прошел томительный час рокового ожидания. Два.

— Все бараки, за исключением пятого, — строиться! — прокричал полицейский.

Обхватив друг друга за шею, начали выходить люди из бараков. Строились все вместе на широкой поляне, окруженной бараками и тополями. Пришли немцы с пачкой именных карточек. Вызываемый ими пленный выходил из строя и становился в сторону.

— Капитан Андреев!

— Я.

— Подполковник Полуянов!

— Умер вчера.

— Старший лейтенант Михайлюк!

— В пятом... умирает.

— Лейтенант Костров!

— Я.

— Воентехник Рябцев!

— Я, — отозвался Ванюшка...

— Умер.

— В пятом.

— Умер...

— Умер...

А под вечер двести командиров грузились в вагоны, чтобы ехать в Германию...

Сергей и Ванюшка заняли место у окна, забитого сеткой из колючей проволоки. Вокруг лежали и сидели беспомощные люди, ничем на свете не интересовавшиеся. Да, им было теперь все

равно, решительно все! Но — хлеба, ради бога, один кусок хлеба! Начальник конвоя, гауптфельдфебель, внушительно говорил что-то пленному, вызвавшемуся перевести его слова всем.

— ...и будь в вагоне хоть маленькая дырка, проковырянная гвоздем, — все из вагона будут расстреляны.

Под локтем у переводчика торчала буханка хлеба. Говоря, он не переставал гладить ее рукой, и Сергей был уверен, что многое он еще хотел бы прибавить от себя, желая заработать вторую буханку.

Заскрежетав, закрылись двери. Темнота наполнила вагон. Лишь луна, любопытствуя, заглядывала в окно, и, наколовшись на колючую решетку, лучи ее испуганно разбегались по противоположной стене вагона.

— У нас должны быть два котелка, нож и одна обмотка, — под скрип двинувшегося поезда шепнул Сергей Ванюшке. — Больше в мешке ничего не должно быть!

— Понятно! — ответил тот.

Скрипели, покачивались вагоны, аукал паровоз, испуганно вбегая в лесок, пересекая проселочную дорогу. Сняв тяжелые колодки с ног, Сергей надел их на руки и, ступив к окну, начал изо всех сил колотить ими по сетке. Ванюшка торопливо просовывал руки в лямки вещевого мешка.

— Гра-аждане, да што же это вы заду-умали? — слышался вдруг слабый стон. — Нельзя этого делать, расстреляют всех...

В вагоне поднялся испуганный шепот: угрозы, просьбы, одобрения.

— Хоть один останется в живых!

— Давай, давай, товарищ!

Вдруг к Сергею прыгнул кто-то из угла и, цепко ухватив за запястье правой руки, начал ее выворачивать, силясь отнять колодку. Давно знакомый Сергею холодок отчаянной злобы или безрассудной решимости залил его тело. Во рту стало сухо и горько. Мотнул головой — и помутневшие глаза встретились с бледным, где-то уже виденным лицом.

— А-а, дрянь! — короткий удар колодкой в голову отбросил на прежнее место нелепо дернувшееся тело переводчика. Тяжело дыша, Сергей заговорил прерывистым голосом:

— Кто помешает — убью!.. Открою дверь — уйдете все... кто хочет и может!

Колотили колодки дребезжащую сетку. Рвалась кожа на пальцах, и темные струйки крови теплыми червячками ползли по ладоням.

— Обмотку дай! — бросил Сергей Ванюшке.

За петлю над окном быстро привязал обмотку. Потянул, испытывая прочность. Проталкивая в узкую дыру Ванюшку, Сергей шептал:

— Одной рукой держись... Открывай вагон...

Раскачивается крохотное тело повисшего на обмотке Ивана. Лапает ржавый шкворень двери обессиленная рука.

— Никак! — слышится его голос, срываемый встречным ветром. — Тяжело... упаду сейчас!..

— Отталкивайся ногами! Сильней, ну! — кричит ему Сергей.

Мелькнул сереньким комочком Иван по стенке вагона, черным языком чудовища затрепетала выпущенная им обмотка. С угрожающим шипеньем бегут назад мимо поезда телеграфные столбы, мелькают торчащие у концов шпал обеленные камни.

«Погиб или нет?» — думает Сергей, вбирая в вагон обмотку и подтягиваясь на ней. Царапает спину острая железная рамка окна, с трудом пролезает в него долговязое тело Сергея.

— Давай, давай, парень, не задерживай! — слышит он голоса из вагона и чувствует, как несколько рук уперлись ему в спину.

— Даю, ребята! — кричит Сергей, вываливаясь из вагона и повисая на обмотке.

Упругим резиновым животом наваливается ветер на Сергея. Отталкивает его от двери, баюкает-качает по стене. Пальцы ног впираются в ребристую обшивку досок, мертвой хваткой вросла рука в обмотку, другая судорожно рвет запор двери. Удивленно пляшут издававший виды месяц на змеей извивающийся несущийся состав. До подробностей освещает он старенькие, собранные со всего света вагоны. Спят, наверное, конвоиры, едущие в отдельном вагоне. Не видят они того, что видит месяц... Торопят Сергея люди, столпившиеся у окна вагона, кричат:

— Не надо! В окно вылезем!..

Цапнул Сергей второй рукой обмотку, лягнул пружинистыми ногами бок вагона и, взмахнув руками, закувыркался под откос...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сергей долго лежал не шевелясь. Он не ощущал присутствия своего тела. Кромешная темнота и тишь сжали его со всех сторон. Попробовал открыть глаза — войлок потемок не исчез. До слуха не доносился ни малейший шорох и звук.

«Может быть, это жизнь мертвого?»

Резко дернулся всем телом. В левом боку ежиком зашевелилась острая боль. Глаза и уши по-прежнему ничего не ощущали. Потянул руку к лицу — скребанул ею сыпучее, корявистое.

«В земле я... зарыл!..»

Сидя выковыривал песок из ушей, носа, рта. Глаза еле различали молочный разлив лунного света. На оголенный от кожи лоб прилип песок, кровь запеклась в ресницах, мешая открыть глаза. И вдруг вскочил на ноги, охнул от боли в боку.

«Да ведь прыгнул из вагона!.. Пленный я!..»

Лег на песок и пополз в зелень обочины дороги. Пальцы рук ломали что-то сочное и знакомо пахнущее.

«А-а, ботва сахарной свеклы!»

Набивая ею рот, полз дальше к гряде чернеющих сосен и ку-

старника. Сердце колотило по костям груди, то ли торопя, то ли просясь на отдых. Нырнул в развесистый ивовый куст и несколько минут лежал, только дыша. Тело израсходовало все силы. Наступила депрессия.

Через несколько минут Сергей решительно поднялся на ноги и, потянувшись, беспомощно опустился на колени. Знакомая боль в боку зажала дыхание, отняла всю волю.

«Я должен идти... где-то Ванюшка?..»

Медленно переставляя ноги по одеялу опавших листьев и засыхающей травы, пошел Сергей по опушке рощицы вдоль железной дороги к «Долине смерти». Через двадцать, тридцать шагов ложился на живот, выползал к откосу и глядел на полосы блестящих рельсов в надежде увидеть темнеющий бугорок Ивана. Казалось, прошло уже несколько часов. Около трех километров прошел-прополз Сергей. Ведь договорились: ранее прыгнувший Ванюшка пойдет вслед за поездом по левой стороне дороги, Сергей же — ему навстречу.

«Где же Иван? Может быть, зацепился мешком за вагон... но тогда будут пятна крови на шпалах и песке...»

Выполз Сергей на полотно дороги и, медленно переставляя колени и локти, до рези в глазах вглядывался в запесчаненные спины шпал.

«Где же Иван?!»

Вновь вернулся в кустарник и тигриной поступью двинулся вперед. Тихо вокруг. Где-то далеко лишь лаяла собака, в злобе сбиваясь на визг, да в лунной полутьме трепыхались звуки незнакомой гортанной песни.

«Где же Иван?..»

Осыпает ночь пенлом легкой изморози придорожные огороды. Сверкают при лунном свете плешивые головы кочанов капусты, увесистые шишки кажут из-под листьев ботвы перезрелые бураки. И на синем разливе брюквенного засева увидел Сергей копошащееся мутное пятно.

«А хороша, должно быть, свинина?.. И брюква тоже...»

Сергей решительно направился из кустов и, прыгнув через слежку изгороди огорода, увидел сидящего Ивана. Не переставая жевать брюкву, тот вдруг заплакал, ткнувшись головой под мышку Сергея.

— Я... я не слабенький, Сергей... Это я... ну потому что... Ты же знаешь!..

— Ничего! От радости плакать можно... И больше одной брюквы есть еще нельзя, товарищ воентехник! — успокоенно произнес Сергей.

...Шли вот уже несколько часов. Далеко обходили отдельные, разбросанные друг от друга домики, озираясь, проходили поляны, опасливо раздвигая кусты, пробирались лесом. Нужно было в первую очередь дальше уйти от железной дороги, а там сориентировать свой путь на восток.

Уже близилась ночь к рассвету, когда Сергей и Ванюшка вошли в стройный сосновый и березовый лес. Метрах в ста от

опушки спала погруженная в мертвенную мглу усадьба. Колодезный журавель, вытягивая шею в небо, казалось, вот-вот крикнет песню утра. Было решено попросить в этом доме хлеба. Ближний день загонял беглецов до ночи в густые кусты. Надо было не только экономить силы, но усиленно растить их. Где-то за сотни верст, отгороженная кручами сосен и широкими топяными непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их большая Родина...

Спит усадьба. Лениво жуют жвачку десяток коров, лежащих во дворе. Гроздьями свисают с сосен сидящие на нижних ветвях индюшки. Медленно крадутся две неравномерные тени к дому. В откинутых руках белеют голыши. Знают Сергей и Ванюшка: в доме может жить полицейский, занимающийся убийством советских военнопленных. При попытке задержать их — защищаться до смерти. Вот и нужны голыши... А тут еще усадьба помещика! О, знают бежавшие пленные, что тут нужны увесистые голыши!..

Тихо. Горят отсветом месяца подслеповатые окна дома. Елестит у колодца пятиведерный бидон. В нем оставляется на ночь молоко, чтоб не прокисло в тепле. Подпирают северную стену дома связанные в пучки головки созревшего мака, звенят они при прикосновении, вызывая поток слюны.

— Сорвать бы головочку, а? — шепчет Ванюшка.

— Попросим. Не дадут — тогда!..

Самое крайнее окно полуотворено. Колыхается на нем серая дерюжка-занавеска.

Тут-тук-тук!

Тихо.

Тут-тук-тук-тук!

— Кас тен? * — доносится голос женщины на непонятном языке.

— Будьте любезны, — стараясь еще более онежить и без того тоненький голос, негромко говорит Ванюшка, — вы понимаете по-русски?

В комнате завозились, скрипнула половица.

— Кас ира? **

— По-русски, по-русски понимаете?

— Немного.

Дерюжка откинулась, и в окне показалось лицо молодой девушки.

— Как... что... вы? — испуганным шепотом спросила она, прикрывая грудь ладонями.

— Дайте, пожалуйста, нам хлеба... понимаете? Немного.

— Вы... пленники? Только тише... хозяйин там, — указала она рукой куда-то в темноту и вновь положила руку на грудь.

— Да.

— Как же вам... Я не хозяйка. Работаю у них...

* Кто там? (лит.)

** Кто это? (лит.)

— Как жаль!

— Обождите, — оживилась девушка, — видите там... ну, я не знаю, как по-русски... вон она!..

— Кадка?! — подсказал Сергей.

— Да-да, она. Там сыр. Весь только возьмите. А ее... каткю... опрокиньте — и в сторону...

— Есть!

Приоткрыв крышку кадки, Сергей увидел большую холщовую сумку. В ней лежали лепешки домашнего сыра, туго завернутые в отдельные белые тряпки. Не понимая, зачем это нужно девушке, он пнул ногой перевернутую набок кадку. Шурша и вихляясь, покатилась она по двору и остановилась у колодца.

— Спасибо, милая девушка! Дай бог тебе советского жениха! — обрадованный тяжелой сумкой, пошутил Сергей.

Лес был большой, девственный. Сухой валежник орехами щелкает под ступнями босых ног, колючий кустарник загораживает проходы между стройных сосновых кряжей. Перед утром поблек месяц. Стало темней. Но с востока уже загораживалось небо дымчатым платком наступающего дня. Беглецы расположились в густом крушиновом кусте. Царствовали вокруг тишина и безмолвие, нарушаемые изредка щебетаньем торопящихся к отлету птиц. Съев по одной лепешке сыра, Сергей и Ванюшка принялись обсуждать свой путь.

— Надо идти по ночам. Будет еще долго светить луна. Это плохо. Но луна наш проводник. Она должна быть все время справа, — говорил Сергей.

Самое страшное в лесу — встретить человека. Охотились эсэсовцы на беглецов, терпеливо выслеживали их. Получали бандиты по сто марок за буйную голову бежавшего. Там, где подали беглецу стакан воды, вешали поголовно всю семью и все сжигали дотла.

...Как только сумрак ночи повис над лесом, осторожно вышли из чащи Сергей и Ванюшка и, мысленно прочертив прямую, двинулись в путь. Вторая ночь надежд и свободы! Ведь другими кажутся это бездонное черное небо и голубой пламень тлеющих в нем звезд! Совсем иначе, чем в лагере, гладит сырой сентябрьский ветер сухие, горящие от возбуждения щеки и непокрытую голову, полную вшей. Не чувствует озноба сотни раз избитое, истерзанное тело при переходе вброд илистой реки... Без гримасы в лице вырывают пальцы рук из босой ступни вершковый осколок бутылки... Уютной и мягкой кажется постель из мокрых ольховых листьев в затхлом, тинистом болоте.

К полуночи Сергей и Ванюшка вышли из гряды леса. Путь пересекала шоссеная дорога, за которой расстилалось поле с темнеющими на нем точками домов. Под ногами шуршало жнивье, нелепые тени двигались неотступно с левой стороны. Не любил Сергей собак и по-собачьи злился на них. Услышит шаги лохматка, вылезет из конуры и заведет со скуки волынку-хныканье на долгие часы. Километра три пройдут беглецы, а жестяной дребезжащий брех все катится за ними.

Поле вскоре кончилось. Ноги стали чекать по водянистому лугу. Где-то впереди всхрапывали испуганные приближением людей лошади, отчетливо звякали вязавшие их цепи. Затем показались силуэты двух пасущихся коней, и послышалось короткое «типрру». Ноги сами вросли в землю, но лишь на секунду.

— Останавливаться не надо, — прошептал Сергей. — Это крестьянин пасет лошадей...

Из-за круппа ближней лошади боязливо вышел человек в белых портках и рубахе. Видно было, что он только что покинул дом.

— Здравствуй, хозяин! — приветствовали его беглецы.

— Аш не супранту русишкай. Мано жмона шек тэк... *

Ни Сергей, ни Ванюшка не понимали, что говорит литовец. Но когда, осмелев, тот взял за локоть Ванюшку и повернул его к дому, поняли, что он приглашает их к себе.

— А ты, дядя, не полицейский? — серьезно спросил Сергей.

— О, Езус Мария, не, не! — поняв, замотал головой крестьянин. — На эйнаме! — настаивал он.

— Можно пойти, — сказал, подумав, Сергей. — Ведь в доме не знают, что он встретил нас... не ждут, следовательно. Захожу первым я, потом хозяин, и сзади — ты. В случае чего — вот! — мигнул на карманы с голышами...

Щелкнув задвижкой, хозяин пропустил Сергея. Стукнувшись лбом о косяк, тот вошел в темную, пахнущую табаком избу. Хозяин долго чиркал зажигалкой. Метнувшись, свет озарил его обитель, сплошь увешанную листьями самосада. В углу стояла грубо сколоченная из досок кровать; подвешенная на веревке, болталась зыбка, и, повернувшись спиной к вошедшим, застегивала кофточку женщина.

— Тут, знаешь ли, свои, — буркнул Сергей, и Ванюшка вынул руку из кармана.

— Русские товарищи? — улыбнулась женщина.

— Вы нас извините, пожалуйста, — любезно проговорил Сергей и вдруг на минуту увидел свое отражение в висящем старом зеркальце. Но это же был не он, не Сергей! Коричневый от засохшей грязи и крови лоб, чугунного цвета пятна под глазами и на щеках, всклокоченная, давным-давно не бритая борода и спутанные волосы на голове с прилипшими к ним листьями крушины.

«Как же они не боятся меня? — взглянул он на хозяина. — Это же не лицо!...»

— Иезас не понимает по-русски, — кивнула женщина в сторону мужа. — Да вы садитесь, — продолжала она, — тут никто не видит...

В сумку из-под сыра была всунута коврига хлеба, два куска сала, пучок самосаду и спички. Женщина вышла проводить беглецов, указала, где живут полицейские и как обойти их, где нужно перейти речушку, которая течет вон там, кивнула она.

* Я не понимаю по-русски. Моя жена немного говорит (лит.).

Женщина сокрушенно качала головой, глядя на босые ноги несчастных. Сердечно простившись с гостеприимными хозяевами бедной избы, Сергей и Ванюшка растаяли во мраке...

После этого три ночи не заходили в дома. На четвертую, пересекая лесную лужайку, увидели пасущуюся корову, привязанную за веревку, и под животом у нее крохотного теленка.

— Тпружия, тпружия! — негромко позвал Ванюшка.

Корова ответила доверчивым мычанием.

— Ручная! Подоим немного, — обрадовался Иван.

Сергей с котелком в руках начал подкрадываться к вымени. Ванюшка опасливо заходил спереди. Вымя было влажное и горячее: видать, теленок только что сосал молоко. Сергей потянул издали сосок, и упругая струйка цвикнула к его ногам. В ту же минуту корова решительно отодвинулась, не переставая мычать.

— Дай ей хлеба! — предложил Сергей.

Жуя хлеб из рук Ванюшки, корова позволяла Сергею манипулировать у вымени.

— Скорей, хлеб конч... — и, поднятый за штаны на рога, Ванюшка отлетел в сторону. Задетый копытом, жалобно звякнул котелок, перевернувшись вверх дном. Плонув на требухастый живот коровы, Сергей поспешил к Ивану...

...Дни конца сентября стояли погожие, солнечные. Светлые тихие ночи позволяли беглецам проходить по двадцать — двадцать пять километров. Где-то позади остался крупный литовский город Шяуляй. Лежали на пути Паневежис, Даугавпилс, а затем — родная земля.

От Паневежиса почти до Даугавпилса тянется густой дремучий лес с труднопроходимыми болотами и топями. В последних числах сентября беглецы вступили в него и уже решались идти днем. Иногда в лесу встречались дровосеки. Они угощали путников самосадом, охотно рассказывали новости войны.

Утренние заморозки давали себя чувствовать раздетым, почти голым беглецам. Ложилась изморозь лишь под самое утро, когда первый луч солнца скользил по верхушкам сосен. Тогда коченели ноги, и переставлять их было невмочь. В одно из таких утр Сергей и Ванюшка забрались в сарай, стоявший на опушке леса. Мягкая овсяная солома угрела озябшие их тела, и вскоре они спали сном мучеников и праведников. Но там, где они улеглись, были гнезда кур. Выстроились хохлатки в ряд у подножия вороха соломы и подняли испуганный гвалт. Хозяйка вышла поглядеть причину куриного переполоха. Подставив лестницу, полезла на скирду. Увидев же двух спящих дикого вида людей, она в ужасе скатилась вниз, причитая и охая. Проснувшись, Сергей расталкивал Ванюшку, готовясь к поспешному отступлению. Но в это время из дома вышел еще бодрый старик и смело направился к сараю. Кашлянув раза два на всякий случай, он в нерешительности начал взбираться на солому. Сергей с виноватой улыбкой поднялся ему навстречу.

— Извини, отец... Холодно, зашли вот.

— Невелика беда, служивые! — чисто, по-русски ответил дед. — Зашли б в дом: я да бабка... Лесник я.

Выпили у лесника кувшин парного молока, дал дед Ванюшке деревянные башмаки и долго печалился тем, что нет у ребят берданки.

— Без оружия вам не под стать. Берданка — милое дело!.. Вы ить на Двинск* держите путь? А там эсэсовцев до черта в лесу... Ловят вашего брата, вон оно как!

Научил тогда лесничий беглецов нескольким литовским словам: «пожалуйста, дайте покушать», «где живет старшина и полиция?», «спички», «хлеб», «река», «дорога».

...Пообвыклись беглецы в лесной обстановке, от благополучных встреч с населением притупилось чувство опасности и настороженности. По ночам стали смелей стучаться в окна, с трудом произнося «прашау, докить вальгить». Отдыхали два-три часа в сутки, зарывшись в мох и сухую листву.

— Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет, — вздохнул Ванюшка, когда они вздумали отдохнуть у огромного ветвистого дуба.

— Поздравляю! — пожал ему руку Сергей. — В ноябре мне исполнится двадцать три... К тому времени мы будем у своих!..

— А знаешь, давай устроим праздник!

— Как же?

— Разведем с опушки леса отдельный домик, «спикирую» я в него, попрошу картошки... Наварим мы ее с грибами и вместо двух часов отдохнем... три.

Невозможно было омрачить голубень Ванюшкиных глаз-ва-сильков отказом «устроить праздник».

— Давай, — решил Сергей.

Через минуту меж кустов мелькали выцветшие штаны именинника, пошедшего в «пике». Сергей остался собирать грибы и разведывать канавку с водой.

Проходили часы. Синел жестяной котелок, подвешенный на палочке над горкой сухого хвороста. Дрожала в нем желтая болотная вода, волнуемая тонувшими в ней комарами. Ждал Сергей Ванюшку...

Спокойным и тихим становится большой лес перед наступлением вечера. Веет он тогда торжественной грустью и непонятной жутью безмолвия, стынет в нем зеленый полумрак и дремлет тайна. Лишь изредка до слуха доносится сердитое хрюканье диких кабанов да треск валежника, рожденный промчавшимся лосем...

«Нет, не мог заблудиться Ванюшка!»

Был у них им только знакомый условленный свист. Тихо в лесу. В темноте Сергей побрел в ту сторону, куда ушел Ванюшка. Минут через пятнадцать ходьбы показалась небольшая по-

* Двинск — название города Даугавпилса до 1917 г. (Прим. ред.).

лянка. Близко друг к другу лепились два дома. В окнах одного ярко горел свет. Другой был погружен в темноту.

«Не устроил ли Ванюшка «праздник» в доме?»

Случалось им наталкиваться на крестьян, варивших в лесу самогонку. Всегда те предлагали «чекалдыкнуть»...

«Неужели он мог?.. Но ведь бывает иногда и такое...»

По-пластунски двинулся к освещенному дому. Не треснула под животом ни одна хворостинка, не было ни малейшего шороха, когда поднимался Сергей, чтоб заглянуть в окно. У края стола сидела косматая молодая баба и кормила исполинской грудью ребенка. У двери, образовав треугольник, висели две русские винтовки. Поодаль, у печки, резал самосад бородач староверского образа. Больше в доме никого не было.

«Что за черт! — мысленно выругался Сергей, — кто может жить тут?.. Конечно, полицейские! Ванюшка в их руках!..»

Холодно и горько стало во рту. Лапнула рука карман — шумнула в нем неполная коробка спичек.

«А если Ванюшка связан и лежит там... в доме?.. Ну так я избавлю его от мук и пыток в гестапо! Я сам убью его!»

Не наклоняясь, ломая сухую крапиву у стены дома, в три прыжка очутился Сергей у двух сараев. Там, где они образовали стык, низко свисала крыша, припиленная сухими прутьями орешника. Со змеиным шипением вспыхнула щепотка спичек. Цепкое золото пламени запуталось в выветренных космах соломенной кровли...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Лес стонал глухо и надсадно. Непрерывным потоком хлестал дождь. Чернильная тьма не позволяла видеть на шаг вперед себя. Забравшись в чащу, Сергей потерял направление: шел, зажмурив глаза и протянув руку вперед, щупая сосны и раздвигая кусты. Ноги то и дело по щиколотку вязли в грязь, накалывались на иглы пихты и острые прутья валежника. Вдруг послышался отдаленный собачий лай. Мысли Сергея мгновенно перенеслись в сарай с мягкой овсяной соломой. Прислушивался долго, вытянув шею и склонив голову к земле. Лай повторился. Круто перекинув руки вправо, медленно двинулся вперед. Пальцы рук перестали наткаться на скользкую холодную твердь сосен; сплошной колючий кустарник загородил путь.

Поминутно проваливаясь в колдобины с водой, спотыкаясь о кочки и поваленные буреломом деревья, продолжал Сергей осторожно выбрасывать вперед вконец ободранные, исколотые ноги... Сплел ветер густую сетку из камыша и осоки, рассолодил дождь торфянистую илистую почву, вот и вязнет до колен беглец, шепча проклятья земле и небу... Ухнув, Сергей неожиданно провалился в воду и грязь. «Волото!» — мелькнула страшная догадка, и, напрягая все силы, шарахнулся на четвереньках в сторону. Булькает вонючая вода, заливаясь в узкие глубокие во-

ронки от увязающих ног. Крепки засосы трясины, не желающей выпустить свою жертву. Где же эта тропинка, предательски заведшая беглеца в ловушку? Назад — топь. Влево — трясина. Вперед — вода и осока. Вправо — все вместе. Куда же?

«Вперед!.. в бога мать!.. Идти нельзя! Ужи, ящерицы, черви и прочая болотно-водяная мразь не ходит... ползает она!..»

И пополз, распластавшись в трясине, широко расставляя ноги и руки.

«Физику не забыл, скотина? Ну так дави равномерно всем телом на эту дрянь! Иначе — провалишься!..»

Стартывается псинистый, пузыристый застой к лицу. Как деготь, скользкая и липкая грязь переливается по телу...

«Вперед!»

Залетают в мучительный оскал рта брызги, гуммиарабиком склеивает ресницы волокнистая холодная жидкость, бритвенным острием распарывает перепонки между пальцев осока.

«Вперед!»

Черна октябрьская ночь. Водянисто прибалтийское небо, разбоек осенний ветер.

«В-пе-ред...»

Реже выбрасываются руки-плавники. Долго подтягивается правая нога, пораженная жестокой ревмой в тифу. Не слушается голова, клонится она на мягкую подушку трясины...

«В-пе-е...»

Расстилается перед глазами Сергея зеленая скатерть где-то давно виденного луга. Растянулся он в копне ароматами дышащего сена. Поправляет его изголовье, звонко смеясь, сестренка, сыплет, вкатывает в его волосы незабудки...

«Не надо, Аня... Мне так хорошо... Милая ты, славная у меня сестренка...»

Стоит на пороге мать, протягивая Сергею шарф, умоляет: «Кашлять будешь, родной. Надень...»

«Я сейчас вернусь, мама... Ты жди!»

Осколком разбитого зеркала мелькает перепуганная мысль, заставляет дрогнуть затихающее тело: «В болоте ты! Не отдыхай... Это смерть...»

«Ах да!..»

Хлюп.

Через три минуты:

Хлюп.

Через пять:

Хлюп...

«Какой мягкий наш диван... Ты не умеешь, Аня, вышивать медвежат на подушках... Выключи радио — шумит оно... Какие белые эти березки!.. Как тебя зовут? Ванюшкой? А-а!.. Почему тяжело, душно?.. Болото? Умираю? Сознание... Считай до десяти... Раз. Два. Три. Четыре... Три...».

— Считай, считай!.. Ну, милый, хороший, считай!.. Четыре... Пять... Семь...

— Считай, сволочь!.. Восемь... Девять...

— Считай!

— Счи-та-ай!

— Счи-и...

«Смерть? Жи-ить хочу-у... жи-и-ить...»

— Хлюп.

— Хлюп...

Отдыхающим аллигатором растянута поваленная сосна. Как невиданный осьминог, разбросал-раскидал свои щупальца вывороченный корень.

— Хлюп.

— Хлюп...

Скользким от грязи животом перевалился Сергей через торчащую из трясины ветвь. Руки и ноги погрузились в ил.

«Не засосет... Как уютно и тихо. Сосны не растут в трясине... Значит — берег...»

От ветвей к корню пополз по сосне, скользя и срываясь. Сел на твердой кочке, не в силах ворохнуть ни единым членом.

«Можно застыть... Псдохну сидя. Надо двигаться... Не важно куда... просто двигаться...»

Опираясь на колени и локти, полез в сторону, путаясь в тростнике. Тело сжимали судороги. Вибрировало оно в мелкой нескончаемой дрожи, вызывая потягивание и зевоту.

«Болото. Нужно влево...»

— Болото!

«Некуда. Островок...»

Тогда забился в камыш, сел на колени и, сжимая руками из всех сил бока, попробовал кричать в надежде согреть внутренности.

— А-а-ауу-о-о-ауу!..

Выл нудно, тягуче, и когда затихал — становилось самому жутко.

— Уу-у-ааа-ооо-ууу!..

Тогда была бесконечно долгая ночь. Обесчувственному Сергею казалось, что никогда уже больше не наступит день. Подогнув колени к лицу, он притих, выстукивая дробь зубами...

Мглистое, слезоточащее утро неохотно вступало в болото. Набуянившись за ночь, лес опустился и затих, поникнув мокрыми ветвями сосен. Набрякшие веки не открывались. Растянув их пальцами, Сергей оглянулся, и застланные мутной пленкой глаза резанул красный кафель крыши стоящего в лесу дома.

«Пойду. Все равно...»

До берега не было и двадцати метров. Ступая на кочки, Сергей легко вышел из болота. К дому шел решительно, стараясь ничего не предполагать.

«Хуже смерти ничего не будет!..»

По двору бесцельно бродили еще сонные куры. Громыкнув цепью, к Сергею рванулся рыжий лохматый кобель, и знакомый лай разлился по лесу. Дверь открыл молодой парень, одетый в черный элегантный костюм.

«Попал!» — решил Сергей.

— Пожалуйста! — свободно и просто проговорил парень, закрывая за беглецом дверь. И то, что увидел Сергей, отняло у него способность выговорить слово. Он стоял у порога, оцепенев от изумления, уставившись на стол. Там, рядом с ломтями хлеба и стаканами недопитого молока, зеленела квадратная коробка советского «Беломорканала» и лежала, видать, только что оставленная после чтения «Правда».

— Пожалуйста, проходите вперед. Но... минуточку, вы мокрый и... Соня, Соня! Приготовь побыстрее белье и все верхнее... Да садитесь же!

Сергей подошел вплотную к парню и, тяжело дыша, прохрипел:

— Скажите... откуда это?

— Только что ушли три товарища. Парашютисты ваши...

— Куда? — почти крикнул Сергей, не дав тому договорить.

— Понятно... в лес.

Толкнув грудью дверь, Сергей прыгнул из дома и, не обращая внимания на рвавший тело сухой кустарник и хлеставшие по лицу ветки сосен, побежал задыхаясь вперед, в самую чащу леса.

«Конечно, они там! Куда же они еще?»

Был почему-то уверен, что вот пробежит еще пять-десять шагов — и мелькнут между сосен каплями родимой крови пятиконечные звездочки. Они вернут истраченные силы, они дадут жизни!..

Молчит, злорадствует лес. Шепчут что-то невыразимо пошлое и нелепое друг дружке сосны, высоко оголив мясистые красноватые бедра.

— Ого-го-го! — закричал Сергей. — Това-аа-ри-ции! Ре-бя-та-аа!..

Молчит лес. Шушукуются, издеваются сосны. Тогда грохнулся на опавшие сырые иглы и затрясся в судорожных рыданиях, вцепившись зубами в высохшую кожу рук...

...Вновь установились погожие дни. По ночам звезды роняли на озимь полей седой бисер крепких заморозков. Затягивались лесные канавки пленкой еще робкого льда. Не выдерживал уже Сергей дневки в лесу. Перед рассветом, отшагав за ночь десять-пятнадцать километров, выбирал стоящий на опушке леса сарай и забирался в солому. Собираясь в путь, обматывал ноги кусками попоны, взятой им в одном сарае. Из этой же попоны смастерил себе и нечто вроде плаща-накидки. Попона была ярко-красного цвета, с клетчатыми протоками черной шерсти.

— Я похож на испанского мавра, — пронизировал над собой беглец.

Заходя в дом за хлебом, Сергей пользовался уловкой, не раз спасшей ему жизнь. Видя явное нерасположение хозяев кулацкого дома и угадывая их намерение задержать пленного, он смело просил хлеба на восемь человек.

— Семь моих товарищей за вашим домом... Ждут.

По паневежисской округе разнеслась весть, что неделю тому

назад были сожжены два дома полицейских, задержавших одного беглеца. Пожар вспыхнул с вечера, когда полицейские везли связанного «пленчика» в Паневежис.

«Я достойно отомстил за Ванюшку», — думал Сергей.

Прошло пятнадцать дней с тех пор, как Сергей остался один. Около ста пятидесяти километров прошел он, оставив далеко позади Паневежис. Однажды, проголодавшись, решил Сергей постучать в окно одиноко стоявшего домика близ шоссеной дороги. Сквозь неплотно прикрытые ставни в темноту ночи медными вязальными спицами пронизывался свет. Сбросив «плащ» и положив его под окном, Сергей постучал в ставню. Через минуту щелкнула задвижка, и к Сергею двинулась темная фигура.

— Простите, вы говорите по-русски?

— Немного.

— Я прошу у вас кусок хлеба...

В это время в сени вышли два молодых парня в исподних рубахах и галифе. Ранее вышедший живо начал что-то объяснять им, показывая на Сергея. Один из тех поспешно вернулся в дом, другой стал сзади беглеца.

«Эсэсовцы!» — подумал Сергей. Мозг лихорадочно искал выхода. Пальцы рук стали липкими и холодными.

— Ранки наверх! — по-литовски и по-русски крикнул выкашившийся в сени бандит, ткнув дуло винтовки в грудь Сергея.

— Ужейк и троба! *

Сергей протиснулся в дверь и, оставляя следы на полу запеленутыми в тряпки ногами, прошел в угол. Комната была маленькая, но опрятная. Слева от двери стояла кровать, справа — стол и два стула; на полу была разостлана постель, и на ней спали два эсэсовца...

Введшие Сергея стояли у двери, о чем-то совещаясь.

— Что они со мной хотят делать? — обратился Сергей к хозяину.

— Отправят завтра в волость. В полицию...

— А-а!

Сидит, чешется Сергей обеими руками. Без стеснения залезает в разрез гимнастерки и в штаны, трется о спинку стула.

«Только бы не положили спать в комнате!» — думает он.

Исподлобья уставился на него хозяйский сынишка, с гримасой отвращения поглядывает жена.

— Что у тебя? — спрашивает хозяин.

— Короста... Знаете, такая? Ну, чесотка... И вши. Полтора года в бане не был... Много вшей... ходят поверху. Остаются, где сижу... При огне не видно только...

Перевел хозяин слова Сергея. Всплескивает руками жена его, слышит Сергей частое: «Езус Мария, Езус Мария!» Возится хозяин с фонарем, гремит жестяной его дверцей, прилаживая ога-

* Заходи в дом! (лит.)

рок свечи. Осторожно протягивает Сергею хозяйка кусок хлеба, боится прикоснуться к его рукам.

— Пойдем спать! — выпрямляется хозяин. — Только спички оставь тут. Завтра получишь в полиции...

Сарай был большой, заваленный еще не обмолоченными овсом и рожью.

— Ложись тут!

Звякает замок, закрывающий беглеца. Слышатся шуршащие удаляющиеся шаги. Холодно без «плаща». Сквозит ветер в щели неплотно сдвинутых бревен, что образуют стены сарая.

— Подождем еще! — шепчет Сергей. — Погреемся пока...

Набивая рот хлебом, занялся гимнастикой.

— Раз-два... Делай: раз-два! Раз-два! Раз-два!..

С чувством и толком заправистого мужика, знающего свое дело, опробует Сергей каждую бревнину. Покачивает ее, потягивает вверх, узнает: глубоко ли сидит она в земле. Крепко затрамбована земля, ладно подогнаны бревна — надо копать. Растопырив руки, пошел в темноте вдоль вороха соломы. Огромная звучная оплеуха отбросила его в сторону. Оранжевые живчики запрыгали в глазах.

— Да ведь грабли это! Наступил я...

Переломанные на четыре части, служат грабли Сергею. Ковыряет он землю палкой, затихает по временам, прислушиваясь, и вновь скребет пальцами слежавшийся за годы грунт.

— Нажми, товарищ Костров!

— Есть, товарищ лейтенант!

Обламываются, кровавятся ногти. Растет под коленями бугорок выхлой земли. Растит он силы Сергея.

— Две минуты перерыв.

— Есть!

— Приступай.

— Есть!

И все, что было в костях и сухих мускулах тела, вложил в цепкие руки Сергей. Тянут они бревно до ломоты в локтях; нехотя, шатаясь, поддается бревно нечеловеческим усилиям.

— Еще нажим — и...

— Есть еще нажим!

А когда бревно вынулось без особых усилий, Сергей осторожно выставил его на улицу, протиснулся боком в дыру и, минуту подумав, взвалил бревно на плечо. Ступая на носки, подошел к дому. Неслышно составил бревно, подперев им дверь, и, подхватив «плащ», отошел от дома. На опушке леса, в звенящих от ветра кустах орешника, погрозил кулаком в темноту по направлению дома.

— Гады! Русского офицера так не возьмешь!..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

После оккупации Литвы в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками в тюрьмах, в лагерях, на виселицах замаячили

крестьяне. Зачернели дровяным пеплом полянки от сожженных дотла хуторков. Тогда повезли крестьяне в город битых свиней, индюков, телят в обмен на какое-нибудь старое ружьишко, обрез. Попритаились в овсяной соломе винтовки и даже пулеметы.

— Пригодится, дай срок!..

Изменились, улучшились отношения крестьян к беглецам из плена. Оглядываясь, чтоб не видел полицейский, вдоволь накормит мужик «пленчика», многое порасспрашивает у него.

— Послушай, товарищ. А скоро ли товарищи-то придут?

— А что?

— Да поскорей надо бы...

— Помогайте!

— Да если б товарищи были поближе... Видней дело и сподручий тогда... Товарищ, а говорят тут вот мужики, что будто Гитлер миру запросил. А товарищ Сталин говорит ему: «Я не Миколай Второй!» Правда аль нет?..

...Чертил Сергей поля и перелески узким, извилистым следом отказавшейся слушаться правой ноги. Раздулась она от колена до пальцев, заплыли щиколотки глянцевиной синевой опухли, и ноет нога непрерывно — тупо и надоедливо. Надавит Сергей пальцами — и надолго остаются точки-вмятины на ступне.

«Эх, отвалилась бы ты к черту! — желает он, растирая ставшую как полено ногу и тоскуя по русским резиновым сапогам и автомату. — Если бы это!..»

Ночью снял вожжи, вязавшие на лугу лошадь, и замоталими «плащ» на ноге. В ступу превратилась нога, и лишь с помощью рук удавалось переставлять ее. Невидимыми иглами прокалывает октябрьский ночной ветер худое тело под дырявой гимнастеркой.

— Хорошее дело — «плащ», — грустно шутит Сергей.

За ночь прошел не больше трех километров. Приступы жгучей ломоты в ноге туманили мозг, бешеными толчками колотили сердце, заставляли подолгу сидеть.

«Но где же лес?»

Уже сизое крыло рассвета с половины неба смахнуло пыль ночных потемок. Недоспелый вишневый сок зари разлил восток на горизонте.

«Где же?..»

Там, где белел опушенный инеем луг, у самой обочины группы низеньких домиков, серели копны сложенного на зиму сена. И чтобы добраться до них, нужно было пройти около трехсот метров по озими поляны, на виду у просыпающихся поселян. Как загнанный зверь, побрел Сергей к лугу. Шел, стараясь не взглянуть в сторону домов, кляня в душе не вовремя разболевшую ногу. Проснувшиеся лохматки зачужали беглеца и, как по сигналу, подняли со всех концов испуганный, жалующийся лай. Не перестали они и через полчаса, когда Сергей подошел к копне сена. А когда затиснулся в сенную мякоть — выглянул в сторону домов и мысленно простился с беглецом Сергеем Костровым. От самого дальнего от Сергея дома, колотя пятками пузатую чалую кобыленку, охлюпкой поскакал мужик куда-то в

сторону от хутора. У дома толпилось несколько человек, помахивая руками в сторону копны сена.

Около двух часов гладил-растирал Сергей ногу, равнодушно обернувшись спиной к хутору. Было теперь все равно: ни бежать, ни защищаться он не мог... В полдень к крайнему дому подошли трое полицейских. Они долго о чем-то совещались, потом, взяв винтовки в руки, нерешительно направились к Сергею.

— Эй, бальшавикас! Шаутувас ира? * — крикнул один из них, остановившись метрах в пятидесяти от копны. Два других сзади, то приседая, то выпрямляясь, следили за малейшим движением Сергея.

— Ты бы тогда не мозолил мне глаза, фашистская гнида! — ответил Сергей, зная, что значит «шаутувас» по-литовски.

— Кас?

Знал Сергей, что полицейские почти всегда убивали пленных при задержании. Правда, лишались они при этом половины наградных (за убитого пленного фашисты платили пятьдесят марок), но, видимо, инстинкт бандитизма брал верх над чувством наживы...

Выстрелив по разу для поднятия своего боевого пыла, полицейские, однако, продолжали стоять на месте.

«Хотят живьем взять», — подумал Сергей, продолжая растирать ногу.

— Эйк ченай, китаип — нушаусим! ** — хором закричали полицейские. Но, видя, что Сергей не двигается с места, решил тогда один из них на акт «героизма». Он взял на прицел винтовку и пошел к Сергею.

— Эх ты, мразь вонючая! — скрипя зубами, шептал Сергей, трясая от злобы и отвращения, видя чуть держащегося на ногах от страха полицейского, наставившего на него винтовку.

...Вывернули карманы у Сергея полицейские, долго разглядывали на его ноге «плащ», потом, взяв пойманного под руки, повели в крайний дом старшины. А через час, лежа вниз лицом со связанными сзади руками, трясся Сергей в телеге по пути в волостную тюрьму.

Начальник Купишкинской полиции, тучный низкорослый кретин, из всех сил хотел казаться опытным криминалистом. Придерживая мизинцем и указательным пальцем чистый лист бумаги и размеренно постукивая карандашом по столу, допрашивал он Сергея. У локтя его правой руки лежал дулом на Сергея парабеллум; короткий, желтой кожи хлыст демонстративно висел над низеньким облезлым шкафом его кабинета. Полицейский знал русский язык и хриплым от самогонки и тягучим от умыленной рисовки голосом пел:

— Фами-и-лия?

— Русиновский.

* Эй, большевик! Винтовка есть? (лит.)

** Иди сюда, иначе — застрелим! (лит.)

- И-мя?
- Петр.
- Из какого ла-агеря?
- Не был в лагере.
- Парашюти-и-ист? — удивился полицейский.
- Н-нет.

Карандаш медленно катится по столу и застревает у пепельницы. Рука допрашивающего лапает парабеллум.

- Парашютист?
- Нет!

Переваливаясь, полицейский подходит к Сергею. Правая рука прячет за бедром револьвер.

- Давно в Литве?
- Отправьте меня отсюда.
- Последний раз: давно у на-ас?
- У вас? У кого это?
- Ахх!

Брызнули снопом горящие искры из глаз, рванул Сергей связанные руки, и повисли на запястьях бескровные шматки кожи.

- Убью до смерти... Говори-и!
- Говорить буду с немцами... с твоими хозяевами, холуй!..
- Ахх!
- Ахх!
- Ахх!

...Память вернулась к Сергею в деревянном склепе с крошечным зарешеченным окошком. Из левого уха тонкой струйкой сочилась кровь и, собираясь в ямке впалой щеки, застывала, свертываясь. Затекли, устали связанные руки; давняя мучная пыль с пола щекочет нос, бьет тело чиханием.

«Какая же теперь моя фамилия? — силится вспомнить Сергей. — Росса... Росса...» Твердо помнил, что его зовут Петр. Мгновенно придуманная тогда в кабинете полицейского фамилия вытекла вместе с кровью изо рта.

На второй день в Купишкисе был базар. Путь к станции лежал через торговую площадь, заставленную телегами, усеянную бабами и мужиками. Вид шагавшего впереди двух полицейских окровавленного Сергея привлек любопытство сердобольных торговок. Не обращая внимания на угрозы полицейских, совали они в его карманы кто морковку, кто сырое яйцо, кто лепешку...

От местечка Купишкис до похожего на него Субачай — сорок километров. Но по тому, как пренебрежительно субачайские полицейские относились к купишкинским, понял Сергей, что первые дают вторым пять очков вперед. Так это и было. Лишь на третий день, когда Сергей освоился с субачайской тюрьмой, дверь его одиночной камеры с шумом отворилась и на пороге в сумерках вечера застыли три фигуры в черном. Сергей поднялся с пола и встал у решетки окна.

— Ты нам расскажешь, мерзавец, что делал в Литве! — приближаясь, начал один в черном. — А? Расскажешь?

— Я шел.

— Куда?

— На мою родину...

— Родину-у? Мы тебе дадим ее... Атришките ям ранкас! *

Стоявшие у порога прыгнули к Сергею, и перерезанная на руках веревка мягко упала к его ногам.

— Сук! **

Кости хрустнули в плечах и локтях, и от неожиданной боли Сергей стукнулся коленями об пол. Руки его теперь покоились на спине, у остро выпятившихся лопаток. В ту же секунду короткий удар в челюсть опрокинул Сергея навзничь, а вскинутые при падении ноги стали загигаться полицейскими к животу. Пузырилась пенистая кровь на губах, со свистом и хрипом втягивался воздух. Дыша трупным запахом самогонного перегара, совал в запрокинутое лицо Сергея отрывистые бессвязные слова полицейский:

— Где ты был, а?... Сколько вас, скажешь?..

Колени Сергея, с сидящими на них двумя полицейскими, сплюснули внутренности, и что-то колющее хватко зажалось сердце, легкие, грудь... Покатав пинками бесчувственное тело по полу, полицейские со смехом захлопнули за собой дверь камеры.

На третий день после этого сеанс допроса повторился. Не раз рвавшаяся лента памяти Сергея сохранила новые кадры старого фильма. Как и тогда, он с трудом поднялся на ноги и бессознательно отошел к окну. Почему он это проделывал каждый раз, когда слышал шаги у дверей, — он не знал. Может быть, потому, что там было немного светлей и вошедшие могли угадать в нем человека?..

И опять двое в черном остались у дверей, а один направился к Сергею.

— Курить хочешь?

— Нет.

— На!

Полицейский протягивал толстую папиросу. Сергей, ухватившись руками за решетку, не двигался.

— На, говорю!..

Рожденные светом нелепые тени запрыгали на стене. Отступив на шаг, тянул человек в черном к губам Сергея вспыхнувшую зажигалку.

— Пофф!

Желтовато-мутный пламень взрыва окутал голову, затрещал в бороде, выщипал веки и брови. Сладковатый дым пороха застрял в горле и легких. Руки опоздали схватиться за лицо. Деревянный удар между глаз в переносицу кинул голову на решетку окна, потом на пол.

* Развяжите ему руки! (лит.)

** Крути! (лит.)

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В самом центре Паневежиса, в лучшем городском здании, разместилось гестапо. Плещется над серым домом черное пятиметровое полотнище, наискось перерезанное белыми молниями букв СС. Жуткими, не вмещающимися в голове поверьями инквизиции веет от этого знамени смерти. Машет оно зловещим крылом ночного хищника, отпугивая на противоположную сторону прохожих... А за двести метров от гестапо, прямо у края городского парка, высится красное четырехэтажное здание тюрьмы.

...Скользя босыми ногами по обледелым булыжникам мостовой, Сергей прошел в подъезд гестапо. Мокрый порывистый ветер рвет подол его гимнастерки, оголяет синюю кожу запавшего живота. Часовой у дверей гестапо дернул плечами, взглянув на ноги Сергея:

— Кальт, менш? *

Минут через пять в подъезд вернулся один из конвоировавших Сергея полицейских с синей бумажкой в руках. То был ордер на водворение Сергея в Паневежскую окружную тюрьму.

— Эйнам! **

Вновь заскользили ноги — теперь уже по асфальту мимо жиденького парка. В городе зажигались редкие синие огни; на оголенных деревьях парка с криком рассаживались на ночь грачи. Привратник, в дубленом тулупе и накинутом поверх брезенте, лениво распахнул железные ворота.

— Эйнам!

Дежурный надзиратель полулежал на диване. Две женщины-арестантки мокрыми мешками протирали кафельный пол канцелярии. Не вставая, надзиратель вертел перед носом синюю бумажку, потом махнул рукой. Полицейские, круто повернувшись, вышли.

— Тэйп, тэйп! *** — таинственно произнес принявший Сергея, вставая и потягиваясь до хруста в костях.

— Су гинклу паэме? ****

— Не понимаю.

Стуча подковами сапог, надзиратель вышел из комнаты. Не поднимая головы, женщина тотчас проговорила:

— По синим стреляют. Нас тоже. Считают...

И перешла вдруг на литовский язык, обращаясь с каким-то вопросом к товарке: в дверях в это время показался надзиратель и с ним одетый в штатский костюм.

— Пойдем! — обратился тот по-русски к беглецу.

* Холодно, человек! (нем.)

** Идем! (лит.)

*** Так, так! (лит.)

**** С оружием взяли? (лит.)

В комнате, куда вошел Сергей, стоял единственный черный стол и одна табуретка. Усевшись, штатский разложил листы бумаги и приказал Сергею раздеться догола. После того, как были отмечены все родимые пятна, шрамы от увечья и особые приметы Сергея, штатский начал задавать вопросы:

— Фамилия?

— Рус... Русиновский.

— Лет?

— Двадцать три.

— Мне с тобой тут не до шуток, понял? Мальчиком прикидываешься? Поздно...

— Мне двадцать три года!

— Бреешь, сволочь! Какой веры?

— Самой глубокой.

— Дурак! Веры какой, понимаешь?

— Я сказал.

— Идиот!

...Через час надзиратель повел Сергея из канцелярии. Пройдя несколько железных ворот, которые не торопясь и величаво открывались привратниками, Сергей вошел во двор тюрьмы. Огромное угрюмое здание было окутано густым мраком. Лишь над низенькой входной дверью в тюрьму мерцала синяя электрическая лампочка. Надзиратель шуршал пальцами по угловым кирпичам стены. До слуха Сергея откуда-то изнутри тюрьмы донеслись короткие тревожные звонки и звук вставляемого в замок ключа. По крутой лестнице взойшли на третий этаж. На стук надзирателя взвизгнул отодвигаемый волчок, затем громынула открываемая дверь, ведущая в коридор. Мрачный, в полутьме он казался нескончаемо длинным. В строгом порядке друг против друга густо маячили железные двери камер. «33», «35», «37», «39», «41» — пестрели жирные нечетные номера с противоположной Сергею стены. Перебросившись короткими фразами с коридорным смотрителем, сопровождавший Сергея вышел. Коридорный подвел Сергея к камере с цифрой «39». Огромный, похожий на пистолет ключ долго торкался около отверстия замка, выстукивая своеобразную азбуку Морзе. Наконец замок щелкнул, тяжелая железная дверь бесшумно открылась, и Сергей вошел в камеру. Там царил полумрак и вырисовывались мутные пятна лиц заключенных. Сергей нерешительно попытлся в угол и уперся ногой в киснувшую там парашу.

— Осторожно, отец, утонешь! — услышал он веселый голос.

— Вы русские? — обрадовался Сергей.

— Тут, дядя, со всех концов... и не принято расспрашивать — как, когда, откуда... понял?

В первый же вечер Сергей был тщательно посвящен в тайну жизни заключенного. Во-первых, он получит вот такие же, как у всех, серый халат и колпак на голову, деревянные башмаки, матрац, миску и ложку. По утрам в шесть часов он будет получать сто пятьдесят граммов хлеба, в обед и вечером — по поллитра теплой воды. Завтра его, наверное, поведут на допрос

в гестапо. И если он вернется оттуда, то дня через три, после переваривания резиновых бананов, пойдет на работу на сахарный завод, что в четырех километрах от Паневежиса.

Ночью, когда глаза Сергея мозолила оловянная темнота камеры, рука соседа осторожно толкнула его в бок.

— Не спишь, земляк? — послышался шепот.

— Нет.

— Слушай: поведут на допрос, то... если заведут в подвал такой с водой — не бойся. По грудь только. Ну, само собой, холодная вода и тело режет так... Теперь: налево что дверь — там стреляют... Только мимо головы, на вершок так... Словом, дураков ищут, понял? Ну, так ты понимаешь... пожилой человек... выдать там кого — не надо... Сам знаешь...

Шепот затих, и минуту лежали молча. Сергей грустно улыбнулся в темноту словам: «пожилой человек... сам знаешь».

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросил он соседа.

— Ну, сколько есть... Тридцать восемь, сорок, может...

— Через двадцать дней примерно мне исполнится двадцать три...

— Да ну-у? — удивился сосед и приподнялся на локоть. — Ох и испаскудили ж тебя, парень!..

В шесть часов в коридоре загремел бак с «завтраком». Заключенных выпускали покамерно, и они, получив «довольствие», ныряли обратно в камеры. В семь часов тюрьма выходила на работу.

...Камера Сергея насчитывала одиннадцать шагов в длину. Налево от двери по всей стене протянулись двухэтажные нары. Направо — длинный узкий стол и в углу — параша. Свободного прохода было ровно на два человека. Оставшись один, Сергей принялся сочинять свои показания в гестапо. Да, он бежал с транспорта, когда их везли с фронта, только что взятых в плен. Ни в каком лагере не был. Фамилия — Русиновский. Имя — Петр.

Медленно и нудно текут минуты. Ни единый шорох, ни малейший звук не проникает в камеру. Под самым потолком лепится окно. Даже высокий Сергей не в состоянии дотянуться до него рукой. Откуда-то из глубины существа поднималось незнакомое Сергею тягостное чувство равнодушия ко всему. Не хотелось ни есть, ни жить. Нет на свете хуже тех минут, когда человек вдруг поймет, что все, что предстояло сделать, — сделано, пережито, окончено!.. Прислонив горячий лоб к слизистой стене, Сергей долго стоял, освобожденный от мыслей и желаний. Вдруг его слух коснулось размеренное позвякивание. Звуки ползли откуда-то снизу по стене: «Тук-тук... тук-тук-тук... тук... тук-тук-тук-тук...»

Сергей поднял голову, прислушиваясь. Прерывистая цепь звуков продолжалась. «Э-э, так это же с первого этажа! — вспомнил Сергей вчерашний разговор, — подо мной ведь камера смертников!» Сергей не знал тюремного разговора перестукива-

нием. А то можно было б утешить смертника, отвечая ему стуком по канализационной трубе.

Продолжая ловить звуки непонятной жалобы или просьбы обреченного, Сергей в первый раз осмысленно взглянул на стену. Вся она, от низа и до той верхней границы, куда доставала рука самого высокого человека, была исцарапана надписями на русском и литовском языках. Были тут горячие просьбы сообщить родным по такому-то адресу о том, что их сын, отец, брат — расстреляны в Паневежской тюрьме тогда-то и тогда-то. Были мужественные слова — проклятья убийцам. Были куплеты красноармейских песен, и были саратовские непечатные частушки... И Сергей поймал себя на мысли, что ни одну книгу, ни один самый замечательный роман он не читал с таким вниманием и чувством, как этот огромный корявый лист-стену из книги-жизни... На отлете от всех записей, в самом левом углу стены, как бы эпиграфом ко всему последующему, энергичные карандашные буквы выстроили столбик стихотворения. Видно было, что автор не раз очинял карандаш, пока кончил писать. Строчки куплетов то мерцали сизым налетом, то сбивались на бледные, еле заметные царапины. Сергей прочел:

Часы зари коричневым разливом
Окрашивают небо за тюрьмой.
До умопомрачения лениво
За дверь ходит часовой...
И каждый день решетчатые блики
Мне солнце выстилает на стене,
И каждый день все новые улики
Жандармы предъявляют мне.
То я свалился с неба с парашютом,
То я взорвал, убил и сжег дотла...
И, высосанный голодом, как спрутом,
Стою я у дубового стола.
Я вижу на столе игру жандармских пальцев,
Прикрою веки — ширь родных полей...
С печальным шелестом кружась в воздушном вальсе,
Ложатся листья на панель.
В Литве октябрь. В Калуге теперь тож
Кричат грачи по-прежнему горласто...
В овинах бубликами пахнет рожь...
Эх, побывать бы там — и умереть, и баста!
Я сел на стул. В глазах разгул огней,
В ушах трезвон волшебных колоколен...
Ну ж, не томи, жандарм, давай скорей!
Кто вам сказал, что я сегодня болен?
Я голоден — который час!..
Но я готов за милый край за синий
Собаку-Гитлера и суком ниже — вас
Повесить вон на той осине!..
Жандарм! Ты глуп, как тысяча ослов!
Меня ты не поймешь, напрасно разум сия:
Как это я из всех на свете слов
Милей не знаю, чем — Россия!..

...Чердак тюрьмы был полностью завален носильными вещами расстрелянных. Еще ни разу не вызванный на допрос, Сергей второй день раскладывал по порядку эти вещи. Пехотинские, артиллерийские, саперные, наркомвнутделские, летные фуражки и пилотки; сапоги, ботинки, краги, обмотки, брюки, гимнастерки, шинели, венгерки — должны были быть сложены в одну сторону чердака. Пальто, шапки, сорочки, шляпы, плащи, жакеты, юбки, платья, сарафаны, бюстгалтеры, трико, ночные женские рубашки — в другую. Начальник вещевого склада тюрьмы, уходя, закрывал на замок Сергея. Но через час-другой он возвращался и, ссутулившись на стуле, неподвижно глядел куда-то в угол. Путаясь в бюстгалтерах, Сергей тогда чувствовал, что нервы его расшатаны и натянуты до крайности. Вот-вот лопнут они, как тогда там, в лесу, когда он звал парашютистов... Не проходя, в горле, у самого кадыка, застрял комок чего-то горького, щекочущего нос и щиплющего глаза. И не выдержал:

— Иш-то, господин начальник? Мерещутся? — кивнув на красноармейские фуражки, задрожал он. — Не дают мертвецы спать? Жить! И не да-дим! Вот! И детям вашим... тоже!.. Никогда! Каких людей... стихи на стене... Подлюги... вашу в христа мать!.. На, на! Мерзавец! Снимай мои штаны! Я вам...

И, в бешенстве полосуя гимнастерку, захлебнувшись в сизой пене, бьющей изо рта, забарахтался в ворохе фуражек, колотя по ним пятками босых ног...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Возвращаясь с работы, однокамерники Сергея приносили в мотнях тюремных штанов по одному и по два сырых бурака. Узбек Муса ухитрился как-то печь бураки на заводе и, разрезав их на ломтики, раскладывал по всем дырам халата. Вечером угощали Сергея.

— С бураков поправляются, Русиновский! — шутил щербатый Петренко, — и ощущение бананов другое. Бураки способствуют организму обретать нечто лошадинее...

До вечерней покамерной поверки заключенные должны успеть сделать уборку в камере, вынести в уборную парашу, получить «ужин», съесть его и к десяти часам выстроиться по ранжиру у стены. Поверяющий надзиратель, с чувством достоинства и превосходства, тыкал пальцем в грудь каждого и, отметив наличие заключенных, гордо покидал камеру. И тогда наступали роковые пятнадцать минут ожидания свистка отбоя. Это были самые жуткие минуты! Затаив дыхание все смотрят на дверь. Вот-вот откроется она — и назовутся несколько фамилий. Сдав вещи, те люди переводились в камеру смертников, а в четыре часа пятнадцать минут утра за ними приезжали из гестапо...

Никто из заключенных тридцать девятой не знал своей участи, и как только раздавались начальные всхлипки свистка, на-

пряженные до крайности тела невольно расслаблялись, люди глубоко и устало дышали:

— Сегодня живы!

После свистка молча расползались по нарам, цокала выключаемая из коридора лампочка, и в наступившей темноте слышались глубокие, вызванные мучительным раздумьем вздохи.

— Не спишь, Петренко?

— Как и ты.

— Говорят, немцы при расстреле на коленки ставят и поворачивают затылком к себе...

— Разве это меняет дело?

— Да не то! Видно, совесть их, што ль, начинает мучить... все-таки глядеть в глаза...

— Совесть? У немцев? Ты сам додумался до этого или как?

— Сам.

— Дурак!

— Может быть... А слушай, Петренко... ты как будешь... ну, стоять на коленях... или...

— Умру стоя!..

— И я...

Успокоенный на этот счет Муса поворачивался на другой бок и принимался в темноте трещать сырыми бураками...

На пятый день заключения Сергея, в послеповерочные минуты ожидания, загремел замок тридцать девятой камеры.

— Бакибаев Муса!

Молчание.

— Серебряков Владимир!

— Петренко Иван!

— Григоревский Антон! Сдать все!..

Дверь захлопнулась. Онемев, все продолжали стоять, как и прежде. Что и кому можно было сказать теперь? Пошатываясь, первым вышел из строя Петренко.

...В городе не по-ноябрьски ярко светило солнце. Нарочно стараясь продлить время, Сергей лениво волочил деревяшки по мостовой. В трех шагах сзади шел с автоматом немец. От угла парка улица уходила вниз, к мосту, и, перебежав его, круто поднималась в гору. Мимо Сергея тряслись, ежеминутно понукаемые, извозчицьи клячи. Заламывая поля шляп, удивленно пялились на Сергея выдергивавшиеся из пролеток седоки.

У подъезда гестапо стоял новенький жукообразный лимузин. От входных дверей до его задних колес расхаживал часовой с неизменно длинной винтовкой. Конвоир ввел Сергея на второй этаж.

— Зетц хир! * — указал он на стул в коридоре и, нерешительно щелкнув пальцами в дверь, скрылся за нею. Но через минуту он вернулся и все тем же бесстрастным тоном, не глядя на Сергея, приказал:

* Садись сюда! (нем.)

— Ком! *

В обширной, заставленной коричневыми шкафами комнате было мало света. Комната выходила окнами на северную сторону дома и располагалась в самом конце коридора. Сергей не заметил, как вышел его конвой и он остался с двумя сидящими, видимо, в ожидании его, офицерами. Две фуражки лежали на столе, обращенные к Сергею кокардами, изображающими череп с зияющими отверстиями глазниц и скрещенными костями под ним. Офицеры дымили сигаретами, не обратив ни малейшего внимания на вошедшего. Сергей равнодушно оглядывал комнату, засунув руки в карманы длиннополого халата. Идя сюда, он был уверен, что увидит какие-нибудь приспособления для пыток. На самом деле в комнате ничего подобного не было. В середине самого интересного разговора, как это казалось Сергею по интонациям, один из гестаповцев быстро повернул голову к Сергею и сказал:

— Садись, товарищ!

Слова родной речи трепыхнулись испуганным голубем и потерялись в потоке гортанных непонятных звуков продолжавших разговаривать немцев.

— Сидеть не могу.

— Почему же?

— Раны там, — занес назад руку Сергей.

— Ах, это то, что в лесу?

— Нет. Палач в тюрьме...

— Ты — Петр Русиновский? Это... это с группой в десять?

— Один.

— В Рокишках?

— В Купишках.

— В августе?

— Двадцать шестого октября.

— Ты не похож на русского... Арийский лоб, но худой. Пожалуйста, ром!.. А сколько времени?

— Двадцать пять дней.

— Это какого же числа?

— Мм... в сентябре.

Допрашивающий сидел за столом боком и ни разу не взглянул на Сергея. Зато второй не спускал с него белесых навывкате глаз, которые «говорили», что он ни слова не понимает по-русски. Он сторожил мимику лица Сергея.

— Нет, нет. Лет сколько?

— Двадцать тр...

«Дурак, — мелькнула запоздавшая мысль, — за двадцать пять дней, проведенных в лесу, такая борода не вырастет у двадцатитрехлетнего...»

— Двадцать восемь.

Допрашивающий снял с рогаток чернильницы неотточенный карандаш и осторожно поставил его вертикально на столе. На-

* Иди! (нем.)

блюдающий, качнув себя вправо, поднялся со стула и, заложив руки в карманы, шагнул к выходу.

— Как это было в самом начале?

— Нас вез...

Вдруг мысль вьюном ускользнула из памяти. В ушах разлился тягучий монотонный звон. Перед глазами патефонной пластинкой заходил огромный радужный круг, и, уцепившись за него, Сергей завертелся на нем, потом, оторвавшись, тихо и плавно полетел в темноту...

Крупные капли воды скатывались с головы на халат и, убыстряя ход, мягко падали на пол. Теперь голова допрашивающего была вровень с глазами Сергея. Но гестаовец сидел на прежнем месте, не меняя позы.

«Ах, я ведь сижу!» — догадался Сергей.

Размеры своей головы он никак не мог охватить теперь памятью. Казалось, она заполнила всю комнату, выпятилась в окно, вобрала в себя шкафы, стулья и стол, на котором стоял теперь кувшин с водой и лежала рядом резиновая дубинка. «Это они меня бананом... но почему же я не помню, когда... и не больно?» — удивился Сергей.

— Так... Значит, ты говоришь, отдал парашют крестьянину... А потом что?

Сквозь лениво гудящий звон, разлитый в голове-комнате, в уши еле проникал звук голоса гестаповца. Казалось, тот говорил с Сергеем по телефону на огромном расстоянии.

— Потом? А-а, вот вы...

И голос не его был, не Сергея. Наверное, рот свесился за окно и там дребезжит треснувшим армейским котелком.

— Да, да! Куда шел ты потом?

— В ... знаешь?

— Что-о? Это как?

Гестаповец оживился и, резко ерзнув на стуле, в первый раз уставился зелеными глазами на Сергея. На его длинной шее смешно дергалась жила, по синеве бритых щек запрыгали желваки.

— В сентябре попал в плен... везли. Я двадцать пять дней бежал... Все!

Побледневшие щеки гестаповца отчетливо выдавали ставший багровым нос. Медленно поднявшись со стула, он перекинул через стол туловище:

— Я тебя вижу насквозь, мерзавец!

— Скверное удовольствие для тебя!..

— Где бежал?

— Близ... м-м... Шяуляя.

— Альзо! — вдруг крикнул фашист, и кто-то сзади легко и быстро вырвал половицы из-под ног. Опять куда-то боком полетел Сергей, раздвигая мягкую волокнистость оранжевых нитей, что надвинулись на него...

И вновь, стоя уже у стены, Сергей глотал струи воды, стекавшей по щекам и лбу. Она холодным кинжалом раздваивала

спину, сбегая струйкой с головы к ногам. Дуло браунинга сычиным глазом уставилось в лоб Сергея. Глаз то отодвигался, то лхнул совсем близко к телу, и Сергей бессмысленно глядел то в него, то в рот гестаповца, что-то неслышно кричащий...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Каждый день в шесть часов утра двор тюрьмы заполнялся заключенными. Приходил конвой, зачитывались фамилии, и серая толпа, построенная по пять, покидала тюрьму, направляясь на сахарный завод. В первые дни фамилия и имя «Руссиновский Петр» по несколько раз повторялись начальником конвоя.

— Где Руссиновский? Где он? Где Петр Руссиновский?

Забывал Сергей свое новое имя и, спохватившись, кричал:

— Я!

Паневежис по утрам спал. За поузоренными легким морозом окнами плавала в спальнях серая предрассветная звень тишины и покоя, курились топкие кровати горячим дыханием разморенных тел и терпким запахом молодожества.

Ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум! — чешут клумпы булыжник мостовой, похожий на спины еще не проснувшихся черепак.

Ттрум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум! — и шевельнет рыжими ушами уснувшая среди улицы пегашка с малость подгулявшим извозчиком; сплуснет нос о стекло окна беспокойно спящая по утрам девушка, прикрывая ладонями тоскующие по ласкам груди. И опять:

Ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум...

На правой стороне шоссе, убегающего из города, у опушки небольшого леса, который пересекала железная дорога, пачкал утро копотью труб сахарный завод. Пять водомойных канав, глубиной в восемь метров, были засыпаны сахарными бураками. Поодаль, у линий железных колеи, кучились бурты подвозимой в вагонах свеклы. На ее выгрузке и складывании в бурты работали заключенные. На восемнадцатитонный вагон полагалось три человека. Время — час. Не выполнившие эту норму лишались баланды, которую привозили из тюрьмы на завод.

После допроса вот уже десятый день шел Сергей на работу. На вагон становился с двумя однокамерниками — замполитрука Устиновым и старшим сержантом Мотякиным. С самых первых дней оккупации фашистами Литвы Устинов и Мотякин, служившие в Либаве, отстали от разбитого наголову своего батальона и бродили в лесах близ Паневежиса, охотясь на эсэсовцев и полицейских и скрываясь от них. А когда зимой стало невтерпезж оставаться в лесу, пошли по поселкам выискивать прибежища у крестьян. В сорока верстах от Паневежиса, в небольшом лесном хуторке, приютил их литовский крестьянин. Месяц жили в погребе из-под картошки, потом «присобачились», как говорил

старший сержант, и познакомились с каждым домом. За веселый разбитый характер Мотякина, за его чечетку под собственные губные трели-рулады и за сапожные мастерство Устинова крепко полюбили хуторянам «гражус балшавикай» *...». А тем временем друзья выкопали в лесу свои винтовки и начали прогуливаться за десять километров от хуторка, подстерегая на шоссе фашистские одиночные автомобили и мотоциклистов. Завелись у них вскоре автоматы немецкого образца и даже формы в чине «герр оберст». Немногочисленная молодежь хуторка скоро научила их незатейливой мудрости литовского языка, а замполитрука по старой привычке начал посвящать ее в основы марксизма-ленинизма. К лету 1942 года в лесном хуторке жил, а на шоссе действовал крошечный отряд мотякинцев...

Да трудно скрыть молодой пыл нерастраченной юности! Попадало ведь иногда в подбитом автомобиле кое-что по мелочи, и, как ни старался Мотякин уничтожить это там же, на месте, в лесу, приносили ребята домой шнапс и сигареты, не упускали случая хвастануть. Частенько зеленую тишь ночной улицы хуторка вдруг распарывала огненная грохочущая струя автоматной очереди вернувшегося с задания хуторянина. Скатывались тогда с печей старики, залезали под постели бабы, пряча в подола детей... И однажды на рассвете дождливого августовского утра сенной сарай приютившего партизан крестьянина окружила немецкая полевая жандармерия. Мотякин и Устинов были схвачены, «как жирные перепелки», по злому определению старшего сержанта. Семья крестьянина была расстреляна на месте, а дом сожжен...

С августа до ноября девять раз ходили друзья в гестапо. Израсходовали они там не один кувшин воды, вылитый им на головы для приведения в чувство после бананов, ознакомились со всеми видами пыток, побывав не в одной «студии». Но, к досаде их мучителей, ни один из мотякинцев не был выдан и назван. Знали ребята библейское изречение! «Язык мой — враг мой!» — и, закусив его в подъезде гестапо, освобождали в тридцать девятой камере.

Выгружая свеклу из вагона, Мотякин не переставал шутить, приставая к серьезному меланхоличному Устинову.

— Как ты думаешь, — громко произносил он и — тише: — комиссар, какую конкретную пользу приносим мы Родине тем, что киснем в тюрьме, а?

Устинов молчал.

— Ужели ваш аналитический ум комиссара утратил прежнюю логику... либавскую, например?

Устинов молчал. Тогда Мотякин отшвыривал вилы, выбирал три огромные свеклины и, вручая Сергею и Устинову, а одну оставляя себе, глубокомысленно заявлял, подняв указательный палец вверх:

* «Красивые большевики» (лит.).

— Находясь в застенках гестапо, — произнося это слово, Мотякин делал ударение на «о», — и кушая вот эти бураки, мы, товарищ комиссар, подрываем экономическую базу врага в его тылу!..

Конвоировали заключенных эсэсовцы и полицейские. Была их целая толпа, вооруженных винтовками и автоматами, злых и вечно полупьяных. Партия заключенных шла, имея на флангах двадцать конвойных, с фронта и тыла — шесть. Мысль о побеге в дороге была, таким образом, явно несостоятельна. А в заводе некоторые шансы на побег все же были. Распределив заключенных по работам, начальник конвоя уходил в склад сахара. Конвойные же рассаживались у костров близ забора, огораживающего двор завода. Они тщательно следили за забором, обыскивали порожние вагоны, уходившие с завода, и издали наблюдали за работой заключенных.

Сергей, Устинов и Мотякин несколько дней разрабатывали план побега. Каждая мельчайшая деталь была предусмотрена и обсуждена: неудачников в побеге убивали на месте или же заковывали в цепи. Было решено: как только смолкнет гудок завода, означающий шесть часов вечера, Устинов и Мотякин ложатся в бург, а Сергей забрасывает их бураками. Розыски будут недолгие, заключенных не решатся задерживать в заводе до наступления темноты. Дождавшись ночи, Устинов и Мотякин уходят через забор в лес. Сергей же, которого некому зарыть в свеклу, подлезает под уже заранее осмотренный вагон, устраивается там на тормозных тросах и ожидает вывоза себя с завода. Встречаются в лесу по условному свисту...

...Было ветреное и морозное утро. Черной бездной зияло над тюрьмой небо, рассвет торопился погасить в нем трепещущие синим огнем звезды. Рьяный холод залезал под тонкие вытертые халаты, распластывался на костлявых спинах заключенных. В ожидании конвоя было разрешено толкаться, разговаривать, переругиваться. В воздухе мешался литовский, польский, русский разговор; теснились в кучу — теперь все равные в серых халатах — политзаключенные, беглецы из лагерей, парашютисты, сочувствующие Советской власти, укрыватели «товарищей»... и прочие и прочие...

Мотякин «стрелял» окурки. Увидев красную точку самокрутки, он бесцеремонно раздвигал толпящихся, подходил к курящему и после вступительной речи возвращался, бережно неся окурки между пальцами.

— По разу потянуть вам, — говорил он Сергею и Устинову. Сам он не курил. Мотякин был в особенно приподнятом настроении, убежденный, что это — последнее утро, встречаемое им в тюрьме, — в этот день решено было бежать...

А вышло иначе. Начальник конвоя не зачитал фамилию Сергея. Он не шел на завод и возвращался в камеру.

— На допрос пойдешь, — шепнул Мотякин. — Мы возвращаемся... Завтра ты отдохнешь от бананов, а послезавтра...

Потому ли, что где-то далеко-далеко сверкнула бледная искра надежды на жизнь, что в опустошенное тело ум впрыснул ампулу живительного раствора под русским названием ненависть и борьба, — только, шагая в гестапо, Сергей чувствовал какую-то смутную тревогу. Состояние это усилилось, когда конвоир повел его по узкому коридору первого этажа, а не на второй, как прежде.

«Развинтились, проклятые! — обозлился Сергей на свои нервы. — А ну, взять себя в руки!»

«Есть взять, товарищ лейтенант!..»

В комнате стояли два стола и сидели два гестаповца в штатском. Оба они говорили по-русски, но не так совершенно, как прежде допрашивающий Сергея. По тому, как были они вежливы, предупредительны и внимательны, Сергей понял, что будет что-то новсе, им еще не виданное здесь.

— Ви бежалъ, что кушаль котель, я?

— Да.

— Ми понимайт. Ви — юнга... мелет еще. Ви любийт сфобот, прирот, я?

— Как и вы.

— О, корошо, корошо... Ви курите? Пошалуйст, фот... Ми вам не будем уже тюрьма... ви будете у нас, корошо? Ми не будем работайт... будем поекайт в лес... ви рассказайт, кде шифет ваша... што бежалъ... рассказайт, кто даль кушайт... Корошо, я?

Мысли Сергея кипели. Рождалась соблазнительная идея: «А что, если поехать с ними в лес?.. Два — это немного... но если только два!»

— Когда вам рассказать? — живо спросил Сергей.

— О, скажайт сечас... поекайт зафтра.

«А-а, подлюги, одного боитесь!» — опечалился Сергей и ответил.

— Я бежал один.

— Ви рассказайт, кто кушаль дафаль!..

— Я не заходил в дома. Я... воровал.

— Што фарафаль?

— Все... морковку, картошку...

— Што есть — фарафаль?

— Это значит вот так, — показал рукой Сергей.

— О, ви не стелайт так. Ви кушаль клеп и млеко... Тафаль литофци, корошо, я?.. Ми тафайт им марк, што они тафаль вам кушаль!..

— Как жалъ! Я этого не знал... Я бы не воровал, а заходил в дома...

— Ви не мошна фарафаль! — обозлился гестаповец. — Ви кодиль дом!

— Я не заходил в дома!..

— Ви не кочет скажайт? Ми будем сечас расстреляй тебя!..

— Я не заходил в дома!..

— А-а, ферфлюхт, мистр-менш! *

Немцы любят и умеют бить жертву по щекам. Делают они это расчетливо и аккуратно, как и все, что они делают...

— Комт!

Набрав полный рот кровавой слюны, Сергей по дороге харкнул ее на желтый пол коридора. Гестаповец, шедший сзади, рванул его за рукав халата, клумпы разъехались, и, потеряв равновесие, Сергей накрыл грудью свой плевок.

— Кушайт! Кушайт! — наклонившись над ним, кричали фашисты, указывая на плевок. Путаясь в полах халата, Сергей пытался встать.

— Кушайт! — и удары ног валили его вновь на пол. Тогда, подложив руки под голову, Сергей растянулся ничком, широко раскинув ноги. Гестаповцы на минуту растерялись, а затем пришли в бешенство. Теперь они уже кричали по-немецки и, ухватив за уши Сергея, били его голову о гудящий лакированный пол. На покоробленной желтой доске змеилась, виляя, живая лента крови... Распахнув дверь комнаты налево, гестаповцы вволокли туда обмякшего Сергея. С цементных синих стен пахло сыростью и холодом. Комната не имела окон и освещалась большой электрической лампочкой. Подтащив Сергея к острому углу противоположной стены, гестаповцы поставили его на колени.

— Сейчас расскажите, кте кушались! Не рассказывайте — стреляйте!.. Айн... Цвай...

— Расскажите!

— Цвай!

Сергей, прижав к носу рукав халата, чтоб задержать кровь, стекающую в рот, равнодушно глядел на гестаповцев, выкинувших вперед правые руки и ноги. Из кулаков их сжатых рук мерцали всроченные дула браунингов.

— Драй!..

Выстрелы были стройные. В шею, щеки и лоб со свистом брызнуло что-то больно щекочущее. Левый глаз застлала коричневая теплая пелена.

— Расскажите!

Сергей неловко ткнулся вперед и встал на четвереньки.

«Чем они стреляют? Я, кажется, жив... А-а, это ведь крошки цемента от стен... стреляют не по мне...»

И, качнувшись, вновь ощутил острыми краями лопаток жесткую корявистую стену.

— Тах-тах!

— ...скажите!

— Тах-тах!

Потом хлопнула не видимая Сергеем дверь, и комнату наполнили холод и тишина... А вечером, по пустынным улицам, Сергей вернулся в тюрьму, сопровождаемый все тем же конвоем.

* А-а, проклятый, червь навозный (нем.)

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Смоченные дождем и схваченные морозом бураки не поддавались вилам.

— Ситуация осложняется, братцы! — говорил по этому поводу Мотякин. — Мы катастрофически рискуем лишиться баланды... Но, — продолжал он, — чем хуже — тем лучше! Как думает комиссар, почему? — обращался он к Устинову. — А потому, — отвечал он же, — что мы должны отстать в выгрузке ото всех и остаться одни на этом составе...

Эта мысль была ценная, и ее приняли без обсуждения.

Постепенно вагоны пустели. Холод подгонял заключенных, и они торопились выполнить свою норму. Ко времени заводского вечернего гудка, лишь через два гона от мотякинского, копался в бураках еще дед с двумя своими внуками, сидящими в тюрьме вот уже шестой месяц за укрывательство бежавшего из лагеря пленного. Их не следовало опасаться: народ был свой. В вагоне Сергея полный угол был еще завален бураками.

— Я отправляюсь на рекогносцировку, — доложил Мотякин и прыгнул из вагона. Быстро оглядываясь, он начал разрывать бурт, готовя место. Вечерние сумерки застилали двор завода, пламя костров, разложенных конвоирами, блестело ярче. Мотякин лег вниз лицом, давая понять, что его миссия окончена. Пожав Сергею локоть, прыгнул к нему и Устинов...

Сергей лихорадочно орудовал вилами, забрасывая бураками беглецов. Мерзлые свеклины стукались о спины и головы лежащих, постепенно образуя над ними сплошной покров. Вот-вот по двору раздастся свисток к построению.

— Успеть бы! — шептал Сергей. Спрыгнув в бурт, принялся руками ровнять его, придавая естественный вид тому месту, где лежали Мотякин и Устинов.

Пронзительные переливы свистка настигли Сергея под четырехосным вагоном. Вцепившись руками в болты и обхватив коленями дрожащие тросы, ждал он, когда звякнут буфера выводимых с завода порожних вагонов. Было тихо до звона в ушах. Лишь со станции катились редкие вздохи паровоза да ровный шум цеховых машин полз по двору. Прошло минут десять. Конвоиры, недосчитав трех заключенных, бросились по буртам, вагонам, закоулкам...

Каждый вдох и выдох Сергей укладывал в четырнадцать ударов сердца. Во всем теле ощущались торопливые толчки, онемевшие от холода пальцы неприятно дергались, толкаемые взволнованной кровью.

«Крепись, лейтенант!.. Может быть, это последнее...»

Пучком ржаной соломы качнулся луч ручного фонаря под соседним вагоном. Вот он уперся в колесо и, как развеянный ветром, разостлался за вагоном, а растаяв в пространстве, снова родился под животом у Сергея... Конвоир лезет один. Изредка бормоча что-то непонятное, он тяжело дышит от неудобной позы.

«Может быть, это последнее...»

Вдруг свет вздрогнул, погас, потом вновь брызнул и остановился где-то в ногах у беглеца. Сергей глянул туда и увидел освещенный фонарем грязный кусок портянки, свесившийся с клумпы. В этот же миг конвоир вскрикнул и кубарем выкатился из-под вагона. Отбежав к бурту, он закричал испуганно и радостно:

— Ченай! Ченай! *

Обретенный фонарь желтым удивленным глазом уставился в пол вагона. Соскочив с тросов, Сергей отбросил его ногой и, выпрямившись, пошел к конвоиру. Тот, бормоча проклятья или молитву, полез на борт, скользя и падая на обледеневших бураках.

Сергей ожидал большего. Может быть, только двадцать шесть мерзлых свеклин было раскрошено о его голову, спину, грудь: не больше одного бурака израсходовал на Сергея каждый эсэсовец — не дал начальник конвоя. Пойманный должен был еще кое-что сказать...

«Но что придумать о ребятах?» — спрашивал себя Сергей и вспомнил, что минут за десять до того, как Мотякин начал разрывать борт, с завода ушла первая послеобеденная партия порожняка.

— Ну, кур дар ду? **

— Уехали под вагонами. Теперь далеко. Это ведь русские люди!..

Начальник конвоя, приказав вести заключенных, с четырьмя эсэсовцами бросился на станцию. Два конвоира вели отдельно Сергея, поминутно доставляя себе удовольствие пырять стволами винтовок в его ребристую спину.

В канцелярии Сергея допрашивал сам начальник тюрьмы. Это был еще сравнительно молодой немец с подстриженными ежиком волосами и подвижным, нездоровой бледности лицом.

— Почему бежал?

— Это мое право.

— Ты сейчас увидишь свое собачье право!

— Знаю... твоя постыдная обязанность!..

Больше вопросов не было. Переходя двор, Сергей был убежден, что идет в экзекуторскую. Но надзиратель повел его за угол тюрьмы. В небольшой пристройке к стене тюрьмы помещалась кузница. В углу, у горна, зазвенела охалка ржавых цепей. Выбрав одну, кузнец-заключенный стал ладить ее к ногам Сергея...

В тридцать девятой потекли нудные минуты. Возвращаясь вечером с работы, Сергей, гремя цепью, влезал на нары и, упершись неморгающими глазами в потолок, ожидал поверку. Цепь уничтожила последнюю надежду на побег. Восемь однокамерников Сергея в молчанье и тоске коротали вечера.

* Сюда! Сюда (лит.)

** Ну, где еще двое? (лит.)

Проходил ноябрь. Неимоверно низкое небо придавило Паневежис к набухшей водой земле, грязные лохмотья туч царпали гноящиеся по утрам дровяным дымом култышки труб. Опростоволосившиеся деревья притюренного парка скулили свистом веток о запоздавшей зиме и в своей теперешней никчемности и унылости приходились сродни заключенным.

Ржавые браслеты грызли щиколотки Сергея. Полутораметровая тяжелая цепь, подвязанная веревочкой к брючному поясу, чтоб не волочилась, натирала до боли колени, утомительно позванивая кольцами.

На пятый день после того, как из тридцать девятой камеры Мотякин навсегда унес перезвень губных вариаций, а Устинов умную задумчивость и серьезность, девять человек серыми истуканами стили у стены, ожидая свистка к отбою. Под учащенное дыхание девяти человек вдруг осклабилась железная дверь камеры, и в ее зеве раскорячил ноги надзиратель.

— Попов! Куликов! Приготовить вещи. Руссиновский! Приготовиться в кузницу!..

Громыхнув цепью, Сергей подошел к нарам и закатал валиком постель и халат...

...В одном исподнем белье, заломив руки, сидели, тесно прижавшись один к другому, четыре человека. Теперь с вошедшими смертников было семеро. Глаза каждого казались дегтисто-черными: зерна зрачков были неправдоподобно велики, распираемые предсмертным осмысленным ужасом. Мысль, что вот уже завтра их не будет в живых и никогда потом, кидала людей то из угла в угол поодиночке, то в одну тесную кучу. До крови грызли руки, пальцы; вырывались пряди волос. Но нет, это не сон. Это — быть и явь, это — неумолимая правда, как вот эти желтые цементные стены и стальные двери камеры!..

Измучив вконец тело, мысль о смерти на минуту притуплялась, терялась в веренице других, ею же вызванных. Вот он сидит, смертник, тихо уставившись черными глазами в угол камеры. По судорожно сжатому рту его скользнула чуть уловимая улыбка. Что ж! Он вспомнил почему-то май, что был пять лет тому назад... Тыквы куполов Новодевичьего монастыря до рези в глазах горели тогда в лучах нехотя уходившего за Воробьевы горы солнца. Таня... тогда еще Татьяна для него, шла вся голубая: платье, лента в русых косах, глаза... У самой стены монастыря он рассказывал ей что-то очень простое и обычное из студенческой жизни, но тогда казавшееся ему интересным и особенным; они оба искренне и весело смеялись, и, конечно, не над тем, что он рассказывал. Просто хотелось тогда смеяться, прыгать и посылать воздушные поцелуи через Москву-реку, всем карнизам цехов Дорхимзавода... Потом сын Вова, потом война... потом — плен, и... дергался замечтавшийся смертник, вскакивал на ноги, стягивал ворот посконной нательной рубахи до хрипоты, до пепельного налета на лице...

В середине ночи, часа за три до времени расстрела — четырех часов пятнадцати минут, — не выдержал один из обречен-

ной семерки. Сняв кальсоны, он яростно начал разрывать их на части. Затем, связав из кусков длинную ленту, дико прыгнул на нары и замотал один конец за свисающее с потолка кольцо, другой за шею. Никто не мешал самоубийце. Зачем?... Подогнув ноги, он резко опустился, и скрежет зубов и хрип горла вытолкнули синий клубок пены на волосатый подбородок...

Закинув руки за голову, Сергей ходил по камере. Нет, теперь уж ничего, ничего нельзя было сделать... Оставалось последний раз прошагать мысленно свои двадцать три года. Нет, в прошлом все было как надо... Иначе он и не мог. Только так, как было и должно быть! И только обрыв этой немногостраничной повести нелепый... без подписи, без росчерка...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Страх, как и голод, истерзав и скомкав тело, делает его со временем бесчувственным, апатичным и ленивым к восприятию ощущений. Шестеро смертников к концу ночи выглядели спокойней. Серые их лица хранили покорность и бесстрашие, и лишь инстинктивная воля к самосохранению согнала всех в тесную кучу в дальнем углу нар.

Тело удавленника, недепо перекосившись, было обращено лицом к смертникам, полузагораживая дверь камеры. Длинный раздувшийся язык бычиной селезенкой выполз изо рта висевшего и загнулся в сторону уха. Огромными оловянными пуговками синели выкатившиеся из орбит глаза и, казалось, вот-вот упадут на доски нар, как падают с дуба созревшие желуди.

Тихо в камере. Выплеснули с вечера смертники с хрипом горловым испуг и муки, протест и жалобы. Пусто в голове. Лень в теле. Лишь неугомонное сердце отбивает без усталости удары-секунды. Что же ты, сердце? Куда ты? Ну, замри на минуточку, останови ночь! Ты знаешь ведь, сердце: мы мало жили... Слышишь, мое сердце? Знаешь? Я хочу жи-иить!!!

И в назначенное время услышали смертники за дверью топот кованых сапог и грохот открываемой двери. Вот оно! Как подброшенные током огромной силы, вспрыгнули смертники на ноги и... стали прятаться друг за друга. Ломая пальцы чьих-то рук, обхвативших его живот, Сергей тихо двинулся по нарам мимо удавленника к двери, туда, где стали у стены четыре гестаповца в черных клеенчатых плащах. Словно по команде, они держались левыми руками за пряжки своих поясов с надписью «с нами бог», а правыми придерживали у бедер черные автоматы. Два надзирателя и давний знакомый Сергея — начальник вещевого склада — стояли поодаль у самой парашаи.

— Куликов!

— Попов!

— Русиновский!

Надзиратель сложил листок, ожидая вызванных. Гестаповцы молча разглядывали висевшего.

— Я — Попов...

В первый раз Сергей заметил, какие добрые и умные глаза у этого парня. Высокий белый лоб его пересекала темная косичка спутанных волос, серые впалые щеки подергивались энергичным сжатием зубов.

«Такие не ползают на коленях!» — подумал о нем Сергей и, подойдя к Попову, стал рядом.

— Я — Русиновский.

За дрыгающие желтые ноги и дулей выпятившуюся голову на длинной шее принесли надзиратели Куликова из угла камеры. Он не стонал и даже не плакал. Неподвижными рыбьими глазами изумленно уставился он на гестаповцев, сидя у ног Попова и уцепившись за его кальсоны.

— Идемте со мной!

Начальник вещевого склада вышел в коридор. Сергей и Попов разом ступили за ним.

— Раус! — гаркнул один из гестаповцев и размашистым пинком выбросил за ними Куликова. Двери камеры захлопнулись, прикрыв гестаповцев, одного надзирателя и трех смертников с одним повесившимся.

— Наслаждаетесь, господин начальник? — спросил, вздрагивая ноздрями, Сергей. — Куда ведете?

— Одевать вас.

— Зачем?

— Приказано. Отправлять будут.

— В лес?

— Туда вывозят голых... знаешь ведь...

...Над тюрьмой, в бездонной пропасти небо, пушистыми коготками шевелились звезды. Декабрь выклеивал на широких окнах канцелярии стальные листья папоротника, наивными мотыльками кружил вокруг висевшей над воротами лампы редкие сверкающие снежинки. Во дворе, на тонком батисте молодого снега, только что, видимо, развернувшийся автомобиль наследил огромный вопросительный знак. Оставив Сергея, Попова и Куликова у каменных ступенек крыльца и поручив их привратнику, надзиратель вбежал в канцелярию. Оттуда сейчас же вышли два жандарма. Еще в коридоре Сергей заметил в их руках что-то тускло сверкавшее.

«...Значит, думают прямо тут...»

Эти два гитлеровца были хорошо откормлены. Высокостоячие фуражки, делаая их похожими на болотных чибисов, врезались околышами в бритые затылки. Огромные черные кобуры маузеров болтались у них на левых бедрах, в руках пылали никелем новенькие наручники. В один миг левая рука Сергея была скована с правой рукой Попова, а не перестававший дрожать осиновым листом Куликов прилип к правой руке Сергея...

По сонным зловещим улицам Паневежиса в пять часов утра никто не ходит. Временами слышен лишь размеренный шаг фашистских патрулей да испуганный от привидевшегося во сне коридорный лай «бонзы».

Жандарм. Три удивительно ровно и тесно идущие фигуры в сером. Жандарм.

Резкие, звонистые ступки сапог путаются с тупым стуком деревянных клумп.

Пять странно движущихся людей пересекли весь город и вошли в темный и узкий переулок, ведущий к вокзалу.

— Что они думают делать с нами, Русиновский?

— Не знаю, Попов. Видишь: увозят...

— Пальцы окоченели... Давайте в чей-нибудь карман всунем руки.

— Жить думаете, Попов?

— Вы это не одобряете?

— Напротив. Вы просто не теряетесь...

— И не советую вам, пока живы...

«Славный малый», — подумал Сергей и потащил вместе со своею руку Попова в просторный карман халата.

В вокзале было пусто и холодно. Два немецких солдата, увешанные амуническим скарбом, словно иранские ишаки хлопком, стоя у окна кассы, завтракали. Перед каждым на «Дойче цайтунг» лежала треть буханки хлеба, а рядом — оранжевая пластмассовая баночка с искусственным маргарином. Расставив локти и растопырив пальцы, слишком осторожно, почти испуганно, резали хлеб солдаты. С горбушки снимался удивительно искусно срезанный ломтик. Нужно быть артистом-хлеборезом или целый век прожить впроголодь, чтобы суметь отрезать кусочек хлеба толщиной с кленовый лист. Чисто по-своему, по-немецки, «накладывался» маргарин: в баночку резко пырнулся нож, затем обтирался о ломтик-листик хлеба...

Вокзальные часы показывали ровно шесть, когда жандармы знаками приказали скованной тройке следовать за ними. По перрону сытой кошкой кувыркался ветер, играя с клочками бумаги и окурками папирос. От пытящего паровоза истерзанным холстом тянулся пар, растворяясь в холодном воздухе. Одиннадцать маленьких пассажирских вагонов робко жались друг к другу, зарясь на перрон просящими бельмами замороженных окон. Войдя в вагон, жандармы очистили от пассажиров купе. Сипло кукукнув, паровоз дернул состав, и в тяжелые головы скованных людей надоедливо и монотонно застучали колеса: «Кто же вы? Кто же вы? Кто же вы?.. Куда едете? Куда едете? Куда едете?..»

Мрачный и холодный день уже пронизывался нитями сумерек, когда жандармы вывели скованных из вагона. Улицы незнакомого города были оживлены. По мостовой, гремя клумпами, плелась согнувшаяся в три погибели старушка с вязанкой соломой на спине; цокали извозчики; проносились грузовики. Из-за гряды домов, где-то впереди шагающих пленных, шприцем проколол небо красномакушечный костел. Но по мере того, как передний жандарм, подрагивая жирными бедрами, уходил из улицы в улицу, костел отодвигался вправо, потом очутился позади. У приземистого черного здания с вывеской «Вермахт

комендатур» жандармы остановились. На тротуарах замялись любопытствующие, пристыв глазами к потускневшим от мороза кандалам Сергея, Попова и Куликова. А через час жандармы ввели скованных в обширный двор Шяуляйской каторжной тюрьмы.

Бледно-розовым утром двадцать седьмого июня 1941 года фашисты оккупировали Шяуляй. По пустым, словно вымершим улицам днем гуляли штабные офицеры и гестаповцы. С наступлением вечера и до зари на окраине города, у озера, не умолкали трели автоматов. Девять концлагерей тесным кольцом опоясали Шяуляй. В двух лагерях — физически здоровые евреи, специально оставленные для работы, в остальных — советские военнопленные.

В Шяуляе самое большое здание — тюрьма. Величественным замком высится она на отлете города, мерцая узкими окнами пяти этажей. В конце 1941-го — начале 1942 года ее наполняли пленные. Во дворе, в коридорах, в четырехстах камерах, на чердаке — всюду, где только было возможно, сидели, стояли, корчились люди. Была их там не одна тысяча. Их не кормили. Водопровод немцы разобрали. Умерших от тифа и голода убивали с первого этажа и со двора. В камерах и коридорах остальных этажей трупы валялись месяцами, разъедаемые несметным количеством вшей.

По утрам шесть автоматчиков заходили во двор тюрьмы. Три фургона, наполненные мертвецами и еще дышавшими, вывозились из тюрьмы в поле. Каждый фургон тащили пятьдесят пленных. Место, где сваливали в огромную канаву полутрупы, отстояло от города в четырех верстах. Из ста пятидесяти человек, везущих страшный груз, доходили туда сто двадцать. Возвращались восемьдесят-девяносто. Остальных пристреливали по пути на кладбище и обратно.

Бывшую канцелярию тюрьмы занимал комендант лагеря со своим штабом. Не поднимаясь из-за стола, просунув автомат в форточку, каждый день расходовал он тридцать два патрона на пленных. Один фургон был специально закреплен за ним...

Иногда в тюрьму заходил комендант города и с ним — поджарые, похожие на гончих сук три немки, одетые в форму сестер милосердия. Тогда из пленных тщательно выискивались наиболее испытые и измученные. Их симметрично выстраивали у стен. С нескрываемым отвращением и ужасом подходили к ним «сестры», становились в трех шагах спереди, а тем временем комендант щелкал фотоаппаратом. Эти увеличенные снимки видели потом пленные в витринах окон, провозя городом фураны. Под снимками пестрели пространные подписи о том, как немецкие сестры милосердия оказывают помощь пленным красноармейцам на передовой линии германского фронта...

Гестапо торопило. Требовалась тюрьма для литовских комму-

нистов, антифашистов. Рейсы фургонов участились. Редели пленные, становилось просторнее в тюрьме, и наконец, она совсем освободилась.

Шла весна 1942 года. Оттаивала и оседала земля на огромном кладбище военнопленных. Тихим пламенем свеч замерцали там подснежники. И в одну из майских ночей на этой великой могиле братьев по крови задвигались бесшумные тени с лопатами и кирками в руках. То рабочие из города тайком от фашистов пришли оборудовать последнее пристанище советских товарищей... А на заре, встречая солнце, маленькая красногрудая птичка весело славилась братство в борьбе и надежде, сидя на огромном камне-obeliske, что появился на братской могиле замученных. Корявые, туго гнущиеся пальцы деповского слесаря выгравировали долотом на камне простые слова большого сердца:

Пусть вам будет мягкой литовская земля

У подножия обелиска просинью девичьих глаз пытливо и восторженно глядели в небо первые цветы полей, перевязанные в букет широкой кумачовой лентой...

На третий день после этого немцы выставили на кладбище часового.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Камера Сергея была на пятом этаже и выходила окном на город. Взобравшись на стол, Сергей подолгу глядел на густо коптившие трубы завода, что наполовину виднелся в окно, на горящую склесью озера у самой тюрьмы. Переводя взгляд на город, Сергей видел лишь разноцветные крыши домов. Казалось, будто город накрылся от декабрьского холода огромным детским одеялом из лоскутков...

Режим Шяуляйской тюрьмы мало чем отличался от Паневежской. Те же сто пятьдесят граммов хлеба в сутки и два раза баланда; так же не разрешалось за целый день присесть на край нар. По субботам заключенных сгоняли в тюремную католическую церковь. Помещалась она на пятом этаже в обширной светлой комнате. В правом углу стоял довольно стройный орган. Под его звуки хор из надзирателей под управлением тюремного палача пытался петь что-то жалобное и проникновенное...

Порядок расстрела в Шяуляйской тюрьме был иной. В тот момент, когда огромный крытый черным брезентом грузовик гестапо заезжал во двор тюрьмы, по разным камерам надзиратели и жандармы выискивали тех, кто значился в списках. Им связывали позади руки мягкой проволокой, и если обреченный сохранял мужество, то сам залезал в «Тетку Смерти», как заключенные называли грузовик, а если кому изменяли силы — его легко подхватывали гестаповцы и забрасывали в автомобиль.

Камера Сергея была обширной. Сидели в ней четырнадцать

литовцев, Попов с Куликовым и молодая женщина с грудным ребенком. Камерная печь топилась один раз в три дня. Постоянный холод и сырость заставляли заключенных с раннего утра до отбоя становиться в круг и шагать, шагать по камере. Надзиратели разрешали женщине сидеть на нарах. Прижав желтую головку спящего ребенка к груди, мать постоянно подолгу глядела бархатными миндалевидными глазами в одну точку. Потом, встряхнув головой, словно спугивая надоевшую муху, поправляла тряпье на ребенке — и сколько было в этих осторожных движениях непринужденного изящества, сдержанности и спокойствия!

Ребенок плакал не всегда. Иногда этот крошечный девятнадцатый член камеры пробовал предъявлять свои права на жизнь и свободу. Ворочаясь, он пытался высвободить руки из разноцветного тряпья, и мать, улыбаясь ему, говорила тогда с ним медленно, слегка заглушенным голосом и почти проглатывая букву «р». Однокамерники отвели ей место у самой печки. И когда днем, сидя на нарах, она вдруг в тревожной дреме закрывала веки с длинными, стрелчато загнутыми ресницами, шагавшие по кругу заключенные останавливались, снимали с ног клумпы и, взяв их в руки, босиком продолжали путь...

По утрам, получая пайки хлеба, семнадцать «жертвовали» на ребенка. Целая горка ломтиков в двадцать пять граммов вырастала на коленях женщины. Тогда ее печальные глаза застилались влагой подступающих слез благодарности, она отказывалась, просила, протестовала, но семнадцать человек, внеся ей свою долю, как-то неловко ступая, поспешно отходили в сторону, в противоположный угол.

По ночам нависшую глыбу тьмы и безмолвия часто колыхал зловонный плач ребенка.

— Покентек, мано ангелели! Нябиялгай текс мумс лаукти! * — звучал нежный успокаивающий голос.

И женщина не ошиблась. На пятый день ее заключения, судоржно прижав притихшего ребенка, она — жена литовского красного партизана — спокойно и молча взшла по сходням в «Тетку Смерти»...

Шел 1943 год. Попова и Куликова давно перевели в другую камеру. Сергей остался один среди литовцев. От постоянного ли недоедания или от холода распухли ноги. На сжиге под коленями и у ступни лопалась кожа, и из незаживающих ран сочилась красноватая жидкость. Часто кружилась голова и шла кровь носом. Тело покрылось пузырчатыми струпьями. И однажды в середине дня Сергей услышал свою фамилию. Пошатываясь и волоча клумпы, он вышел в коридор и спустился с надзирателем на первый этаж. В вещевом складе ему подали ветхую красноармейскую гимнастерку и шлем.

— А штаны получишь в лагере, — объяснил надзиратель.

Январский день был чистым и глубоким. Взбесившейся кош-

* Потерпи, мой ангел! Нам уже недолго осталось ждать! (лит.)

кой вцепился мороз в колени Сергея и начал разрывать их невидимыми когтями под кальсонами...

Под вечер Сергей вошел в ворота первого лагеря военнопленных в Шяуляе. Через огромный двор, петляя между четырьмя бараками, вилась лента пленных, построенных по два: было время получения баланды — литрового котелка на двоих.

Бараки первого лагеря были обширные, с двумя линиями трехъярусных нар. Закрывались на ночь они замками; во дворе рыскали овчарки. В бараке, куда затиснулся на ночь Сергей, по пазам неплотно сдвинутых стенных досок вытянулись желто-белые полосы льда и снега. Около единственной железной печки всю ночь напролет стоит очередь. Пленные держат в руках две-три щепки, а в карманах две-три мерзлые картошки, добытые где-нибудь днем. Не имеющий дров входит в долю исполу, то есть половину имеющейся картошки отдает обладателю щепки и таким образом приобретает право на печку.

Сергей устроился на нижних нарах. Голову бросил кому-то на клумпы, ноги затерялись где-то под худыми телами соседей, прижавшихся с боков в поисках тепла. В пять часов утра, крестя направо и налево ремнями и палками, «полицай» произвели подъем. К тому времени во дворе уже стояли построенные по четыре жители остальных бараков: предстояло получение шестисот граммов хлеба и котелка теплой воды на четверых.

Жал мороз. В пролеты бараков, где стояли пленные, устремлялись снежные вихри. Ветер трепал полы шинелишек, давно потерявших вид и форму одежды, без единой пуговицы и крючка. Сосед Сергея поминутно выбегал из строя. Цокая клумпами и размахивая рукавами, он почти кричал от холода:

В темноте никто не видит тут и там!
Приходи, кума, за хлебом — хлеба дам!..

Пока он отплясывал, строй подвигался на несколько шагов вперед. «Кум» терял свою шеренгу и, видимо, имея в виду Сергея, звал:

— Эй, длинный в кухвайке! Где ты?

Ящик с хлебом стоял в пяти шагах от кухни. Подходившая шеренга в четыре человека получала из рук «полицая» серый кирпичик и самостоятельно забирала котелок с водой, стоящий на окне кухни. Хлеб брал левофланговый, «чай» — кто был справа. После этого четверка отходила в сторону и принималась за дележку.

Сергей не видел, кто взял хлеб. Задев его локтем, назад метнулся, держа на отлете котелок с водой, «кум». В ту же минуту сосед Сергея слева, также не принимавший участия в получении своего дневного пропитания, закричал истошным слезливым голосом:

— Да дяржите ж их, граждане! Дяржите!

— А пошто?

— Всю корвегу хлеба унесли!.. Дяржитя-а!

Обернувшись, Сергей увидел, что они остались вдвоем. Хлеб,

«чай» и два человека из его шеренги исчезли, затерявшись в предрассветной мгле и толпе до капли похожих друг на друга пленных...

В семь часов утра к лагерю приходят конвоиры и увозят пленных на работы в город. Оставшихся в лагере немцы разбивают на группы и до часу дня гоняют вокруг бараков. Тремя, четырьмя кучами по двести, триста человек топчутся, пошатываясь, по огромному кругу пленные. Немец зорко смотрит за теми, кто отвернул на уши от нестерпимого холода поля пилотки или всунул руки в карманы шинелишки. Такие отводятся в сторону, раздеваются догола и, опираясь на руки и пальцы ног, пятнадцать минут «делают мост».

— И скажи на милость, как любят они мучить людей! — печалятся в толпе.

— И каждый день ить...

— На то ён и немец... в прахриста мать!..

— Хвиззарядка потому...

— Грехи наши тяжкие...

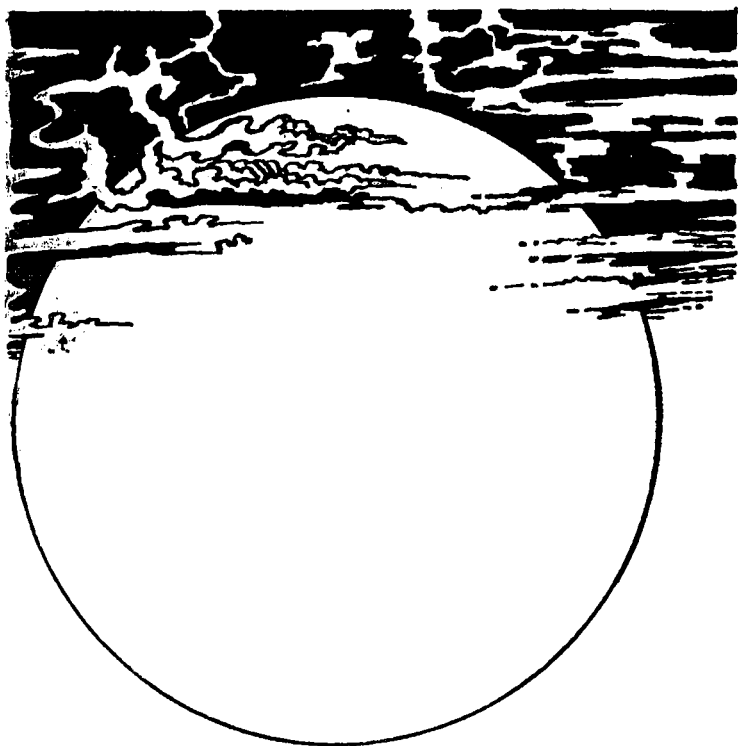
В час дня топтанье по кругу прекращается. Пленные получают котелок баланды на двоих, тут же, на улице, съедают ее, а с двух до пяти часов вновь принимаются ходить. За весь день никто не смеет зайти в барак...

...И вновь в мучительном раздумье Сергей начал искать пути выхода на свободу. И вновь по ночам, ежась от холода, раздирая тело грязными ногтями и выковыривая впившихся в кожу паразитов, рисовал соблазнительные и отчаянные варианты побега. Знал: не один он лелеет эту мечту. Но не говорят в лагере открыто о ней, носят эту святую идею осторожно и бережно, выискивая тех, кому можно ее доверить.

Шел март. Наступала весна 1943 года. В полдни подсолнечные сторсны бараков уже начинали нагреваться, длинней и голодней становились дни. В лагере подсыхала грязь. На раките, что была заключена немцами в лагерь вместе с пленными, набухали лоснящиеся красноватые почки. Они были клейкие и нежные, во рту отдавали горечью и тонко пахли лугом.

«Бежать, бежать, бежать!» — почти надоедливо, в такт шагам, чеканилось в уме слово. «Бе-ежа-ать!» — хотелось крикнуть на весь лагерь и позвать кого-то в сообщники... Нужен был хороший, надежный друг.

И лип Сергей к разговору кучки пленных, прислушивался к шепоту и стону, ловя в них эхо своего «бежать»...



В. АФОНИН
ОБОЗ

ПОВЕСТЬ



Февраль... последние дни. Слепые метели, бездорожье. Далекая деревня Кавруши. Снега... Лес... До сельсовета — двадцать верст, до района — семьдесят, до железной дороги — больше двухсот. Ночь, буря, темь. Сорок дворов — ни огонька. Закрыты трубы, закрыты двери, брошено изнутри на порожек тряпье, чтобы мороз понизу не попадал в жилище, заткнуты выбитые глазки окон. Ветер еще с вечера выстудил избы, спят сорок семей: угревшись, укрывшись дерюгами, шубами старыми, бушлатами армейскими — чем можно. Спят. Старики, кто в живых остался ко дню этому, вдовы, инвалиды, ребятишки малые, девки, ребята, здоровые, хворые. Сон глубокий, не слышат пурги-метели. Третий час ночи. Еще до утра далеко, а утро непогожее поздним будет, и не узнать, который час: трое часов-ходиков на всю деревню — у председателя, счетовода конторы да продавца сельповской лавки, но им на работу к девяти.

Ночь. Шумит заснеженная тайга, попряталось все живое в норы, в дупла, в берлоги. Горе тем, кто в такую ночь оказался в пути. Нет дороги, не видно. Занесло речку Шагарку с поворотами ее, берегами, омутами и прорубями. Сровняло берега.

Еще до утра далеко, гудит, шарахается метель, шуршит снегом о стены, наметая сугробы, темень, холод, и не то что встать и идти куда-то, а и подумать об этом зябко в такое время. Лучше всего спать до рассвета, встать потом, печку растопить да сварить щей горячих...

* В сборник повестей В. Афонина эта повесть включена под названием: «Год сорок шестой».

...Изба Щербаковых на отшибе, возле самого леса. Дорожку от соседнего двора замело ночью — не угадать, избу высоко обложило сугробами, скрыв нижние глазки трех окон, и сами окна густо залепило, забуранило снегом. Изба под тесовой крышей, к северной стороне избы, вплотную, крыльцо накрывая, примыкает глухой соломенный двор, влево от него — полузанесенная городьба огорода, возле самых кустов, в сугробах — баня. Дальше — поля, согры березовые, осинники, болота...

В избе темно. Возле печи, на двух широких, сдвинутых скамьях, не раздевшись на ночь, только обувь сняв, под зипуном спит Евдокия, на большой печи, поджав колени к животу, прижавшись к чувалу, — Варька; на кровати, натянув на головы дерюгу, — Сенька с Минькой. Хозяин дома Андрей Щербаков шестой год не ночует здесь. Взятый в первые дни войны, он пропал без вести на четвертом году ее...

Пора было вставать — Евдокия чувствовала это. За долгое время работы на ферме она приучила себя подыматься вовремя. Пора было вставать, но она никак не могла проснуться, опять приснился муж Андрей, приснился нехорошо, она чувствовала понимала, что это сон, хотела освободиться и, видимо, стала кричать, потому как тут же услышала голос Варьки: «Мамка! Мамка! Да проснись же. Ну-у!»

Евдокия сразу приподнялась и села. Некоторое время она сидела так на ложе своем, обдумывая сон, гадая по-бабьи, к худу или к добру он. Решила — к худу.

Спать на скамьях неудобно было совсем — узковатые они для того, а и на полу не уснешь — тянет из щелей. На печи вдвоем с Варькой не помещались они. А на скамьях уж потому неудобно — не повернешься лишний раз, не ляжешь, как хотелось бы, и подстелить нечего, и накрыться — у ребятишек не отымешь. Потому зиму спит она не раздеваясь. За ночь тело затекает, ломает всю, крутит...

В избе было холодно, холодно и темно, пол как в сарае — не ступить босой ногой. И в темноте этой предутренней чуть проступали заснеженные квадраты окон.

Босая Евдокия шагнула к печке-голландке, где на остывшей плите стояли пимы, обулась и прошла к большой печи; там на шестке, возле лампы-коптилки, лежал коробок спичек. В коробке том, исшорканном с обеих сторон, оставалось еще пятнадцать спичек; вчера Евдокия пересчитала их, с тем чтобы не тратить в день более пяти штук (на ферме печку приходилось тоже своими растапливать, а колхоз спичек не давал). Взяв коробок, она трянула им по привычке и, сняв пальцами нагар с фитиля, зажгла коптилку.

Коптилка — обыкновенный пузырек емкостью в полстакана — налита была на треть керосином, и в керосин тот из горлышка спускался фитиль — скрученная жгутиком вата. Пламя отклонялось по сторонам, когда Евдокия ходила по избе, и от язычка его крохотного тонкой, изломистой струйкой поды-

малась к потолку копать. Свет таился в закутке печи, но, при-смотревшись, можно было увидеть дощатый стол в простенке между окнами; по обе стороны от стола, к стене самой, Евдокия придвинула скамьи и деревянный с горбатой крышкой сундук в углу дальше от стола, и деревянную же кровать в другом углу, кровать, на которой спали ребяташки, поставленную за печкой-голландкой, сложенной по правую руку от двери. Рукомойник висел на гвозде с левой стороны от порога, под ним лохань, веник прислонен к ней, обтрепанный, принесенный из бани веник. Окна без занавесок, на лавке возле печи ведро с водой. Над лавкой — дощатая коробка с двумя полочками. Для посуды...

Евдокия стала одеваться. Надеть ей оставалось фуфайку только — все остальное было на ней. Поверх холщовых домотканых штанов какую зиму уже носила она латанные-перелатанные ватные мужнины штаны — и радовалась им всякий раз, и берегла, чтоб не зацепить где за гвоздь, не дорвать вконец, — поверх холщовой же рубахи и байковой кофтенки — мужнин тоже — пиджак, а поверх всего — фуфайку. И на голову — всю зиму по апрель — шапку Андрея. Свою одежду, справленную еще до войны, поистрепала она за пять лет с лишним, а что не доносила, Варьке отдала. За все это время ни лоскута материи не поступило в дом со стороны, холстину вот ткали — тем и обходились. И другие так. Да и холсты раз в два года ткали...

Одевшись, Евдокия поняла, что встала раньше обычного, но она так с вечера и загадывала — встать пораньше, пораньше управиться на базе, чтоб к восьми успеть в контору, в очередь за быком. Каждую неделю по воскресным дням — а сегодня и было воскресенье — личным хозяйствам давали быков — дров подвезти или сена, кому в чем была нужда. У Евдокии нужда была в дровах, собиралась она, если быка дадут, после управки утренней привезти на ферму воз, а под вечер — себе воз, вчера они с Варькой распилили последний кряж на восемь чурок — до следующего воскресенья не хватит, и говорить нечего. И так раз в день топят избу, мерзнут.

Хоть и встала Евдокия раньше нужного, но, зная работу свою, понимала она, что, как ни торопись там, в свинарнике, не успеть ей к восьми в контору. В прошлое воскресенье так же вот поднялась и спешила, а все одно опоздала к разбору — не досталось ей быка. Чтобы успеть, нужно брать Варьку. Варька и так помогала ей в работе второй год зиму-лето, но по утрам никогда не брала ее Евдокия — жалела. А сегодня решила взять. Что поделаешь? Ничего, как-нибудь...

— Варя, — позвала она, — вставай, пойдешь со мной. Вставай, милая, время нам. Варя! — И стала помогать одеваться слезшей с печи дочери, подавая все, что можно было надеть. Варька ежилась, вздрагивала и все никак не могла разлепить глаз. Пимы сняла с плиты, долго ждала платок. Поторапливая

дочь, Евдокия поверх фуфайки натянула на себя еще длиннополый зипун, укрывалась которым, муж, бывало, все брал его осенями, когда коней ночами пас. Широкий зипун.

Собрались. Евдокия положила в карман ватника спички, чтоб не отсырели, дунула на коптилку и, уже собираясь уходить, в темноте потянулась рукой к полке — там лежало несколько кусочков жмыха. Два из них Евдокия сунула за пазуху и вышла вслед за дочерью. Варька ждала ее на выходе из двора. Согнулась.

Метель улеглась, тихо было, и в тишине этой предутренней жгучий настаивался мороз. И вызвездило вон как, и месяц зародившийся виден был. Холодный, с прозеленью. Куст под окном запорошен, на крыше двора — метровый снежный пласт.

— Пяти, однако, нет еще, — поглядела на месяц Евдокия. — В самый раз вышли, Варя.

От звезд и снега хоть и не шибко светло было, но идти можно, различались избы и дворы, только вот дорогу скрыло, сровняло совсем. Она и не дорога к ним — тропа. Раз в неделю если подъедет Евдокия на быке — след санный виден.

Приподняв воротник зипуна, ощупывая палкой, куда ступить, Евдокия шла впереди, за ней, сжавшись в комок, сунув руки в рукава, угнув голову, след в след — Варька. Деревню, протекая с заката на восход, речка Шегарка делила, скотные дворы находились на той стороне, и ходу туда по такой дороге было полчаса — не меньше. Недалеко от усадьбы Щербаковых жили две доярки, иногда Евдокия заходила за ними, но сегодня, видно по всему, еще спали они, да хоть и встали, свет коптилок, как ни приглядывайся, не виден издали. Может, на ферме уже. Да нет, спят.

Так и прошли мать с дочерью через всю деревню одни. Прошли мимо конторы, которую рассыльная в семь утра начинает топить, мимо двух пустых больших амбаров, из которых зерно, какое было, вывезли еще с осени, мимо еще одного амбара, охраняемого, где лежало семенное зерно, мимо овчарника, где в прирубе, прикрутив фонарь, сидел старик сторож, следивший за окотившимися матками, и подошли к месту работы Евдокии, длинному рубленому строению — свинарнику.

Всякую работу знала и делала Евдокия в крестьянстве. И за скотиной любой ухаживала смолodu. Но вот к чему не лежала душа ее, так это к свиньям. И до войны еще, когда свое хозяйство держала, никогда, ни в лето, чтобы осенью, к празднику заколоть, ни тем более в зиму — в зиму оставь, картошки одной не напасешься — не пускали поросенка. Уж тем нехороша животи́на, что пакость всякую жрет без разбору, навоз любой. А потом ты ее ешь — свинину. А то еще настырная попадет свинюшка, хоть ты ей пять раз на день выноси, все визжит, на стенки кидается. Лучше овцу лишнюю держать, пользы больше. Так они всегда и поступали.

Своих не хотела свиней, а за колхозными пришлось ходить. В совхозах, там — мужики до войны еще рассказывали — что-нибудь одно держат: коров, коней либо. А в колхозе все вместе. В Каврушах вот и коровы, и овцы, и свиньи, и куры.

До войны Евдокия сколько лет — да, почитай, с тридцатого года, как в колхоз вступили, — зиму-лето за коровами ухаживала, а в сорок первом, летом, когда мужиков проводили, на свинарник перевели. Вызвали в контору и... «Вот что, Щербак, решили мы тебя на свинарник переместить. Людей не хватает, ты поздоровее, попроворнее других, будешь там одна. Справишься, не возражай. А свинарки на телятник пойдут». Двое баб престарелых там до того работали. Попросилась тогда Евдокия на конюшню вместо Андрея, но туда уже старика определили, из тех, кто до войны уже не выходил на работу. «А почему на свинарник не хочешь?» — спросили. Что скажешь? «Не нравится». Так в колхозе не интересуются: нравится или нет. Послали — иди. А тут война. Да и как откажешься? Начнут другую посылать, а та может сказать: «Ты вот отказалась, а чем я хуже тебя? Здоровая, а смотришь, где полегче». Пошла. Шестой год возле свиней. Лучше б день и ночь на конюшне.

Скотные дворы, они почти в деревне, за крайними избами, с южной стороны ее. А свинарник подальше отнесен, к ручью самому. Да его б за версту от деревни отдалить — вонь какая. А нет, здесь построили. Рядом, дескать. Для себя ж...

Дорожки все — к ручью, к проруби, где Евдокия воду берет, к дровам — замело, возле дверей прируба — кухня, в прирубе том — сугроб — дверей не открыть. Евдокия туда-сюда разбросала снег ногой и потянула на себя скобу, пропуская вперед Варьку.

Если зайти с улицы не в прируб, а сразу в свинарник, то вонь густая тут же ударит в голову, и затошнит чуть ли не до рвоты — вот за эту вонь и не любила Евдокия свиней и за шесть лет никак привыкнуть не могла. А на кухне запах тот послабее, подышишь, потом и в свинарник не страшно заходить.

Вошли. Евдокия, притянув дверь, повела по стене рукой, наткнулась на фонарь, висевший на деревянном кольшке, взболтнула в темноте, проверяя, есть ли керосин, проворно зажгла и опять повесила фонарь на стену. С фонарями строго было: выдавали их под расписку — боже упаси потерять — и домой, даже в осеннюю темень и грязь непролазную, брать не разрешалось, чтобы керосин дома бабы не отливали. Евдокия и не брала его никогда, а как кончался керосин в коптилке, приносила пузырек с собой и наливала из фонаря. Сейчас хоть для фонарей керосин появился, с лучиной по зимам сидели. Как в сказках тех...

Повесила фонарь на стену и при свете его огляделась, соображая, с чего начинать. Кухня небольшая, шагов шесть в длину, посредине, занимая почти все место, печка квадратная из кир-

пича сложена, в нее котел многоведерный вмазан — готовить для свиней. Часть кухни досками отгорожена — заком под картошку или свеклу, что привезут. Мешки тут же с отрубями, дрова в углу — сухие, сырые.

— Растопляй быстрее, а я... клетки чистить пойду, — хотела сказать Евдокия, да вспомнила — фонарь-то у них один. И поняла, что зря тянула с собой девчонку, мало пользы будет от нее при одном фонаре. При двух Варьку можно б возле печи оставить, а самой клетки чистить идти. А сейчас... Но что-то надо делать.

— А я прорубь пойду прорублю, — сказала Евдокия, взяла топор, которым дрова колола постоянно, лопату железную и ушла к ручью.

Ручей рядом, течет он издали, из болот и, если морозы не-сильные, бураны, зиму не промерзает до дна. Напротив свинарника омуток вроде, в этом месте Евдокия всегда прорубь де-лает.

И дорожку к проруби, и прорубь саму не увидеть — забура-нило. Спустившись с берега, Евдокия разбросала снег над ста-рым, затянувшимся за ночь оконцем и скоро прорубила — про-чистила одной лопатой, ледок был совсем тонкий. Вернулась, а в прирубке уже ярко топилась печь, светлее от огня стало, только тепла еще не прибавилось — печка широкая, приземи-стая, пока это кирпичи нагреются. Варька сидела на печи, дер-жась одной рукой за край котла, другой выбирала из него кар-тофелины; какие получше, складывала себе на колени. Лицо серьезное у нее.

— Варька, а я и забыла совсем. — Евдокия полезла за па-зуху, достала жмых. Протянула Варьке кусок, что покрупнее. — Ну-ка, погрызи. Разбей топором. Вон стоит...

— Не буду жмых, — мотнула головой девочка, — твердый он шибко. Зубы шатаются. — Набрала с десятков картошек и стала есть их, очищая по одной. Картошка эта, мороженная и мелкая, была сварена с вечера: сейчас ее нужно было подо-греть, потолочь и, перемешав с отрубями, разносить по клеткам свиньям. Картошку колхоз из года в год сажал на полях, круп-ную отбирали для кухни колхозной — в посевную, сенокос, убо-рочную на таборе раз в сутки, в обед, варили еду для рабо-тающих, а мелкая всегда шла свиньям. Мелочь с осени засыпали в ямы неглубокие, закрывали ямы те, только чтобы снег не по-пал туда, первым же морозом картошку прихватывало, так ее, гремевшую в деревянных ящиках, и привозили на свинарник. Три-четыре ящика привезут, как раз хватает на неделю.

Картошку эту, сладкую, в червоточинах, чтобы не ослабеть вконец, изо дня в день ела сама Евдокия. Пекла иногда, ото-брав, что покрупнее, а чаще — прямо из котла, вот как сейчас Варька. И ребятишкам носила. Да кончалась уже картошка, по-следние короба привезли, теперь турнепс пойдет до самого вы-гона, свекла. Уж тем хороша работа на свинарнике, зиму всю

(лето пасли) можно было поесть что-либо возле свиней. Хотя вот этой же и картошки.

С осени, когда поросята были маленькие, еще и обрат на них получала Евдокия. Обратно тем можно было прихлебнуть картошку. Обрат давали по строгому учету, и вечерами, когда доярка — те в коровниках прямо, таясь друг от друга, молоко пили из ведер — и Евдокия, случалось, с ними шла — возвращались домой, обязательно, нечаянно будто, попадал им кто-либо навстречу: председатель, Глухов или заведующая молочным пропускным пунктом, где сепарировали молоко. Ей наказ был дан следить за бабами, чтобы молоко не несли домой с фермы. Сдадут, дескать, ей, а часть, по литру хотя бы, оставят во дворе. А вечером — домой молоко это. Вот тут и нужно не промахнуть, поймать. Сама заведующая сливки пила из-под рожка сепаратора, а не обрат, как Евдокия или бабы-телятницы. Домой несла-тащила. Разжирила — куда там!

А как и принести бабам молока, хоть и захочешь? Ведра давно строго-настрого запретили брать домой с фермы, а если кто шел с ведром, значит, считали, не просто так, а нес что-то. Одна из баб понесла как-то литра полтора молока. Ребятишек у нее трое, мужа в первый же год убило, и умирал как раз парнишка младший, вот и несла. Так заметили. Та же заведующая сепараторным отделением и заметила. А сама — ничего, никто ее не караулил. Бабу ту наутро с доярок долой и на разные работы. А какие зимой в колхозе разные работы? За соломой ездить в поля, дрова возить. А плакала она вон как в конторе, винилась, а нет, не пожалели. Одну пожалей, другим повадно станет. Сняли с доярок. А парнишка умер вскорости. Да. Бабы потом ругали ее, товарку свою. Что ж тебя засветло понесли черти по деревне! Спрятала б, а ночью и сходила б. А эта Танька, сука, чтоб ей! Как пес...

Евдокия сама носила обрат — нальет две бутылки, притянет под рубахой к животу и несет. Обратно тем долгое время суп травяной белили. Сейчас вот ни травы, ни обрат. Самое трудное время — зима. А тянется как! Ждешь-ждешь тепла, устанешь.

За долгие годы войны приучила себя Евдокия есть все и ребятишек заставляла. Да их и заставлять не нужно было — все время, как галчата, с раскрытыми ртами. Ешь что придется. Летом — траву любую: крапиву, лебеду, щавель, репей, молочай. Чего-чего, а травы летом хватает! Сейчас вот картошку эту, сладкую от мороза, червивую. Только так и можно было прожить при работе такой. Вон отруби стоят. Надумала как-то Евдокия лепешки из них печь. А как испечешь, если б хоть ржаные отруби были, а то овсяные, солома одна. Просеивать надо, сито надо нести из дома, понесешь сито, сразу поймут, зачем. Нашла Евдокия кусок решета старого, загнула топором края, чтобы отруби не просыпались, да и стали подсевать. А их уже, видимо, просеивали не раз до того, на ведро отрубей

горсть муки выходило. Да еще решето крупнодырое, просыпается все, какая там мука? Насеяла, закрыла прируб изнутри, замесила пополам с отрубями, обтерла лопату тряпкой, тесто на лопату да и в печь. И такие лепешки, гос-споди, соли б еще! Первую не заметила, как и съела сама. Остальные опять же за пазуху — и домой. Два дня хлеб ели...

Все это передумала-вспомнила Евдокия, глядя, как Варька ест картошку. Она и сама съела несколько штук, потрогала ладонями котел — холодный еще, сказала Варьке:

— Давай-ка подбросим дров да пойдем чистить пока. Время идет. Успеть бы.

Пошевелила горевшие поленья, чтобы осели они, сверху положила несколько сырых, взяла лопаты и, пропуская вперед Варьку, державшую перед собой фонарь, вышла в свинарник. Там, через все помещение, по обе стороны прохода наделаны были клетки, в них возились, визжали, чуя время кормежки, отошавшие, в длинной щетине свиньи. Поставив на пол фонарь, Евдокия шагнула в крайнюю клетку и, отгоня лопатой лезущих в ноги свиней, стала вычищать, выбрасывать скопившийся за сутки навоз на проход, а Варька накладывала его в санки. Первые дни, как пришла сюда Евдокия, приходилось ей, поддев на лопату навоз, бегать от каждой клетки к двери — выбрасывать. Это сколько же раз туда-сюда сходить надо было? Привезла она из дому санки, кошевку на них поставила. Старая кошева, брошенная, из прутьев таловых плетенная, председатель в ней ездил когда-то. Установила кошеву ту на санки, и ловко так получилось. Беготни меньше.

Нагрузили первую, Евдокия, перехлестнув через спину веревку, наклонилась вперед и, оскользаясь по мокрому полу, поволокла санки к двери. Сзади, уперев в кошеву лопату, навалиясь животом на черенок, помогала Варька. Навоз вываливали неподалеку от дверей, за стеной свинарника. Куча здоровая...

Все так же тихо и звездно было на дворе, только мороз, казалось, хватал злее. Помогнув нагрузить несколько санок, Варвара ушла в прируб толочь, мешать с отрубями картошку. Дрова в печи разгорелись, и от печи, если открыть дверцу, свету было достаточно. Взяла толкушку, влезла на печь. А Евдокия продолжала чистить свинарник. Она спешила, в санки старалась наложить поменьше, чтоб легче тянуть, от спешки, от лопаты тяжелой взмокла скоро, и всякий раз, когда вытаскивала санки на снег, ее охватывал мороз. Вонь держалась — не продохнуть, тошнило, кружилась голова, и когда, вывезя последнее, Евдокия, хватая ртом, прислонилась спиной к углу сруба, почувствовала, как мелко-мелко трясутся-дрожат у нее ноги. Стояла она минуту какую-то и слышала как раз по деревне голоса — то бабы со всех краев сходились к работе своей: в коровник, в телятник, в овчарню. От конюшни доносились скрипки конюха и скрип полозьев. Поехал куда-то в такую рань.

На улице светлее ничуть не стало, и, сколько ни присматривалась Евдокия, не увидела она ни огня в окне конторском, ни дыма печного — топить рассыльная в семь является, чтобы к восьми, к приходу начальства, печка тепло дала. Ей, рассыльной, в шесть подыматься надо, правда, не на свинарник идти — работа иная.

Свиньи визжали, толкаясь в дверцы клеток, кормежку надо было начинать, и Варька уже вышла из прируба — едва виднелась на другом конце свинарника при фонарном свете. Евдокия прислонила санки к стене, прошла в прируб: там тепло и светло от печи, присесть бы на минуту. Ох, как надоело все...

Стали кормить. Варька влезла на печь, держась одной рукой за край котла, черпаком наполняла поставленные в ногах ведра. Евдокия брала их и выносила. Подходя поочередно к клеткам, поднимая ведро выше груди, она наклонялась над бортом и выливали корм в изгрызенные деревянные корыта, чуть не на свиначьи головы. В клетки никак нельзя входить — свиньи кинутся к ведрам, сшибут с ног.

Так и работали они молча, дочь с матерью: Варька наполняла ведра, а Евдокия относилась. И когда подошла к последней клетке, визг стих, и только густое чавканье стояло всюду. Вот чавканья этого свиначьего не терпела Евдокия. Ну, свинья свиньей, а как человек этак начнет за столом? Держалось в памяти Евдокии несколько таких — она потом вместе с ними ни-когда за один стол не садилась, хоть какая компания соберись. И не упрашивай! Смеялись над ней...

Корм раздали, осталось самое малое — засыпать котел сырой картошкой и водой залить — на вечер. Так они и сделали. Быстро. Варька старалась. Она насыпала картошку из закрома. Наберет ведро, обеими руками — руки тонкие — поднимет на печь, влезет сама и опрокинет ведро в котел. Евдокия двумя ведрами споро носила воду из ручья. По-хорошему если, так на свинарник этот двух баб здоровых, проворных ставить надо — тогда спешки не будет. Только не надеялась Евдокия, что дадут ей помощницу, не было баб свободных, все кружились, как она, Евдокия, на своих местах, и сил и проворства за все эти годы убыло заметно у каждого. Это уж так просто успокаивала она себя — если б вдвоем. Вот Варька приходит — вся помощь. И то хорошо. В школу бы ходить ей. Она — на свинарник.

Наполнили котел. Поставив ведра, полную печку поленьев насовала Евдокия (после конторы она еще забежит сюда, подбросит) и, отправив Варьку домой, сама — время, чувствовалось, подходит к восьми — размашисто пошла в контору, гадая на ходу, кто нынче станет выдавать быков: председатель или Глухов. Ворот зипуна ее был поднят, сам зипун запахнут тесно, руки Евдокия сунула в рукава и шла так, боком несколько — злой, с восхода, потягивал ветер.

Вот и контора. Окна, свет. Быков выдавал председатель...

В то время когда Евдокия, перехлестнув плечо веревкой, возила на санках навоз из-под свиней, торопясь попасть к нему в очередь, председатель еще спал. Спала и жена его Зинаида, зимой она на работу не выходила. Председатель проснулся в семь, он мог бы встать и позже — дело зимнее, да нужно было к восьми подойти в контору: воскресенье, сойдутся бабы быков просить. Да и не эта забота подняла его, выдачу быков можно было поручить Глухову, председатель зачастую так и делал: утром этим нужно было собрать мужиков, которых он наметил послать во вторник с обозом в город. В обычные дни он к девяти являлся.

Председатель с женой спали в передней, которая была раза в два просторнее горницы: в горнице спал пришедший на выходной из интерната младший сын Ленька.

Изда председателя окнами на улицу, перед окнами палисадник в березках. Огород спускается к ручью, впадающему в речку, за избой — скотный двор, баня.

Первой поднялась Зинаида. Ей бы и того больше не следовало просыпаться в такое время, но, как всякая деревенская баба, она приучена была вставать раньше мужа, потому всегда и спала с краю. Кряхтя и почесываясь, долго искала спички, нашарила, подошла к столу, чтобы зажечь десятилинейную лампу, стоявшую там; позевывая, подала сидевшему в белье мужу шерстяные носки и поставила к ножке кроватной высушенные в печи валенки. Галоши на эти валенки стояли возле дверей, не те неуклюжие, глубокие галоши, которые, если есть у кого, мужики, ухаживая за скотом, натягивают на валенки, а остроносые, тонкой блестящей резины галоши с малиновой байкой внутри. И у жены Зинаиды такие же были.

Председатель умылся в углу за печью, не гремя соском рукомойника, не брызгая себе на ноги, утерся висевшей тут же на гвозде суровой утиркой и прошел к столу. Пододвинул лампу — у него в доме была и другая лампа, висячая, «молния» называлась. Ее подвешивали на гвоздь, вбитый в матицу, по праздникам, когда приезжали гости-родственники — своих, деревенских, у него в гостях не бывало — или из района кто. Он пододвинул лампу и перед зеркалом, вделанным в верхнюю дверцу посудного шкафа, за которой стояли рюмки ножками вверх да горка блюдца, перед зеркалом потемневшим, целясь в него то левым, то правым глазом, причесался. От затылка на лоб и немного на сторону прогреб он жесткие волосы, седые чуть — от забот, от времени ли, и такие же усы — вислые концы их опускались ниже углов рта. Причесался, и сел к столу, и отодвинул — теперь мешала она — лампу. Жена поставила перед ним кринку с молоком, хлеб в тарелке и сама же налила молоко в стакан. Председатель поднял локти на стол. Стол этот (второй стоял в горнице), как и посудный шкаф, как и восемь стульев, не низких квадратных табуреток, бытующих в крестьянских избах,

а легких, с полукруглыми сиденьями, спинками и обивкой, а еще сундук для добра, а еще шкаф большой платяной — в районе видел такое — заказал он в тридцатом году, до колхоза. Была тут тогда артель — телеги делали, сани, дуги гнали, по мелочи кое-что, а он, Кобзев Лаврентий Кузьмич, был в те годы кладовщиком готовой продукции. Потом артель перевели. Он переехать хотел, да остался: из кладовщиков поднялся до председателя. Но артель он часто вспоминал. Давно это...

Так он и сидел, поставив локти на стол, редко прихлебывая из стакана, и веки с синеватыми белками глаз его были по всегдашней привычке полузакрыты. Выпил два стакана, к хлебу не притронулся. Прошел к порогу одеваться. Надел поношенную, крепкую еще шапку с кожаным верхом, короткий, крытый коричневого фланелью полушубок и, уже держась за скобу, повернулся чуть к жене. Подумал.

— Управишься тут, завтракать не приду, — сказал и толкнул дверь. Он никогда не жаловал жену долгими разговорами, как и всех, кто попадал в круг его власти. Редко когда, если работа ладилась кругом, пошутит, посмеется. А то все хмур.

Улица, на которой жил председатель, была единственной в деревне, в обе стороны от нее отходили переулки. Кобзев закрыл ворота и пошел, чуть горбясь, сунув руки — рукавицы редко надевал когда — в боковые карманы полушубка.

Проводив мужа, Зинаида Лукьяновна постояла недолго возле окна и, затушив лампу, прилегла опять. Сам теперь придет только к обеду, сготовить ко времени тому она успеет, а скотину — корову с телком, трех овец, поросенка — управить недолго. Несколько лет уже Кобзевы жили втроем. Старшие — сын и дочь, закончив техникум, учительствовали в районе, еще одна дочь работала тут же, в сельповской лавке, но и она жила своей семьей. Один Ленька на руках. Последний.

Зинаида Лукьяновна легла на кровать, а Лаврентий Кузьмич в это время шел по улице, тяжело и редко ступая, шел в контору, над крыльцом которой на куске фанеры коричневым по зеленому было выведено: «Колхоз «Верный путь», а ниже чуть — название района и области. В самом низу — название сельсовета.

Было еще темно, но от изб на дорогу всюду различались следы по свежему снегу, торопливые бабы следы во все стороны. Кобзев поднял воротник полушубка, шапку оправил и шел, хватая морозный воздух вздрагивающими ноздрями, покашливая. Он знал, что в конторе уже тепло, прибрано и бабы ждут его, Кобзева.

Рассыльная пришла в контору раньше семи и ко времени этому успела протопить печку в половине, где находились столы председателя и счетовода. В обязанности ее входило: топить каждое утро контору, полы подмести — мыла она их через два-три дня, смотря по погоде, — протереть столы и подоконники, воды принести ведро и находиться постоянно тут, иной раз и после

обеда, чтобы, если нужно кого позвать, пойти и позвать. Кроме того, белила она все помещение три раза в году: к Октябрьским праздникам, Новому году и к Маю. Дрова всякий раз ей подвозили, но пилила и колола сама. Запас колотых дров был у нее постоянный. Считалось среди баб: если дров готовых много возле конторы, значит, рассыльная старательная. Труд рассыльной расценивался всеми до смешного легким. И кое-кто из баб, а особо молодые девки, которых из года в год посылали с осени на лесоповал (все одно, что там, что здесь ничего не платят), рвались на это место. Но Кобзев вот уже второй год держал возле себя многодетную бабу, хоть и немолодую, но проворную в работе, и, случалось, за счет колхоза помогал ей какую-либо часть одежды исправить, чтобы нищета не так была заметна, — из района часто наезжали. И отпускать старался после обеда, редко когда задерживал. Видя такое внимание со стороны председателя, старалась рассыльная.

В большой половине конторы, в прихожей как бы, где собирались все, кому нужда была в контору, было не топлено совсем. Печка и здесь стояла, но дымила она давно, еще летом несколько раз собирались перекладывать ее, и осенью разговор об этом был, да так руки и не дошли. В передней и находились сейчас бабы в ожидании председателя. В теплую половину рассыльная их не пригласила, да они бы и сами не пошли; сидеть на скамьях было намного холоднее, чем стоять, так они и стояли близко друг к другу, обвыкнув в темноте, переговариваясь, и Евдокия была среди них. Она отошла в угол, присела на край скамьи. Ждали.

Нашло человек десять — хватит ли быков? Ездовых быков в колхозе числилось шесть пар, и в зимнее время за каждой парой закреплялся возчик. С первых же дней войны, как позавирали мужиков (до войны бабы и знать не знали, чтобы ни свет ни заря тащиться в контору, в очереди за быком стоять, это уж если одиночка какая-то), особенно в зимнее время, двух-трех ездовых по воскресеньям посылали на другую работу — плотничать, в скотные дворы или еще куда, а быков давали личным хозяйствам. Правила такие Кобзев установил сам.

Так за быками теми — еще темень, хоть глаз коли, мороз ли декабрьский — рта не раскрыть, или метель, как в эту ночь, еще и семи нет, еще рассыльная не пришла в контору открывать, топить, а уж подходят бабы, ребятишки ли тринадцатилетние — очередь занимать. Зима долгая, морозы, дров много надо, и если ты привез воз в прошлое воскресенье, то, как ни тяни, на две недели не хватит — или проси опять. Но это еще не все, что занял ты очередь: быков самое большее в пять дворов могут дать, а народу всякий раз собирается до пятнадцати человек. Бывает, стоишь, подойдет твоя очередь, а быков уже нет, жди следующего воскресенья. Тут вот еще что важно — кто выдает быков. Если сам Кобзев выдает, то хоть малый порядок, но соблюдает с выдачей: допустим, дал сегодня одному,

в следующее воскресенье — другому. Но плохо, когда Глухов садится за председательский стол. Если уж зло на тебя таит он за что-то, будь уверен, походишь к нему в контору, поклоняешься. Да хоть и без зла, хоть и стоишь в очереди, не сразу и даст, тоже умысел свой имеет.

Он сначала родне своей дает, кумовьям да близким, а уж потом — кому достанется. Так его, Глухова, от ребяташек отрывая, угостить старались заранее, чтобы быка получить, а иначе как? Многие бабы, которые и при мужиках несмелые были, а теперь и подавно, сходя в контору впустую раз-другой, брали санки, топор, утопая в снегу, шли за огород в ближайший березняк, рубили березки в оглоблю толщиной, грузили и, перекинув веревку через плечо, тянули санки домой. Так и топили. Только дров таких много надо, как солома они горят, так что за зиму потрешь веревкой спину, потягаешь. А то на коровах ездили, у кого корова в запряжке ходила. Вон дед Карпухин, он не ходит сюда, не кланяется. Сани у него хоть и плохонькие, но свои, упряжь. Запряг корову и поехал. Он и в город на ней ездил, а что ж? Только уж молока не жди от коровы — зимой особенно, если воза возишь на ней. Да уж лучше на корове, чем на себе. Другой бы и на корове привез, а нет ее. Съели...

Но и быка получить — это еще полдела, сани нужны. Бывает, дадут быка, а саней нет в колхозе свободных: эти сломаны, те заняты, нет — и все. Уступай тогда быка другому, кто сани имеет. А и отдавать тяжело, гадай, дадут в следующее воскресенье или нет? Так вечером, в субботу, еще не зная наперед, дадут ли, нет быка, бегаешь по деревне, сани выпрашиваешь. Сани добыл, шорка нужна, быка запрягать. Шорку дали, веревку ищи, дрова увязывать. С веревкой хуже всего обстояло, редкий хозяин имел свою, а если имел, то берег пуще глаза, потому как взять ее негде было. В магазин их не привозили, в колхозе есть, так кто же тебе колхозную даст — подумай? А некоторые, у кого мужики на войну не попали, имели все вместе. Вербки колхоз для себя каждое лето вил. Перед сенокосом...

А быки, они тоже разные. Иной, обученный только, молодой, заурсит, залезет в снег и ни с места. Отпрягай его тогда, тори дорогу, а сани и дрова по кряжу на себе вытаскивай. А то старого дадут, а он слабосильный, корм какой — солома, лишний кряж положи — не тянет. Их ведь, быков, не сам выбираешь, какого дадут. И уж если попадал он кому в руки на воскресенье, так старались поработать на нем, когда это в следующий раз выпросишь-получишь! А как ни торопись, больше двух возов днем зимним не привезти. Так в эти два воза три вкладывали. Тянет-тянет бык, ляжет на снег, закроет глаза, вытянет шею, по снегу, и мычать сил нет. Иному жалко, другому — все равно. Врежет прутьевой по боку — вставай! Так вот.

Все это пережила-перенесла на себе Евдокия, и хотя ей сегодня можно б не становиться за быком (пятой она была в оче-

реди), можно б просто подойти и сказать, что не себе сначала привезти хотела, а в свинарник, да как полезешь вперед — свои же бабы стоят, мсжет, у кого и щепки дров нету. Вот и в свинарник самой возить приходится. Это значит, утром уберишься и, если есть нужда в дровах, бери быка и поезжай до вечерней уборки. Ну, на свинарник привезти ей бы и среди недели дали, да там другие дела захватят, а уж сегодня заодно. С кем-нибудь из баб сговорится и поедет. Вдвоем куда легче. Да хоть и одна...

Так она и стояла с бабами, гадала, кто же сегодня придет на выдачу — Кобзев или Глухов, а тут как раз и вошел председатель. Он долго обметал ноги на крыльце — снег с крыльца рассыльная сбросила, крыльцо подмела и веник-голик положила на видное место, — шагнул в переднюю, поздоровался с бабами кивком и, не останавливаясь, прошел к себе, в тепло. А рассыльная так и осталась здесь.

Он разделся, повесил полушубок и шапку и сел за свой стол. Кресло у него было широкое, деревянное, правда, но с подушкой самодельной на сиденье. Некоторое время он сидел, вытирая платком замокревшие усы, проверяя уборку рассыльной, а как спрятал платок в карман, негромко — но бабы, чутко слушавшие, что там, за дверью, сразу услышали — сказал:

— Заходите.

И рассыльную позвал.

И бабы, толкаясь и каждая робея войти первой, переступила порожек кабинета. И хотя очередь их изломалась и встали они где пришлось, но каждая помнила; за кем она, а первая в очереди как бы уже чуть-чуть пододвинулась к столу. Рассыльная отошла к окну, ей быка председатель давал вне очереди.

Кобзев сидел, как он сидел всегда за своим столом, положив на столешницу руки ладонями вниз, и пальцы этих рук, поросшие по суставам черным волосом, были раздвинуты и напряжены. Кобзев сидел, угнув голову, по всегдашней своей привычке полузакрыв глаза, и, казалось, дремал, не видя никого, но он видел всех, кто стоял перед ним, видел всех вместе и каждую в отдельности. Баб, которых он знал давно. И все бабы смотрели на него. И Евдокия смотрела...

За шесть долгих лет, считая с сорок первого, этак вот стояла она здесь бессчетно, и всякий раз чудно было ей, чудно, чуть не до смеха. Всякий раз вспоминались годы единоличной еще жизни, и как они табунились по молодости, и с ними Лавря Кобзев. И тоненькую девчущку, подругу свою, Зинку Касачеву, а теперь толстозадую председателюшу Зинаиду Лукьяновну, и как она, Евдокия, заневестилась, а он, Лавря, сутулый, чуб на сторону, — всего на шесть лет он был старше — провожал ее раза два с гульбища. Да кто тогда кого не провожал попервости? Это потом уже, позже несколько, отстоялись пары. А скоро и поженились ровесники его, а он еще долго ходил, выбирал. Выбрал. Живут какой год — ничего...

Году в двадцать восьмом возникла ненадолго в деревне артель, и он, Кобзев, ко времени тому уже Лаврентий Кузьмич, работал в ней кладовщиком. В тридцать первом артель перевели в большое село вниз по Шегарке, а у них, в Каврушах, образовался колхоз. Приехал представитель района, собрали всех в клуб, артели еще клуб. Это уже после подачи заявлений. Представитель, как сейчас помнит Евдокия, тот вышел на сцену...

— Товарищи! Отныне у вас колхоз «Верный путь», а все вы свободные равноправные колхозники. А раз создан колхоз, то необходим руководитель. Есть предложение избрать председателем колхоза «Верный путь» товарища Кобзева Лаврентия Кузьмича. Товарищ всем вам давно известен, на ваших глазах несколько лет работал, можно сказать, на руководящей должности в артели, где и зарекомендовал себя самым положительным образом. Кто за это предложение, прошу поднять руки. Та-ак. Против нет? Прошу опустить...

Подняли. Опустили. Представитель уехал. Кобзев остался. Пятнадцать лет сидит вот так — голова угнута, руки на столе. Руки, почти не знавшие крестьянского труда. Одно только была Евдокия, сколько классов закончил он, Лавря Кобзев...

Все это вспоминалось Евдокии, как приходилось ей этак вот стоять в очереди. И удивляться тому, как все меняется в жизни. Никогда не думала она, что наступит время, и придется ей в замызганном своем зипуне с опояской стоять просительницей перед столом председателя Кобзева, Лаврухи, который ее когда-то провожал, молодую. Вот ведь как в жизни: один сидит, а другой стоит перед ним. Просит. Зависим, значит. А все, говорят, одинаковы. Сравнялись, это верно...

Нет, он еще считался справедливым председателем, Кобзев. При нем, по мнению некоторых, жить можно было. А вот в Выселках, за несколько верст от Каврушей, Дергунов, тот никого не признавал: ни больных, ни старых. Не пошел на работу — симулянт. А слова какие научился говорить, раньше и не знал их: «Государство, план, колхоз... Не наш ты человек... Не в ту сторону тянешь... Учти... Запомни...»

Они, председатели, как война началась, специально в больницу, что при сельсовете, ездили, чтобы симулянтам справок никаких не давать и в больницу не класть. Если уж при смерти кто, тогда только. Не заболеешь лишний раз...

— Вот что, бабы, — глухо и медленно, как он и всегда говорил, сказал Кобзев. — Шесть быков через два дня уходят обозом в город. Во вторник, понятно? — Бабам было понятно. Обоз — это означало, что шесть лучших быков (Кобзев еще вчера распорядился поставить их к сену) не пойдут в работу, и бабам, заменяя ушедших с обозом возчиков, придется на шести оставшихся быках выполнять ту работу, которую до этого выполняли на двенадцати. И еще это означало, что, пока не вернется обоз и не отдохнут быки, по воскресеньям индивидуально тягло

выдавать не будут. Вот что это означало. Надо же так? Никто не ожидал вовсе. И бабы заволновались.

— Вы трое, — Кобзев чуть повернул голову в ту сторону, где стояла Евдокия, — Самарина, Харламова и ты, Щербакова, запрягайте сейчас и за соломой к Горелому табору. Солому подвезете к коровнику, а после обеда — за дровами. Каждая себе на работу. Поторапливайтесь, солому в первую очередь везти. Дорогу бить заново...

И как только он сказал об этом, бабы, которые еще надеялись получить быка, каждая от шести отняла трех. Осталось три быка. И гадали бабы, глядя на Кобзева: пустит ли он тех быков в колхозную работу или раздаст им? А если даст, то кому? Баб оставалось пятеро, быков — три. Кому? И стали они отталкивать друг дружку, каждая старалась зайти вперед, чтобы Кобзев ее заметил, и заспорили две из них из-за очереди, сцепились в драке, бранясь прямо в кабинете. Никогда такого еще не случалось, не помнит Евдокия. Ссорились на улице. А тут...

— Прекратить, — все так же глухо сказал Кобзев. И больше ничего. Не закричал, нет. Он никогда ни на кого не кричал. Он знал, кричать сейчас на баб все одно, что хлестать кнутом загнанную лошадь. «Прекратить!» — только и сказал. Не поднялся даже. Сидел, постукивая пальцами о столешницу. Брови сведены. Ждал.

А бабы и без того (и Евдокия с ними) вытолкнули дерущихся во вторую половину, стали растаскивать. А в минуту эту, пользуясь сумятицей, пробилась к столу Дарья Климова, забитая совсем баба. Работая на телятнике, опоздала она в контору и в очереди была последней. И теперь, встав напротив Кобзева, заговорила, закричала, торопясь, боясь, что опомнятся бабы и оттеснят ее от стола. Ее, кажется, никто и не заметил, заняты все были. В сторонке стояла она.

— Да, Лаврентий Кузьмич! Да до каких же пор? Или всю жизнь я буду ответчицей за него? Или живьем нам всем в могилу ложиться от жизни такой? Да что же я! — И затряслась вся, руками вцепилась в тряпье на груди, в которое была одета, и, заголосив уже непонятное совсем, рухнула на колени перед председательским столом Дарья Климова. Сорока трех лет от роду. Мать пятерых детей.

Ти-ихо стало в конторе. Слышно было только, как потрескивал горевший в лампе фитиль. Дверь в холодную открыта, и бабы, боясь зайти, смотрели, не шевелясь, то на Кобзева, то на Дарью. Рассыльная стояла с раскрытым ртом. Смотрела. И Кобзев смотрел на Дарью.

Ничего не изменилось в нем, все так же были полузакрыты глаза, и смуглое, крапленое оспой лицо неподвижно, только ладони он поднял со стола и сцепил пальцы кисть в кисть. Перед ним — Климова, он — за столом, сзади Дарья — бабы...

...Осенью сорок второго Дарьин муж, Петр Климцов, которого по болезни не призвали на фронт, украл с тока рожь. Кладовщик дед Яшкин, сторож на два тока, добровольно ходил сторожить, чтобы в карманах зерна принести, под утро возвращаясь от дальнего тока, услышал, будто за кустами закрипела, удаляясь, телега. Он за ней, догнал и шел в темноте поодаль, почти до самой деревни. Тот, на телеге, не доезжая до дворов, сгрузил в кустах мешки и поехал порожняком. Дед Яшкин другим путем вернулся в деревню к председателю.

— Скажи Глухову, — коротко посоветовал Кобзев, не вставая.

Глухов взял ружье, дошел до указанных кустов и залег. Две ночи караулил, поймал. Связал Климцова и привез на телеге в контору вместе с тремя мешками ржи. Климцова судили, дали десять лет и увезли. Климцова увезли, а вся беда свалилась на Дарью. Заклевали бабу, будто она крада. Вот, говорят, жена за мужа не ответчица. Ответчица, видно. Твой муж воровал? Воровал. Вместе договаривались! Вот и весь сказ. Слушай, Дарья Петровна. Ох и хлебнула она! Двое ребятишек меньших — а всего пятеро у нее было — раз за разом померли от голода, и третий уже не подымался. И за быком тем же — дров привезти — приходила она в контору бесчисленно раз. И все на Глухова нападала. А он ничего, будто так и надо. Муж вор — о чем и разговаривать? Работать надо — не красть.

— О-ох, Дуня, — жаловалась она Евдокии — соседками были они, — да разве ж так можно жить на белом свете? Давно б руки на себя наложила, ребятишек жалко. Вот уж умрут все, тогда. — И плакать. Евдокия помогала ей. И с дровами несколько раз...

Сегодня Дарье повезло, попала к Кобзеву. А Кобзев знал, как она живет. Он обо всех знал в деревне, кто как живет. И что к Глухову за быком приходила. Но на Климцова и он был зол. Зачем красть? Бабы без мужиков живут-тянут, а ты на фронт не попал. Не можешь работой прокормить семью? И поделом. Мало дали... Знал он также, что человек в силах терпеть до определенного момента, а что потом может произойти, трудно предугадать. И сейчас, глядя на упавшую перед ним на колени Климцову, он понял: это конец. Предел терпению бабы.

— Возьмешь быка, Климцова, — сказал Кобзев. И добавил: — На целый день возьмешь. — Когда Кобзев давал быка сам, то разъяснял: — Только до обеда. — Или: — После обеда бык освободится, возьмешь. — Или: — Ты в прошлый раз брала. Чего явилась? Погоди.

Дарья встала, с опущенной головой, мимо расступившихся баб быстро вышла из конторы. Как слепая. Бабы толковали тихонько в углу, радовались за нее.

«Ну, захлестнется теперь в лесу сама и быка захлестнет», — подумала Евдокия, провожая Дарью взглядом. И сказала товаркам своим — Шуре Харламовой да Татьяне Самариной:

— Идемте, бабы, запрягать. Стоять тут нечего, не подадут. Выходи. — И они сразу вышли. В конторе осталось несколько человек, кто надеялся еще.

Двух оставшихся быков Кобзев отдал на четыре двора, на два двора быка, чтобы привезти по возу в каждый двор. Остальным пообещал в следующий раз.

— Собери мужиков, — сказал он, рассыльной, когда бабы вышли. И подал список.

Остался один.

Долго стоял он возле мерзлого окна, прикрыв глаза ладонью. Походил от стены к стене, сел, открыл ящик стола. Достал лист бумаги, карандаш и снова составил список из тех же фамилий, что на листке у рассыльной. Это был список мужиков, которых надумал он послать с обозом в город. Во вторник. До отъезда оставалось два дня. За это время многое намечал сделать Кобзев. Заново составил список, перечел, отодвинул на край столешницы. И задумался.

Тихон Сорвин, Проня Милованов, Тимофей Харламов, Павел Лазарев, Данила Васюков. Эти пятеро намечены с обозом в город. Шестым шел Глухов. В списке его не было. Кобзев взял карандаш, подчеркнул столбец с фамилиями и внизу добавил: старшим обоза — Глухов. Откинулся к стене. И сидел ждал мужиков. Рассвело...

3

...А бабы, как вышли из конторы, так гуртом прямо к скотному двору, где стояли быки. Старик, что ухаживал за быками, еще в темь сгонял их к проруби, дал соломы и ушел. Двор холодный, стены только рублены, потолок — жерди соломой накрыты, пола нет. Навоз бычий смерзся, так на этих шишках и стояли по ночам быки, и ложились на них. Старик двора не чистил, не под силу было ему. Стар, ослабел.

Быстро разобрали каждого своего. Кобзев, выдавая быка, кличку называл, чтобы крику при разборе не было. Стали запрягать.

Евдокия с подругами — Татьяной и Шурой — запрягали в стороне, переговаривались, не отвлекаясь от дела. Спешили.

— Лопату, бабы, лопату не забыть, без лопаты что и делать?

— Поедем мимо, я забегу.

— И топор, топор захвати.

— На кой черт?

— Поперечины рубить. Воза как раскладывать станешь?

— А Дарья... вот обрадовалась.

— Ну как же? Ей быка сколь разов не давали. Все кусты вокруг огорода свела.

— Кто передом?

— Да хоть ты, Шура.

— Завозжать тогда надо.

— Поехали, бабы, время, вон уже. Пока проканителишься. А за дровами когда? Давай!

Поехали. Шура Харламова первой, у нее бык посильнее, за ней Татьяна, села сразу на головашки саней, спиной к ветру и последней — Евдокия, в длинном зипуне своем, как в шинели, стояла стоймя в сани, упершись в головашки вилами.

«Горелый табор», куда их послали, верстах в трех от деревни, солому оттуда только начали возить, дорога не устоялась, и ночью сегодняшней замело ее сплошь — чуть след заметен. Полоса, где кучи соломы — рожь здесь была посеяна, — небольшая и в затишье вроде — кусты кругом, а кучки чуть белыми холмиками подымаются, занесло. Начать решили с дальнего конца полосы, чтобы на выезд под бастриг наложить, на три воза много нужно кучек. Свернули с дороги — и в конец.

Подъехали к дальним, спрыгнули с саней, а снег выше колен. Но за голяшки пимов не засыпался, бабы, зная об этом, еще когда быков запрягали, сено жгутами накрутили да вокруг ног в пимы. Все трое в стеганых штанах, только у Евдокии штаны фабричной еще работы, а у Татьяны с Шурой самодельные.

В первую военную зиму додумались бабы сами стеганки делать. Материал — холст домотканый, подсиненный, промеж стежков вместо ваты тряпье мелкоизорванное. Одежину какую-нибудь, которую уже и латать невозможно, порвут — и на штаны. А уж если тряпья нет, осоку сухую можно, но она долго не держится, в труху перетирается. Так вот каждую зиму: понизу стеганки, а на грудь, плечи — что придется. Хорошо, у кого шуба еще довоенная сохранилась, тулуп овчинный. Те — в тепле.

— Вот что, бабы, — распорядилась Евдокия. Она всегда распоряджалась, когда выходило вместе работать. Да хоть и не вместе. — Я пойду поперечины рубить, а вы откапывать начинайте. Вот этот ряд начинайте, семь кучек где. На воз один.

Взяла топор и пошла к ближним кустам рубить осинки. Солома мелкая, поперечин всего пятнадцать надо, по пяти штук на каждые сани. Шура стала откапывать кучки, а Татьяне вроде бы и делать нечего, лопата одна у них. Стоит смотрит.

— Тань, ты зажги солому, руки погрей, — предложила Шура. — Спички у меня есть.

— Не загорится она, — мерзлая, дождями ее с осени пролило. Да и не озябла. Пойду Евдокии пособлю. Евдокия! — закрычала она. — Оставь мне половину. Сейчас я.

Пошла. Принесли за раз все поперечины, разложили пяток на передние сани и в трое вил начали первый воз. Солома не сено, много не захватишь в навильник, но трое не один, кучку сбросали, вторую, надо к третьей подъезжать. Тронули быка, сани, осевшие под тяжестью, свободно вышли из-под поперечин, солома осталась на снегу. Все трое выругались. Постояли, посмотрели друг на друга. Что?

— Бабы, ничего у нас так не выйдет. — Евдокия остановила быка. — Как это я не сообразила, дура! На месте нужно накла-

дывать воз, переезжать начнешь, снова стянет. Снег глубокий, так и будем пурхаться. Надо вот что... надо откопать сразу несколько кучек, чтобы на воз хватило. Тань, ты будешь на возу, а мы станем подавать. Шура, бери лопату, разворачивай быка, поезжай заново. Вот сюда.

Начали, ладней пошло. Шура откапывала кучку за кучкой. Татьяна стояла на возу, а Евдокия — посильнее, попроворнее подруг была она — подавала ей на воз.

— Тань, ты шибко широкий не раскладывай, — советовала снизу. — Куда такой? Не возьмут быки, дорога — сама видишь. Центнера по два с половиной накладем, и хватит. За дровами еще ехать, ночью вернемся. Шура, к той кучке не ходи, в стороне она. Зачем? Между рядов направляй, на выезд сразу. Левее, левее. Тпру-у!

Сено с полей возить куда сподручней. Поставил быка возле стога, бросил ему навильник и раскладывай воз, какой тебе нужно. Наложил, затянул бастриг покрепче, по любому снегу воз пойдет, не сползет с саней, тащил бы только бык. А солома много мельче сена, да вот в кучках она, переезжать от одной кучки к другой нужно, и если без привычки да один поехал, управишься не скоро. В войну научились бабы накладывать — возить воза, раньше не умели. Не ездили...

Наложили все три. Поверх каждого бастриг тяжелый перекинули, затянули что было силы, прижимая солому к саням, вилы воткнули — теперь выводить быков одного за другим на старый след. Вывели каждая своего. Слава богу, ни один воз не пошел на сторону, можно ехать. Шаг бычий мелкий, да воз за каждым, да снег глубокий, хоть и след есть: идут тихонько бабы за последним возом, разговаривают. Бычков направлять-понужать не нужно, дорогу сами знают. Тянут.

— Когда обоз-то уходит, во вторник, что ли?

— Во вторник утром.

— Кого пошлют, не знаешь, Дуня?

— Кого?.. Кого каждый год посылают — Глухов опять же.

— Глухов... без него куда ж?

— Тишка Сорвин да Проня Милованов.

— Проня обязательно. Проня каждый год ездит.

— Данила, видно, кузнец. Может, Тимку твоего пошлют?

— Ну, Тимку... Тимка с Лаврухой на ножах.

Идут Татьяна с Шурой впереди, Евдокия приотстала чуть. Глядит им в спины. Тяжело идут бабы, согбенно, а ведь нестарые совсем. Вот она, бабья жизнь! В девках пока еще, так поцветет немного, похорохорится, а как вышла замуж, родила двух-трех, захлестнулась работой, в сорок, глядишь, старуха. А и не жила еще. Не жила, да нажилась. Любую бабу возьми в деревню, присмотришься к ней. Да хоть и сама... Лет десять назад какой была! А Татьяна с Шурой — не подумаешь...

Три подруги неразлучные по деревне — Татьяна, Шура да

Евдокия. Как стали лет с десяти дружить, так по сей день. И тайны девичьи вместе, и слезы вместе, и соли горсть делили в годы эти поровну, и дня такого в жизни не было, чтобы не зашли друг друга попроведать, поговорить. Евдокия с Шурой — одноклассники, по сорок им теперь, а Татьяна — старше на год. В девках шустрая была, остроносая, напраказывать что — первая. И замуж вылетела первая, а не по любви. Гуляла с парнем одним и долго — года два, однако, а потом он в армию ушел. Ушел и ушел. Сначала письма писал, а потом перестал. Стали поговаривать, что нашел он себе там новую невесту и вот-вот должен с нею заявиться. Танька сразу — хоп, замуж за Семена Самарина, он тоже у нее в кавалерах ходил. «Запасной», — смеялась тогда Татьяна. Вышла, а он и начал над нею измываться. «А-а, не хотела за меня выходить, наплачешься теперь». И наплакалась! Плачет по сей день, синяк вон опять платком прикрывает. А молчит, не жалуется. Смирилась.

Он и до войны-то, Сема, был работник — с места не сдвигал, но хоть немного, да шевелился. А как пришел с войны — ногу ему оторвало, — лег на кровать — и все.

— О-ох, бабы, житья больше нету, — прибегала Татьяна к подругам. — Уж лучше бы его убило там, прости меня, господи! Знала б, что одна осталась, тянула б ляжку. Опостылел, глаза не глядят. Чуть что — драться. Боже мой, да что мне делать-то? Вчера опять пролежал лежнем целый день. А есть — давай только. Жрет за двоих.

«Да разнечистая ты сила, — потеряв терпение, начинала клясть мужа Татьяна. — Да что же ты лежишь? Шел бы хоть в Хомутовку, все какой трудодень заработал. Вон Пашка Лазарев, тож об одной ноге, а все делает. Мне не под силу одной, Семен».

«А ты, змея, что станешь делать, пенсию мою прожирать, если я работать пойду, а? Пашка протез может носить, а я... на костылях. У него ниже колена. Сравнила».

«Сема, — начинала она ласковее. — Вышел бы дров попилил с ребятишками. Стул тебе вынесут, козлы есть. Дрова кончаются, берем на три осталось. Пойди, Сема».

«А ты, змея, куда глядишь, дрова кончаются, — Семен поднимал с подушки на жилистой вертучей шее маленькую, облепленную бараньими завитками голову. Хмыкал: — Ты куда глядишь, я спрашиваю? Дрова кончаются. Людские бабы вон — наготовили. Шлындать меньше по деревне надо, языком трепать, жаловаться. Ясно? Вот-вот...»

Так и жила Татьяна.

И это бы еще ничего, но, как вернулся Семен, пошли у них дети. Пришел он в сорок третьем, а в сорок четвертом Татьяна родила, и в сорок пятом родила, и сейчас ходила по третьему месяцу. Пятеро теперь было у нее. Все сыновья. Вот как.

— Да ты не давалась бы ему, Танька, — ругались бабы. — Куда плодишь? Время-то...

— Как не дашься, спать вместе ложимся. Да это ничего.

От детей беды нету, пусть рождаются. Он бы вот за ум взялся, помогать стал, вместе все вытянули б. А так...

У Шуры совсем другое. Тимофей от Шуры уходил на войну, оставив ее с двумя детьми, а когда вернулся, у нее было уже трое. Третьего родила от Глухова.

— Как же ты легла под него? — вздрагивая от мысли одной только, спрашивала тогда Евдокия. Всем было в удивление. Уж от кого рожать, но не от Глухова. И от него рожали, случалось. Но Шура?! Бабы не верили сначала, а та сама созналась.

— Небось ляжешь... Ленка у меня при смерти был, опухший. А Глухов и раньше приставал. Молоко, дескать, будешь брать с базы, а то умрет парнишка. Да я бы и не далась сама. Я в тот день телят пасла, задремала на кочке — солому скирдовали ночью, — а он подкрался сзади, рот зажал и в кусты волоком. Кого докричишься? А потом уж все равно. Молоко носила всю осень, ребят выходила — вот как, бабы.

В деревне ничего не утаишь, не скроешь. Ходит баба с пузом... От кого? От Глухова, от кого ж еще! Не одна в таком состоянии была. Не одну ее только...

Ей бы освободиться вовремя, Шуре-то, может, и Тимофей не узнал бы. Да как? В городе, слышно, просто все это — врачи. Сделают, родная мать не узнает. А тут кто? Случилось же вон с Люсей Пановой. Молодая совсем... С тех пор бабы: нет, нет, нет! Если случай какой, только рожать.

А с Люсей вот что вышло. Похоронную ей о муже в сорок третьем принесли, год она его оплакивала, а потом смирилась, привыкать стала. А тут уполномоченный приехал — они в деревне каждую неделю толклись, — раз у нее остановился, второй раз. Изба, мол, у тебя просторная. А потом уехал — и ни слуху ни духу. А Люся осталась. Пошла к бабке Благовой, так и так, бабушка. Та спицы вязальные прокалила, да к ней. И что же? Подплыла кровью Люсенька, схоронили. А Серега, вот он, в сорок пятом явился, в лагерях, оказывается, был. Дошло до него все. Серега в район, уполномоченного искать. Да где ж его найдешь, уполномоченного того, в другой район, сказали, перевели. А бабка к тому времени померла. И спросить не с кого. Серега помотался-помотался да, в деревню не заезжая, завербовался куда-то далеко. Рыбу ловить. С тех пор не слышать. Память одна осталась. Люся похоронена. Была семья — и все...

Так вот и с Шурой вышло. Вернулся Тимофей, все известно стало ему. Фронтовики как-то собрались вскоре погулять между собой, и Глухова туда занесло. Может, что доказать им хотел. Только он в дверь, а Тимофей хватил его за грудки да под ноги себе шмяк. И пошел его ногами, и пошел. Глухов как закричит, вскочил было, а Тимофей перехватить его успел да култей в морду, да в морду. Тот и захлебнулся кровью. Хорошо, мужики отняли. Он, Тимофей, пришел в тот вечер к Евдокии — они с Андреем дружили до войны, — плакал одним живым глазом, скрипел зубами. Тяжело смотреть, когда плачет человек, а как

мужик — особенно. Сел на лавку, культей двигает, лицо дергается. «На войне не плакал», — говорит...

— Я Шурку пальцем не тронул. Она не виновата. Она мне все рассказала. А того...

— Не бил бы ты его, Тимофей, — просила Евдокия. — Посадят еще. Из-за кого сидеть?

— Х... с имя! Их дело садить, наше отсиживать. А что ж мне, глядеть на него, суку?

С такими вот мужьями жили подруги Евдокии, Татьяна и Шура. Жили — не тужили. А ее муж, Андрей Щербаков, не вернулся совсем. Вот и разберись, кому лучше...

Так за думами своими не заметила Евдокия, как въехали они в деревню, к скотным дворам повернули. Столкнули быстро солому возле коровника, поставили к этой же соломе быков и разошлись в разные стороны, каждая домой, договорившись через час собраться тут, ехать за дровами. Вот какой денек выпал им...

Шла Евдокия скоро, есть она хотела и озябла кругом, пока шагала за возом. Утром наказывала Варьке сварить суп брюквенный — брюква еще осталась у них с осени. Шла и думала, как поест сейчас горячего супчику, погреет себя, отдохнет немного, а потом и за дровами не страшно. Только вот свиней еще управить на ночь, а Варьке одной никак не сладить. Ну, как-нибудь. Ничего...

4

...Из свинарника Варька сразу пошла домой. До конторы почти дошли они с матерью, мать свернула, а Варька направилась прямо через мост в свой край деревни. Темно еще было, но чувствовалось, что скоро утро. Варька устала, она всегда уставала, помогая на свинарнике, теперь, разогретую работой, ее охватил мороз, мерзли, немели коленки, и Варьке сильно хотелось заплакать. Всклипывая, она старалась бежать, раскачиваясь и наклоняясь вперед, и худющие ноги ее хлябали в широких голенищах валенок. «У-у-у», — дрожала она.

За мостом, когда до дому оставалась половина пути, она остановилась передохнуть и вспомнила, что несет братьям картошку — пятнадцать штук. Вытерев рукавом нос, полезла за пазуху, достала три и прямо с кожурой быстро съела их. Стало немного легче, она запахнулась плотнее и побежала, побежала.

Сенька с Минькой так и лежали на кровати, когда она вошла в избу.

— Варь, это ты? — спросил Сенька, приподняв голову. Присмотрелся — темно в избе.

— Я, — чуть слышно отозвалась Варька от порога. — Вставай, Сенька, затоплять будем, я вам картошки принесла. — Не зажигая коптилки, она сложила картошку в миску и подошла к кровати. И Минька не спал. Он всю зиму болел и редко поды-

мался. Он лежал рядом с Сенькой, тесно прижавшись к нему, обхватив его по животу ручонкой, и молча — глаза большие — смотрел на Варьку. Она улыбнулась.

— Сколько штук? — спросил Сенька, отворачивая с груди край дерюги, которой они были накрыты. — Сколько принесла? А мамка где? В свинарнике? Чего она?

— Двенадцать, — ответила Варька. — Это вам, мы с мамкой поели из котла. Мамка в контору пошла. Ой, как холодно! Сенька, пусти меня в середку. Нет, на печку я.

— Варь, ты возьми себе еще две, а нам останется по пяти, — предложил Сенька. — Ладно? — Он взял две картошины и протянул их сестре, а миску поставил себе на живот. Стал делить, Варька залезла на печку, прижалась спиной к чучалу, укрылась своей одежкой и стала есть, стараясь откусывать помаленьку. Она ела и слышала, как едят Сенька с Минькой и шепотом считают, сколько осталось у них в миске.

Печь топили вчерашним утром, и она еще таила в себе немного тепла. Варька угрелась и не заметила, как задремала, а когда проснулась, то увидела, что совсем рассвело, по избе ходит одетый Сенька, а Минька, тоже одетый, сидит на лавке возле окна, продул-протаял дыханием в намерзшем стекле глазок и теперь смотрит через него на улицу. Окна розоватые чуть — солнце взошло. Вставать надо.

Варька слезла с печи, умылась над лоханью и утерлась серой жолцовой утиркой. Утирка серая от золы. Мыла нет для стирки, и утирку вот эту мать в золе выпаривала. Разведет в двухведерном чугуне золу, положит туда все, что в стирку идет, накроет чугуном сковородкой и в печь на целый день — выпаривать. Потом прополоскает в стеклянной воде — и вся стирка. Бабы по деревне стирают этак.

— Сенька, ты умывался? — спросила Варька брата, готовясь расчесывать волосы. Умываться их приучила мать и следила, чтобы умывались каждый день и чтобы Варька волосы расчесывала. Да она и сама убирает их. Привыкла, не маленькая.

— Умывались мы, — ответил Сенька, наблюдая за сестрой. Он любил смотреть, как по утрам она стоит напротив куска зеркала, прибитого тремя гвоздиками в простенке, чешет волосы. Волосы у Варьки были и не рыжие, а как пепел. И длинные. Сейчас она расчесет их и завяжет тесемкой около затылка. А у нее и лента есть, синяя, в сундуке хранится. По праздникам волосы Варьке в косу мать заплетает. Заплетет, а в конце косы — ленту. Коса светлая, а лента синяя. Заплетает мать, а сама рассказывает, что у нее точь-в-точь была такая же коса, толстая да длинная. Волосы у матери и сейчас хорошие. Варька вся в мать удалась: лицо узкое, и глаза такая же. Варьке с осени пятнадцатый год пошел. В сентябре она родилась. «Вытянулась как! — говорит мать. — Совсем невеста». Варька смеется.

Варька стянула тесьмой волосы, туго подвязалась платком и стала причесывать Миньку. Волосы у Миньки отросли — уши за-

крывают. И Сенька зарос, лохматый совсем. Время от времени мать берет ножницы и подстригает их как может. В последний раз дядя Паша подстригал. Обещался опять, да все забывает. Или некогда.

— Сенька, затоплять давай. — Варька отложила гребенку. — Холодина какая! Иди дрова руби. Суп варить станем. Мамка придет голодная. В поле она поехала, за соломой. Или за дровами. Давай, Сенька, шевелись! Всегда ты возишься с дровами.

— А вода есть? — Сенька заглянул в кадку, стоявшую возле большей печи. Воды натаскали с вечера. Он поднял за дужку лохань, чтобы вынести по пути, и вышел во двор.

Рассвело совсем, пасмурно только было, морозно. Со двора сразу, загибая за угол избы, шли следы: это мать с Варькой уходили. Да Варькин обратный след. Остальной снег вокруг лежал нетронутый. Баньку ихнюю возле кустов, взглянул Сенька, замело под самую крышу — три рядка сруба только и видно. Баню зимой топили редко — дрова сэкономили. В эту субботу мать собиралась топить — дорожку прочищать придется туда и дверь откапывать. Скрыло совсем.

Поближе ко двору, на полузанесенных репях, росших возле изгородей, кормились снегири. «Три снегири и две чечетки», — сосчитал Сенька. Кусты за изгородью стояли в пушистом куржаче, в огороде с веток пригнутой полыни свисали длинные кисти изморози. А двор кругом обложило сугробами высоко, хоть на лыжах кататься.

Сенька отнес лохань за двор и вылил помой, где всегда их выливал. Лохань опрокинул вверх дном, чтобы стекла вода, и только отошел, как на слив помойный сейчас же прилетела сойка и стала что-то выискивать там, прыгая и косясь круглым глазом на Сеньку. А он уже ушел во двор, дров нужно было наколоть. Колотых не оказалось ни полена, но в чурках дрова еще были. Последний кряж вчера распилили мать с Варькой. Сенька поставил все восемь чурок рядом и взял топор. После каждой чурки садился отдыхать. Расколол все и хотел было таскать в избу, да вспомнил: сухие нужны на растопку. В избе за печью хранилась береста, да хоть и с берестой, а сырые дрова сразу не разгорятся. Придется брать с городьбы жердь. Так вот каждую зиму. Весной они с матерью огораживают огород, от скотины защищая, а зимой жерди те на растопку идут.

Выбирая, где снег помельче, Сенька пошел к городьбе. Целых четыре пролета от двора они уже разобрали. Вытянул жердь: какая потоньше, чтобы легче рубить, и, зажав под мышкой, волоком потащил ко двору. Жердь чертила по сугробам, оставляя кривую борозду.

А Варька в это время хозяйничала в избе. Взяв веник, она подмела пол, мусор собрала в угол, где лохань стоит, и веником прикрыла. Потом в лохань сгребла. Обтерев подолом руки, поставила на плиту чугуна с водой. Нужно было лезть в подполье за брюквой. В избе холодно, а в подполье еще холоднее, хотела на-

дети на себя что-нибудь, да полезла в чем была. А была она в рубахе длинной холщовой, не подпоясанной даже, в штанах таких же, по щиколотку, а поверх рубахи надето было платье, из мешка сделанное. Соткала еще в прошлом году Евдокия холсты и, между прочим, платье Варьке загадывала пошить. Но пока шла по кругу штаны-рубахи, на платье ничего и не осталось. А и надеть девке нечего совсем, обносились девка вся. Достала тогда Евдокия мешок — крепкий, толстый мешок, крапивной ткани, видно, до войны в нем муку держали. Три дыры прорезала — для рук и головы, рукава — на рукава холста хватило — пришила, воротник, пояску узкую сделала, покрасила одежду эту венником березовым. Второй год, снимая только для стирки, носит желто-зеленое, как осенняя трава, платье Варька, довольна. Варька в нем и в деревню летом выходила, на люди. Ни у кого не было такого платья...

Варька потянула за ввинченное в крышку кольцо, открыла подполье и, опустив ноги, прыгнула туда. Прыгнула, осмотрелась, не шибко-то и холодно тут, темновато только. Подполье просторное, два закрома в нем: в одном картошка, ведра три, в другом — брюква. Ничего другого в запасе у них не было. Картошка в закроме нисколько не крупнее той, что варили в свинарнике, картошка оставлена на семена, и мать строго-настрого запретила брать ее на еду. Один раз Варька с Сенькой не удержались, взяли десяток, испекли и съели. Мать узнала, ругаться стала. Никогда она не ругалась на них, а тут рассердилась, Варьку за косу трепанула. Варька заревела, мать, глядя на нее, и сама заплакала. С тех пор картошки не касались. А брюквы осталось мешка два и несколько свеколин. Но из свеклы суп плохой выходит, свеклу мать парит в печке, нарезав кусочками, а потом сушит. Паренки те свекольные ребятишки как конфеты сосут. И из морковки. Морковными паренками чай еще заваривают по деревне.

Суп варят из брюквы. Если съедать по брюкве в день, все равно до травы не хватит. Варька выбрала брюкву не мелкую, но и не самую крупную, вылезла и закрыла крышку. Брюквину она разрезала надвое, одну половину положила на полку, другую стала чистить. А Сенька все еще был на дворе, дрова готовил.

— Варь, дай брюквочки, — попросил Минька. Он так и сидел на лавке возле окна, продышал еще один глазок и теперь заглядывал в оба. Варька отрезала ему тонкий пластик. Сеньке и себе, остальное стала крошить, как крошат для супа картошку. Стала крошить и вспомнила, что есть у них кусок коровьей кожи — в другом чугуне мокнет. Вчера они «лапшу» варили. Поди, не заругает мать, если сварить суп с «лапшой». Не заругает, там небольшой кусочек остался. Тогда нужно растоплять — спешить, чтобы вода закипела. Кожа долго варится. Где же Сенька? Пошлешь его, а он...

Оставив брюкву, Варька с ножом в руках раскрыла дверь и, отстраняясь от морозного воздуха, закричала:

— Сенька, дров неси скорее! Куда пропа-ал, Сенька! Ну! — И дверь захлопнула скоро. Холодом тянуло понизу, босая она была. — Ага, идет.

Сенька принес беремя березовых поленьев и немного щепы, нарубленной из жерди. Хруная поданной брюквой, он открыл заглушку трубы, сел на корточки возле печи, сложил на под щепу, как для костра, берестину тонкую подсунул сверху поленьев сырых и поджег бересту. Тяга была хорошая, щепа схватилась сразу, и загудело в печи, потянуло пламя, схватывая мерзлые березовые поленья. А Сенька, прикрыв дверцу, сходил за лоханью, налил в нее из кадки воды и снова ушел во двор. Он еще не закончил своих дел. Когда они оставались без матери, Варька управлялась в избе, а Сенька на улице. Каждый знал свое дело. Быстрее получалось.

Докрошив брюкву, Варька достала из чугуна кусок кожи, поддерживала за край, пока стечет вода, положила на столешницу и стала мелко-мелко нарезать «лапшой». Изрезала весь лоскут и бросила в чугунок. Брюкву — потом, она быстрее варится. Плита нагрелась уже, тепло подымалось от нее, расходилось по избе. Пол бы нагреть...

Кусок кожи, изрезанной на «лапшу», — шкура коровья. В сорок втором, осенью, корова у них подавилась турнепсом, прирезали ее, успели. Осень всю, зиму да и весну, считай, коровой той жила семья. И неизвестно еще, выжили б, если б не корова. А шкуру бросили тогда на чердак, бросили да и забыли. В зиму эту вспомнила мать. Шкуру ту, сосохшуюся, в пятнах крови, оттаяли в избе, разрезали на части, куски, по одному в день, палили в печи и, соскоблив ожоги ножом, клали на ночь в воду — отмокать. Когда с брюквой, а когда и с принесенной картошкой варили суп. Большая была корова, помнит Варька, пестрой масти. Большая, а шкуру съели скоро.

Еще чайник Варька поставила на плиту. Весной, как только распускалась смородина, они с Сенькой ходили в согру за огород ломать смородину. Наломанные веточки вязали в пучки и вешали на чердак. А зимой чай заваривали. Запах смородины хороший, все не голая вода. Мать, как замерзшая придет, пьет этот чай, обжигается. А когда нет никакой заварки — смородины или моркови, — кипятком пьют...

А Сенька из вынесенной лохани напоил овцу во дворе. Двор глухой, соломенный кругом, в темном углу, в загородке, овца у них зимовала. Дал ей сена и, поставив лохань возле крыльца — вдруг Варьке понадобится, — сел на поленья, стал глядеть на улицу, в огород. Зимой он редко выходил — одетый не во что было, только шапка, крепкая еще, грела — отцова шапка, выходная. Рабочую шапку отца мать носит. Пимы сейчас он Варькины надел. Старые материны пимы. Варька в них на свинарник ходит. А остальное, что на нем есть, — холстина. В прошлую осень шила мать.

Если встать на лыжи и пройти за огородом через кусты, воз-

ле которых стоит баня, будет полоса — рожь там сеяли постоянно. За полосой ручей. Ручей здесь разветвляется на два рукава, образуя остров. Берега ручья сплошь заросли черемушником да тальником; слетается на таловые кусты по вечерам птица-куропатка на кормежку, Сенька знает. До войны они с отцом ходили туда. Только лыж отцовских давно нет — променяла мать на картошку и ружье променяла. Да и не дойдет сейчас Сенька — ослаб. Летом он пойдет туда. Летом на острове и по всему ручью растет сладкая трава пучка, язычков много и конского щавеля. Но до лета еще далеко. Сенька посчитал, сколько дней до мая, — много выходило. Летом с Валеркой Харламовым пойдут на остров. С Валеркой они товарищи, вместе в первый класс записали их, четыре года за одной партией сидели. Их трое было товарищей: Сенька, Валерка и Сережка Карпухин. Только Сережка умер в сорок третьем. Заболел и умер. И Валерка сейчас лежит, мать сказывала. Сенька хотел его навестить, но далеко идти, ноги не слушаются. Вот доживут до лета, тогда увидятся. Валерка сам первый прибежит. Вокруг Сенькиной избы вольно играть. Они всегда тут играют. Или лягут в высокую траву за огородом, разговаривают.

Сидя на поленьях, Сенька смотрел, как возле занесенной по третью жердь изгороди с одного репья на другой перепархивают снегири, а снег под репьями в чешуйках расклеванных семечек. Зимой из-за этих кустов отец всегда возвращался с охоты.

А Сенька выходил его встречать. Оденется потеплее, встанет на выходе со двора за соломенной стеной и ждет. И всегда просматривал. Выглянет, а отец уж возле бани. Сенька бегом навстречу. Отец ростом высокий, фуфайка на нем просторная, под фуфайкой безрукавка овчинная, фуфайка поясом схвачена, а к поясу добыча привязана: заяц ушами вниз — отец на них петли ставил — или пара белых куропаток с окутанными густым белым пухом ногами. Отец наклонится, усы заинденелые, ружье за спиной:

— Ну-ка становись на лыжи. Та-ак, поворачивайся спиной. Вот укутали тебя, брат. Копна. Держишься? Поехали! Раз-два, раз-два!

Поставит Сеньку впереди себя, лыжи широкие, по снегу не тонут, передвигает отец ровно ноги, и Сенька едет. Часто отец брал его с собой в лес, на речку. Поленька с Варькой начнут проситься, отмахнется от них:

— Вы домохозяйки, матери помогайте, а мы, мужики, пойдем на промысел. Вот малина поспеет, тогда и вас прихватим. На вырубках уже краснеть начала, вчера смотрел. Малины нынче...

Ягоду рвать они всей семьей ходили. Отец девочкам корзину сплел одну на двоих, чтобы рядом держались, не потерялись в лесу. Разбредутся, ищи их тогда.

И пойдут они, бывало, с отцом лес слушать, осенью, когда хлеба уберут, картошку в огородах выкопают. Пусто в полях,

только стога огороженные стоят, а на них, на макушках самых, отяжелевшие за лето, неподвижно сидят коршуны. Далеко видно кругом, осенью воздух такой. И шуршанье всюду — леса опадают. Встанет отец под березку, обопрется о ружье и долго стоит так, думает о чем-то. И Сенька рядом. А ветер как зашумит над головой, закружит, понесет листву над поляной. Падают листья на копку отца, на плечи, на пиджак. Кинется Сенька собирать листья разные. С березы — светло-желтый лист, а с осины — и красный крапленый, и коричневый, и оранжевый — всяких цветов. Летят, летят над полями. Ветер...

— Пойдем, сынок, — скажет отец, перебросит за спину ружье и подаст Сеньке руку. Тихий отец в такие дни, говорит мало, присматривается ко всему в лесу, прислушивается. И объясняет Сеньке, что к чему. О деревьях, о птицах. Долго бродят по полям да перелескам, зайдут на свой сенокос стога посмотреть. Сядут отдохнуть. Отец еду из сумки достанет: огурцы, картошку вареную, хлеб, молока бутылку — для Сеньки. Поест и сам, закурит после. Отдохнут — и домой. Сенька потом весь вечер матери рассказывает, где были да что видели. И у отца переспрашивает...

Радостней всего было Сеньке, когда летом отец брал их с Валеркой Харламовым в ночное коней стеречь. Часу в десятом — летом в колхозе работу поздно заканчивают — погонят они коней на берег Шегарки, за старую ригу. Всегда там ночами пасли. Спутает отец коней, привяжет старому мерину на шею ботало, чтобы в темноте слышно было табун, а сам пойдет к воде, на место свое, давно облюбванное. Ребятишки за ним. Сенька с Валеркой хворост начнут собирать для костра, а отец спустится к омуту поставить на щук жерлицы. Речка рядом.

Ночь, темень, протяни руку в сторону — не видно, трещит хворост в костре. Сенька с Валеркой картошку пекут. Перевернут картошку, потыкают прутиком и сырой стороной к углям пододвинут. Ти-ихо ночью. Кони пасутся неподалеку, слышно, фыркают, ботало звякает. А то рыба плеснет на омуте или кто-то завозится в кустах. Волчок с вытянутых передних лап подымет голову, зарычит негромко в ту сторону. Отец лежит возле костра на боку, на разостланном зипуне, лицо и плечи освещены, и ноги в темноте. Рассказывает. Рассказывает, какая рыба водится в омуте, где он ставит жерлицы, какую наживку любит ленивый, живущий в заводи, в тине, карась, какую окунь — рыба, любящая проточную воду. Сенька сучком выкатывает из углей картошины, достает соль... Сенька с Валеркой уже удить ходили сами, отец им удочки сделал. Клюет. Чебаков приносили по десятку...

Ночь летняя — короткая, заслушаются ребятишки, а уж и костер не нужен, небо на восходе светлее. Поймает отец двух смирных, рабочих коней, посадит ребятишек на выгнутые седловиной спины, сам сядет на Серого, и погонят они табун на конюшню. Конь мягко переступает копытами, фыркает, тянется на

ходу к метелкам леса. Отец разрешает проехать и рысью и вскачь — держись только. Наперегонки!

Он все умел делать — Сенькин отец! И объяснить все мог. Весной остановится возле только что родившегося ручья, склонит голову, долго слушает, скажет задумчиво:

— Чистый звук у воды, ровно песню поет...

Или запрокинет голову так, что и шапка долой, увидев тянувших перелетом гусей, и будет поворачиваться за ними, из-под руки вслед смотреть, пока не скроются птицы. Вздвигается.

— На озера пошли, устали, ишь как редко крыльями машут. Вожак впереди. Опытный...

До войны, помнит Сенька, жили они, как и все. Хозяйство держали, корову, телка, овец. Мясо в зиму было, да охотился отец. По субботам — баня. Помоются, поужинают, уберет мать со стола. Лампа посредине, стекло мытое — хорошо видно в избе. Отец ляжет на кровать, раскроет книжку, начнет негромко: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» Сенька прижмется к отцу, зажмурит глаза, и нет уже избы, лампы на столе. Стоит он за двором, а неба не видно, затянуло, скрыло бурей, ползет, взматаясь за огородом, вокруг кустов, поземка, наметая сугробы. Воеет зверем, стучится в окна поздним путником... Тихо в избе, слушают все.

По воскресеньям всегда блины. С маслом, с кислым молоком. В сорок третьем, когда болел шибко Сенька, все ему мнилось в бреду, как ест он, обжигаясь, щи с большим куском мяса, пьет прямо из кринки молоко. А бока кринки запотели, молоко холодное, капает с подбородка прямо на рубаху. Пьет Сенька, пьет, никак оторваться не может. Отец смотрит на него, смеется. Мать ему подбородок утерла.

В тот год, когда отец уходил на войну, осенью собирался Сенька во второй класс. Он помнит проводы. До конторы провожали отца всей семьей. Отец шел рядом с матерью, а сбоку — Поленька, Варька и Сенька. И за деревню вышли провожать. Впереди уходили телеги, за ними — мужики. Сенька помнит, как страшно закричала мать, кинулась за телегами, упала на дорогу и стала разводить, шарить руками по земле. Бабы подняли ее, повели к речке умыться. Потом пошли домой...

И сразу худо стало им без отца. Сенька три зимы ходил еще в школу, закончил четыре класса — и все. Нужно было переходить в интернат, в семилетку в соседней деревне, а как пойдешь: еды нет, одежды нет, сил нет. А Варька и четырехклассную не закончила. Болела по зимам. Ослабает и сляжет — какая школа?

Первое время отец хоть не очень часто, но писал. Писал разборчиво, чтоб Сенька мог прочитать. Сенька все письма читал, а потом написал ответное. Мать подсказала. «Ты бы, Сенька, хоть отцу написал», — сказала она. Он сел и написал. О том, как видел заячьи следы в кустах за огородом. Петлю поставил, да не попался заяц. И что он выучил стихотворение про бурю. Когда

отец вернется, Сенька ему прочтет вслух. Только пусть он обязательно возвращается. Быстрее...

В сорок третьем умерла сестра Поленька, они с Варькой близнецы были. Умер дружок Сенькин — Сережка Карпукhin. Умерла тетя Лена Лазарева, оставив Миньку. Миньку прямо с похорон мать принесла домой, с тех пор он и живет у Щербаковых. Многие умерли в ту зиму. А он, Сенька, как болел, кричал в бреду!..

В сорок четвертом от отца письма уже не приходили, мать писала несколько раз в часть, да без толку. И в сорок пятом писем не было. Сенька слышал, как мать плакала по ночам. Сначала все говорила им с Варькой: «Вот придет отец, вот придет отец...» А потом перестала. И начала отдавать за картошку все, что осталось от отца: ружье с припасами, лыжи, столярный инструмент. Тулуп отдала.

Потом стали возвращаться фронтовики. Пришел дядя Паша Лазарев, дядя Тима Харламов. Раньше они часто ходили к отцу. А отца все не было. Пятую зиму без него. Лето всегда быстро пролетает, не заметишь. А зима тянется, тянется...

Сенька не любит, когда зима. Холодно, дров не хватает, и есть всегда охота. Каждую зиму ослабевал он сильно. Встанет на ноги, и шатает его тут же, поплывет все перед лицом. Зиму эту он о весне думал, дни считал. Весной, только-только сойдет снег, подтает земля, пойдут они с Варькой опять на колхозные поля искать оставшуюся в зиму картошку. Каждую лунку тяпкой станут разрывать. Из толченой той картошки прямо на плите мать пекла душистые лепешки. Только раньше надо успевать, а то, как побегут на поле, встать негде.

А потом трава пойдет. Травы много, всем хватает, не ругаются из-за нее. Сенька с Варькой крапивы мешок набьют, насекут в корыте деревянном и начнут суп варить. Чугун ведерный — ешь, сколько сможешь. А летом, если на сенокосе работаешь, супом кормят колхозным. Картошка в нем попадает, и мяса крошечку дадут. Хлеб, правда, свой. С сорок второго года Сенька каждое лето на сенокосе работает, копны на быке возит. И Валерка тоже. И нынче пойдут. Да вот зима долго тянется, будто три зимы в одной. Сенька еще раз посчитал, сколько остается до травы, — больше двух месяцев выходило. Он посмотрел на небо, но солнца не видно было — серая пелена. Хорошо было сидеть в тишине двора, смотреть на снег, горodbу, снегирей, да замерз он совсем. Пошел в избу. Вот потеплеет, чаще станет показываться на улице. Что там Варька делает? Суп уже сварился, наверно. Матери нет.

Варька сидела возле плиты, доваривала суп. Минька напротив дверцы грелся. Голова у Миньки лохматая, лицо сухое, серьезное, глаза большие. Сидит тихонько, смотрит сквозь дырочки дверцы на огонь, голову набок склонил. Сенька разделся и сел рядом. В избе потеплело заметно, плита раскалилась, малиновой стала. И окна чуть-чуть отходить начали, и пол не так холоден. Подбросил дров.

Так и застала их Евдокия, сидящих возле печи. Суп сварился, а ребята сидели грелись, ожидая мать. Никогда они без нее не начинали обед или ужин, если сама Евдокия не накажет, поели чтоб. Тогда ей оставят. А так — ждут, разговаривают о своем...

Она, как вошла и разделась, сразу к печке. Прижалась грудью, руки раскинутые прижала к теплым кирпичам и щекой прислонилась. Варьке сказала только:

— Собирай на стол.

А сама еще спиной к печке, спину погрела. Потом уже села за стол, похлебала супу и долго пила чай-смородник. И так ее равморило всю, потом прошибло даже. Лечь бы сейчас на минуту, ноги вытянуть, полежать, забыв обо всем. А надо идти, за дровами ехать. Встала, одеваться начала. И так ей в тягость было выходить опять на холод, идти ко двору скотному, запрягать и ехать! Да кому объяснишь, кому расскажешь, пожалуешься? Кто слушать станет?..

— Мамка, — сказала Варька, выливая грязную воду в лохань, посуду она мыла, — дядя Паша заходил. Его с обозом посылают в город. Он завтра нам дров привезет. Они во вторник уезжают. И дядя Тимофей с ними. Ты не видела дядю Пашу?

Так ничего в ответ и не нашла сказать Евдокия дочери, толкнула дверь и молча вышла на холод. Закрывает дверь, постояла бездумно на выходе со двора и пошла по своему следу опять в деревню, быка запрягать. Где там бабы?

5

...Дядя Паша — Павел Лазарев, один из тех мужиков, за которыми, раздав быков, послал Кобзев бабу-рассыльную. Рассыльная ушла, а Кобзев так и сидел за столом, не вставая, глядя на лежащий на столешнице список. «Сорвин, Милованов, Харламов, Лазарев», — перечитал он снова, будто впервые слышал фамилии. Эти четверо — все или почти все, кто остался от тридцати человек, которых летом сорок первого года Кобзев провожал на фронт. Проводили, собрал баб. Молчали долго.

— Ну, бабы, — сказал он им, — раз добровольно отпустили мужиков своих на фронт, надо работать теперь в четыре руки каждая. А уж вернутся, тогда отдохнем. А?

Стали работать.

Лето сорок первого, осень... Сначала как-то не верилось, что война. Ощущения не было большой опасности. Да и старики подсмеивались: дурь это, дескать, войну германцы затеяли. Шапками закидаем. Да ведь и правда... Подойдешь к карте — страна-то какая. Россия! Раскинь руки, и не хватит размаха от западной границы до восточной. И где-то там, в Европе, среди прочих государств коричневое пятно — Германия. Область любую возьми в России — и та больше площадью.

Так и говорили тут между собой: «Полгода, год от силы, а там

и конец войне. Сколько таких войн было, и всегда Россия побеждала! Да неужели на этот раз?..»

Полгода прошло, год, второй начался. А потом как развернулась, конца и края не видать! И не туда, к коричневому пятну, движется, а обратно, на восток. И вот оно, стали одна за другой приходить в Кавруши похоронки: убит, убит, убит. А и тут не легче: один умер, второй, третий. Старики да пацанва. Два-три раза еще попервости сходил Кобзев на похороны, а потом и перестал. Не до того стало. Ну, старики стариками, многим и время пришло, но ребятишки, что жалче всего, — не жили еще. А бабы держались. Бабам тем, сколько будет жить на земле Кобзев, удивляться не перестанет, терпению их молчаливому. Глянешь на иную — жилы одни, а тянет. Мужикам бы силу такую, выдержку! Девки за бабами тянулись, подростки.

Сорок первый, сорок второй — боже мой, время будто остановилось! До войны, бывало, только уборочную закончили, Октябрьские праздники отгуляли, вот он — Новый год, Первое мая. А сейчас будто в год один военный кто три вложил — тянется, тянется, и конца ему нету. Вызовут в район: «Ну как, товарищ Кобзев?» — «Как? Будто не знаете?» — «В эту осень нужно сдать государству столько-то!» — «Сдадим», — спешил ответить и уехать спешил. Он и до войны не любил ездить туда, отговаривался всяко. Что толку носиться назад-вперед? И не любил никого там. Он, Кобзев, пятнадцать лет председателем топает, а их за годы эти столько же перебивало. Что ни год, то новый. И у каждого свой метод руководства, своя установка. А он, Кобзев, не игрушка на резинке, чтобы дергаться в разные стороны. Он умел руководить и знал, что умеет, и там, в районе, знали об этом. Но до войны люди были, тягло, машины. Тогда можно было говорить, и планы намечать, и отвечать за планы те. А сейчас сколько получится, столько и сдадим, не спрячем, а заранее что и обещать? Жнейки, сенокосилки — вон они стоят, да кому работать на них? Кого впрягать в них? Вот о чем речь. А наобещать можно. Ты ж потом и виноватый...

Сорок первый, сорок второй, сорок третий. Сорок третий, сорок третий, сорок третий. Вот тогда растерялся Кобзев. Семнадцать похоронных оттуда, здесь вдвое могил. Думал, неужели не вытянем? Если там не устоять, здесь — конец всему. Только б там! А уж здесь сами в сенокосилки, в жнейки те впряжемся, потащим. Радио нет, газеты приходят с опозданием. Как там? Что? Кто кого?

Вызывают. «Ну как, товарищ Кобзев?» — «Хорошо». — «План сдачи хлебозаготовок помните?» — «Как же, записан». — «Мы на вас надеемся, товарищ Кобзев. Постараемся скоро быть...»

Не успеешь доехать до Каврушей, вот они следом, уполномоченные. По мясу, по молоку, по кожам, по посевной, по уборочной. Но с теми у Кобзева разговор недолог. Вызовет кладовщика Яшкина, прикажет зло:

— Накормить! Дать с собой! Не мешали чтоб. — Потом за счет колхозников спишется. И чем они могли помочь колхозу, упол-

номоченные те, не понимал Кобзев. Присутствием своим разве?.. Баб подгонять? Не нужно. И так натянута до последнего. Кобзев учить? Чему? Как солому скирдовать? Не нужно, с детства знакомо. Впрочем, были и безобидные...

Вспахали, посеяли, убрали. Ссыпали в мешки, погрузили, увезли. План сдачи хлебозаготовок. Паши снова. Хлеб нужен. Хлеб нужен заводам, фабрикам, рудникам, армии. Нужен, это понимал Кобзев. Но ведь и здесь нужен тоже. Все равны, всем поровну. Здесь нужен в первую очередь. Тем, кто выращивает его. Они тоже есть хотят. Нужен, зимой крапива не растет. Или не понимают этого? Не видят?..

— Денисова! — выкликает баб кладовщик Яшкин в конце расчетного года. Счетовод тут же сидит. — Распишись вот здесь, Денисова. В этой вот графе. Так, готово.

— Сколько же мне приходится? — склоняется баба над ведомостью. — Почему трудодень?

— Ты в посевную обедала на таборе за счет колхоза? — Яшкин в бумаги смотрит.

— Обедала, как же...

— И в сенокос ела?

— Ела...

— И в уборочную?

— Ну...

— И парнишка был с тобой?

— Был, Степка...

— Все, с колхозом ты в расчете. Ни он тебе, ни ты ему.

— А как же трудодни? — глядит баба на Яшкина. — Писали целый год трудодни.

— Писали, а вы их съели. Следующая.

Не видит этого Кобзев, не слышит ничего он, нет его. Пробовал говорить раз там, в районе. Что головой в стену. Что ж, пусть так и будет. Пробыл председателем пятнадцать лет. Нужно? Можно еще столько же. До пенсии чтоб. Негоже вроде после лет такой работу менять. А если поперек кому, можно и уйти. Ничего. Стерпит.

— Лаврентий Кузьмич, мужики идут, — прибежала рассыльная. — Всех собрала. Сейчас...

— А-а, — поднял голову Кобзев, не понимая. — Окозестила? Ну иди домой. Погоди, по пути зайди к Яшкину, чтобы через час был в конторе. Глухова — после обеда. Все.

Стали собираться мужики. Первым пришел Павел Лазарев. Деревянная нога его с резиновой набойкой слышно скрипела, пока шагал через переднюю. Вошел, кивнул молча, сел на скамью. Рассыльная скамью принесла из холодной. Сел, выставил вперед протез, стал шинель расстегивать. Пальцы не слушаются, не сладят с крючком. Насилу расстегнул. Шапку армейскую положил рядом на скамью. Широкое лицо его задубело от мороза, рыжие вислые усы понизу схватились льдом. Сгреб Павел пятерней с Усов, полез за табаком, да приостановился, вспомнил: не курит

Кобзев сам и никому не разрешает курить здесь. А курить хотелось. Выйти, если...

— Кури, Лазарев, — заметил Кобзев.

Только закурил, тут четко, будто строевую рубил, вошел Тимофей Харламов. В шинели тоже, воротник поднят, пустой рукав в карман заткнут. Не поздоровался, сел рядом с Павлом. Стали они тянуть одну самокрутку по очереди. Молчали, и Кобзев молчал, ждал, когда подойдут остальные. Подошли Сорвин и Милованов, оба в бушлатах под ремень и роста одинакового — братья будто. Только лицами не похожи. У Тихона лицо пористое, мягкое, нос широкий, вроде из резины, губы толстые, большие, говорит быстро. У Прони Милованова лицо маленькое, тугое, нос совиный, а глаза всегда настороже — не обойдешь. Вошли, а тут и Данила Васюков за ними, кузнец колхозный. Старше всех он здесь, пятьдесят ему, а может, и больше. Лицом темен, кашляет зиму-лето, дымом от него, углем кузнечным тянет. Сел, согнулся, закашлялся сразу. Сорвин с Миловановым разговаривали.

— Вот что, мужики, — поднял голову Кобзев, но посмотрел не прямо на них, а в сторону несколько. — Пойдете, — да они уже и знали об этом, догадывались, — пойдете с обозом в город. Быков вчера поставили к селу, выезд во вторник утром. Повезете свинных туш двадцать пять штук да пятьдесят бараньих. Что станете покупать, мы еще уточним с кладовщиком. Сейчас идите в бондарку, отсюда делайте к саням, завертки смените, возьмите в запас, чтобы дорогой канители не было. Веревки и все, что нужно, у Яшкина. Он скоро подойдет. Сена воз накладете, получше которое. В санях этих, с сеном, конь мой пойдет. Пойдет с конем вместе семь подвод. Вас шестеро. В дорогу колхоз вам ничего не дает. Оплата — трудодни.

Мужики переглянулись: кто же шестой? Кладовщика, что ли, решил послать? Да ну...

Кобзев помолчал, потом докончил:

— Обоз поведет Глухов. Все. Вопросы будут?

Глухов так Глухов, им все равно. Подымались мужики. Вопросов не было. Пошли.

— Харламов! — окликнул Кобзев. — Останься, поговорить надо.

Тимофей вернулся от двери, сел. Мужики уходили, переговариваясь. Стихли шаги.

В тот вечер, когда Тимофей Харламов избил Глухова, Глухов прибежал к Кобзеву. Прибежал расхристанный, лицо в крови, сел возле порога, застонал, заныл.

— А за что? — спросил тогда Кобзев. Он-то знал за что, да от Глухова хотел услышать. — За что он избил тебя? Ну иди, подумай, завтра разберемся. Забыл ты...

Назавтра с утра Кобзев послал рассылную за Харламовым. А тот не пришел. Послал второй раз. Тимофей явился пьяный. Не то, чтобы совсем, но выпивши шибко.

— Ну, — нехорошо спросил он от порога, — что скажешь, председатель, нового? А?

— Закрой дверь. — Кобзев по обыкновению сидел за столом, голова опущена. — Сядь.

— Закрою, что скажешь?

— Глухова бил вчера?

— Бил, — кивнул согласно Тимофей.

— Так он в район собирается, жаловаться на тебя. Сегодня собирается. Это как?

— Та-ак, значит, — протянул Тимофей, — может, и ты с ним поедешь, пред-се-да-тель? — И левой рукой своей, в которой силы было побольше, чем в двух Кобзевых, сгреб Кобзева за грудки и, раскачивая его, подтягивая через стол к себе, целясь левым глазом — правый, вытекший, дергался, и дергалась правая же изрубленная щека, — левым глазом целясь в переносицу, зашептал:

— А я вас с Глуховым... видел, понятно? Я на пулеметы ходил. А ты знаешь, чем он без нас занимался здесь, Глухов твой? Не знаешь? Ну так мы знаем. И опосля Глухова до тебя с Яшкиным доберемся. Пусть едет. Только я еще разок с ним побеседую. За все. Так и скажи. А потом...

— Отпусти, — устало сказал Кобзев, и тот послушно отпустил. — До меня добираться нечего. Я весь тут. Бабу твою я не топтал, в колхозе ничего не брал. Ни зерна. — Га-ад! — закричал он вдруг пронзительно. Так, что стекла в окнах, казалось, звякнули. Никогда такого не было с ним за пятнадцать лет председательства, не кричал он. — Ты воевал? А мне, думаешь, легко здесь было?! С бабами! Вояки... — И вышел вон из конторы, саданув дверь. Харламов отрезвел тут же. Потом, когда остыл Кобзев, неприятно ему было за суету свою и крик свой. Вроде бы криком этим смазал он напроць пятнадцать лет работы. Конечно, Кобзев бы мог посадить тогда Харламова, за Глухова заступая (при свидетелях бил) и от себя добавив. Посадишь, ну а что дальше? С кем останешься? С кем работать будешь? Да и не его нужно сажать в первую очередь, а Глухова. И его, Кобзева, что не замечал проделок того. Он бы, Кобзев, на месте Тимофея так же бы и поступил...

Остыл, вызвал Глухова.

— Ты вот что... не вздумай писать куда или ехать жаловаться. Сам виноват. А Харламова накажем. Разберемся и накажем. Понял? Иди.

— Вот что, Харламов, — сказал теперь Кобзев, не глядя на Тимофея. И вот в окно глядел, а оно замерзлое. — В поездке Глухова не трогать. В первый раз сошло тебе, во второй раз можешь и поплатиться. Если не уверен в себе, пошлем другого. Скажи спасибо, что отговорил Глухова тогда. Просто получил бы срок. Глухова не знаешь?

— Не трону, — Тимофей встал. — Его не тронь, оно вонять не будет. Что еще? Все? — Из открытых уже дверей повернулся. — Баба моя за быком приходила. Дров — щепки во дворе не сыщешь. Что ж, я их так оставлю? Мог бы дать быка сегодня на день.

— Приходила. — Кобзев из-за стола приподнялся, все утро просидел, ноги затекли. Подошел к печке. — Скажешь мужикам, завтра с утра на быках своих по разу можно съездить за дровами или сеном, кому в чем нужда есть. По разу, запомни...

И отвернулся к окну, будто не было никого в конторе. Тимофей вышел. Кобзев прошелся раз-другой от печки к столу, сел опять за стол, начал наскоро составлять список, длинный список товаров, за которыми посылал мужиков в город. Напишет, перечеркнет. За этим занятием и застал его кладовщик Яшкин. Пришел.

— Садись, — кивнул Кобзев. Он никого в колхозе своем никогда не называл по имени-отчеству, даже если человек это, как Яшкин, например, был много старше. — Садись, давай вместе подсчитаем. А то у меня уж в глазах рябит от этих вил-лопат. Что станем записывать в первую очередь? Как думаешь? Посмотри.

— Я свой составил. — Яшкин вытащил из кармана пиджака листок бумаги. Очки надел. — Зачто, а ты, Кузьмич, слушай: так или нет. Я тут самое необходимо отметил.

— Давай, — Кобзев положил перед собой свежий лист, чтобы вписать решенное. — Так. Литовок перво-наперво сорок штук. Обедняли мы вконец с литовками. Сорок...

— Не много ли, куда нам сорок, двадцати пяти за глаза? Сколько обычно баб выходит на сенокос? В прошлое лето два звена наскребли едва. Помнишь, как было?

— Ну сколько... сколько есть, все выходят. Мало двадцати, клади тридцать. Писать?

— Пиши.

Каждый записал в свой листок — тридцать литовок. Яшкин вопрос поставил.

— Та-ак, тридцать штук... есть. Теперь ведер у нас нехватка. Ведер десятка два обязательно. Ругань всякий раз из-за них. Бабы свои приносят. Что, писать?

— Двадцать, — кивает Кобзев. — Сапоги резиновые позарез нужны, или галоши какие попадут, разных размеров. Отметь, и мужикам наказать в первую очередь.

— Отметил. Сбрую станем покупать, Кузьмич? Сбруя никудышная совсем. Хомуты...

— А зачем? Наши мужики сделают. Лазарев шорник хороший. Ремни сыромятные у нас есть, а хомуты — старые перетянем. Ты вот что... не забудь, три плиты печных нужно. Веревок сколько в кладовой? А то как сенокос, все не хватает. Тьфу, веревки же мы сами вьем!..

Часа два сидели рядились. Одно вычеркивали, другое вписывали. Дыр столько, что и затычек не хватает. Встал Кобзев:

— Хватит, старик, пошли обедать. Устал.

Уже на крыльце — расходились в разные стороны — сказал кладовещику:

— Весы проверь, туши еще раз взвесим завтра. Без меня не начинать. Утром пораньше в контору.

И сошел с крыльца, горбясь заметно. Глянул по дороге в сторону скотных дворов, бабы как раз солому сгружали. Постоял, хотел к ним подойти. Потом... Пошел домой, сел обедать.

Жена подала ему суп, густой суп, и мясо — Глухова добыча, осенняя еда, — попало в нем. Да они и котлеты делали. По праздникам. Поел, встал из-за стола. Отдохнуть тянуло, после еды он всегда ложился на час-полтора. Но вспомнил: «Глухова же вызывал после обеда, надо идти». Потянулся за шапкой. В горнице, с трудом присев на корточки с клеенчатым сантиметром в руках, Зинаида вымеряла сыну пояс. Собиралась что-то шить. Кобзев хотел было поговорить с женой, да слов не нашел нужных. Вышел. Долго шел к конторе.

Но в конторе ни Глухова, ни рассыльной не было. Глухов, видимо, еще не вернулся — в тайгу опять ушел, — а рассыльная ждала у него на дому, помня наказ Кобзева. Долго нет.

«Сволочь, — с ненавистью подумал председатель. Он ненавидел Глухова тяжело и постоянно и другого определения для него не находил. — Сволочь. Пора заменять его. Вот сходит с обозом, а там пойдет на общие работы. Узнает, что и как. Но в город посылать его необходимо просто, без него там не обойтись...»

В самом начале войны давалась на колхоз броня, и имел право председатель оставить по ней в деревне на период войны несколько мужиков. Оставил. Данилу Васюкова оставил, кузнеца деревенского, — без него никак не обойтись. И еще четырех человек. Можно бы и больше, да не настаивал особо Кобзев... Думал: «Здесь как-нибудь, здесь с бабами потянем, туда нужно, там каждый на счету». Оставил пятерых. Двое из них умерли в сорок третьем на лесозаготовках, один утонул на переправе, четвертый лежал пластом который день. А Данила-кузнец тянул понемногу. И те остались, кого на комиссии медицинской забраковали, а среди них Глухов. Нужен был Кобзеву на время войны — старый бригадир ушел с мужиками — помощник, перебрал он всех оставшихся, и все не подходили: каждый знал свое дело и нужен был на своем месте, а когда дошел до Глухова, решил: вот кто станет.

До войны Глухов — за пять лет Кобзев понял, что это был за дурак, — вроде бы как дурачком числился по деревне, ну не то чтобы совсем дураком, шалопай скорее. Все работы перепробовал и никак пристанища себе не мог найти. Подумав, назначил Кобзев Глухова бригадиром. И Глухов взялся. Да так, что иной раз Кобзев и не рад был, что поставил его. Подумывал часто: мужики придут с фронта, спросят и с меня тоже. Снимать бы надо Глухова. Надо, а нельзя. Глухов был раб, зверь был Глухов и в годы эти тяжкие, когда — так считал Кобзев — только при дисциплине жесткой и можно было вытянуть, Глухов был Кобзеву необходим. И незаменим. Он делал такое, что иногда нужно было делать и чего делать сам Кобзев не хотел. Климцова, к примеру, поймать с рожью... Да мало ли чего? Скажи только,

горло вырвет за колхозное. Для всего этого и держал его Кобзев возле себя.

Глухову война не война. Основное что — сам не голодал, мало того — вот еще дело в чем — отчасти подкармливал и Кобзева. Если Яшкин — все об этом знали, да и кто на его месте мог бы удержаться в годы такие — кормился возле кладовой, если Глухов, только отвернись, мог зацепить что угодно, то Кобзев колхозного не брал. Он мог сказать семнадцатилетнему возчику: «Ваня, привези дровишек после работы». Сказать и знать заранее, что парень тот расшибется в доску, лишь за то, что председатель назвал его Ваней, привезет дрова. Только это. И ничего другого. Но и голодать Кобзев не хотел. Сам — еще куда ни шло, но чтоб семья, дети, живущие на стороне, этого он допустить не мог. Он мог уйти с председательства, отправиться на фронт, лишь бы семья не голодала. Всю войну Кобзев держал хозяйство: корову, трех-четыре овец, поросенка. Кур, конечно. Он бы мог держать и больше, да неудобно было перед своими же деревенскими — многие коров лишились за годы войны. Многие и курицы не имели. Своего на зиму все одно не хватало, и, когда нужно было мясо (а нужно оно было круглый год), он говорил Глухову: «Иди». И тот шел в тайгу за лосем или другой какой дичью на день, два — сколько потребуется. И приносил мясо. Ночью приносил Кобзеву, ставил в сенах мешок и уходил. Всю войну помогал. И, чувствуя, что председатель в некоторой мере зависит от него, Глухов начинал иногда едва заметно теснить председателя. Но тот только подымал на помощника свои полужакрытые глаза, как Глухов тут же оседал. Пять лет было так. Но шел уже сорок шестой год, и хотя знал Кобзев, что ни через семь, ни через десять лет не будут они беситься с жиру после такой разрухи, но твердо был уверен, что хоть и потихоньку, но должны пойти дела на поправку. А потому надо было перестраиваться на мирный лад, и с бабами, и с мужиками вернувшимися, и с Глуховым решать. С Глуховым — в эту зиму Кобзев уже не посылал его на охоту, отказавшись таким образом от помощи раз и навсегда, — он уже решил. Вот вернется Глухов с обозом, и все. Пойдет на общие работы. Морду нажрал — за версту видно. Тот же Тимофей Харламов станет на его место. Попросить хорошо — согласится. Не посылать же его с одной рукой на общие. Да и глаза нет. Правильно расставить мужиков — пойдут дела...

Не дождавшись никого, Кобзев пошел к бондарке. Мужики около возились с санями, а от скотного двора за кусты, за поворот, тронулись три подводы — бабы поехали за дровами. Кобзев поговсрил с мужиками, пошел к коровнику, солома где.

6

...Дорогу в лес, как и к соломе, замело за ночь, и следа свежего не видно было, никто в ту сторону не поехал. Дорог по дрова несколько от деревни, кто в какой стороне живет, там и доро-

гу в лес торит. Ехали бабы, как и утром, след в след. Версты три никак проехали — а путь дальний, — как закричала Евдокия Шуре, та и остановилась. Передом ехала.

— Бабы! — Евдокия сошла с саней. — А на кой черт нам в самый тупик переться? Пока туда да обратно, затемно вернемся, а управляться когда? Вон березник в стороне. Напилим какие есть. Сворачивай, Шура, правь вон на ту березу с развилкой. Правее, правее бери, а то на пни налетишь. Пеньков там, помню... Да мы ведь косили как-то вокруг согры этой. Забыли?

Меньше чем в полверсте от дороги березняк стоял, и березки в нем частые, не то чтобы тонкие, но и на дрова их в доброе время никто бы валить не стал. Но попадались, как присмотрелись бабы, среди них и неплохие совсем. Да и что выбирать, все одно сгорят. Тонкие — они еще лучше. Подручнее. Поехали бабы к ним.

Приехали туда, развернулись краем согры и своим же следом на дорогу опять. Путь пробили, чтобы с возами быкам легче идти. Вернулись, поставили быков голова к голове на таком расстоянии, чтобы дерево, падая, не зацепило. Соломы бросили им и, утопая в снегу, подошли к крайней березе. Оттоптав кругом, Евдокия ударила раз-другой обухом топора по стволу, сбивая снег с сучьев, и, подняв голову, посмотрела, куда лесина клонит вершину, подрубила четверти на три от земли. Шура с Татьяной, согнувшись, стали пилить, валить с корня. Подрубив, Евдокия зашла с обратной стороны и, навалившись на ствол плечом, давила до тех пор, пока береза, дрогнув вершиной, пошла, набирая силу, обхлестывая другие деревья, и ахнула, разбивая по сторонам снег. Была она, береза эта, не шибко толстая, как раз бабам под силу, и четыре хороших, как определила Евдокия, выходило из нее кряжа. Пятясь с топором к вершине, Евдокия проворно стала обрубать сучья, а бабы вслед за нею раскряжевывать ствол, и, пока они кряжевали и отпиливали верхушку, Евдокия успела подойти к другой березе, оттопать снег кругом и подрубить ее. И высмотреть еще несколько деревьев, поближе которые...

Так, раз за разом, торопясь и не разговаривая почти, свалили они десятка полтора деревьев — из которой березы четыре, из которой три кряжа выходило — и, развернув ближние сани, стали накладывать. Сперва поперечины положили. Тоже вот поперечины нужны, как и под солому, чтоб воз пошире разложить, только короче они немного и не по пяти их идет на сани, а по две — возле головашек одна и в конце саней, напротив последних копыльев — другая. Положили и стали накладывать кряжи: те, что потолще, вниз, а тонкие сверху, чтобы силу на них не тратить лишнюю, поднимая. Наложили все три воза, увязали с закрутками, надо на дорогу выезжать.

— И-но, пошел! — Тронули первого быка, бык старый, воз сначала в сторону дернул, чтоб с места сдвинуть, и, навалившись плечами на шерку, потянул. За ним остальные. Помолились бабы, каждая про себя, чтоб дотащили быки до деревни, не

ложась на снег. Ляжет, вытянет шею по снегу — и реветь. Чтоб завертки — петли веревочные, которыми оглобли к саям прихвачены, — не порвались. Распрягай тогда быка, сбрасывай дрова, делай новые завертки. А из чего? Веревку рубить — один выход. А вот как оглоблю поломаешь, заваливаясь в снег, тут уж садись и...

Нет, выйдя на дорогу, тронули быки, не останавливаясь, и бабы за последними саями пошли, не отставая. Сейчас, как бы ты ни устал, садиться на воз нельзя: тепло, набранное при работе, выйдет враз, и схватит тебя морозом — зачменеешь. Иди следом, грей ходьбой ноги, руки вот только схватились, варежки насквозь промокли, пока пилили-накладывали. Идут бабы, молча идут. А темно уж, да и чему удивляться? Зима, в шесть часов темь. Вот поворотила дорога, деревня скоро.

Доехали слава богу. Сворачивая к свинарнику, Евдокия остановила быка.

— Бабы, вы, как дрова скидаете, приходите ко мне. Хоть картошки поедим. Картошка с утра поставлена, котел целый. Погретесь, домой возьмете картошки. Ребятишкам.

Отказались. Им, Татьяне с Шурой, на коровники сейчас, после дров. На каждой по тридцати голов числится. Корм раздать при фонарях надо, подоить каждую надо да молоко на себе, на коромыслах — а идти вон аж куда! — отнести на сепаратор. Отказались. Понужнула Евдокия быка, повернула к свинарнику по следу своему.

Подвезла, сбросила дрова возле свинарника и было уже развернулась отогнать на скотный двор, да вспомнила, напоить надо, в обед не поили быков. Взяла ведра, спустилась к ручью, к проруби, а ее заняло за день, надо за топором идти, прорубать. Прорубила, принесла два ведра быку — напился. Отогнала, распрягла и обратно в свинарник. Подошла с фонарем к печке, теплая печка; сунула руку в котел — картошка теплая, толченая уже картошка, с отрубями перемешенная. Варька, милая, пришла, постаралась. Села на теплые кирпичи Евдокия, поставила рядом фонарь и, держась одной рукой, как Варька утром, за борт котла, стала черпать свободной толченку из котла и есть, отрубей не чувствуя. Поела, и пить захотелось ей. Оставалось в ведре после быка немного воды, потянулась было Евдокия, да побрезговала: хоть и чистая, но скотина все-таки. Потерплю до дома.

Пока сидела в тепле, сковало все тело — ни спины согнуть-разогнуть, ни рукой-ногой двинуть. А надо было вставать, разносить свиньям. Взяла фонарь...

И так она устала в день тот, что не помнила, как и до дому дошла. Зашла в избу, тепло, ребятишки спят, только Варька спросила с печи: «Это ты, мамка?» Шагнула к плите, нашарила в темноте чайник и долго прямо из носика тянула смородник. Напилась, стала раздеваться. Ватники промокли насквозь, сняла их Евдокия — и на плиту. На плите, рядом с чайником, чугунок

стоял с «лапшой», что в обед варили. Оставили ей ребята на ужин. Сняла Евдокия «лапшу» — утром сами доедят — и чайник сняла, а все мокрое — на плиту. Пододвинула к печке обе скамьи, фуфайку постелила и легла под зипун — холодный зипун, мокрый понизу. Легла — и как в яму. Только успела подумать неясно: во вторник обоз уходит, надо Павлу собрать с собой, картошки принести из свинарника, колобков наделать. Путь дальний, что-то ж надо в дороге есть. Сколько дней они проедут! Хлеба ему бы...

7

...Павел Лазарев уходил на войну в один день с Андреем Щербаковым. Дружили они в парнях еще: перед войной самой Андрей конюхом работал, а Павел плотничал. Андрея — охотник он был хороший — отправили на короткий срок в снайперскую школу, а потом в лыжный батальон, под Ленинград. А Павла сразу на передовую, в пехоту. В сорок четвертом осенью — то и обидно, что наступление шло по всему фронту, — ранило его. Отправили Павла в госпиталь, отняли ногу правую ниже колена, да так с ногой этой он почти до победы самой и провалялся по госпиталям. И никак не знал, что в деревне его Кавруши еще в сорок третьем году умерла жена Елена, оставив трехлетнего сына Миньку. А когда вернулся, все и узнал. Миньку взяла к себе Евдокия Щербакова и выходила его, жена Елена третий год лежала на кладбище, а изба так и стояла пустая с сорок третьего года. И много чего другого узнал он, вернувшись в деревню свою Кавруши. На родину, к семье...

Вернулся Павел в Кавруши в апреле сорок пятого. Теплые дни стояли, таяло хорошо, но верховая дорога, унавоженная за зиму, еще держалась. Девки возвращались домой с лесозаготовок, они и подвезли Павла. Слез он на въезде и по-за огородами, приволакивая протез, прошел к своей избе. Сел на крыльцо спиной к заколоченной двери, поставил в ногах вещмешок, в котором гостинцы — сухари, два бруска сырого мыла, несколько кусков сахару, махорка еще в желтых пачках, медали его — положил и долго сидел. Курил, глядя на остатки изгороди — на дрова растаскали, видно, — на баню в огороде. Глядел, думал, да так ничего и не придумал.

Встал, пошел к Евдокии.

Сын его не признал, да и признать не мог, потому как родился он осенью сорок первого, в те дни, когда Павел уже воевал. А к семье Щербаковых привык и Евдокию матерью называл. Выложил Павел все из вещмешка на стол — махра да медали остались, сел на сундук, как был, в шинели расстегнутой, шапку только снял. Ребятишки смотрели на него, он — на них. В избе бедно...

— Вот что, Дуня, за сына, что сберегла, спасибо тебе. Ничем

отблагодарить не могу сейчас, что есть, — указал он на стол. — Жил Минька у тебя три года, еще пусть побудет. Мне его на сегодняшний день девать некуда. Обживусь, возьму к себе. А пока буду помогать, как сумею. Завтра в контору, работу просить. Вот и все...

Долго он сидел в тот вечер у Щербаковых. Пили чай с сухарями, разговаривали. Сидел, облокотясь на край стола, вытянув казенную ногу, лицо худое, волосы короткие, рыжеватые вислые усы. О войне рассказывать не стал, слушал Евдокию, как они жили тут, как хоронили его, Павла, жену. Лицо строгое, только усы сгребает, мнет пальцами. Засобирался уходить, а куда? В избу холодную? Постелила ему Евдокия зипун свой на пол, и лег он, как был в солдатском, под шинель свою, протез только отстегнул, а в голова опять же вещмешок да шапку. Наутро ушел к избе своей, отодрал доски от окон, изрубил на дрова снесенные к крыльцу жерди, протопил. Варька подмела, помыла пол, протерла окна, и стал Павел жить в своей избе, заходя по нескольку раз на день к Щербаковым. Работать пошел в шорную, а кроме всего, будучи с детства мастеровитым, умея править любую работу в крестьянстве, стал он подрабатывать на стороне: кому раму связать-застеклить, кому сапоги пошить, если кожа находилась, да и кожу выделывать мог. Тем и кормился, и сыну нес, ребятишкам Евдокии, если случалось заработать что. Но в шорной сидел он только до лета, а как начался сенокос, стали посылать его на разные работы, а чаще всего — метать стога, а позже, на уборочной, и снопы швырял в молотилку, солому скирдовал. А ведь это не просто так. Попробуй покрутись лето-осень с навильником вокруг стога или скирды! На двух ногах шататься начнешь, а тут на протезе. Натруженная работой, открылась у Павла рана, и как увезли его в октябре — снего еще не было — в госпиталь, да только в феврале вернулся. А теперь вот в числе других мужиков уходил он с обозом в город...

На другой день Павел запряг быка, на котором должен был отправляться, выбрался — тут же, за двором Евдокии, — с версту от деревни, нарубил подручного березняка и вместо одного, как велел председатель, привез два воза. Сбросил дрова, поехал к конторе. Там, возле колхозного склада, председатель, Яшкин и счетовод взвешивали туши, записывая каждый себе, а мужики-обозники прямо с весов грузили туши на сани, накрывали брезентом, затягивали веревками, чтобы завтра, чуть рассветет, тронуться в дорогу. Подогнал в очередь Павел сани к весам, начал грузить-укладывать. Глухов тут же бегал, распоряжался себе...

А Евдокия, управясь утром с Варькой (Варьку брала с собой не управки ради, а чтобы картошки поболее прихватить), стала варить принесенную картошку, сварив, усадила ребятишек чистить ее, потолкла очищенную и накатила из толченки шесть небольших колобков. Готовые колобки вынесла на жестяном листе на мороз. Вечером вчера принесла она за пазухой штук тридцать картошин, так и на колобки хватило, и ребятишки наелись. Еще

принесла она за голенищами валенок отрубей и, просеяв едва струбей те, испекла на плите прямо две большие лепешки. Ничего другого не смогла она собрать Павлу в дорогу.

До города, еще Андрей рассказывал, верст около трехсот. Сколько в день груженный бык пройдет? Тридцать верст, не больше. Вот и считай: туда дней восемь-десять идти обозу, обратно столько же, да там дня три-четыре обязательно быть. Бабы говорили — не раньше как двадцатого марта назад обернется обоз. А что за это время есть-пить будут мужики, не знала Евдокия. Может, председатель из колхозного выпишет им что-либо, а потом зачтут? Иначе...

До войны еще — и до войны обозы каждую зиму ходили, и Андрей два раза с ними ходил — всякий раз идущий в город обоз был событием для деревни. Уж о том, что взять с собой поесть в дорогу, тогда и не думал никто. И не на быках ездили — на лошадях. Лошадей за неделю до выезда овсом начинали подкармливать. Не успели проводить, а они уже вот, вернулись обратно.

Так же, как и сейчас, уходил обоз в первых числах марта, иногда пораньше чуть: как только стихали метели и устанавливалась дорога. Еще до марта, бывало, ой-ой сколько дней, а уж разговоры промеж мужиков идут: кто нынче поедет, назначат кого? И каждому охота была большая хоть раз в несколько лет в городе побывать. Отдохнуть от работы колхозной, по магазинам походить, купить что-нибудь по мелочи, а больше — поглядеть.

Праздником это считал каждый колхозник. А не каждого и назначали в обоз. Если чуть провинился в жизни колхозной, не загадывай: не пошлют. Так поездку ту, как премию, зарабатывали. Ну и Кобзев не обижал мужиков. В эту зиму, к примеру, уходит с обозом шесть-семь человек, в другую столько же, но уже не те, что вели обоз в прошлый раз. Все перебивали. А бабы, как узнают твердо, кто едет, начинают осаждать мужиков тех, чтобы отправить что-либо с ними продать там, товару нужного привезти взамен, гостинцев городских. Каждый хозяин держал в ту пору корову и масло, хоть немного, мог собрать, сэкономить на продажу, килограммов двадцать-тридцать мяса не в ущерб себе почти каждая семья выделить могла или сала свиного. Отправят обоз и ждут всей деревней, дни считают. А уж как приедут, то мужиков — ну, в своей семье само собой — затаскают по деревне, угощая. И разговоров, рассказов будет и в застолье, и на улице — до следующей поездки. И Евдокия всякий раз псылала что-то на продажу, радовалась, когда назначали в обоз Андрея, и ждала вместе со всеми, и гостинцам привезенным рада была радешенька. Бабы все обижались, что их не посылают...

Уходит завтра обоз, а ни волнения тебе, ни радости. Перевернулось все сверху донизу. Ни мужа нет, ни послать чего. Было у Евдокии с осени припасено два ведра клюквы, клюкву эту и надумала она послать с Павлом — до сих пор не знала, что пой-

дет обоз, — чтоб продал он ягоду и купил одежду ребятишкам, а нет, так материю, что подешевле да крепче. Сам знает, что надо. Да и накажет ему...

В тот вечер, накануне отъезда, Павел, зайдя к Щербаковым, мало пробыл у них, взял клюкву, продукты и ушел, попрощавшись: утром рано вставать.

Евдокия закрыла за ним дверь и решила тут же лечь, чтобы отдохнуть за всю неделю, — завтра, помимо уборки ежедневной, другая работа найдется. Легла, и то ли потому, что не тревожил ее никто, или что снов не было, а только проснулась она за полночь, выспавшись, будто к утру. И сколько потом ни пыталась уснуть, не могла, но и до утра вот этак лежать не выдержишь. И стала она о муже думать: не то разговаривать с ним, не то письмо ему писать...

...Письма мужа, полученные за три года, перечитанные, пересчитанные множество раз за время ожидания, лежали в сундуке, завязанные в чистую тряпку. Столько же ответов дала обратно Евдокия. Еще в самом начале просил Андрей, чтобы не рассказывала она шибко, как там в деревне, а писала самое необходимое, о детях больше. Евдокия так и делала. Писала коротко: живы, здоровы, работаем — будто от лица всех баб писала, — ждем вас живыми. И все. Да в письмах, хоть на сто страниц каждое отсылай, разве расскажешь обо всем, что случилось в деревне, как жили бабы без мужиков, как жила она, Евдокия, что думала-передумала за это время? И много чего накопилось у нее рассказать. А писала коротко: живы. Словом этим все сказывалось. Да и сам он сообщал: воюем... и все. Ну, еще пять-шесть строк. О детях спросит, здоровы ли, ходят ли в школу. Приветы кому...

Муж Евдокии Андрей Пантелеевич Щербаков уходил на фронт на четвертый день войны. А день тот первый, когда узнали о войне, вспоминает Евдокия часто.

С утра все разошлись по своим местам. Работать. Война, сказывали, началась ночью, а в Каврухах в полдень известно стало. Андрей пришел из конюшни вялый какой-то, сел на лавку, долго молчал. Евдокия уж напугалась: не стряслось ли чего, может, лошадь пала? А он объявил: «Война, мать. Давай к конторе сходим, что там скажут?» Пошли. Собралась вся деревня до выгребу, и Кобзев подтвердил: война. Нарочный из сельсовета приезжал.

На второй и третий день раздали мужикам повестки, на четвертый провожали их.

Собрала Евдокия в заплечную с лямками сумку кружку, ложку, еду, табак, спички, закинул Андрей сумку ту на плечо и пошел. На войну пошел, будто в другую деревню. До конторы пошел сначала. Евдокия сбоку, ребятишки сбоку. Подошли, а там крик, гармошка, и плачут, и поют — все вместе. Старики, старухи немощные и те здесь. И телеги стоят наготове. Из соседней деревни подъехали. Ребятишки правят.

«Ну, мужики, — Кобзев вышел из конторы, — давайте прощаться, да время ехать.

Запели тут девки «Как родная меня мать провожала», и Андрей подошел от телег. Трезвый совсем. Он и так-то не шибко большой любитель был выпивать, по праздникам если, а сейчас, на проводах, совсем не стал. Перецеловал ребятишек, с Сеньки начиная, поднял голову.

— Ну, мать, давай с тобой. Пора уже. Прощай пока...

А вот тронулись телеги, и пошли за ними следом все — за деревню проводить. И Щербаковы пошли. Остановились за крайней избой на минуту какую-то напоследок, а и не надо бы этого делать, выходить сюда. Попрощаться возле конторы, и все. Шли когда, держались еще бабы, а как остановились телеги — навзрыд. Похороны, и только. Кобзев побежал к передней телеге, торопится, а сам рукой машет:

— Пошел!

Тронулись. Телеги уходят, а бабы за ними следом, телеги уходят, а бабы за ними. А куда идти, не пойдешь до сельсовета самого. Отставать стали, одна, другая. А телеги все дальше, дальше. Некоторые мужики сели на подводы, а много еще шло за последней. И Андрей с ними. Высокий, хорошо видно его. Отойдет в сторону, обернется и рукой махнет. И все дальше, дальше, а потом и совсем скрылись за кусты, на повороте дорожном. Будто из сна нездорового пришло это все к Евдокии: как простилась, как вели ее бабы домой, как пролежала она остаток дня лицом в подушку. Звон тяжелый в голове. Глухой. Боль в сердце. Боль во всем теле...

Что ж, как бы там ни было, а жить надо. Встала утром да и пошла на работу, как ходила до сего дня. Идет улицей — ох, опустела деревня без мужиков! Бабы да ребятишки. Старики еще. И молчалив каждый стал, идет — глаза в землю, думу свою думает. И Кобзев будто другой. Он и раньше-то не улыбнется, не засмеется лишний раз, а тут совсем насупленный. На работу посылает — командует будто. А работы с тех дней вдвое прибавилось, стали ее меж баб распределять. Работа крестьянская, известно, на земле всю жизнь. Ничего нового. Паши, сажай, убирай...

При жизни единоличной, помнит Евдокия, каждый свой надел лошадьми пахал, а как колхоз образовали, трактора прислали. Трактора газогенераторные, на древесных чурочках работали. Так они и в войну остались, трактора эти. Трактористов по-забирали, Кобзев тут же на курсы — курсы при МТС организовали — девок послал учиться. Проучились они нужное время и по сей день на тракторах работают. Польза от них большая, от тракторов, с конем не сравнишь, но и канители много — одних чурочек не напасешься. Он, трактор, кроме девок, еще возле себя с десятков человек obsługi держал. Еще до пахоты далеко, а уж баб день за днем посылают в лес, кряж березовый заготавливать. Да и не всякую березу валить можно, суковатая

не пойдет, ровную выбирают, долгую, с сучками мелкими. Вот как. Неделью-другую заготавливают бабы — чурочек много требуется, пахота, потом посевная. Заготовили, вывозят на нескольких подводах. Вывезли, кряж за кряжем на козлы и в пять-шесть пил пилить кряжи те на коляски, шириной пальца в четыре, не больше. Распилили, каждую коляску расколоть нужно на мелкие чурочки-бакульки. Чурочки потом сушат долго в специальных печах-сушилках, сухари березовые насыпают в мешки, и только началась пахота, две, а то и три подводы возят их с утра до ночи к тракторам. Засыпал в топку полмешка чурочек тракторист, проехал туда-сюда по борозде, опять засыпай. Позже еще два трактора пригнали в колхоз, трактора-колесники, задние колеса большие с шипами частыми, тем чурочки не нужны, на горючем работали. За тракторами девок посылали аж на железную дорогу — перегонять. Перегон тот практикой стал для девочек, рулить научились.

А сеяли большей частью вручную. На тракторах — девки, слез больше, чем работы. То завести не может, то поломка случилась — не найдет, в МТС надо посылать за механиком. А МТС за тридцать километров! Поломка выявилась, запчастей нужных не оказалось, стоит трактор. Или горючее вовремя не подвезли. Пока суд да дело, старики сеяли потихоньку вручную. Соберет Кобзев дедов, кто в силе еще помогать, навесит себе каждый на полотенце через плечо лукошко, насыплет в него семян, и пошли — один за другим — по полосе. Что рожь, что лен, ровно сеяли и успевали к сроку почти.

Всякую работу перевидела, переделала своими руками Евдокия. Кроме основной, на свинарнике, и за плугом ходила она во время пахоты, и боронила на быках полосы те вспаханные, засекала их потом, шагая в ряду стариков, серпом жала посевы созревшие, снопы вязала, бросала в уборочную — ребятишки на подводах подвозили — снопы в зев молотилки, солому скирдовала, и сено косила, и копнила его, и в стога метала каждое лето. И всякую другую работу, куда б ни посылали, делала. Бок о бок работали с ней бабы, те само собой, старики, что до войны еще на печи лежали, девки молодые, которым намечено было рожать, под навильником гнулись, ребятишки, от школы оторванные, подростки, ставшие мужиками враз.

За работой — рожь ли жала, солому ли скирдовать начнет — часто вспоминала Евдокия слова матери. Давно еще мать покойная говорила ей: «Дуська, случится, тоска навалится на тебя, ты не давайся ей, найди заделье какое, стирку затей или еще что, голова и прояснится. Думай о другом. Я вот всю жизнь свою этак». За четыре года войны, да и сейчас вот, чего-чего, а заделья хватало! Столько работы, тосковать некогда! Но все одно: как вспомнит мать, так и слова эти ее...

На работу начнут баб назначать, Евдокию на самую трудную, куда мужика надо б. Ты, дескать, здоровее остальных. Может, и была она здоровее тозарок своих — до войны только. Не спорила, шла, куда посылали. И если бралась работать, только

обед и был отдыхом. Бабы серчали часто, и, к примеру, возле молотилки снопы подавать никто не хотел становиться с ней в паре. Заматает, дыхнуть не даст.

Или косить станут, бабы один покос кончают, она — второй. Ругались бабы всяко.

— Да ты что, Евдокия, двужильная, что ли, конь и тот устает. Ее, работу, не переделаешь всю, хоть захлестнись. Куда вот гонишь? Или заплатят больше нашего?

Молчит, молчит Евдокия, а потом и скажет в сердцах:

— А и садиться станем через каждый час, толку большого не будет. Никуда не уйти нам от работы. Мы ж ее делать станем — не сегодня, так завтра. Никто не освободит нас, не заменит. В этом сейчас и спасение все наше, в работе. Сегодня трудно, завтра легче уже...

Никогда не отказывалась от работы Евдокия, не жаловалась, что тяжело ей. Один раз всего не выдержала. Весной сорок третьего года — только-только Поленьку похоронили, и сама ослабела больше некуда — послали ее пахать. А как пахали?.. Тракторных плугов не хватало. За трактор-колесник прицепили три конных плуга, поставили за каждым бабу. Евдокия — за последним. Целый день, согнувшись, держась за ручки, ходи по борозде, правь лемех ровно. Трактор не конь, быстро идет, разве успеешь? Один раз упала Евдокия — хорошо, что последней шла, а то бы под плуг угодила. А Глухов уже тут как тут. И, слов не говоря, сверху:

— Ты что... твою мать, трактор из-за тебя простаивать будет? С утра одну полоску тянете? По пятам за вами ходить? А трудодни небось спрашиваете...

Поднялась Евдокия, сжав испачканные сырой землей руки, пошла на Глухова, ничего уже не видя перед собой. При силе давней просто сшибла бы она его кулаком, а сейчас не осмелилась. Сказала только:

— Тебя бы, падлу этакую, за плуг хоть на денек привязать. Погоди, вот мужики вернутся, вычтут с тебя... — И затряслась вся. Думала, пожалуется уполномоченному, в контору потянут, как Верку Гурьеву. Нет, обошлось.

В прошлую осень жали они серпами рожь на полосах, где трактору несподручно было крутиться с комбайном. День жаркий, согнуты постоянно бабы, распрямишь спину — круги желтые перед глазами, и аж зашатает всю. Куст за краем полосы таловый тенистый, собрались под ним вздохнуть, десяти минут не прошло — вот он, Глухов! В согре, видно, сидел, ждал.

— Опять (первый раз за весь день и сели!), сидите, а кто норму за вас выполнять будет? А трудодни подавай! Только отвернись, сразу под куст! Работнички...

А Верка Гурьева возьми да и скажи:

— Тех бы сюда, кто эти нормы устанавливает. — Всего и сказала.

Ушел Глухов, а Верку наутро в контору — допросы сымать. Уполномоченный как раз по уборочной толкался в Каврушах, так Глухов ему наговорил.

Тот и пристал к Верке:

— Кто научил речам таким, сознавайся.

Она в слезы. И сама не рада, что сказала. Кое-как оправдалась. Да Кобзев заступился. Он как раз в конторе появился, узнал, в чем дело, сам и отпустил: «Иди да помалкивай...»

Никогда не боялась труда Евдокия, вся жизнь на том построена: труд кормит. Но то и обидно было, не кормил он сейчас. Ничего не давал колхоз взамен. Хлеба не давал. Навезут зерно осенью от комбайна к сушилке, вороха во-он по всему току. Днем и ночью, днем и ночью — и по ночам сушилка не останавливалась — бабы возле хлеба того. Веялки вручную крутят, сортировки, перелопачивают, чтоб не горело зерно: сырое, в мешки насыпав, на спинах по лестнице в пять пролетов несут наверх в бункер сушилки, просушенное опять в мешки затаривают, в амбары возят на подводах, в закрома ссыпают, позже снова в мешки из амбара — уже государству на отправку. Всю осень этак. Возле хлеба и без хлеба. Да.

А Глухов (когда и спит только?) ни на шаг не отходит от баб. Смотрит, чтоб не насыпали куда, не унесли домой зерна. И будто шутя полезет к бабе какой, а сам лап-лап ее всюду: проверяет. Как не следи, все одно брали с тока зерно, ухитрились.

Принесенное по горсти зерно сушили на листах в большой печи, мололи вручную на жерновах или по щепоти в суп травяной. Только не натаскаешь так на зиму всю, нет.

Вот уж, как говорится, одно к одному, все беды сразу: огороды перестали родить. До войны, бывало, с того же огорода от осени до весны хватало картошки. Да и понятное дело, она не шибко убывает из погреба, картошка, коли еще что в запасе есть. Приварок. А если одну ее варить изо дня в день, сколько же это на зиму надо? Да и семена были другие. На семена ведь хорошую оставляли, а в войну самая что ни на есть мелочь шла на семена. Да еще разрезали ее на две-три части, а то вырезают глазки с ростками — и в лунку. От семян таких какой урожай? Затянет все травой-мокрецом, ботвы не видно. Полоть на три раза.

Осенью сорок третьего года стали разбегаться из деревни жители. Бросали все и через тайгу, болота, по местам глухим, сто с лишним верст к ветке леспромхозовской, к городу ближе. А куда бежать без бумаг, без еды? Дожди, холод. Многих находили потом в тайге. Сидит под деревом, подняться не может. Некоторые возвращались...

И то повезло ей, считает Евдокия, что родители перед самой войной умерли при спокойной жизни, своей смертью. Своей, а не от голода, как многие. А умри они от голода, лишняя боль для нее. Только Поленьку не уберегли, и Андрею не написала:

силы не хватило. Думала, вернется, узнает обо всем. Вернулся бы сам...

До войны еще, в войну — письма мужа, да победа потом — в бесконечной канители так старалась жить Евдокия, чтобы каждый день хоть малую, но радость приносил. Или слово доброе скажешь кому, или тебе скажут, а то песню услышишь со стороны, или сама споешь за работой, или когда работа спорится, когда в семье все ладно, когда беды не ждешь, когда все так, то и жить от всего этого большая охота была. И трудности не трудности, и о смерти мыслей нет, будто вечен ты.

Детство свое до сих пор праздником считала Евдокия. Тут же оно и прошло, в Каврушах. В девках когда ходила, мало печали было, а и была если, не задерживалась. Замуж вышла, долгое время радостью большой был для нее Андрей, а потом и дети, семья.

Замуж Евдокия вышла двадцати четырех лет. Уж и ровня ее пережилась вся, подруги первенцев нячили, некоторые по второму родили, а она все невестилась. Мать нет-нет да и скажет:

— Ну, Дунька, вековухой останешься. Чего тянешь? Женихи твои мужьями стали. Не захотела — вдовца ищи теперь. Дуришь...

А она не шибко спешила, посмотреть хотела, как у других получается. Одно дело — на гулянье бегать, другое — семейно жить. Гуляешь дни считанные, а жить долгие годы. И хотелось, чтобы ладно все было. У Шуры-подруги по-хорошему пошло, а у Татьяны с первого дня хоть разводись! Ну, поссорились раз другой, мало ли что, в жизни всякое случается, но чтобы руками обижал муж жену, как вот Семен Татьяну, гаже этого, считала Евдокия, ничего нет в семье. Зачем и начинать тогда? В парнях-девках все куда с добром, а как поженились — иная картина. Вот ведь.

Андрей, до того как сошлась с ним Евдокия, был уже женат. Евдокия парнем знала его — худой да долговязый, вместе с другими ребятами часто приходил из Юрги в Кавруши на посиделки. Девочек у них на хуторах мало было. Придет, балалайка под мышкой, сядет на лавку возле плетня. Девки пристанут: «Подыграй, Андрюш». Пододвинется к гармонисту, свесит волосы над балалайкой и начнет припевки. С девками не безобразничал, но и тихоней не был. И крепкий, даром что худой.

Как-то прискребся к нему один из каврушинских парней: «Зачем к нашим девкам ходишь?» Андрей встал, положил кому-то на колени балалайку, молча сгреб обидчика — и через плетень, в крапиву. Девки испугались — драка! Нет, никто не кинулся...

В Кавруши ходил, а женился на своей, хуторской. Три года с ней прожил, не разродилась первенцем, умерла. И еще три года после этого холостым пробыл: ни парень, ни мужик.

Пошла как-то Евдокия по малину в сторону хутора — с бабкой еще своей ходила когда-то в малинник тот, а он, Андрей,

коней рядом пасет. Подошел, поздоровался. Глянула на него Евдокия — пять лет как не видела, — ничего не осталось от Андрюшки-балалаечника. Мужик стоял перед нею. Плечи — вон какие! И разговор и походка — мужичьи. Разговорились, помог ведро малины нарвать. Проводил до дороги. Потом зачем-то приезжал в Кавруши, случайно опять же увиделись. А через несколько дней подъехал прямо к избе Евдокии, вызвал во двор.

— Вот что, Дуня, я уже не парень — встречи с тобой затевать. Не против если, давай сойдемся. Вот тебе неделя сроку. согласишься ли, откажешь — передай с кем-нибудь. А то и сам приеду — так лучше. В воскресенье вечером. Договорились?..

Неделю не разговаривала мать с Евдокией. Жаловалась соседкам:

— Вот, нашла женатика, на шесть годов старше. Сколько парней провожало — не выбрала. А этот...

В воскресенье, когда Андрей должен был приехать за ответом, спросила дочь:

— Ну, что удумала, выходить али как? Смотри, девка, в прорубь прыгаешь. В темь.

— Выйду, — сказала Евдокия, — что тут думать? Не тебе, маманя, жить, не тебе и судить. Ты сама вон, рассказывала же, против воли своих за отца вышла. А меня...

— Так это же я, — заворчала мать. — Он, отец-то твой, и стоил того, чтобы за него выйти. Сорок три года прожили, как день один. Не жалела, не каялась. Мужик был.

— Ну и этот стоит, — только и сказала Евдокия.

На том и порешили.

Поженились...

Свадьбу не хотел играть Андрей: ни к чему вроде бы второй раз. Ему — второй. И Евдокия сильно не настаивала.

Собрали вечер — родня да близкие, — отгуляли, купили избу в Каврушах, переехал Андрей, и стали жить. Молодые оба, здоровые, оба работали. Он конюхом, она дояркой. Дети пошли. И не было за все время ни ссор у них, ни обид друг на друга, все вопросы по хозяйству решали с общего согласия.

Придет Татьяна, бывало, скажет:

— Ну, Дуська, как ладится все у вас! Да с таким мужиком три жизни прожила б! Все бабы завидуют, глянь. Счастье тебе, а...

А Евдокия и сама нарадоваться не могла. Играло внутри ее, ликовало, светилось. Да недолго радовалась, война началась. Проводила Андрея своего. Проводила, стала ждать. Писем ждать, конца войны, Андрея самого. Только и разговору по деревне: «А как там мужики наши?.. А что же это такое — война?.. Убивают на ней...»

Сначала письма приходили бабам-солдаткам и Евдокии. Месяц, другой, третий. И каждая из них, кроме письма, боялась что-либо еще получить. А она вот тебе — первая похоронная.

Надежде Колпаковой. Помнит Евдокия, как шла Надежда от конторы, будто пьяная шла. Идет-идет да лицом в грязь. И кричит, и волосы на себе рвет. С того дня затаились бабы: «А ну и мне такое?» Евдокия навстречу почтальону выходить боялась, выйдет и сердца не чувствует. Никогда в бога не верила, а тут молиться стала на ночь: «Гос-споди, сохрани ты его там живым-здоровым. Любую работу здесь буду делать за троих, сколько война будет длиться, только б жив остался. А ранят если, сама выхожу, болезнь любую отведу. Вернулся б...» Три года молитвы берегли — шли письма, а с осени сорок четвертого, когда уж и бабам растолковали: ну, скоро войне конец, — с осени той ни письма, ни похоронной. Все, будто в воду. Был человек и пропал. Неужели... Неужели... Неужели...

Всем, кому суждено было, похоронные получили. Отвоевались, вернулись фронтовики, никто из них не видел Андрея, не слышал о нем. Известий никаких. Евдокия к Кобзеву — что делать? Посоветовал тот в часть написать, командиру. Написала. Нет, ничего не ответили. Расформировали, видно, часть. фронтовики подсказали. Случалось такое часто, расформируют и в другие — пополнением. Жди, Евдокия, что-нибудь одно должно прийти, либо письмо, либо... Да найдется. Сколько случаев всяких!

Боже мой, о чем только она не передумала за это время! Ну, убит если, так пришлите же похоронную, чтоб душа не болела, чтоб знала уже — нет его на свете белом. Или в плен попал он, или — о чем Евдокия боялась подумать даже — дезертировал. Нет, не мог Андрей этого сделать! Подумала раз и сама же потом казнила себя. Не мог! Не мог! Не мог! Да если б и случилось такое, объявился бы уже в родных местах за это время. Они, где б ни бегали, все к дому прибываются. Оставалось одно — плен. Господи, только бы не погиб он там, выжил, вернулся б, какой угодно — больной, искалеченный, лишь бы живой!

Плен... Она и представить не могла себе, что это такое. Схватят, избьют, свяжут, бросят куда-то, увезут... Плен...

«Если в плен попал, — объяснили опять фронтовики, — и жив там, жди победы. Кончится война, освободят их, обмен будут производить; когда в другие страны угнали. Вернется. Подай еще раз на розыски. Так и так, мол, пропал человек...»

Кончилась война, месяц прошел со дня победы, другой, третий на исходе, год почти — не вернулся Андрей. И на письма ее никто не ответил. Впустую писала.

И поняла тогда Евдокия, что не вернется он никогда. Не вернется, нечего ждать. Не приняла она ни плена, ни дезертиства, убитым посчитала его. Убитым на войне. Так и оплакивала, как убитого в бою. И со дня того, как похоронила мужа в душе, реже старалась думать о нем, не расстраивать себя. Зачем? Похоронен — не вернешь. А плакать уже и силы нет. О том теперь думать надо, как дальше самой жить, детей растить-учить, хозяйство вести. Только б не заболеть, с ног не

свалиться, только б силы на все хватило, а остальное, бог даст, обойдется все, образуется. Раз судьба такая ее, Евдокии Щербаковой, что ж — она не виновата. Она была ему хорошей женой, она ждала его с войны, все вынесла. Что ж...

Так и стала жить. Разговоры о муже ни с кем не заводила и в избы, где получили похоронные, старалась не ходить. Вдовой стала считать себя. Вдова. Да.

Один раз собрались бабы — те, кто без мужиков остался, — на Новый год, сорок шестой встречать, Евдокию пригласили. Пошла она, да и сама не рада. И не то расстройство, что на столах ни есть, ни пить, как раньше, — другое совсем. Сели за стол, и о чем бы разговор ни заходил, все на мужиков своих погибших сворачивают. Да как заревут одна за другой, вот тебе и праздник! А Евдокия на них в голос — уж и изругать хотела, так ей тяжело стало.

— Да что вы, бабы, с ума посходили совершенно! Мало нам было пяти лет слезы лить? Чего воете? Легче вам станет? Мужиков своих вернете? Не вернулись, что ж теперь делать? Не к одним нам не пришли, по всей России так — война! Что ж теперь, что тяжело? Так и будем жить до последнего дня своего. Работать, детей растить. Рук на себя не наложишь, правда? Уж то хорошо, война победой кончилась, этому радоваться надо. Ну, бабы, Новый год вам или похороны? Очнитесь! Давайте песню запоем, как раньше...

А одна из баб как заголосит да на Евдокию:

— Тебе хорошо говорить, тебе хоро... — А что хорошо, и сама не знает. Ляпнула, да и все.

Вспыхнула Евдокия, из-за стола — и за дверь. И не ходила с той поры ни к кому. Знали бы, как ей «хорошо»! Никто горя твоего не поймет, не познает. Вы хоть похоронные получили. Чего реветь сдуру на людях? Горем делиться, так его, горя, у каждого полно. Она, Евдокия, как немого станет, уткнется ночью в подушку, зубами стиснет ее — только плечи вздрагивают. А утром встала и пошла по делам. Неси все в себе, крепче станешь...

Поссорилась с бабами, а потом отошла, и жалко стало их. И правда ведь, как это они свой век одиноко жить станут? Всех жалко. И фронтовиков израненных. Здоровыми столько лет знала каждого, а сейчас глядишь: идет на костылях, ноги нету. О Татьяне, подруге своей, думает всякий раз, как тяжело ей с Семеном жить — издевка одна. Кобзева жалко, как это у него терпения хрюкает столько лет руководить хозяйством, следить за всем, отчитываться. До войны было с кем работать, а теперь... И Глухова жалела. Что ж это он такой ненавистный уродился, как же с людьми-то дальше жить думает? И от бабы хорошей, а надо же — вот что стало с человеком! До войны вроде и вреда никому от него не было — дурачок и дурачок. А как стал бригадиром, осатанел совсем. И правду говорят, захочешь узнать кого, дай ему власть, она его наизнанку вывер-

нет. Сразу поймешь, кто перед тобой. Поняла Евдокия: мстит он, Глухов, всем за то, что до войны его и за человека не считали. А теперь хоть малая, но власть. Отыграться решил на всех...

Так думала Евдокия в ту ночь, перебрав жизнь свою год за годом, и опять расстроилась, и уснула в слезах. Наутро проснулась отрезвленная, готовая ко всему, к работе, и первая мысль ее была: где же теперь обоз? Далеко ли от Каврушей?..

8

Обоз выехал во вторник, утром, затемно еще. Первым к конторе пришел Глухов, за ним кладовщик. Вдвоем, при фонарях, осмотрели все возы, проверяя, так ли, как с вечера, наложен брезент, завязаны узлы веревок, и отпустили замерзшего старика, поставленного с сумерек при возах. Стали подходить возчики. Быстро запрягли быков, и обоз, визжа полозьями, растянулся поворотом от конторы за деревню.

Первым шел самый сильный в обозе красно-пестрый бык Глухова, за ним председательский конь Беркут, впряженный в воз с сеном, следом подводы Сорвина и Милованова, дальше — Данила Васюков, старый каврушинский кузнец, и последними — Тимофей Харламов и Павел Лазарев. До соседней деревни Черемшанки, через которую лежал путь — пятнадцать верст, по убродной дороге тянулись до нее часа три с лишним. В темноте ехали. Рань, еще спать бы. Зевали мужики, дергали плечами, Тимофей с Павлом в шинелях, фуфайки, правда, пододели под них, да что фуфайки? Мороз за тридцать, пробрал их на первой же версте, соскочили с подвод — и шаг за шагом, греясь. Да по дороге такой не шибко и разойдешься. Харламову не больно и в тягость ходьба — ноги здоровые, длинные, от воза не отстают. А Павлу тяжелее на деревяшке, на ней по полу только ходить. Пройдет немного — и снова на воз, сидит, хлопает рука об руку, дышит в варежки, голова в плечи вобрана.

— Придется нам, Павел, до самого города этак прыгать с воза на воз. — Тимофей жмурит зрячий глаз, слезу выжимает. — Если черемшанские не ушли впереди нас, долго ползти придется, до района аж, там дорога торная. Каждый день ездят.

— Не ушли, они всегда хитрят, тянут до последнего: по готовому следу чтоб. Нет.

Проехали Черемшанку. Пусто на улице, спросить не у кого, контора в стороне.

— Катерина! — окликнул на выезде Харламов знакомую бабу, поднимавшуюся с ведрами от проруби. — Ваши уехали в город или собираются только? Не знаешь? А?

— Не-ет, не уехали, — откликнулась та. — На следующий неделе думают. Путь плох.

— Ихнего Горбача кто обойдет, тот еще не родился. — Ти-

мофей сел рядом с Павлом. — Закурим одну на двоих, Павло, носы дымом погреем. А то отмерзнут. Как без них?

— Не свернуть мне, — Павлу шевелиться нет охоты, — пальцы занемели, только табак просыплю. На морозе таком. Потерпи до остановки. Лишнюю закрутку сэкономим...

— Да ну-у, — засмеялся Тимофей. — До остановки — ого! Ты подыши в варежки, отогрей. Давай, газетка у меня есть. Где у тебя кисет? Да шевелись ты, черт стылый. Ну!

Побил Павлу рука об руку, подышал, помял пальцы, свернул кое-как подлиннее, чтобы на двоих хватило. Закурили. Потянет-потянет один, другому передаст. Намокший конец самокрутки сразу застывал, едва отнесешь от губ. Полегчало чуть.

Рассвело. Солнце тугим малиновым краем поднялось чуть над заснеженным лесом. Холоднее стало на восходе. Скрипят сани, быки — кричи не кричи — размеренно переставляют ноги. Пар от морд бычьих, пар от дыхания людей, снега во все стороны, согры. Тимофей соскочил с саней, отстал, чтоб пробежаться. Эх, мать родная! Озяб.

— Н-но! — слышится с передних саней, Глухов погоняет. Путь долгий до района, до города вдвое дольше. А у быка скорость одна, растянулся обоз на версту: — Н-но!

За день прошел обоз верст тридцать с лишним, как раз до Фросиной заимки добрались. Заимка — просторная изба в две комнаты, печь, полати — принадлежала когда-то, при единоличной жизни еще, бабе одной. Незамужняя, бездетная баба та, Фрося, всю жизнь промышляла в тайге птицу, зверя, сдавая пушнину и мясо торговцам. Тем и жила. И то ли зверь ее смял, то ли зашла далеко и заплутала, только не вернулась она однажды с охоты, и не нашли ее, как ни искали, мужики.

С начала колхозов изба и сенокосные угодья от левобережья Шегарки до самого бора отошли Каврушам. Из года в год колхоз косил тут траву, оставляя на зиму часть скота. За скотом, почти не выезжая с заимки, ухаживали два старика. К старикам отогреться, ночь перетерпеть заезжал, заходил всякий, кого темень или непогода заставляли в пути. И обозы всякий раз — в город ли шли, обратно ли возвращались — сюда заворачивали. И сейчас мужики надеялись на заимку, поглядывали на избу, подъезжая, но Глухов, не останавливаясь, так и проехал мимо Фросиной избы. Вот сани его минули поворот. За ним остальные подводы. Не остановился.

— Он что там, уснул? — Тимофей соскочил с воза. — Так я его разбуджу, косорылого...

— Не затевай! — окликнул его Павел. — Сцепитесь опять. Он до Залесова тянет, тетка у него там, кажется, живет. Садись. Тут недалеко, версты четыре всего осталось, вот и заночуем. На заимку лучше бы, конечно, свон там. Ну, он ведет обоз...

Глухов тянул до Залесовского хутора. Там у него действительно жила родственница, но Глухов к ней никогда не заезжал. Кроме колхозного мяса, в передок саней уложил он сейчас око-

ло центнера лосятины и несколько брусков свиного сала — в город на продажу. Еще на выезде из Каврушей, сидя закутанный в тулуп на возу, он задумал — к первой же ночи обязательно добраться до Залесовского. Остановится у знакомого мужика, достанет из мешка отрубленный заранее кусок лосятины, сварит на вечер и на утро. Ночевать на заимке — значит варить и есть мясо на глазах у обозников, чего Глухов никак делать не хотел. И к тетке он совсем не думал заезжать. У нее четверо ребятишек, начнешь есть, сядут возле стола, станут в рот заглядывать, не рад будешь мясу. К знакомому — оно спокойнее.

Мужик тот давно ходил как бы в должниках у Глухова, всегда принимал его и на добро глуховское не зарился. Доехали до хутора. Глухов сразу свернул к знакомому, наказав следовавшему за ним Милованову, чтобы мужики сами себе искали квартиры да выходили ночью к возам — не дай бог, случится что! Он, Глухов, отвечать не станет.

Сорвин с Миловановым, а за ними Данила-кузнец проехали в глубь деревни, Павел с Тимофеем попросились в крайнюю избу. Хозяин им попался приветливый, ранен был он на войне в ногу и припадал на нее в ходьбе, опираясь на палку.

Обозники сели к теплу, к топившейся печке, закурили. Павел угостил табаком хозяина. И по тому, как тот, торопясь, сворачивал самокрутку, как, откинув на сторону дверцу печки, поймал уголек и, обжигаясь им, перебрасывая с ладони на ладонь, потянул, понял, что курец он заядлый, а табаку, видно, не имеет. Это хуже всего.

Погрелись, поговорили, Тимофей сходил в сени за котомкой, достал картофельный колобок. Повернулся к хозяйке — та возилась с тряпьем каким-то, перешивала.

— Хозяюшка, сковородка найдется у тебя? Разогреть. Целый день одним морозом...

— Положи обратно, — кивнул хозяин Харламову. — Вам еще ехать да ехать. — И жене: — Собери мужикам поесть. Так вы, значит, из Каврушей? До войны был разок там....

Хозяйка, молчавшая все время, налила две чашки щей. Не густо было в чашках, горячо — одна радость. Отрезала на блюде несколько пластиков сала. Тонких.

— Хлеба вот нету, — пожаловалась она, подавая мужикам ложки. — Хлебайте, пока не остыло. Не стесняйтесь, еще подолью. Мы сами поужинали уже. Двое живем-можем...

— Хлеб у нас свой, — Павел вынул лепешку, положил на стол. — Вот какой едим.

Сели с Тимофеем друг против друга и начали: по разу от лепешки, шесть раз из чашки. Хорошо как после холода! Хозяин достал с полки кусок сала, от которого только что отрезали. С полкилограмма оставалось в нем, не больше, — протянул Павлу.

— Это вам с собой. — И просительно заглянул в лицо. —

Табачку не отсыплешь малость? Переночевать, когда нужно, прямо ко мне заезжайте. Сергины фамилия наша.

Павел на чистую столешницу горькой насыпал самосаду. Две большие горсти.

— Вот спасибо, вот спасибо, — засуетился обрадованный хозяин, осторожно сгребая табак в кисет. — Неделю без курева! А о возах не беспокойтесь, спите до утра. Я на ночь собаку по проволоке спускаю, до возов не достанет, а и не подпустит никого. Да и кто полезет? Все свои. Хутор — шестнадцать дворов. Отдыхайте.

Хозяйка постелила мужикам на полу. Легли как были. Уснули сразу.

Ночь прошла спокойно. Хозяин раза два выходил на двор и, вернувшись, успокаивал подымавших головы мужиков.

— Спите, спите. Все тихо. Выходил посмотреть. Утро уж скоро.

Наутро так же выехали в темноте, к вечеру добрались до района. Оттуда дорога пошла много лучше.

На девятый день издали еще показались высоко дымившие трубы — город. Камень и железо морозом прокалились — не притронуться, но, как ни холодно, на улицах людно. Народу много — не деревня. Подняв воротники, ежась, спешили тротуарами люди туда-сюда — дела, видно. Мерзло, железо об железе скрипели на поворотах переполненные трамваи, рассыпая из-под дуг искры. Машины, частые подводы. Воздух с заводской гарью и снег на улицах не то, что в полях, — серый от копоти. Заборы, лоскуты афиш. Дворники с метлами. Свистки. Город, теснота, шум.

Стороной улицы проехали к известной до войны еще квартире. Ни центр, ни окраина. Но до базара неблизко. А улица, где остановились, прямо деревенская: вся из домов частных. Двор, куда въехали, просторный — воза, не теснясь, поставили. Дом на кирпичном фундаменте, крыша железная, от дома по краю двора — навес для быков, лошадей. Ясли сделаны. Во двор этот сколько лет уж заезжали не только из Каврушей, а из многих далеких и близких деревень. Хозяйка дома всю жизнь свою работала для отвода глаз, жила обозами. Две дочери ее, сытые и нарядные, учились в институте. По ним, по хозяйке самой, хоть и без мужа она жила, видно было, что никак не бедствовали они в войну и теперь не шибко бедствуют.

Внутри дом делился на три комнаты, прихожую и кухню. В прихожей, прямо на полу, обычно и спали приезжие, в комнаты их хозяйка не допускала. Если из председателей кто приезжал, тогда только. Кобзев останавливался здесь несколько раз...

После обеда Глухов отправился на базар договариваться на завтра о месте в мясном ряду, справиться о ценах, занять очередь к рубщику и на весовую — весы получить, пошел по указанному хозяйкой адресу к шоферу, чтобы утром перевезти мя-

со на базар; не потянешь через город на санях, да обратно гнать подводы; а время идет. Лучше сразу. Мужики отдыхали, таскали бьют воду с колонки.

Городской базар — пустырь между двух улиц, охваченный со всех сторон дощатым забором. По всему пространству торговые ряды под лесовыми крышками, в стороне, возле забора самого, два низких кирпичных, барачного типа корпуса — мясной и молочный. Два выхода с базара — на северную и южную стороны. Киоски возле ворот с мелочью всякой. Плитки в них для обогрева.

Мясо на базар привезли рано и рано встали за прилавки друг против друга на отведенном вчера месте в мясном ряду. Глухов носился туда-сюда, улаживая дела. Здесь, на базаре, даром ничего не делалось: каждому надо было дать. Дать старшему корпуса, чтобы места за прилавком отвел получше. Не против дверей, откуда тянет постоянно, а в стороне, в затишье. Дать перво-наперво рубщику, умиловить его — он так постарается изрубить туши, костей не увидишь, все на продажу пойдет. А обделишь его, так искромсает мясо — смотреть тошно. Они, рубщики этим только и живут, веками держатся тут — не спихнешь. На весовой опять же, чтобы весы без очереди получить на каждого, не дожидаться. Шоферу, что перевез туши на базар, денег он не берет, — раз мясо вез, мясом и рассчитывайся. Хозяйке — не за спасибо пускает. Она не ходит на базар за мясом, мясо само к ней идет. Тому, сему, другому — голова кругом. Встал и Глухов за прилавок.

А туши эти мясные дважды уж были взвешены в Каврушах еще, и цены базарные Кобзев знал прекрасно, хоть и не был перед этим в городе. Он, Кобзев, вечером, перед отправкой, после того, как нагрузили-увязали розвальни, зазвал Глухова в контору. Передавая список необходимых колхозу товаров, постукал согнутым пальцем в столешницу:

— Смотри, вернешься — за все отчитаешься до рубля.

«Отчитаешься» — хорошо сказать. Еще и торговать не начинали, а уж несколько килограммов уплыло. А как деньги за них восстановишь? Свои рубли-копейки Глухов не собирался вкладывать, с покупателя — один выход. А покупатель пошел, только успевая отвешивать. Изголодался город, выкладывая на прилавки сотни тонн — расхватывают не глядя. А торговать Глухов умел, не первый раз с обозом. Понимал.

В корпусе холодно, двери с обеих сторон ни на минуту не закрываются, входят, выходят, день не продужишь, торгуя. А не шумен вовсе базар — зима. На улице, в рядах, торговли почти никакой. Грузины продают апельсины-мандарины, да кое-где свои мужики клюкву, привезенную из северных районов, связки сушеных грибов — опять, туески берестяные. Да и в корпусе мясном мясом от колхозов только и торговля. В молочном совсем пусто. Стоит баба одна, стынет. Нет молока.

Глухов мужикам задание дал, сколько продать, — на тушах

химическим карандашом вес был проставлен, — и всякий час забирал у них выручку, оставляя по несколько рублей да разменную мелочь. Торговлю не останавливали. Каждого по очереди Глухов отпускал на полчаса поесть, поел — опять становись за весы. До вечера, до темноты самой торгуя, вчистую распродались за два дня, сдали весы, сдали Глухову выручку. На третий, с утра, стали продавать свое — у кого что было. Глухов с лосятиной и салом остался в мясном корпусе, Данила Васюков — подле, тоже килограммов десять было мяса у него припасено. Сорвин с Миловановым ушли в молочный корпус продавать замороженное в кругах молоко, Тимофей с Павлом встали в один из рядов на улице. Павел продавал Евдокиину клюкву, да был у него табак мешочек, стаканов до ста, — будто чуял, когда засеивал свой огород табаком, что в город поедет. У Тимофея неполный мешок семечек подсолнуха. Он постоял-постоял и, чтобы не мерзнуть, продал сразу все спекулянту-перекупщику и ушел по магазинам, гостинцы покупать. Табак у Павла расхватили мужики скоро, не успел оглянуться, клюкву брали с меньшей охотой, бабы покупали ее, за три каких-нибудь часа продал он все, спрятал во внутренний карман деньги, скатал мешки трубкой, сунул под мышку и вышел из-за прилавка. И не через северные ворота базара, как обычно входили и выходили они, шагнул он на выход, а через южные: там, возле выхода самого, торговали с рук барахлом всяким. Может, одежонка какая ребятишкам попадет, Евдокии самой — обносилась. Возле выхода, на тротуаре, около забора, толкалось человек сорок, продавая, прицениваясь, просто так крутились — шпана. Чумазы цыганки зыркали по сторонам, выискивая желающего погадать, пропойцы тряслись с тряпьем в руках. Сброд один.

По утоптанному до осклизлости снегу Павел прошел туда-обратно, приглядываясь. Остановился против женщины с фуфайкой в руках. Фуфайка просторная, самодельной работы, не надетая еще. «На Евдокию как раз будет», — определил Павел.

— На себя шила? — спросил он владелицу. Спекулянтка, чего там! И не ловят их. Ну.

— На себя, — кивнула та, оглядывая Павла. — Да ты кому покупаешь? Бабе что ли, своей? — Была она примерно одного роста с Евдокией и такой же стати. Но полнее.

— Отойдем, — предложил Павел, решив рассмотреть получше подклад — всюду ли положена вата. Отошли несколько шагов от ворот. Павел взял фуфайку за плечи, повернул ее так, этак. Фуфайка нравилась ему, он уже хотел спросить о цене, но не спросил. Прямо возле них, под деревом, на низкой, самодельной, об четыре колеса, тележке сидел безногий инвалид в укороченной до размеров пиджака шинели. На обе культы его были надеты брезентовые чехлы, по брезенту перехлестнут широкий ремень, притягивающий культы к тележке. По обе стороны лежали деревянные колодки с ручками, ими

инвалид отталкивался от мостовой, передвигаясь. Инвалид не хрипел пропито, как случалось слышать Павлу: «Братья-сестры, подайте несчастному калеке, за вас пострадал». Не пел слезливо под гармонию. Сунув глубоко руки в карманы шинели, сгорбясь, сидел он молча, недвижно глядя перед собой в тротуар. Возле него на лежащем на снегу лоскуте валялись несколько медяков. На голове инвалида по самые глаза надвинута была армейская шапка, худое лицо обметано двухнедельной седой щетиной, и, седоватые тоже, нависали над нижней губой усы. Павел взглянул на него вскользь, взглянул еще раз и вздрогнул, попятился к забору. Что-то очень знакомое увиделось ему в облике инвалида. Баба, следившая за покупателем, тоже оглянулась. От ворот ее окликнул кто-то.

— Держи, — передал ей фуфайку Лазарев, а сам отступил еще, за спину инвалида.

— Чего ты? — торговка недоуменно поглядела на Лазарева. — Передумал или как? Что?

— Не пойдет, мама, — Павел старался говорить тише. — Не найду другую если, куплю.

— Так какого же ты черта щупаешь ее битый час! — обозлилась баба. Отошла, ругаясь.

Павел отступил опять, назад и в сторону, к дереву самому, встал за спиной инвалида. Постоял несколько, зашел с другой стороны и сразу понял, что обознался. Выгреб из кармана ватника несколько медяков, потряхнул их на ладони, громко сказал:

— Держи, пехота! — и положил деньги на расправленный лоскут.

— Ай! — очнулся, резко дернул головой инвалид. Голос сиплый, треснутый. Незнакомый. Повернул чуть лицо, глянул прищурясь. И отвернулся сразу. Стал собирать пятаки. А Павел все стоял около. Он уже убедился окончательно, что обманулся. Просто смотрел на калеку. Тоже фронтовик. Может, воевали рядом. Вот судьба...

Инвалид, собрав медяки, спрятал их в карман шинели. Взял колодки и, ловко опираясь ими о тротуар, быстро покатиł краем улицы. Павел тягуче смотрел ему в спину. Оглянулся: возле базарных ворот торговка с фуфайкой. Человек рядом, примерять нацелился. Лазарев развернулся — и туда. Черт, перехватит фуфайку, где вторую такую найдешь? Надо бы сразу купить, а он прицепился к тому, в шинели. Обознался... Разве мог за шесть лет так измениться человек? А похож здорово...

Фуфайку он отвоевал. Да тот мужичонка не шибко-то и хотел купить ее, так, куражился больше, а у самого, поди, ни копейки. Лазарев прямо вырвал фуфайку из рук, отсчитал деньги. Сунул покупку в мешок — ах, какая одежина, вот Евдокии радости! Отошел к стене базарной и тут только опомнился: «Поторговаться бы надо! Фу ты!» Глянул: мужичонка с бабой рядом уходят, разговаривают мирно. Не торопятся.

«Черт, обжегорили они меня, — сообразил Павел, знал он

такую торговлю. Вдвоем. — Цены полторы содрали. Надо бы походить предварительно: порасспрашивать. Почему они, фуфайки? Да разве дознаешься? Они все тут в сговоре давно. Ну, что ж теперь... В другой раз сообразительней буду. Пойду по магазинам...»

Не отходя далеко от базара, купил почти все, что наказывала Евдокия. Остальное, решил, завтра. Устал, замерз, захотел есть. Нога побаливала. Да и темно уже. Разыскивая трамвайную остановку, Павел опять вышел к базару. На ворота базарные уже навесили замки, барахольщики разошлись. Остановка была рядом. Зазябший Лазарев в переулке зашел в какую-то забегаловку, где продавали на разлив водку и собирался околобазарный люд. Столовая, буфет — не поймешь, шумно, накурено, неопрятно. Не выпуская из рук мешка, Павел пробился к прилавку, взял полстана водки, два пирожка с ливером. Отошел к угловому столику. Выпил половину, стал заедать. Пирожок жаржвал совсем. Никакого ливера в нем не оказалось. За столиком еще двое сидело. Один клевал уже, второй, дергаясь и прибодряясь что-то, в который раз передвигал мелочь по немытой ладони. Не хватало на сто граммов. Павел добавил ему. И на пирожок дал. Разговорились опосля.

— Слушай, — спросил он, — ты на базаре, видно, часто бываешь, знаешь многих, а?

— Всех знаю, — икал тот. — Тебе кого? Перекупщика, что ли? Барахло продаешь? — Он покосился на мешок Лазарева. — Могу свести. Что у тебя там? Да ты не таись...

— Да нет, какое барахло? — Павел старался говорить тише. — Знакомого сегодня встретил, да разминулись как-то, поговорить не успели. Возле ворот под деревом сидел. Инвалид, на коляске. Седой, в шинели. С южной стороны. Не знаешь такого?

— Гришка это, — перебил пьяный. — Гришка безногий. Его все знают. Он и здесь бывает часто. Насобирает на водку — и сюда. На прошлой неделе пили с ним. А ты, если с барахлом, — наклонился сосед по столу, — так не к Гришке тебе надо. Он этим не занимается. Тут баба одна фуфайками торгует, она скупает. Две девки у нее шьют. А она продает. Каждый день здесь. Завтра приходи, сделаем. К воротам...

— Хорошо, — согласился Лазарев. — Обязательно приду. — Допил водку, мешок взял. Ушел.

На квартиру Павел вернулся поздно. Вошел, на кухне Тимофей и Данила-кузнец пили чай с пряниками. Глухов сидел на табуретке возле печи, склонясь, подсчитывал что-то на бумаге. А в углу прихожей, горбясь на полу, плакал, бормотал непонятное Проня Милованов. Тихон Сорвин, опустившись на корточки, успокаивал его. Данила-кузнец, глядя на них, горестно покачивал головой. Тимофей усмехался.

— Ты где это плутаешь? — Тимофей наливал себе шестой стакан чаю. — Мы уж в милицию собирались заявить, случилось, может, что. Или по магазинам шастал? Что купил?

Павел молча раздевался. Мешок с покупками внес с собой, поставил в угол.

— Ты выпил, что ли? — Тимофей шумно прихлебывал чай. — Или в гости попал к кому?

— Выпил, — сознался Павел, проходя на кухню. — Холодно, замерз, пока торговал. До темноты стоял, не берут клюкву. Едва спихнул. Налей-ка мне чайку, Тимофей. У-ух! — Сел возле Данилы, потянулся за стаканом. Нога занемела совсем. Вытянул ее. — Что это он? — спросил, кивая на Проню. Никогда прежде не видел Милованова в слезах.

— Грабанули его, — Тимофей подал Павлу бублики. — Выпил с кем-то, и вышибло. Ревет теперь. Да мы и сами толком ничего не знаем, не отошел еще. Видишь?

Проня Милованов, распродав свой товар, прямо за прилавком снял левый пим и положил в темную глубину его, под ступню, завернутые в тряпицу деньги. Корова у Миловановых доилась хорошо, сена Проня не жалел для нее, жили они малой семьей, и, зная заранее, что пошлют его с обозом в город, всю зиму сэкономили Миловановы молоко, замораживая его в алюминиевых чашках — на продажу. Два мешка кругов молочных привез на базар Проня. Продал, спрятал деньги, оставив в кармане несколько бумажек, вышел с базара. У Тихона товару меньше было, распродался он раньше и не стал дожидаться дружка своего. Поехал сразу на квартиру.

Через дорогу, напротив ворот базарных, киоск торговал водкой, мужики толкались. И Проня подошел сюда. Выпить ему хотелось — в городе все ж, да товар продал выгодно, — но чекушку брать на одного дорого было, на пару если б с кем. Проня потоптался около, отошел в сторонку, опять вернулся. Тут двое парней подошли от базара, одеты чисто, пальто на них новые, шапки теплые, сами веселые, смеются. Пьющих возле киоска немного, остальные — просто так, наблюдатели. Да.

— Что, папаша, замерз? — встали ребята в очередь за Проней. — Возьмем одну на троих, погреемся? — И заговорили опять о своем, забыв совсем о Милованове. Стоят.

— Да у меня, ребятки, и денег-то вот только, — замялся Проня, напоминая о себе. — До доли не хватит, — полез в карман и долго копался там в рублях. Вытащил.

— Добавим. — Те и внимания не обратили на то, сколько он держит в руке. — Давай.

Проня отдал рубли, отошел в хвост очереди. «Хорошие ребята, — подумал он, — сразу в долю взяли. Другие бы не согласились». А тем уже бутылку подавали. Отошли тут же за киоск, выпили поочередно из одного стакана, причем Проне, как старшему, налили полный, он и этому обрадовался. Выпили. Один из парней понес продавцу бутылку и стакан, другой достал плоскую пачку папирос. Спички.

— Закури, папаша, — протянул он Милованову, — небось и не курил таких, а?

— Не курил, верно, — сознался Прокоп. — Хорошо живете, смотрю, ребятки, ей-богу... — Жадный до чужого, он взял длинную душистую папиросу, прикурил от предложенной спички, затаился раз-другой и одурманил себя. Вспомнил потом, будто положил парень пачку ту в карман, а сам закурил из другой. Или показалось ему? Вроде шли они опосля втроем от киоска куда-то, долго шли. Выпить еще собирались. Проня оставшиеся деньги из кармана доставал, а все не хватало до бутылки.

Очнулся Милованов возле склада какого-то, между пустых ящиков. Сидит спиной к стене, валенок, с левой ноги снятый, возле лежит, а нога задубела уж, пальцев не чувствует. Сунул руку в пим — пусто. Обулся, кинулся, припадая на левую, а куда? Кто они такие? Где искать? Даже имен не запомнил. В голове шумит, мутит всего, два раза отбегал к заборам — рвало. Квартиру долго искал. Вернулся, рассказал приятелю своему Тихону. Заплакал. Тихон пожалел его...

Тихон с Прокопом — дружки с давних лет. Всю жизнь прожили рядом, всю жизнь тягались, кто кого пережит. Тихона в деревне за суету, за болтливость Суемой прозвали. А Милованова — Страдальцем. Так и говорили, вон Страдалец идет. Выпросит табаку, сядет с самокруткой под стену, голос на слезе: «Как жить-то будем дальше, мужики? Как жить-то будем, а?» Только и разговору. А жил слава богу. Это перед войной. Ох, жаден был! И на войну они вместе уходили — дружки. До областного вместе, а потом разлучили их. Тихона на фронт, а Проню в трудармию. Ростом, дескать, мал воевать. А ведь ничуть не ниже Тихона был. Тихон всю войну обозником крутился, вернулся без царапины единой и тряпья приволок на удивление всем. А дружок его Проня в трудармии котлованов не рыл и сосен не валил. Устроился на все четыре года начальника возить на пролетке. Опять же рост помог. Жилось ему и в армии, видно, неплохо: каждый месяц раз, а то и два получала семья продуктовые посылки от него. Да и вернулся когда, привез кое-что. Разговору было! Вот тебе и война — кому в сених, а кому в горнице. Повезло...

На другой день Глухов с Данилой-кузнецом, Проней и Тихоном на лошади объезжали магазины, закупая нужные колхозу товары. Тимофей сидел на квартире — болела культя, да и деньги он все уже истратил на гостинцы, а Павел отправился докупать, что наказывала Евдокия, а нет, так что попадет под руки, нужное если. Посмотрит.

Вечером собрались, уложили, увязали все по розвальням и наутро, чуть только рассвело, тронулись в обратный путь. Дорога к этому времени установилась, метелей не было, и морозы заметно спали. Отдохнувшие быки скоро тянули облегченные сани, ехали с утра до ночи — торопились. Сани Павла шли последними, редко сходя с них, просидел он весь путь, прислонясь спиной к головашкам, глядя назад. И всю дорогу, до Кавру-

шей самых, стоял перед глазами город, базар, инвалид тот в шинели. Об Андрее думал. Исчез человек. Если убит, где хоть похоронен? В братской могиле, отдельно ли? В плену погиб? На чужбине где? А если жив?.. Если изуродован войной вот так же, как этот? Сидит где-нибудь, подавание просит? Да нет, не станет просить он. Или испугался вернуться к семье? Обузой быть не захотел? Запил, опустил? Или покончил с собой? Такие случаи знал Павел, когда инвалиды с тяжелым ранением не хотели возвращаться домой. Кончали с собой. Вернее всего, погиб он в бою. А бумаги затерялись где-нибудь. Да... С Андрея мысли Павла перешли на Евдокию, ребятишек. О своей жизни стал думать. Как ему дальше жить, что делать? Без ноги, парнишка на руках. А жить надо...

9

...Вернулся обоз во второй половине марта, морозы за это время ослабли заметно, но холодно еще было, и никак не походило, что весна уже. В Кавруши приехали днем, остановились возле склада, стали разгружать. Глухов все сверил по списку, сдал Яшкину и ушел с Кобзовым в контору отчитываться. Мужики распрягли на скотном дворе быков, разошлись до домов. Павел, держа под мышкой одной руки мешок с покупками, в другой сумку, пошел сразу к Щербаковым. Ребятишки заметили его в окно, выскочили встречать. Павел, увидя их, почувствовал, как зашлось, поднялось к горлу сердце, остановился, но так и не смог сладить с собой: вот так бы, не будь войны, подходить бы он к своему дому, а ребятишки...

И Евдокия вышла.

Павел сдержанно поздоровался, вошел, разделся. Сначала достал из сумки гостинцы: связку сушек, сайки белые, ржаные, покрытые глазурью пряники. Положил на стол перед ребятишками. Потом развязал мешок, стал вынимать покупки — все, что удалось достать из одежды. А Евдокия поесть ему собирала, суп они варили...

Каждую вещь Павел с Евдокией рассматривали сначала, обсуждали, потом примеряли на ребятишек. Евдокия радовалась всему — ничего, что размеры чуть больше, так и надо, ребятишки растут, через год, глядишь, в самый раз будет. И фуфайку, купленную ей, надевала дважды, кусок материи цветастой разглядывала долго, на прочность пробовала и стала тут же планировать: Варьке две кофты на лето, остальное на наволочки, а может, и на занавески хватит. Порадовалась и рублям оставшимся, уложила все в сундук и заторопилась баню топить. Управясь с баней, ушла на ферму, чтобы пораньше освободиться. Радостная впервые за пять этих годов.

Павел, взяв чистое белье — белье купил себе в городе, — пошел париться. Пошел, а Варьку попросил, чтобы протопила

избу его: нахолодало там за поездку. Часа два мылся, грелся, на полке, хлестался веником, пока не обтрепал его до голых прутьев. Хорошо! Ребятишек помыл. Подстриг их перед баней. Потом Евдокия пошла с Варькой. Павел сидел в прибранной избе, ждал их, за печкой смотрел.

А вечером устроили праздник. Пришли Тимофей с Шурой, Татьяна, за день до отъезда из города Тимофей с Павлом в складчину купили у спекулянта солдатскую фляжку спирту, дорогой грелись из нее раза два, немного привезли домой. Спирт разбавили водой, сели за стол и заговорились чуть не до полуночи. И так хорошо было Павлу в этот вечер в первый раз за все время, как вернулся с войны. Все казалось, что не он в гостях, а у него гости. А гости засобирались уходить. И Павел очнулся, встал. Негоже ему было при всех оставаться здесь. Стал одеваться. Но все-таки задержался несколько и вышел после других. И Евдокия вышла проводить. И тут, за дверью избяной, то ли от выпитого осмелела, то ли решила давно, сказала она Павлу:

— Переходил бы ты, Паша, ко мне. Что ж, так и будешь один? Да и мне с ребятишками не легче. Переходи, все одно Минька нас связывает. Ему мать нужна. А старое, как ни жалей-реви, не вернешь. Одному тебе не жить, семью заводить придется. А я уж и так и этак думала... Переходи, Паша. — И затихла, высказав, ожидая, что он скажет-ответит. Гости ушли давно. Ночь. Тихо.

Ничего не сказал ей Павел, молча вышел со двора. А в избе своей, лежа под шинелью на набитом соломой мешке, долго размышлял над сказанным, закуривая не раз. «А если Андрей вернется, что тогда?.. Как в глаза ему смотреть, а? Но и в одиночестве жизни своей не представлял Павел. Как это до конца дней самому? Одному? Долгими дни покажутся. Да с Минькой. Уехать? А куда? Кто ждет их? Минька у Щербаковых уж как свой. Свой совсем. Ничем не выделяет его Евдокия. Матерью ее зовет. Надо вместе нам держаться, куда легче будет. А порознь запурхаемся. Надо переходить. Так вышло. Получилось так. Никто в этом не виноват. Ни Евдокия, ни он, Павел. А вернется Андрей, тогда и разговор будет. Что ж...»

Евдокия тоже не спала в часы те. Как сказала она все Павлу, будто беду какую отвела от себя. Легче стало. Знала: перейти должен он. И, зная твердо об этом, попросила у мужа прощения в последний, раз. В ноги поклонилась ему...

— Прости меня, Андрей, может, ты и вернешься когда, бог знает, только жизни этой одной мне никак не одолеть. Помнить буду тебя всю свою жизнь. Прости. Прости.

Подумала, что бы еще сказать ему, да с тем и уснула. И к радости своей, снов не видела тяжких, не мучилась. Первое, о чем она подумала утром, что ей всего сорок лет. И даже нет еще сорока. В этом месяце исполнится. В марте...

А Павел собрал наутро все, что можно было взять, заколотил

избу и перешел к Щербаковым. Оглянулся по пути на усадьбу свою, усмехнулся невесело совсем...

10

...Последние дни марта стояли ветреные, метельные. А было до этого много теплых дней, таяло хорошо, снег с крыш сбрасывали уже — весна. Под вечер предпоследнего дня потянуло вдруг холодом, подморозило, а в ночь — метель. С вечера как занялась, так до утра и не утихала. Вот ведь. А уж и скворцов ждали...

Среди ночи Сенька проснулся: кашлял дядя Паша. Сенька выпростал голову и долго лежал, открыв в темноту глаза, слушая, как толкается в стены ветер и скрипит, хлопает на ржавых петлях сорванный с крючка ставень. Ему стало страшно — вдруг изба развалится. Старая уже. Или крышу ветром сорвет. Ух ты!

Сенька лежит на полу, угревшись под шинелью. С того дня, как дядя Паша перешел к ним, Сенька с Минькой спят на полу, вдвоем теплее. А Варька на печке. Иногда она пускает их к себе погреться. Когда стужа. Дядя Паша обещал им с Минькой топчан поставить скоро. В углу, возле окна. Можно в окна смотреть...

В эту ночь мать ушла на свинарник — начался опорос, и Минька перебрался к отцу на кровать. Сеньке одному просторно, и не толкается никто. Шинель не тянет.

Дядя Паша опять закашлялся, он кашлял и скреб пальцами грудь, а деревянная кровать скрипела под ним. «Культия у него разболелась, потому и не спит», — понял Сенька. Дня три назад дядя Паша сам сказал:

— Ну, опять культю дергать начало, погода, видно, переменится. Давно она не беспокоила меня, забыл уже. А вот напоминает...

Сенька вылез из-под шинели, вздрагивая, на цыпочках прошел к лохани и, стараясь не шуметь, помочился в нее. Неудобно было ему, не маленький уже, но и выходить в такой буран за дверь совсем нет охоты. Ощупью нашарил ведро на скамье, ковшик, зачерпнул попить. Лыдинка хрустнула на зубах — воду вечером приносили, лед так и не растаял, холодно, выдуло избу. Зазябнув совсем, он пробрался к своей постели и хотел уже лечь, как дядя Паша попросил негромко:

— Сеня, подай, милок, табаку, закурю я. На сундуке лежит кисет. И спички там...

Сенька проворно подал кисет — в нем газетка свернутая, спички, — залез под шинель и свернулся, подтянул ноги к животу. Дядя Паша закурил. Когда он затянулся, лежа на спине, Сеньке видна была коротковолосая голова его, вдавленная в подушку, край подушки и рука, держащая самокрутку. В избе

темно, глухо. «Добрую завернул, надолго хватит, — подумал Сенька. — Надо поговорить с ним, может, и забудет о ноге. Ох, как метет! Как в феврале! А уже таять начало было».

— Весна скоро, — сказал он, повернувшись лицом к кровати, чтобы слышать лучше.

— Весна и есть, — откликнулся дядя Паша. — Март — по календарю весенний. А что метель всколыхнулась, не страшно. Последняя это. День-два подует, и конец. Март...

— Речка разольется, лед пойдет. — Сенька лег поудобнее. — Ты мне мордушку сплетешь, дядь Паш? Я рыбу стану ловить. Поставлю в ручье за кузней, туда чебаки заходят. А как сойдет вода, черемуха зацветет, с удочкой пойду на омута.

— Сплету, как же иначе... Прутьев только надо нарубить, как растает. На острове, между ручьями, помнишь, тальник, прутья там хорошие. Сплету мордушку. Напомнишь.

— Ружье бы нам охотничье. Скоро косачи токовать примутся. Я просил мамку — не отдавай ружья. Не послушала. И припасы все раздала. Зачем? Глухов забрал. Он.

— И ружье купим, сынок, подожди немного, обживемся вот. Все у нас будет. И ружье. Обживемся. — Дядя Паша часто говорил так матери: «Ничего, Дуся, потерпи. Скоро».

По ночам, как перешел он к Щербаковым, они подолгу — слышал Сенька — разговаривали с матерью. Избу дяди Пашины решили разобрать и сделать из нее теплый двор для коровы. Был до войны и у Щербаковых теплый двор. Когда корова пала, испилили его на дрова... Корову собирались мать с дядей Пашей покупать к осени. И осенью же, решено было, Сенька пойдет в школу. Варьке бы тоже надо учиться, да отстала она уже. Сенька стал думать, как пойдут они с Валеркой Харламовым в пятый класс, в другую деревню, и будут там жить зиму в интернате. Он вспомнил, как ходил в школу последний год, и почему-то урок пения. Все заспорили, какую начинать, а Сенька встал и предложил:

«Давайте споем «Когда я уходил в поход».

А учительница не разрешила.

«Рано вам такие песни петь. Давайте другую...»

— Чего она так, дядь Паш?

— Может, и вправду рано вам? Это взрослая песня, солдатская.

— А я, когда вырасту, тоже воевать пойду?

— Ну, зачем воевать? Просто отслужишь — и все. Ты бы спал, Семен, утро скоро. Спи.

Утром Варька убежит в свинарник, к матери, а Сенька с дядей Пашей пойдут в хомутовку сбрую ремонтировать. Сначала растопят печку, и Сенька прогреется возле, а когда станет тепло, сядет рядом с дядей Пашей на такой же низкий, обтянутый брезентом табурет, и тот станет показывать, объяснять Сеньке, как ссучивать нитки для дратвы, как осмаливать их на крепость куском вара, как прокалывать шилом кожу. До самого

сенокоса будет помогать Сенька в хомутовке, а потом копны начнут возить. А осенью — в школу. Снег растает скоро, полянки покажутся...

Уйдут они утром, а белоголовый Минька останется в избе один. И начнет ходить от окна к окну, выглядывать: не идет ли мать? Варька, уходя, наказ ему сделает: того не трогай, этого не бери. А не скажи — он такое натворит-набедокурит...

Сенька накрылся с головой, затих. Он подумал, как холодно и неуютно, должно быть, сейчас в лесу: скрипят, раскачиваются деревья, а зайцы, наверное, спрятались в густой осинник, где не так дует и много еды. Сидят под осинками, едят кору...

Снился ему славный апрельский денек в ручьях и капелях. Прилетели скворцы, и в школе отменили занятия. Сенька прибежал домой, бросил на крыльцо сумку с книжками и полез в огороде возле бани на старую раскидистую березу привязывать скворечник.





А. КОЛБЕРГС

ВДОВА РОМАН
В ЯНВАРЕ

ЯНВАРЬ

В середине декабря стало вдруг таять, за несколько дней поля почернели, канавы наполнились водой, а если где держалась крошащаяся корка льда, то по ней не рискнула бы пробраться и кошка. Грунтовые дороги развезло, ни пройти ни проехать, а шоссейные пугали своим гололедом, потому что ночью ртуть в термометре падала ниже нуля. Последний день старого года диктор телевидения трагическим голосом сообщил, что на большей части территории республики ожидается дождь, и тем самым испортил праздничное настроение, потому что о грозах и слякоти уже наслушались летом и осенью.

Для организаторов лыжного поезда «Ратукалнс» сообщение диктора прозвучало некрологом, потому что деньги в управление железной дороги были уже переведены. Если снега не будет, пропадет надежда выручить хотя бы четверть этой суммы. Кто это тебе поедет за сто километров, чтобы весь день месить холодную грязь, а ночью ворочаться на узких, жестких вагонных полках, и слушать, как моросит дождь по железной крыше?

Гнев на силы небесные начальник лыжного поезда вымещал на подчиненных. Он же им говорил, что билеты надо распространять по физкультурным коллективам, как обычно, а они протестовали. Пусть в кассах продают! На всех желающих все равно не хватит. И вот результат налицо.

Того, что в первые два дня нового года дождя не было, начальник даже не заметил, так что, когда, проснувшись на третий день, увидел за окном порхающие хлопья, он не поверил своим глазам.

Снег!

Он выскочил из постели и подбежал к окну!

Снег!

Он распахнул окно и высунул руку, чтобы поймать порхающую снежинку на ладонь и разглядеть как невиданное сокровище. И помчался в другую комнату — смотреть на барометр. Снег и снег!

Видимо, сыпало всю ночь, потому что и двор весь белый, и крыши, и ветви деревьев, и те обездоленные машины, которым гаражей недостает. Эти выглядели просто как сугробы. Но начальник все еще не был убежден в счастливом исходе дела и тут же заказал разговор с гостиницей в Эргли. Разбуженная дежурная сначала не могла понять, чего от нее хотят, потом решила, что ее разыгрывают, и наконец все же ответила: «Да, снег. И еще какой!»

Это была не единственная квартира, обитатели которой в то утро сорвались с постели, радостно вопя: «Снег!» «Ура!» — кричали всюду, где жил хоть один лыжник. Никогда еще, наверное, столько людей одновременно не стояли у окон и не упивались видом снежного, пушистого одеяла, которое город натянул по самые глаза. Никогда еще столько людей не выволакивали одновременно из чуланов, сараев и с антресолей лыжи, палки и прочие принадлежности, чтобы еще раз их проверить и подогнать. Никогда еще столько мальчишек враз не привязывали к своим санкам веревки. И никогда телефонная линия не была так перегружена разговорами:

— А места еще в автобусе будут? И нас запишите. Три-и-и! Ну, так в субботу, в половине восьмого!..

Упоминались все места в Латвии, где имеется хоть какой-то взгорок, выражали глубочайшую уверенность, что до конца недели все это никак не растает, каждый третий сиял, как медная пуговица, и даже метеорологическое бюро улыбалось, рисуя черный квадратик, что означает, что прогноз не оправдался.

Большой зимний спорт начался. С опозданием, но начался!

В Латвии снег валил с короткими перерывами почти неделю, и пушистый слой снега стал таким толстым, что казалось, декабрьской оттепели и в помине не было.

В Риге уличное движение в это субботнее утро было таким же напряженным, как и в рабочий день. Всюду сновали легкие машины и автобусы, набирали пассажиров и спешили с ними за город, трамваи и троллейбусы усердно подвозили пассажиров к вокзалу. У главной лестницы, ведущей на перрон, где всегда разные компании ожидают своих задержавшихся товарищей, гоготали, толкались, откалывали номера, хвастались и до тех пор выколачивали забнувшими ногами дробь по цветным бетонным плитам, пока не забывали где-нибудь рюкзаки, за которыми потом неслись сломя голову. Здесь гордились слазными ботинками и креплениями самых разных фирм, тут сверкали всеми цветами лыжи из стекловолокна. Гайзиньские матадоры тащили брезентовые чехлы с лыжами, в которых,

можно подумать, упакованы паруса с небольшой яхты вместе с мачтой, и высокомерно демонстрировали модные одежды лыжницы. Глядя на этих матадорш, человек диву давался, сколько толстых свитеров можно поддеть под нейлоновую куртку и все же сохранить женственность.

Билетные автоматы мигали зелеными и красными глазками и высовывали билеты, как мальчишки язык, когда хотят поддразнить дворника или злую тетку. И у билетных касс стояли толпы. Там продавали билеты на организованный лыжный поезд «Ратукалнс».

На стоянке машины у вокзала в это утро, застряв среди десятков других автомобилей, стоял желто-оранжевый пикап. Уже довольно подержанная машина с облупившейся эмблемой на дверце. Только специалист мог установить по этой аббревиатуре, что машина принадлежит некоему строуправлению. Из-за мороза шофер время от времени включал мотор, а вентилятор работал без остановки, иначе моментально запотели бы окна. В машине сидели два человека. Старший — за рулем, младший — рядом.

— А если зря ждем? — проныл младший.

— Предоставь это мне.

— И вообще... Зачем нам трястись в поезде, когда можно на машине?

Старший не посчитал нужным отвечать. Разве втолкуешь этому нытику, что машина довольно приметная и в Эргли ее могут запомнить?

— И обратно быстрее бы добрались...

И это осталось без ответа.

На перроне началась толкотня — подали состав «Ратукалнс». Гулко лязгнули буфера, и звон этот полетел с высокой насыпи над Московским форштадтом, который еще лежал в ночной мгле и огнях.

Проходя к кассам, Гвидо Лиекнис успел поздороваться со множеством народа. Вообще-то он не знал даже, как многих зовут, виделись только в транспорте, выезжая на лыжные прогулки, но ведь часто, из года в год. Наверное, еще с тех времен, когда в лес ездили шестым трамваем и собирались вокруг «Котла» или трамплина. Или позже, когда дошел черед до Сигулды, Эргли и Гайзиня. Тех, кого довелось повстречать в Карпатах или на Кавказе, он знал лучше, потому что все латыши, а в чужом краю лучше держаться вместе, интересы общие, так что нередко знакомство переходило в дружеские отношения.

— Гвидо! Куда двинем?

— Да, пожалуй, на Журавлиную гору. Приедем — увидим, что сейчас можно сказать.

— Километров пять по Кокнесской дороге...

— Это я знаю. Пилатов холм. Хорошее место, только вот спуск один. — И Лиекнис встал в очередь к кассе. — Надоело мне целый день взбираться и спускаться. Сегодня поеду взгля-

путь на родные пенаты, как сказал бы доктор гонорис кауза. Видишь, я даже слаломные не взял.

— Ну, как знаешь! Привет!

За Гвидо встал молодой парень в толстом сером свитере. Один из того двухметрового поколения, что расхаживает ссутулясь, смотрит тусклыми глазами и ужасно флегматично. Много таких Лиекнис брал на работу и всегда потом радовался, что удавалось избавиться, потому что продукты акселерации оказывались на редкость слабосильными и беспомощными. Этот хоть по-старше и явно после армии.

«Определенно схватит воспаление легких, — подумал Гвидо, еще раз оценив толстую, мохнатую пряжу, по которой были насыпаны черные и красные четырехугольные звездочки. — Сначала вспотеет, потом замерзнет как таракан».

У парня был красивый овал лица, светлые усы, которые как будто придавали ему мужественный облик, только неприятно контрастировала нечистая и неровная кожа.

Самое тесное место в мире — эта вагон лыжного поезда за три минуты до отхода. Тех, кому надо пробиться вперед, примерно столько же, как и тех, кому надо назад. Даже взаимная вежливость не может проход расширить. В воздухе так и порхают «разрешите», «пожалуйста», «благодарю», а лыжи, набитые рюкзаки и палки продолжают цепляться за оконные занавески, за дверные ручки, за плафоны, за все, что только можно и о существовании чего доселе никто не подозревал.

Держа в одной руке рюкзак, в другой лыжи, Гвидо Лиекнис боком продвигался вперед. Целеустремленно, как ледокол, которому надо вывести из залива караван. Следом за ним по продолженной дороге довольно легко шла женщина в ярко-желтой куртке.

Гвидо вошел в купе, женщина за ним. Она остановилась в дверях, ожидая, когда Гвидо уложит на верхнюю полку свои лыжи.

— Разрешите и ваши...

— Большое спасибо, — кратко поблагодарила она и подала большую желтую спортивную сумку. Потом чинно уселась подле окна.

Поезд дернулся и медленно пошел.

— Чуть не опоздала! — слегка улыбнулась женщина. — Еще вчера не могла решить, ехать ли, а сегодня такая погода... Побросала в сумку что попало — и на вокзал...

Кто-то сунул голову в открытую дверь, но, видимо, решив, не мешать парочке, прошел дальше.

— Здесь так тепло...

Она стащила куртку и слегка прикрыла дверь, оставив лишь небольшой просвет.

— Если вы не возражаете... Неприятно сидеть, как на улице...

— Ради бога!

— Великолепная погода, может быть, удастся позагорать...

— В январе вроде бы рановато...

Волосы у нее слегка подкрашены, чтобы не были видны редкие седые ниточки. Одежда дорогая, но уже, надо думать, третьего сезона. Нет, явно не из процветающих.

Женщина потянулась к сумке, Гвидо кинулся помочь. Но она отвергла его помощь: и сама может справиться. Из бокового кармана сумки она достала сложенный журнал «Лиесма» и принялась его довольно небрежно листать, время от времени поглядывая в окно.

Поезд уже шел в окрестностях Риги. По обе стороны тянулись огороженные предприятия и фабричные территории, где скорее валяются, чем хранятся всякие металлические конструкции, только из-за снега они уже не выглядели заброшенными и забытыми, как осенью, когда земля сплошная лужа и у заборов сохнут крапива и конский щавель.

Колеса стучали на стыках все чаще, мимо бежал кустарник, который из-за уже наступившего дня не казался черным и огромным.

Гвидо со скрытым интересом приглядывался к женщине, пытаясь определить ее возраст. Двадцать пять — заключил он, хотя и не вполне уверенно. Длинные, почти черные волосы контрастировали с белой кожей, брови широкие, сросшиеся, губы тонкие, фигура удивительно стройная.

Точно уловив его взгляд, она резко оторвалась от цветных иллюстраций, взглянула на Гвидо большими карими глазами и смущенно улыбнулась.

— Меня зовут Илона.

— Гвидо Лиекнис. — Он привстал. — Инженер. — Чопорно поклонился. — Визитные карточки забыл во фраке.

— То, чего вовсе нет, всегда забывают!

— Честное слово! Я же как-никак начальник, у меня целый десяток подчиненных! — насмеялся над собой Гвидо. Он был великолепный специалист, товарищи утверждали, что в области слабых токов равного ему нет, но с повышением отставал, не умея ладить с начальством, да еще считался человеком с большим самомнением. Друзья советовали как-нибудь прийти во время праздников в клуб, где по сему случаю и стол накрыт, и потолковать по-свойски с руководством, которое, надо думать, только этого и ждет, но считает ниже своего достоинства делать первый шаг. Руководство же побаивалось, что из-за довольно низкой зарплаты инженер Лиекнис в конце концов перейдет на другое предприятие, тогда как он по своим знаниям и организаторским способностям как нельзя лучше подходит на место главного инженера, которое вскоре освободится, когда теперешний уйдет на пенсию.

Причина конфликта Лиекниса с администрацией была самая нестоящая. На одном собрании Гвидо бросил в глаза начальнику управления: «Вас, Федор Михайлович, заботит не то, какие мы на самом деле есть, а какими выглядим в отчетах!» Было это не совсем справедливо, это и сам Гвидо понимал, но смелые слова обеспечили ему популярность у широкой аудито-

рии. Сначала говорили, что у инженера сильная рука, если он на такое осмеливается, а потом уже Лиекнис приобрел репутацию страдальца за правду и мученический венец этот нес последние четыре года.

— Я и вам могу дать журнальчик, — предложила Илона, и вновь он на миг увидел ее глаза, которые, надо думать, могли покорить любого.

— Чтобы я променял увлекательный разговор с дамой на журнал?!

— Хорошо, тогда я жду такого разговора! — И она отложила журнал.

— Сию минуту! Дайте сосредоточиться!

В это время кто-то рванул дверь и просунул в купе голову: — Пardon!

— Пожалуйста. Заходите... — крикнул Гвидо и узнал того двухметрового парня со светлыми усами в толстом, усеянном звездами свитере, который стоял за ним в очереди в кассе.

— Где-то тут и мое место должно быть. — И парень взгляделся в билет. — Шестой вагон, двадцать вторая полка!

Он вошел в купе, сел рядом с Илоной и вытянул длинные ноги. От него слегка пахло спиртным.

— А что, матрацы и постельное белье уже раздавали? — спросил он вдруг.

— Еще нет, — сердито ответил Гвидо.

— Вот и хорошо! А то я боялся, что опоздал. Встретился с друзьями и немножко приняли по сему случаю. Барахлишко мое у них осталось... Момент! — Парень сунул руку под свитер, вытащил трешку, совсем новенькую и непомятую, и, держа ее за уголок, как открытку, протянул женщине. — Если это бельишко принесут, заплатите за меня. И постельку можете постелить. Ух, люблю, когда дама постель стелет, да и ей, я же знаю, это дело нравится. Все мы на один лад!

На той стороне бумажки, которая была обращена к соседке Лиекниса, большими буквами было написано: «Выйди в тамбур!»

— Не желаю я заниматься вашей постелью! — резко и раздраженно ответила женщина.

— Ну, сразу и обижаться. — И парень спрятал трехрублевку.

Гвидо не мог решить, как ему вести себя, — все произошло слишком быстро. Помог ему сам парень.

— Ясно! Я вам мешаю, вы меня не любите! Что ж, уйду туда, где меня любят! — Он встал. — Но вечером мне придется вернуться, к сожалению, потому что в снегу спят одни эскимосские собаки! До свидания.

— Плата за матрац и одеяло входит в стоимость билета, — умиротворяюще сказал Гвидо.

— Ура! Значит, я все равно что нашел полдюжины пива! — Он вышел в коридор, но тут же сунул голову обратно в купе: — Сударь, можно вас на пару слов?

Гвидо посмотрел на соседку, снисходительно усмехнулся и встал.

Парень плотно прикрыл за ним дверь.

— Друг, если это твоя девушка, то извини, — озабоченно проговорил он. — Мы тут с друзьями немножко тяпнули...

— Ничего, все в порядке...

Поезд летел через заснеженный лес. Похоже было, что маленькие елочки сами заскочили в этот снег, чтобы спрятаться.

— Нет, друг, ты скажи, чтобы я знал, как действовать.

— Какая разница...

— Если ты ее не кадришь, то я стану кадрить... У нас есть там свои, но эта, я тебе скажу, штучка! Ты что, не видишь, что она едет поразвлечься? Посмотри на правую руку! Кольцо час назад сняла, еще след виден. Если у тебя ничего не выйдет, то уж не знаю... Ну ладно, до вечера!

И, не дожидаясь ответа, пошел в голову состава. В соседнем купе весело пели старый романс об ужасно трагичной, отвергнутой любви, а в конце вагона другую, уже современную песню.

Привстав на цыпочки, женщина рылась в своей желтой сумке. Зажигалку она уже нашла, теперь искала сигареты. Гвидо снял сумку с полки, чтобы ей было удобней. Да, след от кольца есть, парень глазастый.

Узкая рука ее слегка дрожала. Взгляды их вновь встретились, и теперь Гвидо увидел в нем то, что до сих пор не мог разглядеть, — тоскливую покорность неотступно преследуемого человека.

— Выйду покурить...

— Готов вас сопровождать! — весело предложил он.

— Спасибо, не надо! Я одна...

За окном мелькнуло здание Кангарской станции и несколько пассажиров на перроне.

ВДОВА

Когда Маргита вылезла из трамвая, на больших электрических часах над проходной было без десяти семь. От остановки до турникета было недалеко. Незадолго до семи это расстояние было принято преодолевать легкой рысцой в плотной колонне, на бегу отыскивая в карманах или сумочках контрольную карточку. Никому не хочется объясняться с начальником цеха из-за нескольких минут опоздания, поэтому каждый на всякий случай прибавляет шаг и быстро ныряет в крутящуюся дверь, как в колесо водяной мельницы.

Но за проходной, когда автомат уже сделал отметку на контрольной карточке, рвение угасает. Большинство следует дальше уже неспешно, вразвалочку. Только те, у кого конвейер начинает двигаться ровно в семь, несутся как угорелые.

До цеха Маргиты было еще с полкилометра. Первое время она несколько раз заблудилась, разыскивая его в этом городе,

называемом заводом. В городе с почернелыми, неоштукатуренными, давно построенными зданиями, рядом с которыми возвышались совсем новые стены из силикатного кирпича, с большими многостворчатыми окнами и еще не убраным строительным мусором перед дверьми, в городе с прямыми, асфальтированными бульварами, вдоль которых тянулась высокая, только что зацветающая сирень, в городе с узкими, темными переулками, где всегда, если только не устраивается большой субботник, валяется какое-то железо и блестят масляные лужи. Электрокары проезжают там, как моторные лодки, вздымая струи грязной воды.

У литейного цеха два голых до пояса, мускулистых парня перекидывали лопатами формовочную землю. Потные, покрытые черной пылью тела блестели как намащенные. На одном армейские брюки и армейский пояс. Хотя литейный работает по скользящему графику, а это значит, что выходной редко приходится на субботу и воскресенье, что работа трехсменная, так как мартеновская печь никогда не потушается, разве что в ремонт, здесь в людях нехватки не испытывают. Видимо, потому, что есть возможность прилично заработать после совсем краткого обучения. Особенно тянет сюда парней только демобилизовавшихся, которые перед армией не успели овладеть профессией получше.

— Гляди, еще одна малолетка из зверинца, — бросил долговязый парень, заметив Маргиту. Второй тут же подхватил:

— Эй, крошка, чем это ты ночью занималась, что глазки слипаются?

Маргита не нашлась, что ответить, только вызывающе вскинула подбородок и молча прошла мимо нахальных парней. Только уже мелкими шажками, ставя ноги ровно одну перед другой, как это делают в Доме моделей, чтобы выглядеть стройнее и шире раскачиваться в бедрах.

Свернув за угол, она вновь стала думать о сапогах, которые надо купить сейчас, — ведь зимой не достанешь. Ах, если бы у нее хоть одна подружка работала в обувном магазине, проблема была бы решена сама собой. Но ведь нет такой подружки. Тогда она стала перебирать родичей я с горечью вынуждена была признать, что родилась в самой заурядной семье, где единственный человек, у кого есть блат, это дядя Янис, у которого школьный приятель работает грузчиком на деревянном складе, поэтому они обеспечены сухими и хорошими дровами.

В женской раздевалке уже никого не было, да и в мужской, отделенной дощатой стенкой, не слышно, чтобы хлопали шкафчиками. Маргита взглянула на часы и начала медленно переодеваться. Спешить некуда — первый холодильник покинет монтажный участок минут через десять. Только тогда подаст голос Айвар: «Марга, забирай товар!»

Одеваясь, Маргита посмотрела в зеркальце, прикрепленное к дверце шкафа изнутри. И с удовольствием отметила — грудь и талия идеальные. Потом взяла сантиметр — время еще было —

грудь: восемьдесят восемь, талия: шестьдесят три. Любая бы так хотела!

В этот момент с силой распахнулась дверь мужской раздевалки и за перегородкой послышались сердитые голоса. Маргита сразу узнала старшего мастера, но по оборванным фразам сначала не могла понять, кто же другой. И лишь потом догадалась, что мастер разговаривает с заместителем начальника цеха. Оба хлопали дверцами шкафчиков и что-то искали. Значит, опять кто-то на монтажном конвейере не явился на работу, и мастер ищет его инструмент для того, кого поставил на его место. Чтобы добраться до многочисленных винтов и болтиков, размещенных под холодильным агрегатом, обычные отвертки и ключи не подходят — их надо сгибать под определенным углом, подгонять или специально изготавливать самому.

— Надоело! — Это мастер. — Подаю заявление! Детский сад какой-то, а не цех!

— Считай, что это крест, который тебе надо нести...

— А я больше не могу! Не могу я после обеда шарить по всем углам и будить тех, что дрыхнут! Какое мне дело, что они вчера до пяти на танцульках веселились? Будь моя воля, закрыл бы я эти клубы, которые танцы в будний день устраивают!

— И не дадут тебе такой воли.

— Не дадут. Вот потому я и уйду!

— Комитет комсомола не даст согласия.

— А я пошел старшим мастером в комсомольский цех, а не в экспериментальный ансамбль комиссии по делам несовершеннолетних! Пацан может десять дней на работу не являться, а я его даже уволить не могу! Проводите собрания, перевоспитывайте, убеждайте! А сколько можно один и тот же спектакль устраивать? Они же над нами и смеются. Позавчера твою подружку Лидку вытащили на обсуждение: опять ночью задержали в гостинице с каким-то не то марокканцем, не то тунисцем, и опять божится, что это не повторится.

— Ты же знаешь, что Лидку мы держим из-за ее матери. Понять не могу, как у такой порядочной женщины такая оторва выросла. Но ведь работает-то Лидка неплохо.

— Когда на работе. А это не так уж часто бывает!

Нелегкая жизнь у мастера цеха холодильников...

Идея о создании комсомольского цеха возникла еще тогда, когда здание было не совсем готово. Казалось, что появилась возможность создать образцовый цех, который, как белый маяк на морском берегу, будет показывать путь предприятиям других районов и всего города. Там будет чистота и порядок, там будет высокая культура труда и современный интерьер. Словом, все будет так, чтобы даже самый придирчивый иностранец широко раскрыл глаза и восхищенно закивал. Чтобы это был действительно молодежный цех, шефство над кадрами взял комсомольский комитет. Никому из желающих там работать не сулили золотые горы, и все равно набралось полсотни человек. С де-

сятки поглотило конструкторское бюро, еще с десятка административный аппарат, а остальные быстро образовали крепкий и трудолюбивый коллектив. Наверное, потому, что большинство пришло из других цехов, а не прямо с улицы. Три дня в неделю они безропотно копали, бетонировали, рубили и колотили, чтобы скорее сдать здание в эксплуатацию, а в оставшиеся два дня в небольшом помещении совсем в другом конце завода овладевали будущей профессией. Здесь каждый мог набить руку, подгоняя штампованные дверцы, орудия аппаратом точечной сварки, шлифуя, монтируя компрессоры. Старыми и несовершенными средствами в новом цехе каждый месяц делалась дюжина холодильников, но зато они были отделаны как конфетка, и разные начальники отовсюду везли своих гостей полюбоваться на них. Кроме того, газеты разнесли весть, что этот вместительный, подвешенный к стене холодильник стоит всего сто двадцать рублей и рассчитан на маленькую кухню. Судьбой холодильников заинтересовались жители почти всех республик. Вначале производственники ликовали, видя этот интерес к их продукции, но в конце лета призадумались.

Цех медленно набирал скорость, один за другим выстраивались конвейеры и полуавтоматические линии. Для их обслуживания требовалось все больше и больше рабочих. Они вливались в уже сложившийся коллектив и разбавляли золотой фонд старых работников. Стали появляться и те, кто обошел обычный порядок приема на работу, — сынки и дочки влиятельных родителей: один провалился на приемных экзаменах, другой надеется не запачкать здесь руки, все-таки тонкая продукция. Впервые мастер на вопрос, почему вчера не был на работе, получил ответ: ужасно утром спать хотелось. Администрация быстро собрала производственное совещание и решила за каждый неуважительный прогул переводить виновного на месяц в грузчики. Грузчики в заработке проигрывали, работа там тяжелая, и условия, особенно осенью в дождь и зимой в мороз, куда хуже, чем в цехе. В результате сразу же поступили краткие и обоснованные заявления об увольнении, которые мастер и начальник цеха с нескрываемой радостью незамедлительно подписали. Ах, знали бы они, горемычные, что спустя полгода сами будут просить собрание отменить прежнее решение, потому что нарушителей дисциплины у них будет столько, что грузчиками они смогут обеспечить не только свой цех, но и весь завод!

Те же, кто все-таки оставался, через какое-то время становились нормальными ребятами с нормальным чувством долга и радовали своих родителей. О благодарном примере затрубило радио, интервью с самыми примерными организовало телевидение, а уж газеты и подавно не хотели отставать.

— Молодцы, молодцы! — восторженно хлопали холодильщиками по плечу руководители разных фабрик и заводов. — Мы вот так не можем!

И это «мы так не можем» они твердили всюду, а больше все-

го в комиссии по делам несовершеннолетних, которая и им направляла трудновоспитуемых ребят, для которых требуется не только сокращенный рабочий день, но и лучшие условия за счет остальных рабочих. А вместо благодарности — опоздания и прогулы. Да еще приходится краснеть за их хулиганские проделки, за мелкие кражи, за распивание алкогольных напитков в общественных местах, выслушивать бесконечные жалобы рыдающих матерей.

Эти самые «беспомощные» руководители были умные люди, неумеренно прославляя холодильщиков, да еще подводя под их действия теоретическую базу: молодой молодой лучше понимает, лучше воздействует, вместе будут не только на работе, но и веселиться. Где столько орлов-комсомольцев, там и успех обеспечен!

— И как нам самим это в голову не пришло? — удивились в комиссии по делам несовершеннолетних и давай тут же выписывать направления только в холодильный цех. Вскоре там уже каждый шестой был неблагополучный ребенок, уровень дисциплины резко упал, так как оказалось, что не только хорошие могут влиять на плохих, но и наоборот. А когда холодильщикам увеличили производственный план, последовал дефицит деталей, которые надо получать от других цехов, вынужденные простои незамедлительно сказались тоже на дисциплине, а штурмовщина во второй половине месяца тяжелым молотом грохнула по качеству.

«Заказать сапоги в «Элеганте»?» — подумала Маргита, кончив переодеваться. Очередь в этом салоне надо занимать с вечера. Не долгое стояние в очереди пугало ее куда меньше, чем возможная цена заказа. По дороге домой она решила этот вопрос выяснить. А вдруг есть модель, которую может позволить себе девушка с зарплатой в сто рублей?

Еще входя в цех, она увидела, что не опоздала, — Володя только навешивает дверцу у первого холодильника, а Айвара вообще не было. Они выполняли самые последние, самые ответственные монтажные операции. Пока с утра может справиться один, Айвар шныряет по металлообработочным и красивым участкам, прикидывая, будет ли смена обеспечена работой, и если выясняется, что могут быть простои, идет в штамповочный цех, чтобы добром или худом утянуть недостающее число деталей, и сам тащит их малярам. Потом тщательно проверяет груды изоляционных материалов и осматривает ящики холодильных агрегатов. Пройдет вдоль конвейера, взглянет, хватает ли у девчонок мелких деталей, и только когда убедится, что все в порядке, сам становится рядом с Володей и берется за свою прямую работу. А уж если чего недостает, Айвар находит мастера и поднимает такой тарарам, что тот как ошпаренный носится по кладовщикам в поисках нужного. Пускаться с Айваром в объяснения мастер никогда не решается, потому что тот почти политехнический окончил. Время от времени Айвара хотят повысить, уже вроде так возьмут в оборот, что не

выскользнешь, но нет, в последний момент он найдет такой убедительный довод что его на время опять оставят в покое, и он победно заявляет:

— Остаюсь в слесарях! А что еще делать человеку, если у него трое детей?

Благодаря утренним заготовкам, постоянному контролю и способностям людей на любом участке и к любой работе приложить руки этот монтажный конвейер простоев почти не знает. Что-то Айвар с Володей стараются оставить и второй смене. И те пытаются перенять опыт, но ничего у них не получается: нет никого там с таким авторитетом, чтобы мог посылать любого на любой участок помочь, если это в интересах всей бригады. Даже старший мастер не может этого добиться, не говоря уже про мастера. Иногда он упрекает Айвара за его действия, но тот рубит ему в ответ:

— Мы на работу приходим работать. Спать и дома можно, там даже удобнее. Да, мы приходим заработать. А вы зачем сюда приходите?

Заработки в бригаде такие высокие, что нормировщик стонет, с радостью бы срезал расценки наполовину, но ничего не может поделать из-за второй смены — им тогда только гроши достанутся, разбегутся по другим цехам без оглядки.

— Рвачи, кулаче! — ворчит нормировщик, глядя в ведомость. Это он взял ее в бухгалтерии, чтобы показать начальнику цеха. С одной стороны, и начальник в затруднении, а с другой стороны, побольше бы в цехе было таких рвачей.

Когда Володя заметил Маргиту, она уже сидела за своим письменным столиком, заполняя паспорта холодильников.

— Привет!

— Здравствуй, Володя! — чинно ответила Маргита. — Готов?

— Когда будет готов, кликну... Дверца с перекосом...

«Почему именно в «Элеганте»? Есть же мастерские подешевле... Но лучше всего магазин... Ах если бы хоть одну знакомую продавщицу! Даже и не надо, чтобы отложила под прилавок... Просто сказала бы, когда ожидается...»

— Пиджак у этого араба был огненно-красный с блестящими лацканами... Я вообще-то терпеть не могу арабов. Но этот высокой марки, граф какой-нибудь... Представляешь эффект, когда мы в зал вошли? Он в красном пиджаке, волосы черные, цвета вороньего крыла, я блондинка... Он меня ведет под локоть, только самыми кончиками пальцев касается... — слышала Маргита, как Лидка все это рассказывает за спиной. Это ее с другой девчонкой поставили мыть холодильники. Слышно, как они шоркают щетками и как вода плещет на бетонный пол.

— Да ведь ты же рыжая, — возразила девчонка.

— Все равно считаюсь блондинка, — ответила Лидка.

— Марга, забирай товар! — крикнул через плечо Володя и принялся за следующий холодильник. На продолжающем скользить конвейере он повернул холодильник задом. Быстро. Вра-

щающееся основание не успело скрипнуть. Наложил пружину, повернул четыре винта, сунул инструмент в наружный отвесающий карман и повернул холодильник обратно. Он еще покачивался, когда левая рука за спиной нашарила на стеллаже дверку, подняла и почти без помощи правой руки надела на петли. Ни одного лишнего движения. Словно безупречный автомат.

Маргита взяла паспорт холодильника, свою печатку контролера и встала из-за письменного стола.

Работа заняла две-три минуты. Надо было сличить номер компрессора с записанным в паспорт, похлопать крышкой испарителя, внимательно проверить, нет ли у пластмассовой камеры трещинки, как плотно закрывается дверка. Сунула щуп под магнитную резину и пошатала туда и обратно — зазор не должен превышать десятой доли миллиметра.

— Послушай, Марга, — сказал Володя, не прерывая работы. — Мы с Айваром тут подумали... Может, ты хочешь к нам перейти на конвейер? А то боимся, что придется кого-то с улицы брать... Будешь на три-четыре красненьких больше получать. Ты сейчас не говори ничего, ты подумай...

— Угу... — кивнула Маргита. Поставила штамп на холодильнике, шлепнула на паспорт, сунула паспорт в виток капиллярной трубки и пошла обратно к столу. Холодильник проехал мимо нее и исчез в бесшумной камере. Это его следование по конвейеру составляло лишь половину дела: до того, как упакует, должен он еще пройти разные проверки — какой рабочий режим и сколько потребляет энергии.

Лишние сорок рублей в месяц — это соблазнительно, только пугает жуткий рабочий ритм Айвара и Володи. Как с утра встаешь, так и вкалывай весь день до вечера. Рита уходит в декрет, наверное, на ее место.

Это самая грязная операция на монтажном конвейере, так как надо работать клеем и ножовкой. Подгонять куски пенопласта для изоляции. Пенопласт крошится, обломки электризуются и плотно пристаю к одежде, как бумажки к натертому янтарию. Нет, туда не пойдешь работать в ярком, наглаженном атласном халатике. И вообще там, будто в бочке, в том конце конвейера, где все завалено грудями пенопласта и пустыми, только покрашенными корпусами. Туда редко кто и заглядывает. Пока утром подготовишь рабочее место, а вечером все уберешь, вот и полчаса прошло, а здесь, на техконтроле, можно и опоздать чуточку, никакого шума.

Взвешивая все «за» и «против», Маргита продолжала заполнять паспорта. Когда заполняешь сразу несколько, дело движется живее.

Через час устроили пятиминутный перекур, и Айвар с Володи смогли обсудить ближайшие перспективы.

— Маргита не пойдет, — подбил результат Айвар. — Пока не вышла замуж, ей эта тридцатка не больно нужна, мама всегда тарелку супу подаст. А престиж? Если она не будет на контроле, ты ей не будешь медовым голосом щебетать: Марга,

взгляни на этот шкафчик, вроде годится! Марга, ты на эту царяпину не гляди, я сейчас закрашу! Мама ее так воспитала, что работать надо лишь для того, чтобы было что поесть и что надеть. В школе ее учили, что уровень жизни растет год от года, вот она и ждет с мешком. По ней этот цех гори синим пламенем, она и глазом не моргнет — работа всегда найдется, все равно что делать. А для тебя это бы трагедия была. Для всех, кто здесь начинал, трагедия...

— Мне кажется, что ты зря обижаешь ее...

— Не обижаю. И это самое страшное.

Потом Айвар рассказал о предложении поднять дисциплину, которое встретило одобрение начальства. Теперь мастер на заводском автобусе будет в половине восьмого объезжать запаздывающих и отвозить их на завод. Володя полагал, что эта привилегия опаздывающим заставит и остальных рано не вставать и вскоре надобятся два автобуса.

— Судя по всему, на место Риты всучат какую-нибудь телку ленивую, потому что в бригаде у нас только Идка и Ролис, на кого последнее время жаловаться не приходится, — кипятился Айвар. — У остальных уже по пять-шесть таких подарочков.

— Если опоздает — по сусалам! Ленился — по сусалам! В раздевалке. Чтобы никто не видал.

— Макаренко!

— А вот увидишь, поможет! А не поможет — сам запросится в другое место! Я за них не собираюсь крутиться и в заработке терять!

Подержавшись, конвейер вновь двинулся.

ЯНВАРЬ

Лыжный поезд неся без остановок, будто международный экспресс. Певцы в соседнем купе приутихли, собираясь понемногу вылезать, — натягивали джемпера, те, что поленивее, торопились смазать лыжи, складывали провизию, так как обедать положено у костра.

— А вы были на карнавале на Гайзине в прошлом году? — спросил Гвидо.

— Я ведь начинающая лыжница. После долгого перерыва опять осмелилась!

— Ага, тогда я могу дать вам ценное указание! Сначала насчит маршрут...

— Отпадает! — В ее удивительных карих глазах запрыгали чертики. — Маршрут мне уже известен. Я здесь в Эргли летом снимаю комнату. Не в самом городе, а километрах в пяти. Божественное место. Река, солнце, холмы, ни одного соседа, парное молоко сколько душе угодно!

— Понятно, корову с собой из Риги возите.

— Еще чего! — Незамысловатую остроту она все же не пропустила мимо ушей. — Корова у бабули, которая мне комнату сдает. Трогательное, симпатичнейшее существо.

— О, вы хотите просто обречь меня. И я останусь, как теперь принято говорить, в одиночестве вдвоем с этим изумительно тактичным усачом. Надеюсь, правда, что постель меня стелить он не заставит.

Довольно давно они уже балансировали на грани, за которой начинается флирт. Гвидо вначале с той легкостью, которую порождает само присутствие красивой женщины, она же — с целенаправленностью, чуть ощутимой в интонации замужней женщины, для которой семейная жизнь стала обузой и которая хотя бы на несколько дней хочет чувствовать себя свободной. Тогда даже самый неуклюжий комплимент достигает цели, тогда просыпается легкомыслие девчонки-подростка, смешанное с опаской преступить грань дозволенного.

«А ведь я ей нравлюсь», — самодовольно подумал Гвидо и продолжал невинную игру.

— Я тоже люблю парное молочко...

Илона сделала серьезное лицо, долго молчала, потом вдруг спросила:

— Вы женаты?

— Нет.

— Тогда послушайте моего совета — не женитесь!

Инженеру Лиекнису было тридцать лет, но он уже успел приобрести комплекс холостяка. Ему казалось, что все знакомые женщины только и думают, как бы накинуть ему на голову брачную узду. Холостяки отнюдь не враги прекрасного пола, но они всегда настороже, как мустанги в диких прериях, где их часто преследуют ковбои с лассо наготове. Любовные романы их коротки, и в них никогда нет безумства, которое придает им неповторимую красоту. Они боятся подпустить к себе любовь, поскольку живут в уверенности, что от этого незамедлительно возникают алименты с судебными издержками. Они ищут женщин без претензий и без иллюзий, а потом сами дивятся, что в отношениях чего-то недостает. И хотя не ждут от брака ничего хорошего, позже все-таки женятся, так как иначе мужчине обзавестись детьми невозможно. И рассказывают, что они становятся самыми идеальными мужьями и заботливыми отцами, которые с работы всегда приходят вовремя, надевают в передней теплые шлепанцы и в ожидании ужина прочитывают по меньшей мере три газеты. И если потом, уже в зрелые годы, допускают кое-какие похождения — исключительно редкие и исключительно малозначащие — то потому лишь, чтобы самому себе доказать, что ты еще способен покорять. В действительности же их призвание самая пуританская семейная жизнь, и проходит довольно порядочное время, пока они сами это осознают.

Слова Илоны подсказали Лиекнису, что он рассматривается как возможный дерзкий покоритель, и это ему польстило.

«Жаль мне тебя, незнакомый друг, — с деланным сочувствием обратился он про себя к мужу Илоны. — Не отпуская в

другой раз такую красивую жену одну! Ей может повстречаться привлекательный и одаренный инженер Гвидо Лиекнис».

Этикет надо соблюдать... Гвидо пообещал помочь Илоне освоить основы лыжного дела, развести костер, вырезать вертела и правильно пожарить охотничьи колбаски. Он пообещал ей изумительный день, изумительный вечер и изумительное утро. Он выразил единственное сожаление, что на ночь придется возвращаться в лыжный поезд и оставить Илону одну в ее пустынном домике. А может быть, у бабушки-старушки найдется еще матрац, на котором можно будет переспать? Он бы ей с готовностью заплатил. К тому же в рюкзаке у него есть бутылка приличного коньяка и шоколад. Может быть, удастся этим смягчить суровое сердце бабушки-старушки?

— Я думаю, да, — смущенно ответила Илона. — Места там много...

— Ну, все же...

— Ну, скажем, что вы мой двоюродный брат.

— Хорошая идея!

— Она вообще понимающий человек.

— Это звучит многообещающе.

— А я, может быть, и сказала это многообещающе...

— Вы просто прелесть...

— А вы кажетесь мне очень милым и отзывчивым.

Станционное здание и перрон в Эргли, на которые подобное нашествие гуннов обрушивается только зимой, ходуном ходили от грохота лыж, криков, гула подъехавших машин, летающих снежков, наставлений, как укреплять рюкзаки, лая растерявшихся собачонок, спящих в самой гуще в поисках хозяев.

— Как дети малые! — добродушно сказала бабуся, стоящая неподалеку у продуктовой лавки и с интересом разглядывающая это столпотворение.

Толпа покатилась к центру города, так как возвышенности находились в той стороне.

Только два человека пересекли рельсы: мужчина с рюкзаком за спиной и желтой сумкой в руке и женщина в куртке такого же цвета с лыжами за плечами.

Свернув подле леса на дорогу, ведущую вокруг Ратукална, они надели лыжи и неторопливо направились дальше. Дорога была накатанная машинами, так что лыжи у женщины то и дело разъезжались.

— Ничего, — успокаивал ее мужчина. — Вот выберемся на снег, я пойду первый, и дело наладится! Чемпионкой ты явно не была.

— Я художественной гимнастикой занималась. Честное слово! Где-то здесь должна быть просека и поворот налево. По ней мы выйдем к озеру. А ты не боишься идти через озеро?

— Боюсь, но не покажу этого!

— Так и поступай! Ага, вот и просека! Когда подойдем к озеру, на другой стороне, на холме, будет обзорная вышка, надо держать на нее. Первым пойдешь?

— Это единственная возможность утонуть на твоих глазах со словами: «Навеки твой!»

После большой оттепели лед не мог быть толстым, и он старался держаться подальше от прорубей. Рыболовы отмечали их сосновыми и еловыми ветками, чтобы найти даже в метель. А может, это вовсе и не тот долбил, кто на мормышку ловит, а браконьер, что на щук снасть поставил и вечером придет за уловом.

На левом берегу Гвидо увидел большой дом, выложенный из отесанных валунов, а у деревянной вышки на ослепительном снежном фоне кучу черных муравьев, которые то появлялись, то исчезали за склоном.

— Нас опередили, — сказал Гвидо. — Там уже катаются.

Он остановился и посмотрел назад. Хотя и старался идти медленно, Илона далеко отстала. Лыжи плохо слушались, покрасневшее лицо сделалось еще красивее, распахнутая куртка невольно подставляла взгляду грудь, которая так и ходила под тоненьким джемпером.

«Обалдеть от такой можно», — подумал Гвидо и отвернулся.

— Дальше куда? — спросил он.

— На гору и подниматься не надо... По кромке...

На склоне лыжи глубоко уходили в снег, иногда даже заскакивали под него.

«Если старушка в ночлеге откажет, придется обоим возвращаться в Эргли и устраиваться в гостинице. Не может быть, чтобы за деньги этого нельзя добиться!»

Они пересекли большую дорогу, прорытую в снегу бульдозером. Запорошенные снежком склоны казались высеченными в мраморе.

— Теперь держите вон на тот большой дуб, а там уже и речка недалеко. — Они все еще путали «ты» и «вы».

«Ну и глушь, — подумал Гвидо. — Уже ни одного дома не выдать».

И в этот момент он рассмотрел вдалеке Огре, берега которой были отмечены вереницей ив и толстыми льдинами. В излучинах течение нагромодило льдины одна на другую, и теперь под полуденным солнцем лед на изломах сверкал и переливался.

— Колоссально! — восхищенно выдохнул Гвидо.

— Через реку надо, — сказала Илона. — Дом на той стороне.

— Ступай первая...

— Я боюсь.

— Тогда поцелуй на прощанье! — И он боком подался к ней.

Поцеловать она не поцеловала, но прижалась к подставленной щеке и на миг так и застыла. Мягкие волосы пощекотали шею.

— Все. Иди... — шепнула Илона.

Он оттолкнулся и метнулся вниз, подняв облако снега, сверкнувшее на солнце. В прикосновении этой женщины было столько сдержанной нежности и ласки, что это его испугало. Ему и

хотелось бы, чтобы усатый парень в сером свитере оказался прав, что Илона всего лишь искательница приключений на одну ночь, и уже не очень верилось в это. Все говорило о том, что случайная встреча может окончиться совсем не так, как планировалось. Положение было для него чужим, незнакомым, хотя теоретически он предвидел, что когда-нибудь это случится...

Спуск был довольно пологий, но Илона все равно побоялась съезжать и «лесенкой» спустилась до половины.

Они встали на берегу, глядя на течение, мчащееся между обледенелыми камнями, уходящее под ледяной навес, украшенный прозрачными сосульками, и так же бурно вырывающееся дальше наружу.

У человека, знающего Огре, ледяные завалы на берегах удивления не вызывают, они говорят лишь о том, что во время первых сильных осенних холодов уровень реки был довольно высоким, потом резко упал, между льдом и водой образовалось свободное пространство. Великолепный ледяной мост какое-то время может выдерживать свой вес, но первый же снег непременно его проломит.

Справа, слева и перед ними простирался маленький сказочный мир. Он обхватил рукой женщину за плечи и привлек к себе, чувствуя податливость ее тела.

— Ты замужем?

— Не надо об этом, пожалуйста...

Но в висках у нее пульсировала кровь, и она с ужасом твердила про себя: «Что я делаю! Что я делаю!»

Может быть, она даже повернула бы назад в Эргли, если бы Гвидо не пошел по берегу, разыскивая тихое место или такое, где бы лед образовывал плотину.

— Гляньте, выдра здесь ширырляла. — И Гвидо указал на частые перепончатые следы. — Шкурка не меньше трех сотен стоит.

— Да, да, — засмеялась Илона и закивала. Упоминание о деньгах тут же прогнало слабость — мир снова стал реальным.

Где-то за лесом слышались какие-то удары. Удивительно резко доносились они поверх верхушек елей, и Гвидо подумал: где-то приколачивают или вбивают колья. Везде бывают недоумки, не сообразившие вогнать колья осенью, и не могут подождать, пока солнце прогреет землю: ведь тогда работа пойдет в два раза легче.

У следующего изгиба, зубчатого, как спина голубовато-белого крокодила, над потоком нависал ледяной завал. Мороз спаял льдины, словно цементом, но сильное течение стесывало лед снизу. В просветах, где лед был потоньше, даже просвечивали камешки на дне.

Гвидо снял лыжи и пошел первым. Шел внимательно, каждую следующую глыбу шевеля носком ботинка, потом наваливался всем телом, в любой момент готовый прыгнуть назад. И лишь после этой обстоятельной проверки становился обеими ногами и начинал проверять дальнейший путь.

— Илона! — наконец крикнул он с того берега. — Только не вздумайте шагать в сторону, идите прямо по моим следам...

С нескрываемым удовольствием следил он за ее грациозными движениями, наконец протянул руки навстречу и рывком вытащил ее наверх, на надежный берег. И вдруг она очутилась слишком близко. Лица были близко, глаза близко, губы близко. Слишком близко...

Поцелуй был долгий и жадный. Жадный — именно так подумал Гвидо, еле переводя дух. Ничего в этом поцелуе уже не было от прежнего невинного прикосновения, одна прямая, может быть, даже подчеркнутая страсть.

— А она поверит, что я твой кузен? — деловито спросил Гвидо, все еще держа Илону в объятиях.

— Поверит. Я летом ей раза два говорила, что может брат появиться, только он не приезжал.

— Такой же кузен, как я?

— Нет, настоящий. Ну, поехали!

Он подумал, что приличия ради надо бы ее еще раз поцеловать, но потом решил — не стоит себя зря возбуждать. Гвидо помог Илоне надеть крепления, чтобы она не снимала перчатки и не морозила руки.

Продравшись сквозь ивняк, в этом месте редкий, как дворницкая метла, они вышли на узкую лесную тропинку у подножия холма. По ней в эту зиму еще явно не ходили.

— Налево, — сказала Илона.

Идти было тяжело, так как то и дело приходилось поднимать согнувшиеся от снега березки, черемуху или ольху, которые преграждали путь. Дальше, круто свернув, дорожка пошла вверх.

Часа два они уже в дороге. Гвидо почувствовал усталость и легкое раздражение. Не радовали даже остроты Илоны, казавшиеся вначале такими веселыми. Долгое время по обе стороны тянулись тощие, голенастые елки с хвойными венчиками на самой верхушке, потом пошли и старые, могучие деревья, а за ними без всякого перехода лес оборвался. Гвидо от изумления остолбенел. Перед ним самая настоящая пастель художника Волдемара Ирбе, которых он наверняка написал сотни, потому что в отличие от великолепных жанровых картин с базарными, церковными и кабацкими сценами, заинтересовавших даже Дрезденскую галерею, зимние видочки были его коммерческой продукцией. Массовый тираж, к тому же полное соответствие стандартным вкусам своего времени. Красивенькие, сладенькие, элечичные, они и по сей день еще могут до слез трогать неприязнательные души.

В лесной излучине лежал лужок — наверняка там не только луг, но и парочка обработанных участков тощей земли, но сейчас, зимой, пространство эго казалось нетронутой целиной, которую укрывал от ветров полукруглый холм, поросший большими елями. Основание подковы было круто срезано — видимо, там был обрывистый берег реки.

На взгорке, почти на самой опушке, стоял домик с заваленной снегом крышей и, разумеется, с дымящейся трубой. Дым был белый и поднимался к небу почти вертикально. Еще виделся край хозяйственных строений и несколько каких-то кустов, выглядящих просто пучками сохлых веток.

— Идеальная картинка для рождественской открытки! — присвистнул Гвидо.

— Вот и пришли.

Спуск кончался у самого крыльца.

— Неси туда вещи, а я сейчас, — сказала Илона и повернула к хозяйственным постройкам.

— Ничего, я подожду...

— Иди, так будет лучше. — Она заговорщически подмигнула и исчезла за углом.

Гвидо оббил снег, поставил в сених лыжи и постучал. Сначала тихо, потом посильнее, но, не дождавшись отклика, распахнул дверь. «То ли старушка плоховато слышит, то ли где-то в глубине дома», — решил он.

Света от крохотного окошка в кухне было мало. После солнца и слепящего снега он в первый момент мог разглядеть только плиту, в которой весело трещал огонь.

— Закройте дверь и входите, — спокойно произнес мужской голос.

— Здравствуйте, — растерянно пробормотал Гвидо, прикрыл дверь и попытался разглядеть этого человека. Ведь Илона же не сказала, что, кроме старушки, есть еще и дядюшка.

— Снимите рюкзак... Присаживайтесь... Располагайтесь как дома...

Глаза быстро привыкли к сумраку. В конце стола, привалась спиной к покосившемуся шкафу, сидел невысокий человек, лицо у которого было напряжено, как стальная пружина.

— Я двоюродный брат Илоны, — сказал Гвидо, снимая рюкзак.

Человек понимающе кивнул. Лиекнису не понравилось его напряженное лицо.

— Илона... Мы вот решили...

— Да садитесь вы! — прикрикнул человек так, что мурашки пробежали по спине.

Гвидо машинально оглянулся. Подле двери, вытянув длинные ноги, сидел сосед по купе в сером свитере. У Лиекниса зарябило в глазах от этих черных и красных звездочек, от злости сами собой сжались кулаки, когда он увидел это усмехающееся лицо.

— Только без фокусов, а то буду вынужден стрелять! — предупредил парень.

И Гвидо увидел у него на коленях пистолет. Вернее, что-то среднее между револьвером и пистолетом. Смертоубийственное это орудие наверняка заинтересовало бы специалиста-оружейника необычной конструкцией. Это был четырехзарядный бескурковый пистолет Бера с двумя стволами, один под другим. Сбоку

он напоминал «бульдог», которыми полны витрины музеев революции, только этот был совсем плоский, без курка и без скобы вокруг спускового крючка. Когда сделаны два выстрела, в середине пистолета поворачивается патронник в виде спичечного коробка, вместо пустых гильз против стволов оказываются новые патроны и можно выстрелить еще два раза. В начале века этот пистолет из-за его плоской формы рекомендовали носить в кармане для самозащиты. Калибр девять миллиметров делал это оружие довольно угрожающим, а поцарапанная, ободранная деревянная ручка даже отпугивающим.

Скорее ошеломленный, чем испуганный, Гвидо продолжал тащиться на архаическое оружие, которое, как старый преданный палач, ждало только кивка, чтобы привычно взяться за свое дело.

— У жизни есть один недостаток — слишком короткая, — произнес человек с напряженным лицом, сидящий у шкафа. И заключил с усмешкой: — И какой смысл самому ее сокращать, а?

— Что вам надо? — воскликнул Гвидо, готовый к драке.

— Давай потише, а то трудно слова разбирать...

Гвидо был не трус, но он все еще не мог поверить, что Илона заманила его в ловушку, хотя об этом явно говорило присутствие парня. Во всяком случае, он обязан предупредить женщину. Мозг моментально оценил ситуацию — оба сидят, пистолет на коленях. Если табуреткой хватить парня, то другого можно двинуть столом и свалить или заполучить тем временем оружие. Гвидо нагнулся, делая вид, что собирается сесть, взялся за табурет, но не смог оторвать его от пола.

— Мы его немножко приколотили, чтобы соблазна не было...

Гвидо выглянул в окошко и увидел на солнцепеке Илону. Она стояла, привалясь к стене сарая, и курила.

ВДОВА

Маргита ждала довольно долго, но продавщицы не появлялись. Едва внятные голоса где-то в глубине служебного помещения, распахнутая дверь в торговый зал в углу, покрашенный бронзовой краской щит стеной газеты, к которому прикреплены заметки на клетчатой бумаге, — только это говорило, что корабль не совсем покинут и нельзя считать себя счастливым, нашедшим его и согласно морскому закону получившим на него права.

За широкими и высокими окнами жила Старая Рига, где из-за узеньких тротуаров пешеходы конфликтовали с водителями. Война эта напоминала крестовые походы, так как облаченные в хромированные и лакированные доспехи вельможи были в подавляющем меньшинстве. Опустив боковые стекла, они высовывали голову, рисковали даже нарушить правила, запрещающие

звуковые сигналы, и ругались или молили, чтобы их пропустили, но героическая пехота делала вид, что ничего не слышит.

Время от времени с улицы в магазин входил какой-нибудь потенциальный покупатель, но, скользнув взглядом по тому, что демонстрировали полки и витрины, поворачивал обратно.

Наконец в двери появилась сухопарая девица с длинными начерненными тушью ресницами. Ожидание Маргиты, очевидно, ввело ее в заблуждение, так как она просто не усматривала причины, почему эта особа может здесь стоять.

— Вы кого-нибудь ждете? — вежливо спросила она.

— Мне нужны осенние сапоги.

— Нету. — И девица покачала головой. — Только наши.

— А вы не можете сказать, когда будут? — жалобно спросила Маргита. Это уже был шестой или седьмой магазин сегодня.

— Мы и сами не знаем, — все так же вежливо ответила продавщица.

Хорошо бы дать ей цветочек или плитку шоколада, но как это сделать и не зря ли будет все? Хоть бы немножко знакомая была, тогда другое дело.

Маргита повернула к выходу.

— Подождите немножко, — сказала девица и скользнула мимо стенгазеты в коридор.

Спустя минуту она вернулась с большой белой коробкой и предложила померить за прилавком, чтобы нечаянному посетителю не попались на глаза эти сапоги.

Сапоги были не бог весть что, не суперкласс, на такую жертву продавщица была не способна, но чистенькое и дешевенькое чешское изделие на пластмассовой подошве. Во всяком случае, они превосходили все тайные ожидания Маргиты.

И вдруг просто отчаяние — не нелезает! Малы! Хоть бы на размер больше... У Маргиты даже слезы навернулись на глаза, когда она возвращала коробку.

— Какая жалость!

Но продавщицу уже охватило стремление добиться своего. Другой пары у нее действительно не было, но она подумала, что именно эту удастся обменять на большую у завскладом или у другой продавщицы, и она опять исчезла в коридоре, на сей раз надолго.

Вернулась она с пустыми руками, даже сама от этого чуточку сконфуженная.

— Нет. Другой пары нету.

— А может быть, мы могли бы как-нибудь договориться? — вырвалось у Маргиты.

Она никогда не умела договариваться. И родители ее тоже, к сожалению, ни о чем не могли договориться, и, наверное, поэтому семья все еще ютилась в двух маленьких комнатах в доме, который давно не ремонтировался, так как в перспективе был определен на снос. Многие товарищи отца по работе уже получили новые квартиры, хотя у них условия были куда приличнее. Мать тоже ни о чем не могла договориться и поэтому

вынуждена была после тяжелой работы в красильном цехе выстаивать длинные очереди в рыбном и овощном магазинах. Она не жаловалась, полагая, что и все остальные так же стоят, но у дочери этой твердой уверенности уже не было. Та знала, что есть люди, которые обо всем могут договориться, все раздобыть, и завидовала этому искусству.

— Заскочите в конце июня, — сказала девушка за прилавком.

— Спасибо! Большое, большое спасибо! — И Маргита радостная выбежала из магазина. Ведь не знаешь, что лучше, — то ли сразу получить сапоги, то ли завязать дружбу с продавщицей...

Если не считать времени на пересадку из одного трамвая в другой, от дома Маргиты до центра было не больше часу езды, но в центре она все-таки бывала редко. У окраинной жизни не одни теневые стороны, как обычно полагают, имея в виду отсутствие комфорта и затруднения с сообщением. Окраина вся погружена в жасмин и яблони, и от этого от нее веет каким-то благодушием, которого совершенно нет у заносчивого центра, глотающего чад и дым. В каждом окраинном районе есть свои знаменитости, которых все знают и с которыми все здороваются: свой атаман на танцульках, своя мисс Европа и свой Янка Мадяр, представляющий интересы субъектов с лиловыми носами, что собираются на пустых ящиках за продуктовыми лавками. Кроме того, у каждого окраинного района крайне напряженные отношения со всеми остальными районами. Если кто-то из Милгрависа осмелится проводить после танцев Анну или Жанну в Чиекуркалн, то можете быть уверены, что дома ему придется делать примочки от синяков, а большую часть пути он будет озабочен не тем, позволит ли Анна или Жанна себя поцеловать у калитки, а тем, чтобы не замешкаться на старте и достаточно быстро бежать обратно. Но если милгравец и чиекуркалец встретятся на танцах в Московском районе, они будут героически сражаться бок о бок, как кровные братья, чтобы на другой день вновь сводить счеты друг с другом.

К сожалению, со строительством новых жилых массивов различие между районами исчезает вместе с устойчивыми традициями, так как вновь прибывших с этими местами ничто не связывает, кроме квадратных метров.

Украину, где жила Маргита, еще не оккупировали законченные крупнопанельные дома с обломанными, чахлыми липками во дворах, и даже незаконченных, возле которых торчали бы хоботы кранов, нигде не было видно. Здесь мальчишки лазали за чужими яблоками еще со страхом, здесь кумушки могли обсуждать поведение не только ближних, но и дальних соседей и прикидывать, кто из парней женится на какой девице. Здесь каждой квартире принадлежал хоть один куст смородины и пятток грядок, которые возделывались с необычайным тщанием. Здесь живущие никогда не говорили: поеду в центр. Нет, они говорили: надо в Ригу съездить, а очутившись у Пороховой баш-

ни или возле оперы, крутили головой и даже рот раскрывали от виденного.

Хотя за последние десять лет на окраинах менялось представление об отдаленности от центра — центр стремительными шагами входил в окраины, — старшее поколение это приближение не одобряло. Оно хотело оставаться со своими привычками, с неторопливым образом жизни, а молодое поколение ничего кардинального не могло предпринять, потому что и в квартирном и в материальном отношении зависело от старших. Поэтому молодые — до поры до времени — вынуждены были жить, как угодно старшим, или хотя бы делать вид, что они живут так же.

Очутившись в центре, Маргита, разумеется, не помчалась сломя голову домой. Она прошла по Старой Риге, перешла у Бастионной горки канал. Потом какое-то время позволила нести себя людскому потоку, из которого она выбралась только у строившейся новой гостиницы, посмотрела в витрине «Сакты» на чудесные жакетики и блузки и вновь очутилась в Старой Риге. Был тот приятный час, когда закрывают магазины и у дверей кафе уже скапливаются кучки ожидающих.

В телефонной будке возле гостиницы «Рига» она увидела Лидку. На Лидке было яркое платье, ниспадающее свободными складками, как в модных журналах, и золотистые туфли на высоких каблуках. Яркие накрашенные губы и прическа делали ее просто шикарной. Лидка тоже увидела ее и замахала, чтобы подождала, когда она кончит разговор.

— Вот здорово, что я тебя встретила! — радостно затрещала Лидка. — А я уж четырех девчонок обзвонила, никого дома нет... У, паразитки! Ты на свиданку?

— Нет, сегодня не сговаривалась, — уклончиво ответила Маргита. Зачем Лидке знать, что у нее уже несколько месяцев нет своего парня?

— Ух, Марга, у меня идея — с небоскреба! Ты же меня можешь выручить!

Около пяти Лидке позвонил какой-то незнакомый мужик (но очень тактичный и вежливый!). Номер телефона ему дал (такой-то и такой-то — Лидка его вспомнила, только не могла вспомнить, из какого он города). Хочет передать от того знакомого самый сердечный привет. Сам он в Риге первый раз, по делам службы. И вообще ему немножко скучновато, и он был бы рад, если бы Лидка нашла время поужинать с ним. Когда она явилась, столик был уже накрыт (как положено!), но с этим мальчиком был еще один, товарищ по работе, что ли. И пристали к ней, чтобы она еще какую-нибудь подружку позвала. А кто будет сидеть вечером дома?

— Ну что ты, Марга, как такое в голову придет! Исключительно солидные люди! И с утра на работу, а то опять меня начнут таскать по комиссиям, а муттерша просто посинеет от злости. Вроде как никогда молодая не была! Поболтаем, потанцуем — и по домам!

Домой Маргиту не тянуло. Отец в кухне все строгаёт полки,

которые обещал подарить матери на день рождения и тем самым разрешить проблему вечных завалов в коридоре, братец в сарае «доводит до ума» свой мопед и каждые пять минут трещит им. В проходной комнате сестренка готовит уроки и, грызя карандаш, пристаёт, чтобы ей объяснили, как делать задание, в задней комнате мать из-за слабых глаз совсем уткнулась в швейную машинку, что-то перешивает или обметывает. По телевизору сегодня ничего интересного, а книжки Маргиту никогда не привлекали.

Несколько раз она была в маленьких кафе в центре, но наверняка не в самых лучших. Эти не очень отличались от «забегаловки», что недалеко от их дома, — единственный оазис в довольно обширной пустыне. Днём это просто столовая с самообслуживанием, а вечером кухню отделяют занавеской и приходит оркестр из трех человек. Но столики остаются те же — на ножках из дюралюминиевых трубок и с пластиковой поверхностью.

В ресторане «Рига» наверняка все было по-иному. Здесь определено для каждого посетителя проведенный вечер был праздником.

— Но если мне не понравится, я уйду!

— Делай как знаешь, Марга! Что-нибудь насвистишь — и катись, когда надоест!

Но тут Маргита вспомнила о сапожных деньгах, лежащих в сумочке, и чуть было не отказалась. Потом сдалась на Лидкины уговоры, решив принять меры предосторожности.

Перед тем как войти в ресторанный зал, она проскользнула в туалет, достала из сумочки деньги и сунула за лифчик, потом достала месячный трамвайный билет, подумала и сунула туда же.

Невероятно высокие потолки, колонны и хрустальные люстры, цветные лучи прожекторов, направленные на танцевальную площадку, картины на стенах и витражи в окнах, позолоченные виноградные кисти по верху колонн и в углах. Дюжина официантов во фраках с белоснежными салфетками через руку скользят между столиками, как на роликовых коньках.

Мягкий полумрак и тяжелые бархатные занавеси, ковровая дорожка под ногами. Солистка, энергично манипулирующая шнуром микрофона, чтобы не запутаться, — Маргита несколько раз видела ее по телевидению. Слишком много всего для одного раза — ей захотелось повернуть назад. Маргита удивлялась Лидке, которая, схватив ее за руку, смело тащила за собой сквозь танцующих.

Неожиданно перед ними возник человек с высокомерным лицом. И он был во фраке, но без салфетки. Стоял он так, что проскользнуть мимо него было невозможно.

— Чем могу служить? — как будто и вежливо осведомился он, но по интонации сразу можно было судить: «А вам здесь чего надо?» При этом в уголках губ у него пролегли презритель-

ные складки. Почти не прикоснувшись к Лидке, взгляд его скользнул по одежде Маргиты и по всей ее фигуре.

Презрительные складочки сделались еще глубже. Кровь ударила в лицо Маргите, от стыда она готова была повернуться и бежать куда глаза глядят.

— Ты что, Феликс, уже не узнаешь меня? — вымученно улыбнулась Лидка.

— Потому и спрашиваю, что узнаю.

— Мы вон там, в углу сидим... У меня родственник приехал из Москвы...

Феликс взглянул в указанном направлении, увидел сидящих спиной к залу двух мужчин и, злясь на себя за то, что ему не дано больших прав, сказал:

— Но чтобы я сегодня тебя не слышал и не видел!

— И тебя тоже! — добавил он, взглянув на Маргиту.

— Завзалом, — по пути шепнула Лидка. — Жуткий идиот! Надо было через ту дверь, через гостиницу, а я и не подумала! Увидев приближающихся девушек, мужчины встали и отодвинули кресла, чтобы тем было удобнее садиться.

Маргита была сама не своя. С кем связалась! С Лидкой! Ведь сколько уже о ней всякого слышно было! И вот сидит теперь с двумя стариками! Мальчики нашлись! Мальчиками они были, когда мама по танцам бегала! От стыда снова кровь прилила к ее лицу, она украдкой покосилась на соседние столики, но, к удивлению ее, там никто не усмехался; похоже, что их с Лидкой даже не заметили.

Лидкиному кавалеру было лет за тридцать. Уже довольно полноватый. В нагрудном кармане тесноватого, потертого пиджака торчат несколько ручек, на левом лацкане вузовский ромбик. Между значком и сукном аккуратно вырезанная пластмассовая прокладочка. Он уже был под хмельком, поэтому изображал разбитного и веселого кавалера — вскочил, жестом подозвал официанта, скомандовал: «Шампанского дамам! И музыку! Я плачу!» — и вновь жестом, истинно генеральским жестом, посылающим в бой тысячи солдат, отправил официанта побыстрее выполнять заказ. И только заиграл оркестр, он уже пригласил Лидку танцевать. Та, хихикая, ухватила за его протянутую руку, и они ушли.

— Что я могу вам предложить? — спросил запланированный для Маргиты кавалер. Голос у него был приятный, ненавязчивый.

— Ничего.

— Ешьте, ешьте, детка, в ваши годы о фигуре еще не думают. Может быть, лососины? — И он уже держал продолговатую тарелочку, на которой розовели нежные ломтики, помог положить и подал масло. — Вы, наверное, недалеко живете, если так быстро пришли?

— Да я случайно оказалась. — Лучше уж сразу все поставить на свое место, чтобы потом недоразумений не было. — Мы с Лидкой... с Лидией... вместе работаем.

И она рассказала, что была у знакомой продавщицы, чтобы купить импортные сапожки, но не купила, номер не подошел, что у телефонной будки случайно встретила Лидку и та уговорила ее зайти. Этим она в известной мере объяснила сшитую матерью блузку, швы на которой были далеко не безупречны, и самую простую, магазинную, клетчатую юбку.

— Насчет сапог потом напомните мне, может быть, я смогу помочь, — коротко заметил мужчина, так как уже возвращались Лидка с Валерианом.

Сколько ему может быть лет? Уж наверняка пятьдесят. Волосы на висках с сединой, слегка вьются. Модные очки с толстыми стеклами, здоровые, крепкие зубы. Лицо сухоощавое, с тонкими губами и стройная, гибкая фигура. Так и веет от него стерильной чистотой и аккуратностью, а голос располагает к откровенности. Человек, которому можно довериться. Валериан рядом с ним напоминает потный, измятый, залоснившийся ворот пиджака.

— У вас странное имя, Сэм...

— Вообще-то Самуил, но кто запомнит такое длинное?

— Вы его начальник? — кивнула на Валериана Маргита.

— Нет. Мы сослуживцы.

В незнакомом месте ей бы полагалось помалкивать, постепенно осваиваться, она и сама, входя в зал, считала, что слова не сможет выдать, но Сэм вызывал у нее почти детское любопытство, и она тут же торопилась его удовлетворить. Время от времени она спохватывалась, что слишком глупа, чтобы с таким человеком разговаривать, уходила в себя, но скованность как-то сама собой проходила. По большей части они одни сидели за столом, Валериан с Лидкой возвращались, только чтобы выпить, и тут же опять шли танцевать.

Ярче всего запомнилось Маргите такое событие.

Неизвестно откуда к их столику подошел молодой чернявый южанин и пригласил ее танцевать. У Сэма он разрешения не спросил, а только смотрел ей в лицо своими цыганскими глазами, точно гипнотизируя. Маргита замялась, ожидая, что скажет Сэм, но тот напустил на себя безразличие, и она пошла. Подчеркнуто небрежно, но тщательно одетый кавалер рассыпался в чисто южных комплиментах. Сочтя это уже достижением для себя в таком роскошном зале, проявлением признания, Маргита даже улыбнулась ему. Сэм видел это, тихо встал и пошел перекинуться несколькими словами с завзалом Феликсом.

Когда танец кончился и парень хотел проводить Маргиту на место, появилась Лидка и схватила подружку за руку:

— Пошли со мной!

В туалете она принялась кричать на Маргиту:

— Дура ты ненормальная! Куда ты, дура, лезешь? Ты что думаешь, тебя затем пригласили, чтобы ты с другими ошивалась? Пошевели мозгами!

Потом, переведя дух, продолжала уже спокойнее:

— Говорил, чтобы ты к ним пересаживалась?

— Да.

— Давай лети! Каждой надо хоть раз крылышки обжечь! Сказки твоей бабушки про всякие страсти тьфу по сравнению с той пакостью, которая тебя ожидает! А потом еще обокрадут. Эти самые грязные базарные бабы!

И, хлопнув дверью туалета, Лидка ушла в зал.

Маргита была так ошарашена, что просто не знала, что делать. Лучше всего было бы совсем убраться, но на стуле осталась ее сумочка.

Валериан тем временем расспрашивал Сэма:

— Откуда у вас в Риге столько этих черных навозных мух скопилось?

— Цветами торгуют.

— Папочки выращивают, а сыночки сбывают?

— Государство выращивает, а эти только навар снимают... Этакая мафия, которая умеет всем, кому надо, дать на лапу. Эти ленивые дикари только мелкие агенты. Наверное, уже нет городов, куда бы они не забрались, и сливки собираются густые... Пока межреспубликанская торговля не будет по закону передана в ведение только кооператоров, до тех пор эта саранча будет перемещаться от Владивостока до Мурманска и обратно.

Валериан наполнил рюмки. Чокнулись. На этот раз и Сэм выпил. Наверное, вторую за вечер.

— Ты все еще рассуждаешь, глядя с государственных высот? После всего, что случилось! — удивленно поддел его Валериан.

Сэм молчал. С ним действительно последние годы случилось много чего.

Увидев, что Маргита вновь входит в зал, чернявый тип вскочил и помчался навстречу, хотя их столик находился все равно на пути следования Маргиты. Крепко схватил ее руку выше кисти и силой привлек к себе:

— Познакомься, дорогая! Мой друг профессор и доцент. — Имя промелькнуло мимо ушей, так как она с гневом пыталась высвободить руку. — Художник...

Один из троих за столиком пошел искать стул. В горлышках двух выпитых (из четырех) бутылок шампанского торчали пятидесятирублевые бумажки для всеобщего обозрения. Так они терпеливо сидели, как сидят рыбаки на берегу Салацы, закинув донки и поджидая глупого рыбака.

— Пустите! Мне больно!

— Почему сердиться? Чем я тебе не понравился? Пожалуйста, только один бокал за дружбу! Наливай скорее, профессор и доцент! У нас такой обычай...

— Больно же!

В поисках спасения Маргита огляделась по сторонам. Нет, она среди слепых и глухих. Ей стало страшно.

В этот момент рядом возник завзлом Феликс. Нет, он как будто совсем не видел Маргиту, смотрел мимо или сквозь нее.

— Кто вас впустил? — холодно осведомился он у южан. Те наперебой пустились что-то объяснять ему. Маргита почув-

ствовала, что рука свободна, и тут же убежала. — В таком виде? Здесь не столовка на центральном рынке! — Возражений Феликс не слышал. Короткий взмах официанту: — Подай им счет. И если через пять минут я вас еще увижу здесь, вас увезут. И не на такси и не туда, куда бы вам хотелось. Все!

— А я уж полагал, детка, что ты нашла себе другую компанию, — с улыбкой сказал Сэм, и Маргита не уловила в его словах глубоко скрытой иронии. — Мы уже хотели отнести сумочку в стол находок.

— Я бы выпила, — сказала Маргита.

Сэм налил. Коньяк был темный и пахучий.

— Что скажет ваш друг, когда узнает о сегодняшних похождениях своей возлюбленной?

— А я не обязана отчитываться! — бойко ответила Маргита.

Воспоминание вспыхнуло тут же. Наверное, от коньяка, от всего пережитого сегодня, а может быть, потому, что как раз и не хотелось вспоминать последние три года. Множество мелких эпизодов сплелись в тугой мускул, и вот он расслабился. И каждый обозначился явственно, детально.

...Вот она перед семейным трибуналом. Надо бы заплакать, но слез нет. Но голову повесить надо — это она понимает. Брата с сестрой выгнали во двор, отец тоже с радостью бы дезертировал, но мать приказала ему сидеть.

— Может, ты в положении? — донимает мать.

— Нет.

— Уверена?

Маргита кивает.

— А он сказал своим родителям?

Маргита пожимает своими узенькими плечиками.

— Говори! — кричит мать.

— Не знаю.

— Ведь ему еще отслужить надо! Как ты могла!

А хочет ли мать слышать правду? И может ли она понять, что такое любовь? Или ей приятнее было бы услышать, что парень добился своего силой? Сколько в материном гневе правдивого, а сколько притворного, требуемого окраинной моралью?

— Только еще одиннадцатый класс кончили! Дети еще!

Дальнейшее мама берет на себя. Где-то когда-то происходит разговор с родителями парня. Сам виновник в недосыгаемости — он служит на Украине и каждую неделю присылает Маргите два письма с тоской, поцелуями и клятвами.

— Пойдешь работать к его матери. Так надо. Там ты у нее все время на глазах будешь, а дома я за тобой пригляжу. И никаких танцулек, никаких дней рождения, чтобы разговоров о тебе не было!

Мать парня — бригадир в маленьком картонажном цехе, где изготавливают конверты и коробки для тортов. Она добрая и относится к Маргите как к невестке. Восемь пожилых женщин, Маргита и дяденька, который варит клей. Запахом клея так

пропиталась его одежда, волосы и кожа, что и на другой стороне улицы чувствуется.

Цех в нескольких шагах от дома, хотя Маргита с удовольствием проходила бы десять километров. Ведь такая жизнь больше на тюрьму похожа!

Спустя полтора года поток писем прекратился.

— Женился и остался там жить, — сообщила мать парня. У нее заплаканные глаза, ей жаль Маргиту, она осуждает поступок сына.

Маргита в тот же день написала заявление об уходе и поехала на трамвае к остановке, где есть доска объявлений с предложениями работы.

Только бы отсюда! По возможности на другой конец города, где тебя никто не знает! Вполне достаточно выражений соболезнования со стороны ближних соседей и сочувственных взглядов дальних.

«Ага, она сейчас на мели, — сообразил Сэм. — Если в данный момент у нее ни одного дружка нет, то у меня есть определенные шансы».

— Здесь скучно. Надо было лучше поехать в «Перле», там хотя бы приличная программа варьете, — сказал Сэм.

— Я варьете только в кино видела, — призналась Маргита.

— Как-нибудь сходим... — Сэм долго смотрел на нее, точно оценивая. — Сшей, милочка, такое же платье, как у Лидии. Тебе оно чертовски будет к лицу, ты тут будешь первой дамой.

Маргита прикусила губу, чтобы не всхлипнуть. Такого дорогого платья у нее никогда не будет! Лидка! Нашел, кого в пример ставить!

— Мне домой пора!

— Я тоже собираюсь откланяться.

— А мы еще посидим, нам недалеко, — многозначительно подмигнул Валериан. Лидка ничего не сказала.

— Ну, в каком краю света ты живешь, детка? — спросил на улице Сэм.

— Я на трамвай.

— У меня возле оперы стоит машина.

— Нет, я на трамвай!

«Нет, видимо, у нее все же кто-то есть», — раздраженно подумал Сэм, но это не помешало ему проститься весьма любезно и даже поцеловать ей руку.

«Старый шут!» — усмехнулась про себя Маргита, но все же шла, гордясь собой, даже прогнувшись в спине, потому что руку ей целовали впервые.

На углу они расстались.

— Погодите! — вдруг окликнула она Сэма и, чарующе улыбаясь, пошла обратно. — Я забыла напомнить про сапоги...

— А... Хорошо... Давай деньги, номер я помню...

Маргита помялась, потом отвернулась и ловко вытащила спрятанные деньги.

Сэм засмеялся, но, когда деньги очутились в его ладони, тут же осекся. Кровь просто закипела. Рубли были еще теплые, и воображение само нарисовало упругую девичью грудь, на которой они согрелись.

— Едем... Я подвезу!

— Спасибо, я на трамвае. До свидания. — Она вновь чарующе улыбнулась.

Спустя два дня Лидка принесла на работу коробку с сапогами.

— Сэм передал Валериану — для тебя, — пояснила Лидка. — Им самим спешно в Крым надо было. Фирменные!

Это были сапоги, о которых и мечтать невозможно, — огненно-красные, длинные, из самой настоящей и самой мягкой кожи, элегантные и легкие. Голенища плотные, но хорошо облегают икры и делают ноги стройнее, при ходьбе ни малейшей морщинки, и на правом сапоге болтается маленькая золотая буква М. Если такие сапоги подвесить на вершине ярмарочного столба, уж все рижанки от семнадцати до семидесяти лет постарались бы туда влезть.

Анна, технолог, увидев сапоги, тут же заперлась в своем кабинете, чтобы позвонить матери и выяснить, сколько дома есть денег. Вернувшись, она с плохо сделанным безразличием заявила, что готова дать двести рз, но не больше, хотя, как только ей дали примерить один сапог, тут же накинула еще двадцать.

В раздевалке сапоги щупали, пробовали на зуб, мяли и примеряли. Порой казалось, что вот-вот они исчезнут из поля зрения Маргиты.

Владелица стояла растерянная и счастливая. Было ясно, что женский пол всего цеха будет говорить о ней и ее сапогах не меньше недели. Даже старшего мастера впутали в это дело, так как на подошве был выдавлен только серебряный герб, по которому нельзя было понять, в какой стране изготовлен этот шедевр обувного искусства.

Примерка и разглядывание сапог продолжались бы еще долго, если бы до раздевалки не долетели недоуменные и яростные голоса Володи и Айвара:

— Куда они провалились? Эй, конвейер уже пошел! Конвейер пошел, черти бы вас драли!

Маргита виновато бросила сапоги в большую белую коробку и уже хотела сунуть ее в свой шкафчик, как тут же десяток голосов дружно воскликнул:

— С ума сошла! Хоть пока еще в нашей раздевалке, слава богу, ничего не пропадало, но искушать людей тоже нечего!

Чтобы не сталкиваться с Володей и не выслушивать его, вся кавалькада во главе с Маргитой и белой коробкой промчалась через красивый участок, где на толстых крюках парят, будто агнята в орлиных когтях, некрашенные корпуса холодильников, выползающие из камер обезжиривания, через механический участок, где пощелкивают автоматы точечной сварки и шипят ацетиленовые горелки, вбежала в монтажный и прислушалась. Во-

лодя яростно надрывался возле раздевалки, а Айвара нигде не было видно.

Девушки разбежались по местам и быстро принялись за работу, чтобы наверстать упущенное. Коробку с сапогами хозяйка сунула на шкаф, стоящий подле ее письменного стола, но душа все равно не была спокойна, и вскоре Маргита стащила ее оттуда и положила рядом со стулом.

К счастью, через несколько дней задул восточный ветер с дождями и холодами, окраинные улицы покрылись лужами, прохожие кутались в плащи и все равно дрожали.

Она надела сапоги и прошла в лавочку за хлебом и молоком. Эффекта никакого. Никто даже не заметил, лишь одна-другая из понимающих задержали на них взгляд. И в «забегаловке», куда Маргита затащила подружку выпить чашечку кофе, триумф не состоялся. Здесь был не центр, здесь окраина. Здесь за модную одежду можно скорее заработать насмешку, чем восхищение. Здесь все с головой ушли в свои грядки и неотложные домашние дела, пилили и складывали дрова, чинили крышу, чтобы спокойно встречать осень, убирали и сушили горох или бетонировали подвалы, чтобы ссыпать туда картофель. А кроме того, здесь царил прочно утвердившийся стандарт: темный костюм, белая рубашка и полосатый галстук. Даже молодые не смели полностью отойти от этого стандарта, и, зайдя в магазин, они долго приглядывались к ярким нейлоновым курткам, но в конце концов покупали что-нибудь темное и проверенное. Показаться в модной одежке — это надо ехать в центр, на бульвары.

Прошла неделя, но Сэм о себе не напоминал. Маргита получила зарплату и радовалась, что сможет доплатить, потому что тех семидесяти рублей наверняка не хватило. А больше всего ей хотелось, чтобы Сэм вообще забыл о ее существовании, так как из-за этих сапог она столкнулась с новыми проблемами. Они лихорадочно заставили думать о подходящей одежде — ведь нельзя в таких сапожках ходить в клетчатой полушерстяной мини-юбочке. Она даже побродила по комиссионкам, надеясь найти что-нибудь ношеное, но подходящее, только и там молочных рек не оказалось и принцип политики цен царил, как и везде — хорошие вещи стоили дорого, плохие отдавали почти задаром. Маргита уже готова была пойти на жертву, встать вместо Риты к конвейеру, но спохватилась слишком поздно, когда место было уже занято.

Сэм появился тогда, когда его меньше всего ожидали. Он стоял у проходной и нервничал, потому что времени у него, как обычно, было мало.

— Здравствуй, детка, — приветливо сказал он и взял Маргиту под руку, чтобы проводить до трамвайной остановки. — Сапоги подошли?

— Спасибо... Очень хорошие... Я вам столько хлопот доставила... — Маргита тут же перешла на «вы», чтобы устранить ненужные иллюзии. И интонацией надо было отметить определенную дистанцию, поэтому говорила она холодно, как со слу-

чайным знакомым, к которому испытывает лишь определенное уважение. — А денег хватило? Я не должна доплатить?

Сэм благодушно посмеялся, показав белые зубы.

— Доплатить надо сто двадцать рублей, но не вытаскивай их сейчас же из сумочки, детка, сочтемся... Держи... — И Сэм сунул ей в руку маленький, мягкий сверточек. — Крымский сувенир. Не разворачивай, успеешь дома посмотреть! Между прочим, что ты делаешь в субботу? Мы компанией решили махнуть в Таллин, пообедать. С утра туда, вечером обратно.

«Продам технологу сапоги... Жалко, но другого выхода нет», — решила она про себя.

В сверточке был чудесный шелковый платок. Из Гонконга. Зелено-желтый, именно ее цвета, а в углах китайские фанзы среди мандариновых деревьев.

...В воскресенье утром она проснулась в Эстонии, на плече у Сэма. Большое окно гостиничного номера было приоткрыто, за окном редко когда проезжала машина, в ванной комнате гудела труба. Сэм без очков выглядел мужественнее, она удивилась, что он не кажется ей противным, даже наоборот. Руки его, несмотря на прохладу, не спрятанные под одеяло, покрывали темные, почти черные волосы — Маргита легко провела по ним пальцем. Ну, как бы то ни было, это мужчина, на которого можно опереться, не то что какой-нибудь мальчишка, у которого в голове свищет ветер.

Она все помнила отчетливо.

— Детка, я тебя сделаю королевой! — страстно говорил Сэм.

— Нет, я не могу!

— Но я ведь тоже не могу. Я еще не импотентный старец, которому достаточно выражения отеческих чувств. Видимо, утром нам придется расстаться и больше мы уже никогда не встретимся.

Сэм нажал выключатель ночной лампы — комната погрузилась во тьму.

— Я все понимаю, но я не могу! — тихо подскуливала она, позволяя тем не менее раздевать себя.

...Она не могла забыть сцену перед окошком администратора гостиницы, когда надо было заполнить бланк. Заполнить по паспорту дочери Сэма, которая была на два года старше.

ЯНВАРЬ

Усатый парень у двери от неожиданного смеха, которым разразился Гвидо, так растерялся, что для пущей верности взял в руку пистолет, все время спокойно лежавший у него на коленях.

Тот, что постарше, глубже вобрал голову в ворот спортивной куртки и ничего не сказал, но его пристальный, колющий взгляд стал злым.

Гвидо продолжал корчиться от смеха. При этом он пытался вставить хоть слово. Это был смех от смятения, от неожиданно

сорвавшихся нервов. Подобный хохот обрывается резко, не оставляя чувства приподнятости, которое приносит обычный, повседневный смех.

— Замолчи! Или я развалю тебе башку, как вареную репу! — Тот, что постарше, вскочил, мышцы под желтоватой кожей его лица нервно подергивались. Но он тут же сдержал порыв ярости, хотя злость в глазах осталась.

Гвидо оборвал смех.

Какое-то время они стояли, глядя друг на друга.

В плите трещал огонь. Чугунная поверхность ее в двух местах треснула. Когда из-за перемены ветра тяга менялась, пламя выбивалось наружу.

На солнцепеке за сараем Илона — если только так зовут эту женщину — докурила свою сигарету. Бросила окурочек, протерла лыжи, чтобы освободить их от налипшего снега, оттолкнулась и съехала с довольно пологого взгорка, на котором стоял сарай. Потом опять «лесенкой» поднялась туда и еще раз съехала.

— Если ты, паршивец, еще раз посмеешь хохотать над тем, что я говорю, так это будет последний раз! — сказал сурово человек, сел и вновь привалился к боку шкафа.

— Простите, но... По-моему, то, что вы говорите, вообще невозможно... Разрешите пояснить...

— Валяй!

— Вы сказали, если только я правильно понял, что хотите обчистить фабрику «Опал»... — Гвидо вопросительно смолк, точно ожидая подтверждения или отрицания, но сидящий подле шкафа даже не шелохнулся. — Сделать это невозможно... Я немножко знаком с фабричными условиями... Там дежурит вооруженная охрана с собаками...

— Так вот, инженер Гвидо Лиекнис... Послушайте внимательно, это последнее вам предупреждение. За следующее вранье я прикажу вас бить. — И он продолжал медленно, передразнивая Гвидо: — «Я немножко знаком с фабричными условиями...» Вы с ними очень даже хорошо знакомы, Гвидо Лиекнис! Вы проектировали и устанавливали сигнализацию центрального сейфа!

— Это не меняет дела!

— Для вас не меняет, для нас меняет!

— Абсурд! У сейфа двойная дверь со многими запорами!

— Когда мне понадобится ваш совет, я его спрошу! Сколько времени необходимо, чтобы нарисовать точный план второго этажа?

— По памяти?

— Вы же никакой документации с собой не прихватили, так ведь? — насмешливо сказал человек, подтащил к себе желтую сумку Илоны, раскрыл, достал стопку писчей бумаги, линейку и простую школьную готовальню.

— Сигнализационное устройство вмуровано в стену? — И он подтолкнул бумагу и готовальню к Лиекнису. — Ну, живее за дело! Молодчик, — обратился он к парню со светлыми усами, — покажи господину его кабинет!

Не выпуская пистолета, парень встал и открыл дверь в комнату. Гвидо заметил, что на двери тяжелый, кованый засов.

— Подними лапы, чтобы я мог оцупать, что у тебя в карманах! — скомандовал парень и, зайдя со спины, стал обшаривать Гвидо. — Ремень оставить? — спросил он у старшего.

— Живя у нас, инженер очень хорошо может поддерживать штаны рукой и обходиться без шнурков... Так сколько часов вам понадобится?

— Не знаю... — пробормотал Лиекнис. — Я так никогда не работал.

— Ничего, в следующий раз будет легче, — пошутил старший, в то время как Гвидо расшнуровывал ботинки.

Хотя он и старательно возился с узлами, дело что-то плохо двигалось. «Нервничает», — довольно подумал старший.

Почти полминуты изучал Гвидо положение ног парня, надеясь, что тот встанет так, как ему нужно. Когда наконец парень перенес всю тяжесть тела на левую ногу, Гвидо все же испугался и не рискнул. Да, сейчас он мог бы сломать ему эту ногу и, если бы парень завалился на спину, перепрыгнул бы через него и выскочил за дверь. В самом худшем случае выстрел раздастся, когда он будет уже на пороге. На близком расстоянии и учитывая, что цель движется по прямой, промахнуться почти невозможно. Если первый выстрел только ранит, то следующим прикончат и закопают где-нибудь в зарослях, чтобы до весны не нашли.

И если Лиекнис все же не пошел на риск, то потому лишь, что на успех было слишком мало шансов. Даже если с выстрелом запоздают и он успеет выскочить на двор, застрянет в снегу по колено. Без лыж выбраться отсюда нельзя.

Днем нельзя, а вечером, когда стемнеет? Мозг уже выискивал иные варианты. «Главное — добраться до лесной чащи, где преследователям придется снять лыжи и брести по снегу. Тогда я смогу помчаться куда глаза глядят, а им надо сначала найти мои следы!»

— И как подробно я должен обозначать объекты?

— Ну, по возможности детальнее.

— Тогда хорошо, если к утру управлюсь!

— В принципе времени у нас хватает.

«Нет, так быстро нельзя соглашаться, — подумал Гвидо, — это может вызвать подозрения».

— По-моему, вы все же напрасно надеетесь на успех...

— Не суй нос в наши дела.

— Как знаете... — Гвидо взял чертежные принадлежности и с достоинством прошел в комнату. С нарочитым шумом задвинули за ним засов.

Дом, очевидно, заброшенный, и заброшен недавно, судя по тому, что пол еще не покрыт толстым слоем засохшей грязи, что кирпичи еще не выломаны, лежанка греет и стекла в окнах целые. Такие дома можно сейчас найти в любом уголке Латвии, где из-за мелиорации или из-за гусеничных тракторов наруши-

лись подъездные пути, и потому с отъездом жителей этих хуторов в поселки горожане на них не зарятся, а колхоз все не соберется разобрать на дрова.

Двери между двумя проходными комнатухами нет. Кто-то снял с петель и утащил. Гвидо подумал, что, может быть, эти же самые люди, чтобы лишить его возможности забаррикадироваться в последней комнате. Да ведь нечем — из всей мебели ему оставили один шаткий табурет, который должен выполнять роль письменного стола. Гвидо положил на него чертежные принадлежности и стал ждать, когда глаза привыкнут к сумраку, который здесь был еще гуще, чем в кухне. Окно заколочено. Снаружи забрано толстыми досками, но необструганные края прилегают неплотно, солнечные лучи пробиваются сквозь них и вонзаются в трухлявые, грязные доски пола. В лучах летают миллиарды пылинок, которые подняли тяжелые ботинки Гвидо и ветер, проникающий между бревнами. Почернелый потолок, стены, где болтаются еще обрывки обоев, — все это пропахло дымом и крысами, которые оставили в углах помет и груды изгрызенных обоев.

Время! Надо тянуть время!

Кто-то вышел из кухни на улицу и захрустел по снегу вокруг дома. Подошел к первому окну и постучал по уже приколоченым доскам молотком — проверяет. Теперь Гвидо понял, что за звуки долетали до него на берегу реки. Очевидно, эти люди только-только явились и поспешно принялись устранять возможность выбраться из этих двух комнатухек наружу. И Гвидо Лиекнис сделал для себя открытие — от дома до железной дороги есть куда более прямой путь.

Человек снаружи пошел дальше, обогнул угол и подошел ко второму окну. Again удары молотком, только на сей раз они перемежались с кашлем. Потом что-то застучало уже над окном.

Удары повторились, и Гвидо, тихонько подбравшись к окну, прижался лбом к стеклу. Хотя от щелей между досками его отделяло сантиметров десять и поле зрения было довольно узкое, Гвидо разглядел простую деревенскую приставную лесенку из жердей и одновременно услышал глухой шум над головой — кто-то обходил чердак.

В передней комнате посыпался с потолка песок. Равномерные струйки песка, точно в песочных часах, текли и текли на пол, образуя пирамидки. Песок продолжал сыпаться и тогда, когда человек уже спустился с чердака. В сенях он долго оббивал снег, потом говорил о чем-то в кухне, и Гвидо показалось, что там слышится и женский голос. Это заставило его бессильно скрипнуть зубами.

Болван! Ведь он же в ее глазах всего лишь болван и допущ! Когда во время разговора в кухне он увидел, что она катается с горки, его просто поразило это невинное занятие, потому что оно совершенно не соответствовало содержанию разговора в доме. Тогда ему некогда было думать о ней, так как он смотрел на черные дула пистолета, как-то парализовавшие его и застав-

лявшие думать только в одном направлении. И тем глубже теперь женский голос уязвил его самолюбие, он даже пожалел, что все же не пытался бежать. Если бы даже его подстрелили и милиция так и не нашла бы виновных, светлоусый парень на всю жизнь остался бы колченогим. Отпечаток кольца на пальце Илоны был такой же ширины, как кольцо у парня, но значит ли это, что она его жена? Во всяком случае, если она жена которого-то из них, то уж, конечно, атлетического парня, а не одержимого манией величия типа с тупым лицом, которому он пытается придать значительность.

Присев на лежанку, Гвидо принялся небрежно набрасывать план кладовой. В конце концов, надо же что-то делать, а то распахнется дверь и проверят, чем он занимается.

День клонился к вечеру, мороз крепчал, и в комнате было уже ниже нуля, но от лежанки тянуло теплом, которое сквозь куртку и свитер согревало спину.

Карандаш легко скользил по бумаге, в памяти возникало довольно большое помещение, стены, потолок и пол которого образовывали толстые стальные плиты; под ними был солидный слой асбеста — на случай пожара, а уж под асбестом крепчайший бетон. Чтобы пробить в нем отверстие, подчиненный Гвидо пневматическим молотком, без конца затачивая долото, трудился часа два. Дверь толщиной в стену запирается выдвигающимися из нее тремя стальными засовами диаметром в руку, которыми управляет похожая на небольшой штурвал рукоятка в центре двери. Механизм перемещения засовов несложный — он выполняет только функцию дверной ручки. Сложным является замок, запирающий этот механизм.

Каждое утро в половине девятого особые люди на «Опале», число которых весьма невелико, могут наблюдать впечатляющую картину. Заведующий кладовой, прозванный из-за больших оттопыренных ушей и очков Микки Маусом, направляется к начальнику охраны, и потом оба просовывают головы в кабинет главного бухгалтера. Главбух тут же встает из-за стола и идет с ними. Втроем, обычно не разговаривая, они проходят мимо охраны, которая дежурит у входа на второй этаж, пересекают два коридора и останавливаются у решетки, какая бывает в тюремных камерах. Начальник охраны достает огромный ключ, который все время оттягивал его карман, и вставляет его в замочную скважину. Обычно в этот момент бухгалтер хватается за локоть и спрашивает:

— А сигнализация отключена?

— Да, — отвечает тот, и тут же распахивается толстая решетка, петли которой, как их ни смазывай, все равно ужасно скрипят.

Многие ломали голову, зачем еще решетка перед сверхпрочной дверью кладовой. Что она для взломщиков, если замок там проще простого, — специалист своего дела может открыть его обычной отмычкой. Потом все единодушно пришли к заключению, что решетка не от взломщиков, а от любопытствующих,

которые рады подержаться за штурвальчик и побрякать круглой медной крышкой, прикрывающей замочную скважину, дабы туда не попадали пылинки и песчинки — они могут помешать работе точного механизма. А вдруг такой вот любопытствующий засунет в скважину спичку или ту же песчинку? Последствия могут быть самые грустные — понадобится целый день, пока дверь разберут и вытащат эту пустяковину из всех этих пружин, эксцентриков и зубчаток, отливающих бронзой и нержавеющей сталью. Возможно, что тогда, когда выстраивали этот огромный сейф, любопытных было еще больше, и эта решетка была просто необходима. Судя по медалям, полученным на международных выставках, серебряные отливки с которых были прикреплены к верхней части двери, соорудили сейф в тысяча восемьсот девяностом году. Позднее он только оснащался сигнализационной системой, которую улучшали или заменяли.

Вопрос бухгалтера, отключена ли сигнализация, не праздный. Выключатель находится в помещении охраны, и как-то, несколько месяцев назад, начальник забыл о нем, и чуть не всех троих хватил удар, когда взвыли сирены и залаяли служебные собаки. Охрана в панике дала в воздух предупредительный залп, а по улице уже мчалась сюда патрульная милицмейская машина, так как один из каналов сигнализации ведет прямо в дежурное помещение милицмейского управления.

— Ну ты и лопух! — воскликнул Микки Маус. Ни до того, ни после никто ничего подобного от него слышал.

В нише, в двух метрах от решетки, находится вход в кладовую.

Прежде чем взяться за ключ, бухгалтер с Микки Маусом проверяют, целы ли пломбы, потом открывают — ключ у каждого свой — и крутят круглую рукоятку, чтобы переместить обратно в дверь стальные засовы.

Сам момент открывания необычайно толстой двери у Гвидо всегда ассоциируется с отверзающейся скалой в сказке про Али-Бабу и сорок разбойников.

— Ну, так до вечера, — кивает Микки Маус и входит в свое царство. Двубортный костюм из старомодной полосатой ткани сидит на нем как влитой. Несмотря на очки, в глазах можно увидеть молодые искорки.

Вдоль стен помещения до самого потолка идут стеллажи. На нижних полках лежат серебряные, золотые и платиновые бруски, поскольку они самые тяжелые и чаще всего требуются, по форме напоминающие брикеты прессованного зеленого чая. Повыше мотки серебряной и золотой проволоки, которыми пользуются для пайки. Но все эти овечьные легендами металлы не очень интересуют Микки Мауса. Неравнодушен он к драгоценным камням. О них он может говорить часами с нежностью и любовью.

— Перед войной мне посчастливилось видеть в Британском музее «Девонширский смарагд», — поверял Микки Маус Гвидо тайну, о которой многим не надо знать. — После отречения дон

Педро привез его в Европу и подарил девонширскому герцогу. Его нашли на знаменитых коях Мюзо в Колумбии. У кристалла характерная для изумрудов форма — шестигранная призма с плоским основанием. Он удивительно густого зеленого цвета и весит почти десять унций. Если вам доведется бывать в Англии, непременно сходите на него взглянуть. Лет тридцать назад его вновь видели на выставке ассоциации торговцев ювелирными изделиями в Лондоне, а в пятьдесят пятом показывали в Бирмингемском городском музее.

Хотя Гвидо не разделял его восхищения и старик это, вероятно, улавливал, тем не менее он продолжал рассказывать. Может быть, для того, чтобы еще раз пережить то, что было изведено в молодые годы.

— Да, много я повидал в своей жизни... В Амстердаме мне дали взглянуть на «Тигриный глаз». У этого бриллианта интересная янтарная окраска, и весит он шестьдесят один карат, почти в три раза меньше, чем сам алмаз до отшлифовки. Это самый большой бриллиант, какой я держал в своих руках. Но не самый красивый! Ничего не может быть красивее «Хоупа» — редчайшего бриллианта сапфирного оттенка. Изумительно чистый, великолепной шлифовки, правильных пропорций — не слишком высокий, не слишком широкий. Вы, может быть, не знаете, но бриллианты могут быть самой разной окраски. В короне русского царя, например, был «Павел Первый» божественного рубинового оттенка. В Москве хранится «Орлов», наверное, самый замечательный из всех алмазов, когда-либо найденных в Индии. И «Шах» хранится в Москве, и...

Работа по установлению новой сигнализации в кладовой Микки Мауса затянулась, и Гвидо приходилось проводить там долгие часы, регулируя автоматику. По сравнению с предыдущей моделью в эту внесены были значительные изменения. Даже сам Гвидо постарался. Допуская, что неожиданно прекратится подача электроэнергии — несчастные случаи и аварии возможны везде, — Гвидо сконструировал небольшое устройство, которое в данной ситуации автоматически подключало систему сигнализации и прожекторов к источнику постоянного тока.

У Микки Мауса было много свободного времени и много материала для рассказов. Как только старик начинал ерзать на стуле возле письменного стола, Гвидо был уверен, что сейчас услышит нечто необыкновенное. Обычно ерзанье начиналось сразу же, как только прекращали выдавать мастерам недоконченные кольца и прочие украшения, ночью хранящиеся в кладовой, когда бригадиры получили материал, большой стеклянный колпак был бережно водружен обратно на точные весы, а картотека и конторские книги заперты в письменный стол.

В один день Гвидо узнавал, что такое троянская унция, что вес жемчуга определяется в гранах, в другой — что еще недавно для определения веса бриллиантов не было единого карата, а эквиваленты в Лиссабоне весили больше, чем во Флоренции, а самые тяжелые были в Венеции и Мадрасе.

— Если бы ювелиры пользовались теми же названиями, что и минералоги, порядок в этой области был бы образцовый, но жить было бы неинтересно. Ювелиры все красные камни зовут рубинами, хотя название это следовало бы применять только к красной разновидности корунда. А торговцы хотят торговать, им надо сбыть турмалины и гранаты. И потому они придумали для них другие названия — «Капский рубин», «Аделаидский рубин». И вот дамочки по дешевке могут обзавестись рубинами, хотя на самом деле они всего лишь гранаты. Аметист — это красивый лиловый кварц, но с прибавкой «восточный» это уже лиловый корунд или даже лиловая шпинель. И в то же самое время некоторые ювелиры зовут аметистом и сверкающий сибирский кварц. Изумрудами сначала называли зеленые камни. «Восточный изумруд» — это зеленый корунд, а «уральский изумруд» — самый обычный зеленый гранат. Если вы собираетесь подарить жене драгоценный камень, первым делом избегайте тех, кто пытается навязать вам что-то с эпитетами «восточный», «уральский», «аризонский», «бразильский» — разновидностей сотни. А я ведь вам еще ничего не рассказал об искусственных драгоценных камнях. Там я тоже могу кое-что сообщить! — И следовала лекция по меньшей мере на два академических часа.

Когда Микки Маусу нужно было наглядное пособие, он просто снимал с полки ту или иную коробку, доставал камень и разрешал Гвидо покрутить его в двух пальцах на свет. Некоторые камни были довольно крупные, один даже почти в три карата весом. Старик восхищался им с наивной, почти детской радостью.

Смотри, как играет! Гляди, как искрится! Как сельтерская!

Камни были для него живыми существами со своими биографиями, найдены под счастливой или несчастливой звездой, могли принести владельцу радость или горе. Отцу его принадлежала небольшая ювелирная мастерская. О латышском ювелирном искусстве по серебру он был высокого мнения и мог сослаться на такие же высказывания мировых авторитетов в этой области, но все эти подвески, перстни и броши не могли его увлечь так, как драгоценные камни, и он уехал учиться своему ремеслу в Западную Европу.

Учился и жил Микки Маус во многих столицах, пока не понял, что, к сожалению, ему недостает таланта, и никогда он не войдет в первую тысячу ювелиров своего времени. Это была трагедия, которую он героически пережил и поэтому мог теперь сказать с грустной улыбкой: «Я вроде искусствоведов — знаю много, а сам не могу ничего!»

...Гвидо прислушался. Да, женского голоса в кухне уже не слышно. Он припал ухом к двери, но дверь толстая, из двойных шпунтованных досок.

Пока светло, надо изучить окрестность и продумать маршрут бегства. Ботинки придется держать в руках, а уж когда выберется на дорогу, можно будет надеть. Эргли довольно большой

городок, там есть свой участковый, только как его найти? Первым делом надо в отделение связи. Телеграф, наверное, работает круглые сутки, там будет телефон, и номер инспектора ему скажут...

В другой комнате стекло было укреплено небольшими гвоздиками. Один за другим он расшатывал их, вытаскивал и вновь вставлял в отверстия, чтобы проверяющему — вечером наверняка кто-нибудь из них зайдет — не бросилось в глаза, а в случае надобности гвозди можно за несколько секунд вытащить. И выставить стекло.

Некоторые заржавевшие гвозди не хотели вылезать. Края шляпок были острые и резали пальцы. Выступила кровь. Пошарив в мусоре на полу, Гвидо нашел большую пластмассовую пуговицу от пальто: хоть какое-то орудие.

Вынув стекло и приставив его к стене, он припал к щели между досками. Теперь обзор был гораздо больше, но увидел он немного — в нескольких метрах из снега стеной торчал высохший малинник. Похоже, что растет он на краю оврага, потому что почти на такой же высоте за ним виднеются вершины елей с шишками. Овраг для бегства — это хорошо, потому что туда можно скатиться кубарем, а преследователи на лыжах вряд ли сумеют спуститься за ним. Придется им бежать так, а стало быть, преимущества у них не будет, или придется им бежать на лыжах в обход.

Интересно, что бы они со мною сделали, узнав, что я вынул стекло?

Когда Гвидо вновь сел на лежанку и принялся набрасывать план, кровь закапала сильнее, и он запачкал верхний лист. На всякий случай он сунул его в серединку стопки и продолжал работу...

— Настоящие камни, молодой человек, — говорил Микки Маус, и улыбка полумесяцем освещала его лицо, — овеяны яркими легендами о преступлениях, совершенных ради них. И обагрены кровью! Почти у каждого камня на совести человеческая кровь. «Орлова» какой-то французский солдат выломал из статуи Браммы, где он служил в качестве глаза. «Санси» какой-то мародер взял с трупа Карла Смелого, спустя двести лет его купил Людовик XIV, а в начале французской революции его опять украли. Комендант форта святого Георгия в Мадрасе так боялся, что украдут его «Регента», что от страха его продал. Спустя несколько десятилетий его таки украли, но потом удалось найти. Тогда Наполеон заложил камень, а на эти деньги финансировал несколько походов. Исключительно кровавая история у рубина «Тимура». Внука Тамерлана, прославленного астронома Улугбека, убил его собственный сын. Видите, молодой человек, какие страсти бушуют из-за жалких камешков! Даже среди мужчин! А если бы я рассказал, на какие низости ради камней готовы женщины, вы бы не поверили. Но их можно понять. Если для мужчины драгоценный камень — это только вопрос престижа, то женщина благодаря ему становится краси-

вее. Во всяком случае, так они думают. Все, что я здесь говорил, кажется слишком меркантильным, но тех, кому бриллианты доставляют чисто эстетическое наслаждение, слишком мало. И поэтому порой становится очень грустно...

ВДОВА

Не так давно Сэм занимал высокое общественное положение и соответствующие должности. Но он как будто всегда стоял на краю обрыва и любовался изумительным видом, и вот однажды земля под его ногами обрушилась, и он полетел вниз, пытаясь ухватиться то за один, то за другой куст. И только когда бурлящий поток был уже совсем близко, удалось за что-то зацепиться, и он очутился на толстой зыбкой иве, хотя ноги уже были в воде. Он не считал себя виновным, гневно проклинал окружающих, готов был даже судиться с начальством, может быть, чего-нибудь и добился бы, но этот путь ему был заказан. Вместо того чтобы смириться, он начал всех обвинять, будучи не таким уж безгрешным. Если бы Сэм вовремя спохватился, ему удалось бы запепиться куда выше. Работать Сэм умел — этого не могли отрицать даже его недруги, поэтому друзья какую-то должность со служебной машиной ему предоставили бы.

Человека, который выбросил его из седла, Сэм знал давно. Фактически он был в большом долгу у Сэма, и Сэм рассчитывал на его благодарность, зная потом, что просчитался. В пятидесятых годах они, молодые и образованные парни, работали вместе. Желая прославиться, допустили невероятную ошибку. Фактически из-за трусости Додика — тот в последний момент испугался и этим сорвал все предприятие. То, что Сэм сделал для Додика, во фронтовых условиях может быть приравнено к спасению раненого друга из простреливаемой пулеметами полосы. Сэм, являясь замом, взял все на себя. У него был свой расчет — за эту жертву он потом, когда страсти утихнут, мог рассчитывать на благодарность не только Додика, но и его родителей.

Какое-то время Сэм потоптался в нижнем ярусе, потом опять начал подниматься. Поработали с Додиком в разных отраслях, и прошло несколько лет, прежде чем бывший начальник смог пригласить к себе бывшего зама. У начальника теперь уже был большой светлый кабинет с отдельным столом для заседаний. Заместитель получил кабинет куда меньше, но тоже с секретаршей.

Вскоре люди стали замечать, что приказы из маленького кабинета не совпадают с приказами из большого, причем первые, поскольку они оказывались ближе к подчиненным, выполнялись, а вторые нередко забывались. Двоевластие долго существовать не могло. Додик пытался договориться с Сэмом, но тот держался высокомерно и даже заносчиво: в конце концов, Додик ему обязан спасением, пусть теперь и платит! Так продолжалось

несколько месяцев. С каждым разом Сэм действовал все бесцеремоннее.

Домогающихся благодарности не любят так же, как не любят кредиторов, потому что любой долг — это ярмо. А Сэм ежедневно напоминал ему своим присутствием: «Ты оказался трусом, ты оказался трусом!»

Кроме того, Сэм нравился женщинам, тогда как внешность Додика не представляла для них никакого интереса, поэтому он в обществе представительниц прекрасного пола всегда вел себя очень робко. Чтобы преодолеть эту робость и привлечь к себе внимание, одна из сотрудниц обратилась к Додику с заявлением защитить ее от домогательств Сэма, хотя не было для этих обвинений никаких оснований. Последнюю каплю добавила жена Сэма, потребовав, чтобы муж вернулся на супружеское ложе. И Сэм покатылся. К подножию откоса он свалился с огромным грузом незаслуженных обид — во всяком случае, так ему казалось, со мстительным решением жить в дальнейшем только для себя.

Человеческие увлечения столь обширны, что попытки произвести им перепись всегда терпели неудачу. Один, рискуя сломать шею, лазает по горам, другой, закрывшись на четыре запора, переклеивает свою коллекцию марок, третий, согнувшись под тяжелым грузом, тащит в отдаленный уголок приморских дюн крохотные саженьцы, от которых ему самому никогда проку не будет, четвертые вкалывают до седьмого пота, чтобы дешевым винишком поскорее доконать свое здоровье.

Сэм любил устраивать жизнь женщин, с которыми у него были интимные отношения. Делал он это бескорыстно и с самыми лучшими намерениями, хотя в какой-то мере это было его хобби. Сэм охотно помогал даже тем женщинам, с которыми давно порвал, чтобы никогда уже в интимных ситуациях не встречаться. Как доверенное лицо, он улаживал их дела в официальных учреждениях, устраивал родственников в больницу, мужей и подрастающих детей на работу, а в случае надобности помогал и материально, чем некоторые беззастенчиво пользовались, так как подлинную нужду доказать порой трудно.

Маргита оказалась для Сэма чудесной находкой. Точно нетронутый брусочек пластилина, из которого можно вылепить все, что угодно. Этому же помогло то, что Маргита по-настоящему влюбилась в него. И удивляться тут было нечему: ее покорило интеллектуальное превосходство Сэма, его жизненный багаж. Куда бы она с Сэмом ни ходила, все казалось ей интересной экскурсией. Здесь гости не сходились, чтобы наесться до отвала, и хозяйка не сновала с посудой на кухню и обратно, здесь обслуживали вышколенные официанты и, прежде чем наполнить бокал, просили выбрать, из какой именно бутылки. Здесь не пели «Выпьем мы за Ваню (или Яна) дорогого», а внимательно слушали профессиональных артистов (по большей части не во фраках, а просто друзей или знакомых). Здесь произносили длинные тосты, перечисляли заслуги и положительные качества

присутствующих, обычно преувеличивая их и приукрашивая, а дамам непринужденно целовали руку. Наверняка в этих домах были и молодые, но их никогда не было видно: очевидно, они предпочитали иные развлечения. Если мужчины с первого взгляда пожирали Маргиту глазами, то на лицах женщин неизменно появлялось скептическое выражение — Маргита была вдвое моложе самой молодой из них. И где это Сэм выкопал девчонку с такими угловатыми движениями, которая даже не знает, куда ей деть лежавшую на тарелке льняную салфетку? Уж никак не в приличном обществе.

— Ты посмотри, как он сам помолодел, — усмехнулась одна, глядя на Сэма, такого стройного и подтянутого в кучке мужчин. — Ему еще нет шестидесяти пяти?

— Вроде бы нет. Ты что, действительно ревнуешь к этой девчонке?

— Нет, просто припоминаю.

— Старость начинается не тогда, когда забывают, а когда начинают вспоминать...

Где бы Сэм ни появлялся, он всюду собирал вокруг себя слушателей, потому что обладал редким даром после нескольких фраз полностью овладевать беседой и говорить на любую тему, так как во многих областях был достаточно компетентен: мог рассуждать и о политике, и об экономике, и о сенсационных слухах, которые время от времени возникали в связи с каким-нибудь уголовным делом.

День Сэм проводил в кабинете у телефона, и тогда Маргита просто не могла надивиться, как ловко он налаживает общение с совсем незнакомым человеком и как выжимает из него то, что ему необходимо. Каждому он мог чем-то помочь и что-то устроить. В элегантном костюме сидит, откинувшись, в кресле — телефон ради удобства на коленях — и все говорит, говорит. И кажется, никогда не забывает, что обещает. Кому-то для ребенка нашел домашнюю учительницу французского языка, другого без очереди устроил на прием к загруженному медику, третьего обеспечил стройматериалами, четвертому добился разрешения ловить рыбу в запретной зоне. Деятельность эта напоминала сказочное Бюро добрых услуг. Маргите, да и не ей одной, казалось, что нет ничего, что бы Сэм не мог устроить. Несмотря на то что должность у него была вовсе не высокая, — работал он всего лишь председателем управления жилищного кооператива.

Но главной задачей его, кажется, было устройство будущего Маргиты. Начал он с того, что заставил ее уйти с завода и поступить на бухгалтерские курсы, где немножко учили и машинописи, следил за ее успехами, а как только она их закончила и собиралась передохнуть — учиться ей никогда не нравилось, — Сэм заявил, что она должна поступить в группу готовящихся поступить в вуз, чтобы летом уже сдать вступительные экзамены. Он сам собрал все необходимые документы, в том

числе и липовую справку о трудовом стаже и профессии, и обо всем договорился с педагогами и руководством, так как занятия уже начались два месяца назад.

То ли бухгалтерша кооператива сама подала заявление, то ли Сэм заставил ее это сделать, но спустя неделю после окончания курсов Маргита уже сидела в передней комнате и через открытую дверь слушала бесконечные разговоры Сэма по телефону. Иногда он прикрывал дверь, но мог бы и не делать этого, так как Маргита все равно ничего в этих разговорах не понимала. И вообще они были неинтересны: одни кубометры, расценки, сроки и вагоны.

Подарками, как вначале, Сэм больше не разбрасывался, но одета Маргита была хорошо и со вкусом. Особенно она чувствовала это, когда они ходили в ресторан. Не в тот, сравнительно простой, где они каждый день обедали, а в шикарный, с бархатисто затемненным баром, программой реву и неслышно скользящим персоналом. Но бывали они там раза два в неделю, когда к Сэму приезжали по делам из соседних республик или еще откуда-нибудь. Чтобы гость мог как-то скоротать вечерние часы, Сэм приглашал его поужинать, и тогда Маргите надо было надевать самые шикарные туалеты, потому что, как Сэм выразился, я — магазин, а ты витрина этого магазина.

Входя в ресторанный зал, Маргита теперь всегда отыскивала взглядом свою соперницу — самую красивую и нарядную женщину, чтобы сравнить себя с нею. Иной раз она чувствовала себя победительницей. Прежняя робость скоро у нее исчезла, и она вела себя за столиком как дома, не смущаясь от множества приборов и рюмок. Скоро официанты и метрдотели уже знали ее и с улыбкой здоровались издалека. И взгляды, взгляды из-за соседних столиков! Чего только в них не было. Зависть и ненависть, желание и нежное признание. Сознание своего превосходства возрастало. Она в центре, все в этом зале вращается вокруг нее! Каких только не было попыток завоевать ее расположение, но она всегда вежливо отвергала их, и это лишь еще больше зажигало страсти. О ней говорили, недоуменно пожимая плечами.

Стоило ей появиться в дверях, как в углах зала уже перешептывались, — в этих заведениях меняется только часть публики, остальные здесь свои люди, которые если и курсируют по разным барам и ресторанам высшего класса, то лишь затем, чтобы не очень мозолить глаза в одном месте. Сегодня они здесь, завтра рядом, а послезавтра едут в Юрмалу или в «Грибок». Не слишком молодые и не слишком старые, поначалу оживленные, потом задумчивые, прозябают они там, мня себя высшим обществом. В период задумчивости они пьют куда больше и швыряются деньгами, потом норовят занять или закладывают какую-нибудь ценную вещь. Это признак, что вскоре человек этот пропадет бесследно и от оставшейся компании можно будет узнать о растрате в магазине, спекуляции или обкраденной квартире богатого родственника. А спустя год за

одним из столиков читают вслух полное былой бравады письмо из мест заключения или поселения.

Всех этих нюансов Маргита не знала, для нее это были лишь самые дорогие рестораны с самой лучшей публикой, вероятно, заслуженными людьми. Так она хотела думать и так думала. Главным образом потому, что так хотела. И, следуя под руку с Сэмом к заказанному столику, позволяла себе иной раз поздороваться с улыбкой признанной красавицы.

— Маргита, нам надо поговорить, — позвала как-то ее в заднюю комнату мать.

Она почувствовала, о чем будет речь.

— Маргита, что это за люди, которые привозят тебя по ночам на машине?

— Друзья...

— Почему ты нас с ними не познакомишь? Мы что, недостаточно хороши для них?

— Все со временем, — попыталась улыбнуться Маргита.

— Не делай из меня дуру! Откуда у тебя такие дорогие наряды?

— Я же работаю, вот и зарабатываю!

Этого ей не надо было говорить совсем. Мать была против ее ухода с завода, потому что бухгалтер в ее глазах был не бог весть что, но, когда она узнала, что дочь стучит на машинке, она любой ценой решила добиться, чтобы Маргита из конторы ушла. Машинистка — это почти то же самое, что секретарша, а для чего служит секретарша, это ни для кого не секрет! Если не сегодня, так завтра! Мать пребывала в уверенности, что в мире есть лишь одна истина — та, которой служит она. Все остальное — вранье или чепуха.

Характер у матери был железный. Таким, точно стальным клином, можно колоды раскалывать, самые суковатые. Несгибаемый характер был и у ее матери, и у бабушки, а может, и у всех предыдущих женских поколений. К сожалению, она не предполагала, что может унаследовать и дочь. Зарабатывает!.. Она уже выяснила, сколько такие яркие тряпки могут стоить! За одно такое платье отцу костюм можно сшить!

— Завтра подашь заявление и пойдешь ко мне работать, в шерстемойку! И чтобы больше никаких машин! — Она еще могла понять замужество без любви, но не могла понять любви без замужества.

— Нет!

— Тогда ищи себе другую квартиру! Ты младшей сестре пример должна подавать, а ты что делаешь?! Уже и так все старухи нашу фамилию треплют! Или будь человеком, или уходи куда глаза глядят!

Мать другом быть не могла — или угодливой служанкой, или тираном...

Пятиэтажный каменный дом, возвышающийся над окрестными деревянными домишками, которые наставили для себя строи-

тельные рабочие в конце прошлого века, когда вслед за бурным ростом рижской промышленности гналось и строительство, со стороны внушает надежды. Но они тут же рассеиваются, как только вступишь на лестницу. Узкая и темная, пахнущая плесенью и кошками, тянется она вверх среди однокомнатных квартир, будто солитер. Можно подумать, что бывший хозяин дома участвовал в конкурсе, как выжать больше денег из каждого вложенного кирпича, и наверняка завоевал далеко не последнее место. Если кто-то тащит из подвала дрова или корзину с брикетами, то спускающемуся надо податься назад, чтобы разминуться с ним на лестничной площадке, иначе можно запачкаться.

Туалеты находились на полуэтажах, каждый на четыре квартиры, канализация чрезвычайно устарелая и дешевая, главным образом из стоячих труб. Засорится что-нибудь — и грязная вода выходит из раковин и заливают нижние помещения.

Очень приличный человек, заявившийся к старушке на четвертом этаже, внушил ей полное доверие — такой вежливый, хорошо воспитанный и незаносчивый.

— А как же вы сами устроитесь? — вежливо спросил он, осмотрев помещение. А что там и смотреть — длинная, узкая кухня с окном в самом конце и небольшая комнатуха. Ремонт не делался уже несколько десятилетий.

— Так ведь я и на кухне могу ночь проводить... В подвале у меня еще совсем хорошая кушетка... А сколько вы положите?

— Двадцать...

На большее старушка и не рассчитывала, но не могла удержаться от соблазна поторговаться.

— Я ведь не ради денег эту девушку беру... Ноги меня уже не держат, а зимой дрова надо носить... Опять же лекарства... На пенсию еще как-то можно сводить концы, если подсоблять...

— Простите, я вас не понимаю...

— Ну, из медицинского училища... Вроде как свой доктор в дому. Потому я и написала вам.

Сэм задумался. Квартира ни для него, ни для Маргиты не очень подходила. Когда приятель подкинул ему письмо, присланное в ответ на газетное объявление о жилплощади для учащихся медицинской школы, он рассчитывал на нечто лучшее. Но сейчас важнее всего пристроить Маргиту куда-то под крышу, потому что потом он наверняка ее с матерью помирит.

— Не захочет носить, — громко сказал он.

— Что?

— Дрова не захочет носить!

— Так что же мне, старому человеку...

— Мадам, я вас понимаю, но никого из наших я не могу принудить!

— Вы порядочный человек!

— Именно поэтому я прихожу и все выясняю, чтобы не было конфликтов. Но, между прочим, я знаю одну девушку, если только она еще не нашла места...

— Нет, нет, зачем вам хлопоты...

— Это дочь хороших родителей, поступает на курсы для подготовки в вуз, осенью собирается начать заниматься.

Бабуся, к которой переселилась Маргита, была не особенно злая и без предрассудков, но, как и всякий человек, она всю жизнь копила привычки и в старости решила, что они-то и есть ее главное богатство. Почтальонше, приносящей пенсию, она давала сорок копеек на чай, за квартиру платила каждое пятое число, белье стирала сама и сушила на кухне, потому на чердаках крадут, раз в неделю ходила к подруге на «кофий», и тогда Маргита обязана была сидеть дома, так как квартиру оставлять нельзя, посуду она мыла с горчичным порошком, а сковородку чистила только газетой. Она могла понять, что Маргита все эти премудрости может не знать, но не могла ей простить, что та не усваивает их в дальнейшем. И тогда она начинала вредничать. То прикидывалась больной, и Маргите надо было ехать на Матвеевское кладбище убирать могилу покойного мужа, то бегать по магазинам в поисках хлеба из цельного зерна, потому что «доктора только такой прописали». Неожиданно у Маргиты пропадали ключи от квартиры, чтобы потом столь же неожиданно найтись, когда в мастерской уже были заказаны новые, а лекции оказывались за буфетом, на котором они никогда не лежали.

Жиличка старалась не конфликтовать с хозяйкой, но и не хотелось, чтобы та садилась на голову. Может быть, их отношения как-то наладились бы, как обычно бывает, если жильцу некуда податься, но Маргита была уверена, что Сэм для нее — а стало быть, и для себя — найдет что-нибудь получше. А пока что мелкие разногласия, точно древооточцы, подтачивали согласие, и вот однажды старушка заявила: «Чтобы в десять быть дома! Когда поздно приходишь, будишь меня, и я потом заснуть не могу!» Маргита клялась, что через кухню пройдет в чулках и в комнате даже свет не будет зажигать, но та стояла на своем. Она в своей квартире уж, наверное, может держаться своих порядков! Судя по интонации, ей принадлежал по меньшей мере королевский замок.

Когда Маргита рассказала о назревающей катастрофе Сэму, тот только посоветовал поладить со старухой и действительно какой-нибудь вечер посидеть с нею у телевизора или же начать переговоры с родителями, и Маргита поняла, что Сэм не настроен заниматься ее квартирными проблемами. Но Сэм не догадывался, что имеет дело уже не с неуклюжей фабричной девочкой, а с модной дамой, которая возвращается в высоких кругах, где весьма ценится расчет и элегантная хитрость, с модной дамой, которая начинает сознавать свою цену. Нет, Сэма она все еще обожала, ей и в голову не пришло бы встречаться с кем-то украдкой — а приглашения эти она теперь получала часто, Сэм был ее заступник и повелитель, другого на месте Сэма она и представить себе не могла, но все это не мешало ей разыграть маленький спектакль.

Как-то она вошла в кабинет к Сэму с самым невинным выражением лица.

— У тебя нет телефона Миервалда? Он давал мне визитную карточку, но я ее не могу найти.

— Да, да, детка! — кивнул Сэм, продолжая разговор по телефону, пытаясь кого-то в чем-то убедить. Сказанное ею начало доходить до него только постепенно.

Сэм встал из-за стола, что делал весьма редко, и подошел к открытой двери.

— Он тебе что-нибудь обещал?

— Я думаю, что, может быть, он как-то устроит мне квартиру.

— В чем дело? — разъярился Сэм, тонкие губы его стали еще тоньше, голос старчески задрожал. — Тебя что, выкинули со всеми вещами на улицу? Ты думаешь, получить квартиру так просто? Ты уже не можешь несколько недель подождать?

И, резко повернувшись, ушел к своему письменному столу, чтобы вновь говорить по телефону. На сей раз Маргита внимательно прислушивалась, но надежды ее не оправдались; к квартирному вопросу разговоры эти не имели отношения.

— Ни в коем случае! — протестовал Сэм. — Все мы смертны! Где гарантия, что завтра мне на голову не свалится кирпич или не переедет трамвай? Я и вам не могу это гарантировать! Любые денежные дела надо улаживать у нотариуса, и только у нотариуса! Поверьте мне, стоит потратить эти полчаса и несколько рублей, чтобы потом уже зря не нервничать! До свидания!

Маргита заметила, что последнее время Сэм часто пользуется в разговорах словом «нотариус».

В то время Сэм был чрезвычайно занят — ему незамедлительно надо было найти хотя бы три-четыре адреса, по которым можно прописать в Риге людей, которые потом надеялись получить кооперативные квартиры. Конфликт Маргиты с хозяйкой его и не беспокоил бы, если бы не был упомянут этот скот Миервалд, который всегда готов влезть с ружьем в чужие охотничьи угодья. Разумеется, Сэм мог и сам отказаться от Маргиты, но только и не помышлял об этом: девушка по-прежнему была ему дорога.

Как обычно, на помощь пришел случай, имеющий ко всему этому весьма отдаленное отношение.

Подруга хозяйки, у которой она раз в неделю пила «кофий», решила покинуть свою комнату, которую невозможно было нагреть, и перебраться в пансионат для престарелых. Так советовали ей родственники, но она целый год упорствовала: «Богадельня, она богадельня и есть!» Но под конец согласилась хотя бы съездить и посмотреть. То, что она увидела, потрясло ее не на шутку — чистота, порядок, цветной телевизор, клуб, концерты, комната на двоих. «Это же пансионат! И кормят как, хорошо кормят! Сможешь ко мне в гости приезжать, и будто мы в лесу, смолой пахнет. Я здесь ни одного дня не хочу оста-

ваться, только жду не дождусь, когда племянник документы оформит».

— А пенсия и квартира пропадают, — возразила хозяйка Маргиты, хотя больше жалела о том, что уедет ее единственная подруга.

— Чего-то на расходы оставляют, опять же можно официально прирабатывать, вязать там, вышивать. Если только сам хочешь...

На основании этой информации Сэм придумал сложную комбинацию, которая должна была увенчаться хорошенькой квартирой для Маргиты. Он был убежден, что делает это ради нее, а фактически старался больше для себя. В обществе, из которого он качал средства для широкой и приятной жизни, начало возникать сомнение в его способностях уладить все, что угодно. Для Сэма это могло окончиться трагически, поэтому незамедлительно надо было предпринять что-то такое, что бы успокоило сомневающихся. Квартира для Маргиты была вполне подходящим доказательством.

Хозяйка Маргиты дала уговорить себя за тысячу рублей, обещание отвезти мебель в комиссионный и устроить ее в тот же пансионат, где живет подруга. Предварительные игры можно было считать успешными, но главные матчи были впереди, так как в исполкоме каждый квадратный метр по нескольку раз крутят в пальцах всякие комиссии. Даже если Маргита пропишется и возьмет старушку на свое иждивение, в ордер ее не впишут. Эти номера уже не проходят. Отбросив еще пять-шесть подобных вариантов, Сэм дал хорошую взятку в одном сельсовете. За это Маргита была прописана в квартире, владельцы которой и в глаза ее не видали. Последовала пара молниеносных комбинаций с фиктивными справками, которые, будучи подкреплены дюжиной телефонных разговоров, дали желаемый результат — несуществующую квартиру в провинции Маргита обменяла на существующую в Риге, а хозяйка несуществующую жилплощадь милостиво оставила сельсовету и переехала в пансионат для престарелых, где счастливо проводила свои закаты, лакомясь шоколадными конфетами, которых на тысячу рублей можно было купить немало, и не переставая жаловаться на оценщика комиссионного магазина, который, жулик этакий, оценил ее хороший, еще довоенный шкаф всего в сорок рублей, тогда как рядом точно такой же продавался за сорок пять.

— Я хочу ванную, — потребовала Маргита. — Кухня длинная, ее можно разделить.

Ремонт для Сэма был уже вопрос техники, так как кооператив начал строить гаражи. На заседании правления ему оставалось только встать и озабоченно произнести:

— Я тут наладил кое-какие связи, можно бы ускорить строительство, но... — «Но» непременно надо было подчеркнуть и потом глубокомысленно помолчать.

— Сколько? — тут же осведомился самый сообразительный.

— Да, по сути дела, ничего, — пояснил Сэм. — Кое-какие

материалы и техников на пару дней. К сожалению, мы это никак не можем оформить.

— Да и не надо ничего оформлять! Мы же свои люди, знаем друг друга, скинемся без всякого оформления! — Это предложил второй член правления и принялся искать бумагу, чтобы набросать нужное.

Примерно неделю в квартире Маргиты долбили, тесали, ломали, вбивали, подгоняли и цементировали, а через две, когда молодая хозяйка помогала дворничихе отмыть лестницу, квартирка ее напоминала конфетку с новогодней елки. Стены оклеены хорошенькими обоями, на полу гладкий релин, вместо печки маленький, отделанный красным кирпичом электрический камин, придуманный специально для тех, кто не хочет колоть дрова, а немногочисленная старая, купленная у старухи мебель интересно сочеталась с современной: диван, шкаф с антресолю и низкий журнальный столик.

Но основные изменения произошли в кухне. Из нее выкроили не только ванную комнату. Поскольку на место дровяной плиты поставили газовую, еще оставалась территория для небольшой прихожей с вешалкой для чужих пальто.

Маргита думала, что теперь Сэм переберется к ней, но этого не произошло. Зато он забегал сюда два-три раза на дню, чаще всего в ее отсутствие, и приводил с собой гостей. Иногда одного, иногда нескольких. Это видно было по кофейным чашкам в раковине. Если Маргита была дома, Сэм просил ее сварить кофе и подать печенье. Сам он тем временем демонстрировал гостям чудеса строительства и рассказывал, что скоро проведет сюда телефон. А некоторых просил не рассказывать о виденном — это была верная гарантия, что те растрезвонят по Риге. Если же оставался ночевать, то принимал много снотворного, иначе не мог заснуть, чего раньше с ним не случалось. И вообще Маргите казалось, что, обычно полный энергии и сообразительности днем, вечером он снижал, точно под нечеловеческим грузом. В контору забегал только на несколько минут, видимо, улаживая какие-то другие дела, но по телефону его спрашивали непрерывно, и Маргите больше приходилось проводить время в его кабинете, чем в своей бухгалтерии.

— Будет позднее... Вышел... Позвоните часа через два...

А что она еще могла ответить? Разве что записать номер телефона, куда Сэма просили непременно позвонить, когда появится.

Но вот как-то Сэм пропал совсем. Ни в конторе его не было, ни к ней не появлялся. Она начала тревожиться, хотела уже попросить кого-нибудь позвонить ему домой, не заболел ли. Не мог же он уехать, не сказавшись?

В обеденный перерыв Маргита пошла домой взглянуть, не появлялся ли Сэм. Если даже и не оставит записки, она увидит это по посуде в кухне.

Проходя через двор, она поздоровалась с дворничихой, которая беседовала с тремя молодыми мужчинами. На одном была

наглухо закрытая на «молнию» нейлоновая куртка, словно он был простужен. Дворничиха кивком ответила ей и продолжала разговаривать.

Не успела Маргита запереть за собой дверь, как снаружи кто-то нажал кнопку звонка — и мягко ударил электрический гонг.

На пороге стоял человек в наглухо застегнутой куртке.

— Это вы будете... — Он отчетливо произнес ее фамилию, имя и отчество.

— Да.

Тогда он предъявил служебное удостоверение и ордер на обыск. Тут появились двое других с дворничихой. Последняя теперь держалась весьма официально: можно было подумать, что она Маргиту даже и не знает.

Дворничиху попросили найти понятых. Те все время обыска просидели, ни слова не сказав, подписались и ушли.

Главным, видимо, был в куртке, потому что он задавал Маргите вопросы и вписывал все в специальный бланк.

— Есть ли у вас в квартире деньги и драгоценности?

Маргита выдвинула ящик старомодного буфета — там было рублей тридцать, потом другой, под зеркалом, — несколько стандартных колечек и серебряный браслет.

— Есть ли в квартире деньги и драгоценности, которые передало вам на хранение другое лицо?

Маргита покачала головой.

— Да? Нет? Жесты я протоколировать не могу.

— Нет.

Подчиненные его перебирали и разглядывали флакончики с парфюмерией и тюбики с кремом, смотрели, как у стульев приклеены ножки, щупали обивку дивана, легко, кончиками пальцев, проводили по релину — нет ли чего под ним. Работали они чрезвычайно медленно и методично.

— Начальник, надо все-таки аппарат, тут только что делали ремонт. — И один из них постучал по стене. — Пустота в нескольких местах, но, может быть, стены такие — дом-то уже не новый. Жалко ломать.

— И если можно женщину какую-нибудь, — подхватил второй. — В грязном женском белье рыться...

— Может быть, вообще другую бригаду? — с издевкой спросил главный. Вид у него был такой, будто его донимает язва желудка.

— У кого еще есть ключи от квартиры и кто сюда может попадать в ваше отсутствие?

Маргита замаялась, потом сказала.

За буфетом, плотно прижатом к стене, нашли завернутую в бумагу толстую пачку денег. Ровно две тысячи рублей.

— Что это за деньги?

— Не знаю.

— Значит, не ваши, и вы на них не претендуете?

— Нет, — испуганно выдохнула Маргита.

Вечером, когда обыск кончился, ей пришлось поехать в управ-

ление милиции. Через час Маргиту вызвал в кабинет майор, которого она раньше не видала. Он спрашивал ее подробно и бесстрастно. Ничего из сказанного Маргитой он не опровергал, только записывал и записывал. Во время допроса несколько раз открывалась дверь, его куда-то вызывали, но он отказывался идти — раньше надо закончить разговор с этой гражданкой.

Вопросов у него хватало. Когда познакомилась с Сэмом? Кто был при этом? Где? Из какого города был Валериан? Кем работает? В какой гостинице жил? Кто это может знать? Лидка? Фамилию, пожалуйста. Адрес не знаете? Спасибо, достаточно места работы. У каких друзей Сэма вы бывали дома? Он вам давал деньги? Вы записывали телефоны, по которым он должен был позвонить? На чем записывали? На листочках календаря? Один момент!

Майор снял трубку и позвонил в контору. Хотя была уже поздняя ночь, там находились люди, так что майор попросил продиктовать ему записанные Маргитой телефоны.

Уходя, она столкнулась с Миервалдом. Оказывается, милиционеры его только что подняли с постели. Он был взлохмаченный и сонный, но кинул взгляд на идущую навстречу Маргиту и выпалил:

— На Сэма объявлен всесоюзный розыск!

На другой день в контору явились ревизоры. Но самая тщательная проверка технической документации и бухгалтерских документов не дала желаемых результатов. Не считая кое-каких мелочей, ревизоры ничего не обнаружили, и Маргите показалось, что уходили они несколько раздосадованные.

В правлении кооператива, где наверняка знали об их отношениях с Сэмом, ей предложили подать заявление. Разумеется, она могла бы отказаться и даже судиться, но не сделала этого — зарплата здесь маленькая, бухгалтеры везде требуются. Спустя две недели, когда пришло известие об аресте Сэма в далеком волжском городе, Маргита уже работала в отделе зарплаты большого завода. В похожей на зал комнате стояли десять столов, все время кто-то разговаривал по телефону, стучали счеты и жужжал арифмометр, когда начальница проверяла расчеты, сделанные предварительно на маленькой электронно-счетной машине.

Работали здесь только женщины, все уже давно замужние, с детьми, так что разговоры были всегда чисто семейные: о месте в пионерском лагере, о том, что сегодня есть в кулинарном столе столовой, об одежде, необходимой на зиму, о детях, которые хорошо учатся или не хотят учиться, и, конечно, об отношениях с мужьями. После широкого диапазона разговоров, обсуждения глобальных проблем, взлета мысли Сэма, после всего блеска, который ее окружал, — ведь среди их знакомых никому и в голову не пришло бы даже упоминать какую-то десятирублевую премию, не то чтобы ссориться из-за того, что не всем она достается, — Маргита чувствовала себя отброшенной назад, из центра на окраину. Она презрительно посмеивалась в душе

над сослуживицами, так как считала себя явлением более высокого порядка, почти аристократкой, работала стиснув зубы, но порученное ей выполняла. Она еще ждала. Ждала, что Сэм выйдет из неприятностей, так как верила в его звезду. Ведь он же умнее этих следователей, по кабинетам которых ей теперь приходилось ходить. И потому внутренний голос говорил ей, что Сэм скоро будет на свободе. Кроме того, судя по вопросам следователей, в смертных грехах Сэм не обвинялся, хотя и явно был не без вины, так что Маргита старалась ему помочь, в пределах возможного, отвечала на вопросы следователей главным образом «не знаю» или «не помню». Следователи все это как будто принимали на веру, записывали, но потом задавали такие окольные вопросы, на которые уже невозможно было отвечать «не знаю» и «не помню». В большинстве случаев Маргита не понимала, к чему этот вопрос ведет, какое звено в цепи проясняет, поэтому думала, что вышла из положения победительницей. Она была так уверена в превосходстве Сэма над этими следователями, костюмы которых говорили о том, что зарплата у них не шибко большая и связей никаких нету, что даже ожидала вопросов об их интимных отношениях, чтобы высокомерно и вызывающе бросить им в лицо: «Он был настоящий мужчина! Я его люблю и буду любить, что бы вы мне о нем ни говорили!» Но вопросов этих не задавали — следователи интересовались только мелочами.

— Во сколько вы кончили в «Лире» обедать?

— Около трех.

— Куда потом направились?

— Обратно на работу.

— С кем вы шли вместе?

— С Самуилом, конечно!

— Насколько я вижу из других показаний, до места работы вы все же не дошли. Вот здесь написано. — Следователь полистал бумаги назад. — «Я дождался их с секретаршей у ресторана «Лира» в своей машине. Секретаршу мы отвезли к месту работы в контору жилищкооператива, а сами...»

— «Лира» кафе, а не ресторан! Я не помню, чтобы нас кто-нибудь поджидал или...

— Как часто вам с шефом приходилось ездить в машинах, которые поджидали вас у двери ресторана?

— Так сразу я не могу сказать... Семь, восемь раз... Может быть, больше...

— Спасибо.

Но как узнать, какой именно ответ хотел бы услышать Сэм?

— А теперь вернемся к «Лире»... Темно-зеленая машина «Жигули»...

— Да, на такой мы ездили.

— Спасибо.

На работе Маргита соврала, что впуталась в историю, связанную с автомобильной аварией, в результате чего попала в свидетели. Какое-то время транспортные случаи и роль свидетелей

обсуждались во всех аспектах, но в дальнейшем повестки из прокуратуры уже никого не удивляли.

Сэма еще с двумя незнакомыми Маргите людьми судили спустя полгода. Стройный, умный и такой видный, как всегда, он защищался отважно. Задавал пострадавшим и свидетелям ехидные вопросы, от которых те мялись и порой даже отступались от своих требований, презрительно относился к проходящим с ним по одному делу, потому что те не только признались в совершенных, но даже и в запланированных махинациях, по нескольким эпизодам просил доследования, спорил с прокурором, по десять раз в день просил суд обратиться к показаниям пострадавших на первом следствии, поскольку они для него более благоприятны, но всегда оставался корректным и элегантным.

Главная цель его была воздействовать на обоих заседателей, играющих при вынесении приговора столь же важную роль, как и судья. Поэтому он выставлял себя этаким благородной душой, которую лишь стечение обстоятельств привело на скамью подсудимых. Дело он поворачивал так, что сами пострадавшие вынуждены были говорить о том времени, когда его биография была безупречна. В один голос они утверждали, что тогда он был честным человеком и не злоупотреблял служебным положением, хотя и мог бы. После этих ярких страниц появился какой-то дальний родственник жены, к сожалению, уже покойный, и потому не в состоянии выступить свидетелем, который попросил Сэма купить в ювелирном магазине кольцо с бриллиантами за сорок тысяч рублей. Было это уже давно, Сэм долго рассказывал, что человек этот боялся обмена денег и сберкасс и хотел вложить деньги в надежную вещь, цена на которую может лишь подниматься. Вызванные родственники заявили, что, по их мнению, такая сумма их дяде и во сне не снилась, но признали — человек он был чудаковатый, ужасно скупой, все копил и скрывал. В полуразвалившемся домишке в разных углах после его смерти находили завернутые в тряпицы серебряные монеты и царские золотые рубли. По просьбе адвоката Сэма ювелирный магазин дал справку, что в таком-то году за такую-то цену некоторые кольца были действительно проданы.

Следующий ход Сэма мог показаться наивным — он заявил, что портфель со многими тысячами он забыл в такси. Но на самом деле он был не только не наивный, но напоминал ларец фокусника с двойным дном. Во-первых, в нем скрывалось объяснение начала его преступной деятельности. И это выглядело благородно. Он не мог сказать о случившемся старому, больному человеку, потому что того хватил бы удар. И бриллианты не на что было купить. Оставался один-единственный шаг — занять деньги и потом постепенно отдавать. От зарплаты, разумеется, отрывать было нельзя. Чтобы за его оплошность не расплачивались близкие, он развелся и ушел от семьи, но дочь продолжал материально поддерживать в установленных законом пределах — прошу суд рассмотреть приложенную к делу справку за номером таким-то и страницу дела такую-то. Но и после

достижения совершеннолетия дочь получала материальную поддержку, может быть, не так регулярно, как хотелось бы, но все же — это она вам и сама показала.

— Обращались ли вы после потери портфеля с заявлением в милицию?

— Я в отчаянии бегал по столам находок, несколько раз был в таксомоторном парке.

— А в милиции?

— Нет, в милиции я не был. Позднее я понял, что это моя ошибка. Признаюсь, что я испугался. Как бы я объяснил, откуда у меня, служащего с зарплатой в триста рублей, взялась такая большая сумма?

— А родственник?

— Я уже сказал... Если бы он узнал о пропаже, это кончилось бы трагически. И эта смерть до конца дней была бы на моей совести.

— Итак, вы утверждаете, что стали брать деньги у разных лиц с тем, чтобы отдать больному родственнику?

— Совершенно верно.

— Какие реальные основания были у вас полагать, что впоследствии вам удастся выплатить долги? Ведь у вас же давно не было трехсотрублевой зарплаты, вы получали сравнительно небольшое вознаграждение председателя жилищного кооператива.

— Я надеялся... Мне обещали, что я смогу вернуться на прежнее место.

Система, по которой Сэм действовал, была не особенно новая и не особенно остроумная. Он лишь ввел некоторые, но весьма существенные улучшения. Сначала он пустил среди знакомых слух, что можно будет без очереди получить кооперативную квартиру. Нет, не сразу. Если кто-то вдруг выйдет из кооператива. Но деньги тогда нужны сразу, в полчаса. И необходимые документы должны быть оформлены. Нет, он за деньгами бегать не намерен, разве что согласен дойти до сберкассы.

Один хотел квартиру для себя, другой думал о детях. В конце концов, не все ли равно, где находятся деньги, у Сэма или в сберкассе? Не отсчитывал же эти тысячи где-нибудь в подворотне за углом, а в присутствии нотариуса и под расписку от Сэма. Не получит квартиру? Ну и что? Получит назад деньги копейка в копейку. Разумеется, все дело надо держать в глубочайшей тайне и не разговаривать о нем даже с самыми близкими друзьями. Стоило кому-нибудь пикнуть, Сэм тут же отчитывал его и возвращал деньги. Потом тот был счастлив, если Сэм соглашался вновь принять деньги. Если у кого-то возникала необходимость в деньгах, он получал их на следующий же день, если кто-то целый год не осведомлялся о своих деньгах, Сэм сам звонил ему и сообщал, что, вероятно, ему придется уйти с поста председателя, так что он просит забрать свои деньги и глубоко сожалеет, что не смог помочь дорогому приятелю. Спустя полгода без всяких усилий деньги можно было получить вновь.

Так Сэм создал себе репутацию честнейшего человека.

В желающих получить квартиру нигде и никогда недостатка нет, у знакомых были свои знакомые, у тех, в свою очередь, свои, и к Сэму ехали даже из дальних мест России и с Украины. Ему пришлось бы построить на окраине Риги по меньшей мере три небоскреба, чтобы обеспечить всех желающих. В интересах фирмы — любому предприятию нужна реклама — Сэм за взятки добыл несколько квартир и именно потому сейчас и сидел на скамье подсудимых не один.

Долгое время на небе не было ни облачка, ничто не предвещало грозы. Казалось, что цепь из получаемых и отдаваемых денег вечна, а сам он жить вечно не собирался, даже по самым оптимистическим расчетам давал себе только лет пятнадцать.

Получив от последнего клиента деньги, он честно возвращал первому, требовалось лишь немного расширить круг, чтобы покрывать каждодневные траты. Но, как сказал один умный человек, нет такого таланта, чтобы его нельзя было пропить, нет таких денег, чтобы их нельзя было растратить, и нет такой случайности, на которой нельзя было бы споткнуться.

Один из клиентов Сэма попался на хищении государственного имущества. Разумеется, он был заинтересован в немедленном покрытии недостачи, но мог сделать это только в том случае, если бы получил от Сэма три тысячи. Так как телефона у него в камере не было, а свидания с близкими до суда тоже запрещены, он не нашел другого выхода, как привлечь для получения денег своего следователя. Разумеется, он не сказал: я заплатил, чтобы получить вне очереди квартиру.

— Хорошему человеку надо было, вот я и одолжил.

Но впутывать в любое дело следователя опасно. Он не удовлетворялся распиской, а пошел к нотариусу и сунул нос в ишуровую книгу. И там он увидел, что три тысячи тому же самому хорошему человеку дал и другой человек, живущий в маленьком селении на Карпатах. И следователь начинает интересоваться: а почему, собственно, дали? А люди, если их вызывают к следователю, начинают волноваться, и прежде всего, конечно, за свои деньги. Особенно если видят перед дверью этого кабинета нескольких знакомых с озабоченными лицами. Страх заразителен и, кажется, передается даже на расстоянии — в несколько дней Сэм раздал почти все, что у него лежало в сберкассе, и последним вынужден был говорить:

— Через неделю, деньги не у меня!

С оставшимися «почти» Сэм сел в спальный вагон, даже не успев продать машину и забежать на квартиру к Маргите за спрятанной пачкой денег...

Сэм допускал, что не только судья, но и заседатели не верят сказочке о потерянном портфеле со многими тысячами, но ведь, если они честные люди, не могут совершенно и отбрасывать эту версию. В таком случае его позднейшее неблагородное поведение в большой мере объясняется благородной целью, и если принять во внимание прежние заслуги, то смягчающие вину обстоятель-

ства должны быть учтены. И кроме того... Маловероятно, что заседателям так уж симпатичны потерпевшие. Не говоря уже о том, что многие потерпевшие получали весьма скромную зарплату, но занимали должности, которые любого нормального человека наводят на мысль о побочных доходах, судьи и заседателям должны претить типы, которые теперь вопиют о полученных сняках, хотя сами на них нарывались, бесцеремонно отпихивая старых и молодых, больных и здоровых. Тогда их интересовало только одно — первыми пробиться к корыту.

Сэм надеялся, что кто-нибудь из заседателей сам живет в комнате, где невозможно повернуться, не наступив члену семьи на ногу, и почти безнадежно ждет в длинной очереди за девятью метрами на душу. Ждет или ждал. Только тот может понять, что за гнусные типы вот эти норовящие пролезть без очереди, только у того может кипеть ненависть к ним до конца дней. Сэма он не оправдает, но часть ответственности переложит на самих потерпевших, и, стало быть, на долю Сэма придется меньше. Тем более Сэм помог им, напомнив, что в некоторых случаях он даже не требовал денег, а эти тысячи ему просто навязывали.

И еще один козырь был у него — чистосердечное признание. С самого начала следствия он делал вид, что признается в мельчайших проступках, а если чего и не сказал, то из-за старческого склероза — стоило назвать имя, и Сэм тут же сыпал как по книге. Какая разница, будет ли гражданский иск больше или меньше на несколько тысяч? Все равно надежды у потерпевших вернуть назад свои деньги нет никакой, даже если Сэм проживет тысячу лет. Разве что разделить на всех деньги за конфискованную машину и те пять жалких забандероленных пачек, которые нашли при обыске у Маргиты? Хорошо, если на каждого придется по рублю в месяц. Чистосердечно признаваясь в присвоении чужих денег, Сэм потихоньку уходил от ответственности за посредничество во взяточничестве, так как это грозило более суровым наказанием.

В общем, Сэм рассчитывал отделаться тремя годами, но дали ему восемь. И не потому, что он оказался плохим психологом, а потому, что сумма была слишком большая и судья прицепился именно ко взяточничеству, и усугубило дело еще одно обстоятельство: на суд явилась плачущая женщина с ребенком, которую он взял в клиентки с чисто экспериментальной целью. Случайно обнаружил ее фамилию и телефон в списке тех, кто должен был в будущем году получить квартиру. Сэм позвонил и сказал, что желает с нею побеседовать, поскольку он, возможно, сможет ей помочь. Разговор проходил в конторе кооператива, видно было, что женщина ждет ребенка. Она нервничала и с первых же фраз стала держаться неприязненно.

— Вы могли бы устроить мне квартиру раньше? Я сказала бы вам «спасибо». Но давать кому-то деньги я не собираюсь!

— Как вам такое могло прийти в голову! За кого вы меня

принимаете? Я совершенно официально предлагаю вам обменный вариант, а вы меня оскорбляете!

— Тогда я чего-то не понимаю...

— Меня интересует квартира в том районе, где предусмотрена строительная площадка для вашего дома.

— Не такой уж замечательный район, в Межциеме было бы лучше... — растерянно сказала женщина.

— Кому нравится мать, а кому дочь... Иманта вас устроила бы? Если нет, скажите сразу, я поищу кого-нибудь другого.

— Иманта... Очень хорошо...

— Дом уже заложен, если угодно, можете съездить посмотреть... Я гарантирую, что через полгода сможете въезжать. Да, совсем забыл... Вы даёте мне двухкомнатную, а получите взамен малогабаритную трехкомнатную... Надеюсь, что и это вас устроит.

— Да, но ведь это же дорого.

— Сейчас посмотрим... — Сэм полистал планы и прочую документацию. — Вам придется доплатить всего лишь шестьсот рублей.

— А я не могу вам завтра позвонить и дать окончательный ответ?

— Вы не хотите трехкомнатную? — удивился Сэм.

— Предложение настолько неожиданное... Я должна поговорить дома...

Мог ли Сэм предполагать, что она в тот же вечер отнесет в скупочный магазин зимнее пальто и до полуночи будет бегать по знакомым, занимая по двадцать пять и пятьдесят рублей, чтобы набрать эти ничтожные для него шестьсот рублей? Мог ли он представить, что она копила на квартиру всю свою сознательную жизнь, что мать ее уже продала дом в деревне, чтобы перебраться к дочери — приглядывать за малышом. Нет, она не замужем и мужа у нее не было. И зимнего пальто больше не было. Только долги и мать с ребенком в комнате четыре на три... шага, за кухней, с окном на грязный, похожий на шахту двор. Очередь ее в жилищном кооперативе уже прошла, из списка на фабрике она давно была вычеркнута, и она понимала, что три тысячи четыреста она от Сэма уже не получит, а двадцатирублевки и пятидесятки придется самой зарабатывать и отдавать.

— Что же мне теперь делать? — покорно обращалась она к судьбе и заседателям, которые, хотя и часто видели человеческие трагедии, кусали губы, потому что не знали, что ей ответить и как ее утешить.

Сэм уже сожалел, что впутал эту женщину в свои комбинации, но тогда идея казалась слишком заманчивой — спустя полгода он деньги отдаст; ожидающая получит свою квартиру — и все в порядке. И теперешнее ее положение он не мог воспринять. Ему трудно было представить, что нет иного выхода, что тем придется втроем жить в малюсенькой комнате.

Хотя отец Сэма с трибуны призывал рабочих продолжать семейные традиции и приводить сыновей к себе на завод, ему са-

мому и в голову не приходило, что и Сэм мог бы стоять у токарного или сверлильного станка. А ведь он действительно верил в величие рабочего человека. Просто для своего наследника еще до его рождения запланировал светлый жизненный путь. Так что Сэму завоевывать мир не надо было, ему его просто подарили. Начиная с детского сада и кончая институтом его вели заботливые руки, держали зонтик над его головой, если начинало моросить, и разметали дорожку, если на ней можно было поскользнуться. Нет, он никому не хотел зла, но меньше всего хотел причинить зло самому себе.

В школе он еще думал, что все живут в больших квартирах, что тракторист на поле работает в отутюженной рубашке и при галстукке, поскольку грязь как таковая давно ликвидирована, и что все ездят отдыхать на те же самые курорты, что и его родители. А позднее, когда зародились сомнения, изменились и взгляды на некоторые стороны жизни. И он понял, что супу на всех хватает, а вот фрикаделек нет, так что делить их поровну даже будет неправильно. Как же тогда быть с естественным и искусственным отбором? Он же должен существовать.

С началом самостоятельной деятельности начались первые проблемы — будет ли кабинет с секретаршей или кабинет без секретарши?

Проблема содержания.

Проблема этикета.

Проблема субординации.

И еще разные производственные проблемы, которые надо решать, осторожно лавируя среди других. А в генах заложен боевой дух далеких предков.

Восемь лет — тяжелый приговор, но во время его произнесения Сэм еще не осознавал всей его тяжести. Это не так уже непоправимо. Еще можно обжаловать в высших инстанциях, и здесь, в республике, и в Москве, еще была надежда на освобождение после отбытия половинного срока. В таких случаях обычно работают на большой стройке. Принимая во внимание образование, возраст и ранее занимаемые должности, ни лопату, ни лом ему наверняка в руках держать не придется. Но ведь могло быть и хуже. Могло быть гораздо хуже. Вместо восьми лет дали бы пятнадцать — и для такого приговора были все основания.

Да, легенда о забытом портфеле была наивной, но умной она и не должна была быть — она должна была колебаться между откровенной ложью и допустимой случайностью. И так все и должны были понимать. В определенных кругах нужно было посеять мысль, что эти сорок тысяч Сэм не потерял, не растратил, а спрятал в надежном месте. Для этих кругов Сэм должен был создать иллюзию, что у него еще есть деньги, и укрепить надежду, что свои деньги они получают с соответствующими процентами. Не случайно единственный телефонный разговор, который Сэм позволил себе во время бегства, был с одним деятелем из тех кругов.

— Не волнуйтесь, — сказал тогда Сэм. — Все получают от меня до последней копейки!

Она почти вымерла, но все же существует, секта поклонников денег со своими законами и моралью, против которых прегрешить и легкомысленно и опасно, а особенно опасно затронуть самое священное, что у них есть, — деньги. Постоянно находясь в натянутых отношениях с законом, спекулируя, доставая, ростовщичествовая, они вынуждены жить неинтересно и замкнуто, встречаться только со своими, максимально избегать роскоши, так как занимаемые ими должности незначительны, а большинство их вообще всего лишь пенсионеры — блеклые старцы с юркими глазами, единственное удовольствие для которых пересчитывать и пристраивать свой капитал, проверять таблицу тиража трехпроцентного займа и играть в преферанс или кункен с высокими ставками по воскресеньям.

Удивительно, как быстро входящий в эту секту перенимает их нравы и как быстро исчезает у него стремление к нормальной жизни, которой живут все вокруг и которой сам он жил еще недавно. У деньгопоклонников своя мораль. Воровство и насилие по отношению к частным лицам внешнего мира строго осуждаются, а прочие статьи Уголовного кодекса могут и не существовать. В их мире самое тяжелое преступление — обман, так как, чтобы не оставлять вещественных доказательств, приходится обходиться устными обязательствами, занимать и отдавать без всяких нотариально заверенных расписок. Обман даже страшней предательства.

Многим из этих людей Сэм обещал квартиры, разумеется, ничего конкретно не гарантируя и только взяв деньги. Он легкомысленно включил их в число обычных клиентов, не подумав, что у этих людей рубли приросли к сердцу и когда их отрывают, образуется кровоточащая рана, вызывающая к мщению. Помимо жульничества с несуществующими квартирами, на Сэме лежали и другие, до сих пор не раскрытые преступления, которые юристы квалифицируют как присвоение государственного имущества и нарушение закона о валютных операциях. Махинации эти не принесли ему больших сумм, но давали бы суду возможность вынести более строгую меру наказания, которая исключает досрочное освобождение. Махинации эти он совершал с одним старичком из секты деньгопоклонников, и другие тоже кое-что об этом знали. И вот один из них, обнаружив, что он обманут, не вынес удара... Желая отомстить, он написал следователю анонимное письмо, приводя конкретные данные: тогда-то и тогда-то, такой-то с тем-то... Анонимщика не волновало, что вместе с Сэмом он «завалит» и своего знакомого. Что там говорить о каком-то знакомом: во-первых, тот никогда не узнает, кто его «заложил», а во-вторых, получит хороший урок — держи язык за зубами!..

Не всегда Маргита могла вырываться с работы и бывать в суде, хотя и симулировала грипп, что во время эпидемии не так уж трудно сделать. Сидела она, забившись в угол, на последней

скамье и безмолвным кивком здоровалась со знакомыми, если кто-то обращал на нее внимание, жадно ловила каждое слово Сэма, следила за его взглядом, который он порой бросал в зал. Она все еще любила, даже, может быть, сильнее, чем прежде...

Как обычно в судебных процессах, на поверхность всплыли те эпизоды из жизни Сэма, которые он тщательно скрывал. Словно злобное, изрытое оспой лицо мелькало вдруг в окне, чтобы тут же исчезнуть. Прозрачный речной поток, струившийся доселе по белому песчаному дну, вдруг наполнялся тиной и сгнившими листьями, потому что кто-то случайно задел тонкий слой песка поверх них. Да, это сердило Маргиту, но не потрясало — она всему находила объяснение или даже оправдание, как мать находит объяснение дурным поступкам избалованного сына в дурном влиянии друзей. Женщин, с которыми у Сэма были интимные отношения в то же время, что и с нею, Маргита возненавидела. И торжествовала, если какая-нибудь из них входила в число обманутых клиенток. Значит, Сэм оказывался в чужой постели лишь для того, чтобы войти в доверие, а не потому, что любил. О каждом шаге Сэма она делала заключение, которое находилось в противоречии с заключением любого другого человека. И если хоть на короткий миг возникало какое-то сомнение, оно тут же развеивалось, стоило ей прийти домой, потому что здесь все было куплено Сэмом, все предназначено для нее. Ей он только дарил. Ей даже казалось, что все, что в ней есть самой, идет от Сэма.

Когда зачитали приговор и осужденных увели, Маргита плакала от этой жестокости и торжественно поклялась себе ждать его.

В коридоре адвоката Сэма окружил кружок сочувствующих. Адвокат, как обычно в таких случаях, уверял, что еще не все потеряно, в Верховном суде он добьется отмены статьи о взяточничестве: ведь по этой статье Сэм не признал себя виновным. А если отпадет статья о взяточничестве, то больше пяти лет суд не сможет дать при всем желании.

В бога Маргита не верила, поэтому молила судьбу, чтобы слова адвоката сбылись...

Спустя неделю к Маргите постучал человек средних лет. Довольно потертый, и лицо невыразительное. Человек сказал, что он друг Сэма, поинтересовался, нет ли от него известий, и выразил готовность помочь — в министерстве юстиции у него есть кое-какие знакомые. Маргита честно рассказала все, что знала, в том числе и про обыск, но заметила, что тот слушает невнимательно и не может на что-то решиться. Потом он предложил сходить в ресторан поужинать. Там можно спокойно уединиться и обсудить, как действовать дальше, когда от Сэма поступит какая-нибудь информация.

Сначала Маргита хотела отказаться, потом подумала, что этот деловой человек действительно может пригодиться и отказаться

ему было бы глупо. Он подождал в кухне, пока Маргита быстро переоделась, и они пошли.

Ресторан был второразрядный, без того шика, который присущ ночным барам, но несколько знакомых лиц Маргита заметила. Тем больше почувствовала она отсутствие Сэма — этот потерянный был ему не чета.

Один из бывших знакомых, поздоровавшись с Маргитой, подтолкнул соседа:

— Это что за охламон подцепил Сэмову вдову?

Второй лениво пожал плечами. Он начал свой загул еще днем и теперь томился: то ли пить дальше, то ли не пить. Официант из гостиницы для интуристов — ему нравилось в свободные дни, чтобы его обслуживали другие официанты.

— Сэмова вдова... Сэмова вдова... Это ты хорошо сказал! — и рассмеялся, представив, как завтра в «Интуристе» выдаст эту шуточку за свою.

Кличка Сэмова вдова прилипла к Маргите так, что и не оторвать.

Человек заказал по шницелю, попросил принести водки и нахмурился, узнав, что в буфете только коньяк, потом попытался Маргиту подпоить и долго оспаривал счет, наконец сунув его в карман. Так и не договорившись, как можно Сэму помочь, потому что сначала нужно получить от него хоть какое-нибудь известие.

Проводив Маргиту до трамвая, человек свернул в переулок и скоро очутился в грязной комнате, хозяин которой, высохший старичок с короткими, жесткими тюленьими усами, шмыгая носом, возместил ему половину ресторанных расходов.

— То ли она действительно ничего не знает, то ли продувная баба, — сказал гость.

— Я же говорил, что ничего из этого не выйдет. Из тюрьмы письмо прислать не так-то легко.

— Это ты мне не рассказывай! Если захочешь...

— А риск? Я бы рисковать не стал! Если девка не знает точного места... А если даже и знает! Как возьмется милиция да посулит конфетку, так и...

— Из этой ничего не встрясеешь. Еще та девка!

— Через несколько месяцев его в колонию отправят, можно бы и подождать, но худо другое! Если он не успел разделить, а упрятал в одном месте, то не решится никому доверить, чтобы не обчистили.

— Это уже не мое дело. Тут я голову ломать не буду. Пусть сам думает! Только успел он разделить. У девчонки за буфетом две тыщи нашли.

— Может быть, может быть! Пусть будет так! — Шмыгающий носом старик успокоился и прикрепил кнопкой выгоревший лоскут обоев.

Механизм волшебного ларца с двойным дном сработал безупречно...

ЯНВАРЬ

Перекосившаяся дверь сарая зависла на петлях, но через отверстия были видны прислоненные к стене, все в сухом навозе, доски и жерди, вероятно, служившие раньше стенками стойл.

Парень в сером свитере кинул жалкие дровишки, последние из выковыренных из-под снега, вцепился в дверь обеими руками и попытался ее открыть. Сухое дерево сработало, как пружина, его швырнуло вперед, но нижняя часть двери не шелохнулась. Носком лыжного ботинка он стал отбивать снег, но и это не помогло, так как низ двери просто вмерз в землю.

— Так его перетак... Что я ему, кочегар какой?

Подобрал кинутые поленца и уже хотел идти в дом, но передумал. Он-то за дровами не пойдет, это ясное дело. Самому же еще раз придется выбираться из теплой кухни, потому что принесенной охапки надолго не хватит — вся ночь впереди. Старый дом отсырел, только плита и отгоняет эту сырость.

— Вот барин на мою голову сыскался! — злобно проворчал парень. Он был слегка под хмельком, как почти все последние месяцы.

Взяв поленце покрепче, он принялся долбить промерзшую землю, но и оно, тоже трухлявое, переломилось, а дверь не подавалась.

Тогда он яростно трахнул в дверь подошвой, неожиданно пробил доски и ободрал лодыжку, правая нога застряла, а левая поскользнулась — и он упал. Но теперь дверь была открыта.

Присев на чурбан, рядом с которым лежал тупой, заржавелый топор на длинном топорище, он задрал штанину и сокрушенно посмотрел на ссадину. Кровь хоть и не бежит, но мелкие капельки все-таки выступили там, где кожа ободрана.

Парень тихо чертыхнулся, перевязал ссадину носовым платком, достал из-под свитера плоскую бутылку, которая оставалась там для всех незамеченной, морщась, отпил пару глотков, плотно закупорил и спрятал бутылку в угол сарая под старые доски толя.

— Пусть он меня обнюхивает...

Компаньон запретил ему брать с собой спиртное, но парень все равно для надежности прихватил. После того как Гвидо Лиекниса «сделали» и заперли, когда нервное напряжение спало, в самый раз было глотнуть. Он сказал, что пойдет еще раз проверить заколоченные окна, а на самом деле зашел за угол и приложился. Не могут все же быть такими, как он, который ходит будто машина и думает как машина.

Если пить по глоточку, то он ничего не заметит! К перегару пусть не вяжется, сам же велел выпить пару бутылок пива, когда послал в купе разговаривать с инженером. А если и учует, какое ему дело?! Да пошел он, знаешь куда! Нашелся мне начальник!

И тем не менее парень боялся. Он ни минуты не сомневался,

что наказание ему будет, только не знал, насколько суровое, и это заставляло его нервничать. Ничего, послезавтра все станет уже позади... Он обещал дать несколько тысяч авансом, а «товар» по своим каналам постепенно сбыть. Удивительно, что парню и в голову не приходило, что он может его надуть, хотя обычно, когда он брался за дело с кем-нибудь, эта мысль не давала спокойно спать, пока не получишь все до копейки...

Надо будет дернуть куда-нибудь на южный курорт, а там поглядим... Совсем с Ригой прощаться не хотелось бы, но надо понимать, что здесь не развернешься, хотя бы потому, что он не позволит. Но этот надзор ему уже опостылел, давно бы уже от него отказался, если бы имел другой выход.

Парень взял ржавый топор и принялся рубить доски от стойла. Трухлявые, ломаются, а не колются.

Вот ведь как получается. У тебя, может, денег в сто раз больше, чем у того, кто «Жигули» займы купил, а он все равно перед тобой в козырях, потому что может жить, где захочет. Ну нет, он еще шиканет, заведет себе заграничную машинку и как-нибудь прикатит в Ригу на пару денечков. Пусть поглядят те, сидя в своих «Волгах». Но парень понимал, что не сделает этого, опасаясь, что он сможет узнать об этой поездке.

Ах, как это он, которого парень сам же отыскал, сумел быстро нависнуть над ним, будто оберегая орлиными крыльями от бурь и гроз, а на самом деле зажав в тиски и не давая ни шелохнуться, ни пикнуть. Парень сам себя обманывал, внушая, что в удобный момент взбунтуется, но понимал, что ничего этого не будет, и от этого еще больше злился на себя. Никонец решил, что остается только смириться, сделал еще глоток и опять спрятал бутылку.

Нет, другой компаньон его бы даже не устраивал. Этот уникальный. И такого масштаба человек не может ходить ни у кого в подчинении.

Сколько встречаешь типов, у которых общее число лет, проведенных в заключении, уже за десяток перевалило, а похожих на него и близко нет. Один-единственный его властный взгляд на них действует успокаивающе, как милицкий патруль во время пьяной драки. Отсидеть сколько-то лет, разве это тебе диплом о большом уме? Чем хвастать-то? Скорей уж это говорит об окончательной и неизлечимой тупости. Ведь большинство за что сидит? А почти ни за что. Врезал по пьянке бабе по сусалам — и две зимы подряд хлебает баланду из алюминиевой миски. Заорал по-благному, нагадил в подъезде — и еще один срок глядит на побеленный изнутри забор. И так и идет: туда — обратно, обратно — туда. То кепку сорвал, то кладовку взломал или у соседей деньги на доставку брикетов выманил. Полжизни отсидел, а больше пятерки зараз в руках не держал! Или квартирные взломщики... Когда сложишь все, денег вроде бы куча, а кто из них больше года на воле провел и сколько на самом деле от барыг получил? В лучшем случае столько, чтобы по кабакам с девками помотаться. Нет, воровством еще никто денег

много не зашиб. Он исключение. Потому что у него совсем другой класс. Он и я с ним. У, черт, какую же мы деньгу отхватим, фантастика!..

Кончив колоть, парень всадил топор в чурбан. И тут услышал за стенкой всхлип. Удивленно пожал плечами и пошел поглядеть.

За коровником, привалившись к стене, стояла женщина и плакала. Заходящее солнце окрашивало снег на склоне в красный цвет, а дальше, внизу, бурлила и струилась река, перекачиваясь через валуны.

— Что с тобой?

— Не знаю, — покачала та головой и заплакала еще громче, почти в голос.

— Да не канючь, никто тебя облапошить не собирается!

— Отстань от меня! — вскрикнула она и еще раз повторила умоляюще: — Оставь меня в покое...

— Реветь ты и в сарае можешь, а не здесь, где вдруг какой-нибудь придурок лыжник проедет. — И, посмотрев на солнце, уже садящееся за горизонт, добавил: — Уж если он сказал, то все равно что в банке!

— Уйди, пожалуйста...

— Да кончай ты этот театр, стерва... А то... по морде отхватишь!

Он сердито обогнул сарайчик и исчез в проломанной двери, чтобы спустя минуту появиться с охапкой дров.

Человек у стола любопытства ради крутил в руках револьвер.

— Сколько ты патронов расстрелял? — спросил он.

— Когда пробовал?

— Угм.

— Да штук двадцать, — ответил парень, подкидывая в плиту. Он делал вид, что очень занят, и старался не дышать в сторону его. — Сначала я только ржавчину думал содрать, а уж там пошел... Ты знаешь, здорово бьет! Во дыра остается, палец можно засунуть!

— Красоточка там не замерзла?

— Да заявится, куда ей деться.

— У меня в рюкзаке котелок. Набей снегом и поставь на плиту. Чай заварим...

Кто-то, выходя на улицу, с силой хлопнул дверью, дом вздрогнул, и с потолка вновь посыпался песок. На этот раз уже не в одном месте, а несколько струек вдоль всей доски.

Гвидо перестал чертить и все приглядывался, пока струйки не иссякли. А может, лучше через чердак? Прислушавшись, не топчется ли кто за дверью, он влез на лежанку и надавил на доску, но та не шелохнулась. Тогда он снял с табурета чертежные принадлежности и надавил им потолок. Песок посыпался вновь, обильно, даже тогда, когда он опустил табурет. Да, без хорошего лома тут не обойтись — раньше большими гвоздями

приколачивали. А риск какой! Хотя еще неизвестно, станут ли в него стрелять, даже если поймают, очень уж он нужен бандитам. И Гвидо постарался во всех подробностях восстановить в памяти последний разговор, отыскивая там ответ на вопрос — застрелят или не застрелят его при попытке к бегству?

Чтобы показать, что он действительно углубился в работу, Гвидо постучал в дверь и осведомился насчет инструментов, которые будут в распоряжении взломщиков. Через дверь, разумеется, разговаривать было неудобно, поэтому его выпустили в кухню. Там находились только мужчины. Илоны не было видно, хотя Гвидо во время разговора не оставляло ощущение, что она где-то поблизости и слышит их. Может быть, в сенях. Раз даже показалось, что кто-то там переступает, и нейлоновая куртка зашуршала о стену.

— Инструменты? — переспросил старший. От него, как и раньше, веяло холодной рассудочностью, безжалостностью и подозрительностью. — Вы хотите пойти навстречу и разработать для нас весь план действий?

Гвидо и не подозревал, что вопрос можно повернуть и так. Он не собирался осчастливливать бандитов планом, но теперь, видимо, отступать уже было некуда. Да и какая разница? Все равно они потом спросят, как отключить сигнализацию центрального сейфа, так уж он, Гвидо, узнает о намерениях взломщиков побольше — лишняя информация никогда не повредит.

— Кроме того, я хочу обсудить условия...

— Гвидо Лиекнис, жадность вам не присуща, это мы хорошо знаем. И вообще мы о вас много знаем.

— Да какую бы сумму вы мне ни предложили, я бы не взял.

— Почему? — Молодой парень резко повернул голову.

— Ближайшие десять лет я не мог бы ею воспользоваться. В сейфе слишком крупные ценности, чтобы милиция скоро забyla об их исчезновении. А если будет парализована система сигнализации, автором которой частично являюсь я, то, разумеется, я окажусь в числе подозреваемых, и стоит мне истратить лишний рубль, как следователь уже будет тут как тут. А ведь рубль, он соблазняет своими возможностями...

— Можно только пожалеть, что вы не мой партнер. — С многозначительной насмешкой старший поглядел на парня. — Логика у вас больше, чем надо, а вот кое-кому ее очень недостает. Надеюсь, здравый смысл объединит нас. А если вам все же понадобится пара тыщинок, скажите, не стесняйтесь, мы охотно вам их предоставим.

— Я хочу только гарантии, что выберусь отсюда живым и невредимым!

— Вы не в такой ситуации, чтобы требовать каких-то гарантий.

— Но ведь я же могу начертить схему сигнализации неверно, так что вы еще не попадете во двор, как поднимется тревога.

— Не можете. Если вы так сделаете, мы просто перережем

вам глотку и спустим под лед, — спокойно, не повышая голоса, сказал старший.

— Но вы же не успеете проверить правильность схемы. Если бы вы знали, где заделаны провода, вам не надо было бы меня заманивать. Вы извините, но здравый смысл подсказывает и это!

— Мне эти долгие диспуты начинают надоедать. Вы довольно бесцеремонно тратите время, которое принадлежит не только вам, но и нам. Но чтобы вам было ясно ваше положение...

— Завтра вечером вы вернетесь с лыжным поездом как ни в чем не бывало. Мы вам это обещаем... — вмешался парень, но острый взгляд старшего тут же заставил его замолчать.

— Разумеется, если вы добросовестно выполните наши требования, — продолжал старший. — А что касается проверки... Ведь ваш заместитель Гибало тоже знает все о системе сигнализации, так ведь?

— Думаю, что да... — пробормотал Гвидо. — Практически должен...

— Его родственники живут подле Резекне?

— Брат и родители. Мы иногда ездим туда ловить рыбу...

— Да у них там нет телефона... Ночью ваш помощник Гибало получил телеграмму, что мать очень больна и к утреннему поезду его будет ждать машина... Я думаю... — и человек взглянул на часы, — что сейчас он уже начал вычерчивать план. Разница лишь та, что ваши условия немножко комфортабельнее. Теперь вы понимаете, что у нас будет возможность сравнить оба плана? Причем мы не будем выяснять, кто из вас соврал, а просто прикончим обоих. Подумайте, стоят ли эти жалкие минералы двух жизней! Теперь об инструментах... У нас будут бесшумные электросверла с победитовыми, а если понадобится, то и с алмазными фрезами. Практически они режут металл, как масло. Погодите, одна у нас с собой... — Старший повернулся к парню: — Достань в правом кармане рюкзака, покажи ему...

Это был довольно тонкий, но большого диаметра металлический диск из сплава, усеянный мелкими блестками. В центре ось, которую, видимо, зажимали в головке сверла. Диаметр большой, так что работать надо осторожно и умело, но проникнуть можно почти всюду.

— Остальное — отмычки. Это вас не может интересовать...

— Конечно, конечно, — ошеломленно ответил Гвидо.

— На фабрику мы отправимся восьмером: к сожалению, приходится считаться с возможностью, что придется отстреливаться. В таких делах всего никак нельзя предвидеть.

На миг промелькнуло сомнение — отстреливаться? Чем, если у вас только допотопный пистолет?

— Мы предстаем перед вами с открытым лицом, а не натянув на голову чулок с дырками для глаз. Поступаем так сознательно, чтобы вам было ясно — шутки шутить не приходится. Мы можем покинуть это место только в полной уверенности, что вы будете молчать. Живой или мертвый... В первом случае вас при-

нудит сам начерченный план ограбления центрального сейфа, во втором... Ну, хорошо, лучше не будем, но помнить об этом следует, это уводит от желания делать глупости. Не волнуйтесь, если утром вместо нас увидите других людей. Наш уговор остается в силе: они точно выполнят мои указания и освободят вас, чтобы вы успели на лыжный поезд. У вас есть время — ровно до половины десятого утра. Если захотите, то успеете!

Парень открыл дверь в комнату. Гвидо, чуть не шатаясь, вошел туда и упал на лежанку. Мысли о побеге оставили его.

Парень взглянул на старшего с восхищением. Тот самоуверенно усмехнулся — инженер Гвидо Лиекнис поверил ему.

Женщина, весь разговор простоявшая в сенях, вошла в кухню. У нее были красные заплаканные глаза.

«А она порядочнее, чем я думал», — с некоторым уважением заключил старший.

ВДОВА

Дочь Сэма держалась если не дружески, то, во всяком случае, товарищески. Это была молодая, хорошо одетая женщина с продолговатым лицом и светлыми, длинными, свободно падающими волосами. От нее веяло точно такой же стерильной чистотой, как и от Сэма: казалось, к подошвам ее туфель даже песчинки не пристало. Ни манерой разговора, ни как-нибудь еще она не давала понять, что разговаривает с любовницей своего отца. Они болтали о нем, как о хорошем общем приятеле.

— Глупо, конечно, но у них там такой порядок, что письма разрешают посылать только членам семьи.

— И я не могу ему писать?

— Там цензура. Ваше письмо отошлют обратно нераспечатанным.

— Как я хочу его видеть!

— И он мне то же самое сказал. Он о вас много думает. — И она украдкой обвела комнату таким женским взглядом, который готов уловить любую деталь, говорящую о присутствии здесь мужчины. Маргита уловила его и все поняла.

— Я живу одна, — сдержанно сказала Маргита, а в душе поднялась буря возмущения: «После него? Как она могла только подумать!»

На кухне засвистел чайник, и Маргита пошла варить кофе.

Дочь Сэма весьма философски относилась к пристрастию своего отца к прекрасному полу. Она не осуждала его, а все случившееся восприняла как факт. Ее удивляла сама Маргита — эту девушку она не могла понять. Так же как не раз уже удивлялась, что отец мог жениться на такой нетерпимой и невыносимой женщине, как ее мать.

Когда Маргита вернулась с чашками, гостя разглядывала фотографию на своем паспорте.

— Вам надо подсветить волосы, — сказала она. — Я при-

несу эту самую блузку, в которой снималась: она по фасону очень бросается в глаза. Хотя все это, конечно, лишнее: кто там особенно будет изучать фотографию. Вот возьмите!

Маргита положила паспорт в ящик буфета, под зеркало, и они стали пить кофе. Дочь Сэма рассказала ей, в какое окошечко надо стучать, что говорить и что примерно скажет охранник. Она была только на обычном свидании, а во время так называемого личного на двадцать четыре часа отводят в специальную комнату вроде гостиницы, где никто не мешает.

Маргита покраснела, опустила глаза и продолжала помещивать кофе, хотя сахар давно уже растаял. Дочь Сэма моментально перевела разговор все на ту же блузку, которую придется где-то немного ушить, а где-то выпустить...

Как она ждала этого свидания! Уже полгода прошло после суда, адвокат, конечно же, ничего не добился, только все твердил, что еще не все потеряно, что приговор обжалуется все выше и выше, в каждой инстанции. Маргита уже надоела ему своими частыми телефонными звонками и визитами в юридическую консультацию, где к нему стояла очередь других клиентов. Он уже потерял выдержку и вежливость, и при виде ее у него начинал дергаться глаз. Только в силу профессиональной этики он не мог сказать резко:

— Неужели вы не понимаете, что это уже конец, что мы ничего не добьемся!

...По ту сторону улицы из-за высокого зеленого забора виднелись старомодные строения с толстыми почерневшими, никогда не чищенными кирпичными стенами и маленькими, зарешеченными окошками. За первым забором был второй, почти такой же высокий, только побеленный.

Открылись ворота, и выехали грузовики с грудami пустых ящиков, свежие доски которых, казалось, еще пахли лесом.

У входа в проходное помещение переминалось несколько замкнутых, ушедших в себя женщин с набитыми авоськами. Ждали, когда у них примут передачу.

Время от времени в стене открывалось окошечко и после короткого разговора одну из женщин впускали.

«Я скажу ему то, что раньше стеснялась говорить! Я тебя люблю! Нет, не так! Нежнее... Я люблю тебя. Тебя, только тебя люблю! Нет, не так... Будто из песни взяла. Неужели сама от себя ничего не могу сказать...»

— Это не вас? — подтолкнула ее женщина, стоящая за Маргитой. Видимо, фамилию произносили уже несколько раз, так как из окошечка высунулась голова в форменной фуражке и крикнула во всю улицу:

— Райзенкова!

Маргита спохватилась и бросилась к окошку, сжав в руке документ.

— Райзенкова?

Только спокойно... Еще немножко распахнуть пальто, чтобы блузка была прямо перед глазами...

— Райзенкова — это моя мать, но ее не будет... Ее позавчера увезли в больницу...

— А вы кто?

— Дочь.

— Давайте паспорт! И проходите в комнату ожидания!

Квадратная комната, посредине стол в виде прилавка, за которым стоял немолодой человек с круглым, добродушным лицом, которое не мог сделать свирепым даже шрам. Он разговаривал с женщиной, вошедшей перед Маргитой. Перед ним были обычные хозяйственные весы с оцинкованным лотком на одной чашке и гири на другой. Взвесив принесенные продукты, он выложил их на стол, где лежали несколько дощечек, большой нож и стальные спицы.

— Ну, начальник... — заискивающе взмолилась женщина и попыталась подтолкнуть небольшой сверточек к уже свешенным продуктам, но мужчина сердито оттолкнул его.

— Нелзя! Для меня все они одинаковы!

Потом он ловко раскромсал колбасу на ломти и побросал их в пластмассовую корзинку, какими пользуются в магазинах самообслуживания.

— Передача? — не прерывая своих занятий, спросил он Маргиту, а видя ее растерянность, переспросил: — Передача или свидание?

— Свидание...

— Выгружайте, что в сумке, я сейчас проверю...

Из соседнего помещения вышел его сослуживец с паспортом Сэмовой дочери. Маргита узнала его по фиолетовой обложке.

Проверка продуктов заняла немного минут. Несколько укулов спицей в пачку масла, в батон хлеба, с банки консервов сорвали этикетку, чтобы посмотреть, нет ли под нею отверстия, через которое можно заменить содержимое.

— Есть ли у вас с собой деньги, медикаменты? Если есть, положите в эту корзинку, получите, когда будете уходить... Нет? Тогда сюда, в эту дверь.

Лязгнул двойной засов, приводимый в действие автоматически, скрипнули петли, в совершенно пустом, длинном коридоре отдались шаги.

— Вот сюда, налево!

В лицо ударил дневной свет, который показался сейчас таким ярким, что глаза сами зажмурились. Мощный дворик с небольшим, хорошо покрашенным домиком в углу, напоминающим коттедж.

Провожатый отпер дверь и вежливо пропустил Маргиту вперед. Она очутилась в кухне двухкомнатной коммунальной квартиры, где громко играл репродуктор, на сковородке шкворчала отбивная, в которую тыкал вилкой полуголый мужчина. Левой рукой он обнимал растрепанную женщину.

— Гм, — кашлянул провожатый, чтобы их с Маргитой наконец заметили.

Женщина, хихикнув, шмыгнула в одну из комнат и, видимо, уселась на кровать, так как громко звякнули пружины.

— Здравствуйте, начальник! — Мужчина остался на своем месте у плиты, и только тут Маргита заметила, что он наголо острижен, как призывник.

— Вот так, Жанис, соседи у тебя... Пожалуйста, в эту комнату. Сейчас я отца приведу, он еще на работе... До свидания!

— Спасибо, — пробормотала Маргита. Нервное напряжение совершенно притупило все ее чувства.

У Сэма не будет его красивых вьющихся волос — вот первое, о чем она подумала, прямо в пальто присаживаясь на край кровати. Наверняка без волос он будет смешным. Она не представляет себе Сэма без волос.

Последние недели, ожидая этого свидания, Маргита не думала ни о чем, кроме Сэма. Что бы она ни делала, где бы ни находилась, она все время в воображении проводила с Сэмом те сутки, которые ей будут отпущены. Иногда они виделись ей как сплошные демонические страсти, иногда — окрашенными нежностью и лиризмом. Она не могла остановиться ни на первом варианте, ни на втором. И решила, что предоставит выбрать самому Сэму.

Увидев на притолоке ключ, она подумала, что он, должно быть, от двери. Попробовала: да, действительно, изнутри можно закрыться. Она предусмотрительно оставила ключ в замке и повесила на вешалку пальто.

И вот Маргита услышала его голос в кухне: очевидно, Сэм поздоровался с человеком у плиты. Она повернулась к окну, по спине побежали мурашки, на глаза навернулись слезы, хотя она и старалась их сдерживать.

Скрипнула дверь... Он вошел... Ключ... Почему он не запирает дверь?

— Здравствуй, детка!

— Закрой дверь, милый... — шепнула Маргита.

— Да, да... — сказал Сэм и звякнул ключом.

Маргита повернулась и даже покачнулась, точно на всем бегу наскочила на какое-то препятствие. Эти развалины Карфагена не имели ничего общего с Сэмом. Ватник и хлопчатобумажные рабочие штаны со следами еды, которые оставляет обычно беспомощный человек, у которого трясутся руки. Вокруг шеи клетчатый изжеванный шарф. Черные старушечьи боты, из которых торчали серые портянки. Некогда холеные руки от небрежного мытья выглядели грязными, из ушей и носа торчали пучки волос, наголо остриженная голова была совершенно неправильной формы, губы дудочкой, глаза потухшие, тусклые. На лице — тупое равнодушие и чисто животное желание выжить. Сэм, родившийся с ордером на трехкомнатную квартиру в кармане, перед которым была широкая дорога, ведущая от вершины к вершине, очутившись в тарном цехе колонии с молотком в руке, в цехе, где надо сносить угрозы бригадира и пятиэтажный мат за невыполнение нормы, сразу сломался.

«Только бы он ко мне не подходил... Только бы не подходил!..»

Нет, не подошел. Опустившись на колени, он стал шарить под кроватью, нет ли там спрятанного микрофона. Потом, бормоча что-то про себя, стал ходить по диагонали из угла в угол. Напомнил, что Маргита должна быть ему благодарна, жаловался на глупость адвоката, выразил сомнение, что за шкафом у Маргиты было всего две тысячи: он хорошо помнит, что прятал там две с половиной. Он не упрекает ее, что она взяла оттуда перед обыском пятьсот рублей, но, принимая во внимание его теперешнее положение, должна бы их вернуть. Жаловался на друзей, которые бросили его в беде, и грозил, что все напишет о них следователю, если те не помогут. Видимо, только поэтому Сэм и хотел увидаться с Маргитой, чтобы передать эти угрозы.

Из уважения к «покойному» она потом позвонила кое-кому. Одни хихикали, другие просто бросали трубку, а третьи, и этих было довольно много, предлагали встретиться, вели в хороший ресторан, но с любовными предложениями не навязывались. Считая Маргиту доверенным лицом Сэма и его союзницей, они просто хотели перетащить ее на свою сторону.

Послушав Сэма, а это длилось довольно долго, Маргита соврала, что ей надо на работу. Сэм не возражал, только наказал, чтобы она не перепутала, кому звонить и кому что говорить.

Маргита отдала принесенные продукты, он быстро затолкал их под рубашу, и, даже не пожав друг другу руки, они расстались. Если бы на их свидании присутствовал кто-то третий, он увидел бы на лице ее ту же заботу, которая бывает у идолопоклонников, которые собирают покойника в дорогу, на тот свет, и поэтому дают с собой горсть зерна, необожженную глиняную кружку с водой и щепоть табаку.

Она не сожалела, что встретилась с Сэмом, которого любила, но тот Сэм умер, и она никогда не смешивала его — даже мысленно! — с тем жалким стариком, который вызывал у нее только такое же сочувствие, как и любой другой немощный человек.

После поездки к Сэму Маргита почувствовала себя еще более одинокой. Было грустно вспоминать время, проведенное в «их» обществе, вспоминать свой триумф первой дамы, заинтригованные взгляды, когда руководитель оркестра объявлял в микрофон:

— Этот танец наш ансамбль посвящает прекрасной Маргите!

Она знала, что за посвящение заплатил Сэм или еще кто-нибудь из их тогдашнего круга, и все же было приятно. Ведь и за подарки платят деньги, а разве от этого их любят меньше?

Маргита сознавала, что то время безвозвратно миновало, что с легкомысленных белых облаков надо возвращаться на прозаическую землю, но все медлила в ожидании какого-то чуда, хотя ничто его не предвещало.

Когда она раскрывала шкаф и взгляд ее падал на великолепные наряды, подступала тоска. Эти платья годились для ресторанов суперкласса, оперных премьер и торжественных юбилеев.

И было чувство, что все самое чудесное в жизни уже миновало, остался только горький осадок.

Маргита бросила учебу — у нее уже не было никаких обязательств перед Сэмом. От этого дни тянулись еще тоскливее и скучнее. Оставалось разве что томиться у телевизора. Ну чего она может добиться? Попросить у матери прощения и вернуться на окраину? Там ее считают «дамой полусвета» и, стало быть, начнут сокрушаться или просто отвернутся. Подружки решат, что она явилась соблазнять их мужей, подвыпившие юнцы сочтут вполне возможным стучаться по ночам в ее дверь, и матери будут пугать сыновей дурными болезнями, которые легко подхватить в эдаких случаях.

Даже если окраинное общество и смирится, то выслушивать их болтовню о порядочности и любви — о, если бы половина из них любила в жизни хоть раз! — тоже удовольствие маленькое.

Родственницы попытаются всучить в мужья какого-нибудь пьянчужку, который больше ни на что не пригоден, и будут гордиться своим благодеянием — нельзя же, чтобы бедняжка осталась век вдовой. Нет, на окраине она будет такой же одинокой, с той разницей, что здесь ей никто не мешает.

Для танцевальных вечеров она была уже старовата, на работе были в основном женщины, на улице никто за нею не шел, чтобы объясниться в любви, и в «Рекламном приложении» к газете «Ригас балс» только начали печатать предложения познакомиться. Она наверняка бы на них откликнулась, и кто-то получил бы преданную, мягкую, а со временем, может быть, и любящую жену.

Просто удивительно, как много людей знали, что Маргита была на свидании с Сэмом.

После звонков его бывшим друзьям ей было «дозволено» на несколько вечеров вернуться в роскошные залы с подтянутыми официантами. Сюда ее приводили те, кто чрезвычайно интересовался самочувствием Сэма и его планами на будущее. После обычно следовали обещания помочь ей, но только должно пройти какое-то время, чтобы можно было начать кампанию по организации помощи. Это были пустые векселя. Будь Маргита предпринимчивее, она постаралась бы заполучить себе лучше оплачиваемую работу или хотя бы поддержку наличными.

Появились люди издалека. И они много расспрашивали о процессе и о том, что Сэм сейчас сказал, на свидании. Приехал Валериан и прикинулся старым другом, но, всегда готовый следовать за любой юбкой, на Маргите даже взгляда долго не задерживал. Видимо, боялся Сэма. Просил Маргиту познакомить его с какой-нибудь подружкой, с которой можно было бы сократить время в Риге, — Лидка вышла замуж за парня из института гражданской авиации и вся ушла в семейную жизнь. После нескольких вечеров в ночном баре, где Валериан демонстрировал власть денег над вещами и обслуживающим персоналом, он сделал на прощание подарок к 8 Марта, хотя до него было еще

далеко. Когда дома Маргита достала из коробочки флакончик французских духов, она увидела под ним аккуратно сложенную сторублевую бумажку.

С месяц Маргита появлялась в ресторанах даже чаще, чем при Сэме, и вновь к ней были привлечены взгляды. Только взгляды эти и шепот за разными столиками были несколько другими:

— Вдова гуляет!

— Вдова дает жизни!

— Если так и дальше пойдет, она Сэма обчистит! Сколько, по-твоему, могло у нее остаться в чулке?

— Милиция ничего не нашла... Какие-то крохи...

— По меньшей мере с четырьмя нулями!

— Кто это знает!

На Маргиту смотрели и говорили о ней. Со временем слухи обросли реальными деталями, богатство ее стало очевидностью, которую не надо доказывать.

Перемена образа жизни, а в особенности разлившееся море слухов о ее богатстве встревожили стариканов из секты потерявших деньгопоклонников. Для паники еще не было оснований, но имеющуюся информацию следовало проанализировать. Прикинувшись дальними родственниками Сэма, которые готовы что-то заплатить, но только позже, когда дело удастся завершить благополучно, они поговорили с адвокатом. Поняв, что на солидный гонорар рассчитывать не придется, адвокат сказал, что он подумает. Возможно, на результат разговора подействовал не сам гонорар, а то обстоятельство, что все разговоры о деле Сэма адвокату уже осточертели — они напоминали ему о неспособности добиться смягчения приговора хотя бы на год. В глазах клиентов и коллег это чести ему не делало, он же по своему складу был честолюбив и только потому и взялся за это дело. Тогда он видел известные юридические возможности смягчить приговор, знал, что процесс будет долгий и что разговоров о нем в Риге будет много, а это казалось ему хорошей рекламой и могло сделать его популярным.

— Ну а как вообще Сэм себя чувствует? — осведомился старик с короткими и жесткими усами. — У него, говорят, была гражданская жена. Раз уж мы в такую даль ехали, может быть, можно ее навестить?

— Это уже ваше семейное дело — тут даже адвокат не может дать совета. — Я ее хорошо помню: эта девчонка каждый день сюда наведывалась.

— А теперь больше не приходит?

— Нет, вот уж месяц не показывалась и не звонила. Пожалуй, даже больше. Я советую вам обратиться к администрации колонии. Принимая во внимание, что вы приезжие, вам наверняка не откажут в свидании.

«Родственники» тут же засобирались и сердечно поблагодарили за советы.

По улице шли молча, угнетаемые мрачными предчувствиями.

Только войдя в грязную комнату старика с тюленьими усами, стали обсуждать сложившуюся ситуацию.

— А я тебе скажу, что эта девка — крупная стерва! Это точно, Желвак! — сказал гость, крутясь на скрипящем венском стуле, который в любую минуту мог под ним развалиться. Во время разговора он морщился, так как в комнате пахло головками копченой салаки, нестираным, пропотевшим постельным бельем и затхлой макулатурой. — Девка добила личное свидания, чмокнула старикашку, у того сердце растаяло — вот он и сказал, где денежки укрыв.

— Сэм не дурак!

— Ты не понимаешь, что там значит личное свидание!

Желвак шаркал возле стены, прикрепляя кнопками лохмотья обоев, и удивлялся, сколько этих кнопок приходится тратить — коробочка уже пустая.

— Обо всех он никогда не скажет! — возразил старик.

— Сходит к нему через полгода и остальные выманит! А за ум его я после этого суда и гроша больше не дам! Эта паршивка шляется по кабакам и мотает наши денежки!

— Да, а мы-то что можем сделать?

— Я такие номера с собой не дам проделывать! Я не прощу! Ты меня узнаешь!

— Надо бы подождать еще какое-то время...

— Желвак, ты стареешь! — И гость встал, собираясь уходить. Здесь же просто дышать нечем, а от этого старикашки никакой помощи не дождешься.

Словно подтверждая эту мысль, старик опустил на край вытертого дивана и сказал:

— Я полежу, что-то у меня сердце щемит...

Но как только гость удалился, старик вскочил и напялил пальто. У него уже был план действий, как спасти отданные Саму деньги и еще заполучить сверх того.

Сопя и отдуваясь, поднялся на верхний этаж дома, стоящего во дворе, и позвонил.

Открыл ему краснощекий человек в голубой рубашке с накладными карманами. Роста такого, что, стоя на пороге, он закрывал почти весь дверной проем. Лет ему можно было дать так двадцать пять. Погулявший и избалованный, он уже стал округляться, но, если распрямится, фигура еще вполне спортивная. Одевался он хорошо, даже старался выдержать стиль. Усы придавали его лицу некоторую суровость, но все равно не могли скрыть явного самодовольства.

— Чего тебе, Желвак, от меня понадобилось?

Вопрос звучал насмешливо и грубовато.

— Катя дома?

— Боишься ее, что ли?

— Ты отвечай, разговор серьезный есть.

Гундар пропустил старика и запер дверь.

Квартирка была небольшая, но удивительно чистая, вылизанная, каждая вещь на своем месте. На стенах висели вполне

приличные картины в позолоченных рамах и иконы. Шедевров среди них не было, но на сохранность пожаловаться они не могли. На серванте с выдвижными стеклами, где виднелись книги, стояли и кое-какие антикварные безделушки: подсвечники, резная китайская вазочка с цветами и гроздьями винограда, фаянсовая пивная кружка без крышки, юнхановский будильник с музыкой и треснутая хрустальная сахарница с серебряной отделкой и ручкой.

Желвак был приятно изумлен переменами, происшедшими в квартире. Последний раз он был здесь лет восемь назад, незадолго до смерти матери Гундара. Тогда квартира была запущена, вся в табачном дыму, пропахшая кислым пьяным духом. Вся округа знала эту квартиру как «монопольку», потому что после закрытия магазинов мать Гундара торговала водкой. Участковый не раз и не два штрафовал ее, даже возбудил уголовное дело, но ничего не помогло; то ли штрафы были маленькими, то ли вообще эта баба была несправима.

Семнадцати лет вернувшись из колонии для малолетних, куда он попал за взлом трамвайной кассы-автомата, Гундар спустил с лестницы своего очередного отчима и стал участвовать с матерью в ее коммерции, только клиентов подыскивал на улице у ресторанов. Мать лишь немножко всплакнула об утраченном муже, зато не могла нарадоваться на подросткового сына. Она была уже неизлечимо больна и вскоре после того умерла.

А Гундар принялся ремонтировать и отделывать квартиру, грязь в которой уже опостылела ему. Приметив эту бурную деятельность, участковый облегченно вздохнул и сделал вычерк в списке своих «подопечных» — Гундар не только работал, но и пообещал с осени поступить в вечернюю школу, но тут его призвали на военную службу.

Вернулся он вроде бы остепенившимся, и, возможно, рассказ был бы со счастливым концом, если бы по улицам вокруг не бродили его прежние дружки. И Гундар, самый сильный из них физически, любил проявлять свою власть над теми, кто от него зависел или был послабее. С детских лет он видел, как мать обходится с пьяницами. Она была неумолима, как скала, с теми, кто любил выпить в кредит. А перед сверхнастойчивыми просто захлопывала дверь.

На первом месте работы после армии Гундар продержался месяца три, на втором еще меньше, а потом поступал на работу только тогда, когда его предупреждали об ответственности за уклонение от общественно полезного труда.

Тогда водочные спекулянты, кружившие вокруг ресторана «Мельник» и его окрестностей, объединялись в небольшие группы, чтобы легче было увертываться от милиции, внимательно следившей за этим районом и часто бравшей за шиворот покупателей. Торговать в группе было удобней — один получает деньги, другой ведет к подворотне, третий подает бутылку, четвертый доставляет ее из надежного укрытия. Из-за этого разделения труда милиции трудно было собрать доказательства, но

тем не менее, дважды за один год заплатив штраф по полсотни рублей, Гундар решил сменить источник доходов.

Отношения преступных элементов с остальными членами общества анализируются, преступники всегда в центре внимания. Этого нельзя сказать о тех отбросах общества, которые — за редким исключением — никогда не дорастают до уровня настоящих преступников, но, к сожалению, и нормальными людьми — тоже за редкими исключениями — так и не становятся. У нас их стараются приобщить к труду, воспитывать при помощи товарищеских судов и лечить от алкоголизма. Кражи, совершаемые ими, обычно мелкие — до пятидесяти рублей, когда не возбуждают уголовное дело, так как любое расследование требует больших расходов.

В народе их зовут «синюшниками», так как они неприхотливы в выборе напитков и нередко пьют денатурат, отливающий синим цветом. Они не все на один манер: одни где-то работают, другие только подхалтуривают — пилят старухам дрова, а третьи могут лишь дотащиться до сборного пункта у магазина и уже давно живут милостью членов своей семьи. Но все они побираются, готовы подхватить то, что плохо лежит, и через пять минут «толкнуть» по дешевке. Как только выпьют и силенок прибавится, так и начинают шнырять по лестничным проемам, чердакам, подвалам, и только из-за них приходится нам покупать замки на дровяные сараи, втаскивать детские санки в дом и приглядывать за повешенными на дворе простынями. Их голубая мечта — заполучить в прокат телевизор и «толкнуть» его, но большинство довольствуются стиральной машиной.

Гундар среди них свой парень, многие еще помнили, как ходили по ночам за водкой к его матери в «монопольку». Он не задибал нос и не гнушался постоять за бутылкой пивка в компании, если случалось проходить мимо. Рослый и хорошо одетый, он выглядел среди них как бог. Покупал он только лучшее из того, что подвергывалось, расплачиваясь или деньгами, или крепленным портвейном.

Ему тащили развалившиеся кресла, которые он сам склеивал, обтягивал и нес в комиссионный магазин, старые медные ступки, которые он великолепно умел отчищать. В бросовые настольные лампы и люстры он вставлял новые провода и зарабатывал в десятикратном размере, потому что в моду опять начали входить вещи тридцатых годов. Сломанных и полусломанных люстр ему предлагали много, работы хватало — ведь всегда есть люди, которым нужен общепринятый стандарт, и люди, которые от этого стандарта бегут как от чумы и потому покупают все только в комиссионных магазинах. Одни выбрасывают, другие покупают, а Гундар, посредничая, снимал навар.

В подвале он устроил мастерскую, где на полках лежали груды деталей. В стилях он ничего не понимал, но умел из трех сломанных люстр сварганить одну целую, да такую сверкающую и соблазнительную, что покупатели просто вцеплялись в нее — из них тоже почти никто ничего не соображал в истории ис-

кусства, да им казалось, что это и не нужно, достаточно взглянуть на товарную бирку с ценой. В конце концов, если покупка не подойдет, можно отнести ее назад и получить почти столько же, если не больше.

Постепенно у Гундара появилась клиентура, которой не хотелось бегать по комиссионкам, но которая охотно вкладывала деньги в антикварные вещи, спекулируя на растущих ценах. Гундар не знал, что он сам для них находка, поскольку продает дешевле, чем они могут купить в другом месте. Знакомство началось с бронзовых ручек, которые «синюхи» за винишко откручивали от каких-то парадных дверей. Обдиранье старых домов, идущих на снос, было Клондайком для Гундара, так как оттуда для него тащили печные изразцы, декоративные кованые ставни и дубовые панели. Те, что сносили дома, обычно откладывали эти вещи для себя, чтобы потом увезти, но ночью появлялись «синюшники» и, понося тяжкий свой труд, волокли все Гундару. Склад при мастерской оказался тесноват, и пришлось оккупировать еще дровяник.

— Ну, Желвак, так от какого это ты не можешь товара избавиться и хочешь всучить его мне? — Гундар взял из корзиночки, стоящей на столе, кусочек пастилы и принялся со вкусом жевать. Гостю он не предложил.

— Есть одна девка.

— Ну?

— Девка при деньгах. Самое малое сорок косых.

— Тонн... Теперь говорят сорок тонн! — пробормотал Гундар, чтобы прийти в себя. Если для человека средней квалификации это такая сумма, которую тот может накопить, не евши, не пивши, не одевавшись и не ездивши на трамвае от колыбели до могилы, то для человека, который занимается старыми железяками, это тоже почти фантастика. Гундар даже о десяти тысячах никогда не мечтал, а тут вдруг предлагают сорок. Да давайте в придачу хоть старуху, которая уже лежит в морге! К сожалению, предлагает Желвак-тряпичник, а ему Гундар не очень-то верит, и он стал ждать второго пункта разговора, когда старый жмот попытается что-то выцыганить или заполучить почти даром, — ведь Гундар ни на миг не сомневался, что Желвак явился ради какой-то выгоды. Иначе просто не могло быть. И лицо Гундара оставалось равнодушным.

— Ты мне не веришь, — обиделся старик.

Гундар потребовал доказательств.

Старик ловко ухватил и сожрал кусок розовой пастилы и потребовал гарантии, что получит пять тысяч — Сэму он дал три, — если все дело завершится благополучно.

Гундар начал нервничать, почувствовав какое-то доверие к словам Желвака, но у него не было ни пяти, ни трех, ни двух тысяч, всего лишь сотни две оборотного капитала и массивный золотой перстень с монограммой. Перстень этот за бутерброд уступили бывшие дружки из колонии малолетних, которые стащили перстень с пальца у одного старика. Сначала Гундар ду-

мал его переплавить, потом решил, что он ему и самому подойдет. Людей с такими перстнями не больно-то много. Если доведется сидеть с одним из них за столом, тут уж точняк — как ни сиди, что ни делай, а перстень сам себя выказывает, поневоле на него смотрят, как на резного апостола на носу старинного корабля, можно потолковать, какой вес, фасон, где делал, вообще про цены на золото...

Желвак для начала потребовал перстень — Гундар грубо послал его в одно место, так как вежливо посылать могут только профессиональные дипломаты.

Хотя так и не смогли договориться о гарантиях, прок от разговора все же был: Гундар поверил, что Желвак приходил не просто потрепаться, а Желвак убедился, что Гундар готов участвовать в аванюре. Особенно после того, когда старик немножко раскрыл карты и рассказал, кто такой был Сэм и какое значение в его жизни имела Маргита.

Тут появилась Катя — хорошенькая, но ужасно стервозная баба, которую боялись все обитатели дома. Только у себя она была тихая и проворная, как мышка, потому что Гундар за малейшее неповиновение награждал ее звучной оплеухой.

...Маргиту купили на старомодный прием. Кто же нынче знакомится, посылая письма! Писавший признавался, что следовал за нею, чтобы разузнать адрес, хотя и понимал, что это неприлично, но иного выхода у него не было. Он предлагал Маргите встретиться у театра драмы. Это заинтересовало ее, но на свидание она все же не пошла, так как опять приехал кто-то, кто интересовался самочувствием Сэма, и повел ее в ночной бар. Там, между прочим, была новая программа ревю. Только немного неловко было, когда, принимаясь за шампиньоны, поданные в миниатюрных кастрюльках из нержавеющей стали, она представила парня, который сейчас, может быть, стоит на ветру и все надеется, что она придет.

— Осторожная, зараза! Ничего у тебя не получится! — шипел Желвак. — Будь у меня такие деньги, я бы тоже близко никого не подпускал! Нет, ты для такого дела грубый, неотесанный!

— Похоже, что придется жениться, — сказал Гундар, все еще не утративший самоуверенности. — Приду домой и отдам цветы Катюхе. Вот глаза вылупит!

Следующее письмо было короткое и мужественное, но в нем чувствовалась горечь. Он извинялся, что беспокоит еще раз, но больше этого не будет. И если ей не помешает что-нибудь исключительно важное, то он хотел бы все-таки встретиться в субботу.

Гундар пришел без цветов, но маленький букетик все же купил, когда они проходили мимо цветочных рядов. Еще не решив, как держаться с Маргитой, он чувствовал себя смущенно, и серые глаза его лучились детской простотой. И вообще, конечно, он выглядел очень простовато, хотя и старался быть галантным кавалером, но Маргита, прошедшая светскую школу с

Сэмом, сразу уловила, что парень вырос в семье, где все едят ложкой, что «спасибо» и «пожалуйста» ему внушили только в армии и сейчас эти слова в его речи казались лишними. Но парень очень старался, и это понравилось женщине. Кроме того, одна без Сэма она чувствовала себя неуверенно, понимая, что никому не нужна. Когда Маргита заметила перстень, Гундар смущенно пояснил: «На ювелирной фабрике работаю...» — и Маргита подумала, что свое дело он явно знает. На ювелирной фабрике он, конечно, не работал, но на другой же день побежал туда устраиваться жестянщиком второго разряда, и Маргита не могла поймать его на мелкой лжи.

Гундар решил вести себя очень скромно, так как материально независимые женщины любят диктовать свою волю. Провожая ее домой, он признался, что впервые увидел Маргиту в троллейбусе, что она ему страшно понравилась, но он так растерялся, что не смог слова вымолвить. А она вылезла и затерялась в толпе. Когда он опомнился, было уже поздно. Но спустя неделю счастье вновь улыбнулось ему — он опять увидел Маргиту. Не сообразив, что можно сказать женщине ни с того ни с сего, он следовал за ней до самого дома.

А потом они стали встречаться каждый день: обычно Гундар поджидал ее у ворот фабрики, и сослуживцы открыто восхищались рослым парнем, который, не стесняясь, целовал ее прямо на улице и на ходу обнимал за плечи.

Несмотря на то что Маргита узнала, что Гундар больше года провел в колонии для малолетних, а Катя собиралась устроить скандал из-за уведенного мужа, хотя и неофициального, два месяца до и после свадьбы были самыми счастливыми в жизни Маргиты. Рядом с нею был тактичный, бескорыстно любящий человек. Ей даже было стыдно, что она не может во всей полноте ответить на его чувства. После официальной регистрации в загсе даже мать частично простила ей грехи молодости.

— Ну, хоть машину-то она тебе пообещала подарить? «Жигули»? — спросил Желвак.

— Пока ничего не говорит.

— Ох, тертая!

Гарантии Гундара Желвака не особенно удовлетворяли, но барыш он все-таки с этого дела имел. Во-первых, за свою запущенную комнату, которая отошла Кате, Желвак взял аккуратненькую квартирку Гундара, во-вторых, распродав картины и прочие почти антикварные вещицы, Гундар наскреб полторы тысячи.

Чтобы побудить Маргиту вытащить кошель с большими деньгами, Гундар принялся отговаривать ее от устройства шикарной свадьбы, как будто она выражала подобное желание. Маргита согласилась, а он, дурень, истолковал это как послушание молодой жены. Даже свадебное платье было перешито из какого-то старого наряда, а он все еще верил в закрытое богатство, полагая, что такими вот маневрами отводятся всякие подозрения о его существовании. В запасе у него еще был ход, который

должен был сработать стопроцентно. Сначала, конечно, это даст только сотни, но мешок уже будет развязан, а там добраться до основного содержимого нехитрое искусство.

Вскоре после того, как Маргита забеременела, Гундар вернулся домой немного озабоченный. На работе у него предлагают две путевки в туристскую поездку вокруг Европы. Жалко, денег нет, а то потом жди второй раз такого случая. Пока малыш родится, пока подрастет... На другой день вернулся с работы улыбающийся, с целой кучей десятирублевков: продал свой перстень.

— Всего, дорогая, четырехсот не хватает, подумай, где бы мы могли наскрести!

Маргита съездила к матери, но вернулась ни с чем: то ли у матери действительно не было, то ли та полагала, что деньги, вложенные в столь легкомысленное дело, как поездка, назад легко не получишь.

И тут Гундар стал смутно догадываться, что его бессовестно надули.

Он кинулся к Желваку — тот клялся-божился, что не соврал, что надо еще подождать. Но Гундар ждать больше не хотел. Придя домой, он провел дознание, во время которого бил Маргиту с тем безжалостно-садистским наслаждением, которое свойственно только трусливым людям, когда они мстят за свои неудачи. После полуночи он уже знал биографию Маргиты до последних подробностей. И понял, что денег нет ни у нее, ни у Сэма.

Тем временем Сэм был вновь переведен в тюрьму, в следственную камеру. В прокуратуре получили анонимное письмо. В ходе проверки приведенных в нем фактов нити привели к нескольким уголовным делам, в которых Сэм фигурировал и как обвиняемый, и как свидетель. Но человек, который в комнате Желвака сказал: «Я этого не прощу! Ты меня еще узнаешь!» — большого удовлетворения не получил. Ввиду плохого состояния здоровья Сэму оставили ту же самую меру наказания, только из-за применения соответствующей статьи он лишился права на досрочное освобождение.

Новый приговор Сэм воспринял с полным равнодушием, характерным для людей психически неполноценных...

ЯНВАРЬ

Взгляды обоих мужчин устремились на вошедшую в кухню женщину, а та, будто не замечая этого, подошла к плите, на которой в алюминиевом котелке бурлила снежная вода, бросила туда горсть чаю и отставила в сторонку, чтобы чай настаивался, но не кипел.

— За дровами надо сходить, — сказал молодой и толкнул пистолет по столу в сторону старшего. Поднялся. Распрямившись во весь рост, он почти доставал до матицы, за которую

были заткнуты пучки разных трав. То ли во время переезда забыли о них, то ли в пору цветения набрали свежих и не хотели на новое место везти старые. Теперь стебли уже пересохли, и от малейшего прикосновения к ним сыпалась пыль.

— Да пока еще хватает, — скусающе сказал старший.

— Лучше сейчас сходить, чем потом впотьмах.

— Тогда не стой, иди.

На дворе уже смеркалось, лес подступил ближе, тяжелый и зловеющий. Где-то далеко залаяла собака, но тут же смолкла — холодно, наверно.

Старший смотрел через потемневшее окошко, как молодой бредет через двор к дровяному сараю.

«Значит, бутылка у него там спрятана, — подумал он. — То, что сейчас пьет, беда небольшая, пол-литра такому буйволу ерунда, пару часов поспит ночью, и все, но вот когда ухватит свою долю, тут за ним надо будет приглядывать, держать в узде. А как это сделать? Будем надеяться, что второй поллитры у него с собой нет. Нет, это уж точно нету». — Зная слабость парня, он, перед тем как вылезти из поезда, незаметно ощущал того, как это делают карманники с будущей жертвой.

Женщина заняла место парня в конце стола, накрыла его полотенцем и стала резать хлеб. Почувствовав пристальный взгляд, она на минуту оторвалась от своего дела и сказала:

— Если очень хотите, я сварю сардельки.

— В другой раз. Когда поедем на пикник.

Она заставила себя улыбнуться. В сарае трещали разбиваемые доски от стойла. Сгорая, они наполняли потом комнату резким запахом навоза.

«Опять у нее глаза красные... Все-таки он паскуда еще больше, чем я думал... Ну а что плакать, если любви уже нет?» — думал человек, чувствуя самую настоящую ревность, хотя никогда бы в этом себе не признался: ведь он лишь теоретически допускал, что подобное чувство может существовать.

А на самом деле он завидовал усатому парню еще с первого раза, когда увидел эту женщину.

Было это в зале суда. Женщина героически лгала, сама рискуя свободой, лишь бы спасти парня от тюрьмы — он был замешан в спекулятивных махинациях.

Уже тогда в главаре, который сидел сейчас в кухне покинутого дома, привалившись спиной к шкафу, проснулась зависть. Вот человек, у которого есть настоящий друг, а у него такого никогда не было. Даже матери не было.

Он уже давно верил в свое предопределение и ничего больше от жизни не ждал, как не ждет неоднократно отталкиваемый человек. Главную вину за свою незадавшуюся жизнь он готов был принять на себя, но часть-то все-таки приходилась на других.

Его преследовало чувство неполноценности, которое характерно для всех, кто долго пробыл в заключении. Работу им не дают, потому что не прописаны, а в общежитие не берут никого,

кто не работает на этом предприятии. Понять можно и коменданта общежития, который, молитвенно сложив руки, заклинает своего кадровика:

— Не берите вы этого каторжника! Найдите какой-нибудь предлог, чтобы отказать! Вспомните, был у нас уже один такой... Спер восемь одеял и сбежал, а потом порядочным людям нечем было одеваться, пока я новые не получил.

Кадровик вспоминает и этого, и еще того, который на работу приходил всего три или четыре раза, зато сразу же надо было писать длинную характеристику для суда, потому что он уже опять успел набедокурить. И почему именно ему надо рисковать, если за углом есть другой завод и там тоже требуются рабочие?

Так после освобождения его наказали еще раз. Отвержением. Одиночеством. Но человек стадное животное, он ищет себе стадо. И находит. Находит место среди таких же обоснованно или необоснованно отвергнутых. Нет, дружбы там не бывает, эти люди не созданы для дружбы, но он приобретает власть над ними и упивается их подчинением.

Освободившись в следующий раз, он вновь искал пути в большой мир, только их было найти еще труднее. И тогда он стал думать, что и большой мир такой же мусорный ящик, где друг на друга целый день скалят зубы и все шныряют, как прожорливые чайки, воюя из-за жалкого куска хлеба и гнилой салаки. И нечего удивляться, что он видел мир иным, чем он был в действительности, — из тюремного окна широкой панорамы не увидишь.

В заключении он много читал и, читая, прожил десятки жизней, но жизни эти были для него нереальными, выдуманными, схожими со снами. О жизни он слышал главным образом от своих сотоварищей по злосудиям, но это были не очень надежные слова, потому что им, хочешь не хочешь, приходилось говорить о жестокости, недоверии и предательстве.

— Как вы думаете, сколько это может протянуться? Кассационную жалобу я уже написал! — растерянно стал как-то спрашивать его в карантинной камере красивый парень Варпа, который только что чуть не заработал карцер, так как не хотел в тюремной бане остричь свои пышные волосы. Жертва обстоятельств и поспешного следствия, он был слишком хорошо одет для тюремной жизни, поэтому его соседи по камере начали его потихоньку раздевать, обкрадывать, выманивать или выпрашивать, кто на что был горазд, — шарф, перчатки и всякие мелочи, что были в карманах. Когда позднее парня угрозами хотели заставить поменять кожаную куртку на линялую синтетическую тряпку, человеку, который сидел сейчас в заброшенном сельском доме, стало его жаль, хотя жалость вообще-то ему была несвойственна и раньше он никогда ей не поддавался. Но Варпа выглядел слишком беззащитным, точно спустился к каннибалам с другой, благородной планеты.

— Брысь! — послышался окрик — и крысы тут же разбежа-

лись по углам и оттуда, посверкивая глазами, стали глядеть, что будет дальше.

Но этот его поступок нельзя было подать как проявление жалости, иначе он будет истолкован лишь как признак слабости, поэтому пришлось кожаную куртку надеть на себя. Дня через три Варпа ее получил обратно, но в этом маневре мародеры усмотрели уже высшую политику, недоступную их уму, и посему обходили парня стороной.

Только после нескольких месяцев, проведенных в колонии, парень смог оценить эту и позднее оказанную ему помощь и попытался выразить благодарность.

— Я уже домой собираюсь, — робко сказал Варпа, сознавая, что как-то неловко говорить о возвращении домой, когда собеседнику суждено провести здесь еще десять лет. — Когда освободитесь, приходите в гости, может быть, я смогу быть вам полезен. Вот, — и он протянул бумажку, — адрес и номер телефона.

— Да ладно, — усмехнулся человек. — У вас свои друзья, у меня свои.

Но парень чуть не силой воткнул ему бумажку в карман ватника, и человек пронес ее через годы как курьез, как экзотический сувенир, вся ценность которого лишь в необычности и связанном с ним воспоминании.

И все же после освобождения, когда он находился в неопределенном состоянии, без работы и без постоянного места жительства, когда его постепенно опять толкали в сторону колонии, он позвонил Варпе.

Правда, побуждением к звонку явилась другая причина: в квартиру Веселой Машки, где он временно обретался, вдруг провели телефон. Неделию назад во дворе видели людей, которые крепили по стенам какие-то провода, а однажды утром они явились в квартиру и поставили телефонный аппарат, который выглядел даже чересчур роскошно в большой комнате, хотя и был поставлен прямо на грязный пол — на покрытый коричневой нитроэмалевой краской дубовый паркет.

— Я же давно когда-то заявление подавала, — вспомнила Машка. — Весь дом писал, ну и я написала. Что я, хуже?

Так как все счета по квартплате и коммунальным услугам оплачивала ответственная съемщица, ее мать-пенсионерка, жившая совсем в другом месте, то вполне возможно, что она заплатила и за установку, и за аппарат.

— У моего батьки был телефон, — сказал Машкин муж Федя Тайный. — Только на работе.

Он приставил к стене маленький столик, поместил на него светло-желтый вэфовский аппарат, приложил трубку к уху, проверил, попискивает ли там, и стал искать по карманам номер, который ему дал кто-то, кто интересовался запасными частями для машины, но так и не нашел. Потом стал шуровать по карманам плаща и в выдвижном ящике большого стола, одновременно понося Машку и пытаясь свалить пропажу на нее.

Машка тоже захотела позвонить, но было некому. Тогда она взглянула в «Киноэкран» и набрала номер кассы кинотеатра «21 июля», который находился в пяти минутах ходьбы: можно ли достать сегодня на вечер билеты? На предпоследний сеанс еще были, и она погнала Федю, чтобы он взял два билета, потому что гость, или неизвестно как его лучше назвать, идти отказался: его что-то в сон клонит, так что он лучше ляжет.

Когда хозяева ушли, гость залез под рваное одеяло, пошуршал газетой и попытался уснуть, только не смог.

Деньги, заработанные в колонии, подходили к концу. Вчера он обошел последние строительные организации — только у них одних есть общежития, так как из-за нехватки рабочих рук, а это там было всегда, приходится набирать кадры, которые сами же потом именуют «лодырями», со всего света. На эти организации он и рассчитывал, когда освобождался, и вот оказалось, что напрасно. Как только там полистают трудовую книжку, так сразу лицо делается строгим и голос суровым. И если работу еще какую-то скрепя сердце предлагают, то уж в общежитии твердо отказывают. Что делать? Искать в провинции? Идти к прокурору: «Вот он я, делайте, что хотите!» Надо было скорее решать, сколько можно сидеть на шее у Машки с Федей. А как только кончатся деньги, на поиски работы придется махнуть рукой и ехать в Литву к своим друзьям. А там уж все дело в везении, сколько ему останется быть на свободе. Жалко, что из-за отсутствия прописки нельзя паспорт получить, с ним можно дольше кантоваться.

Как ни парадоксально это звучит, но свобода его не очень-то влекла. Столько лет он к ней стремился, как к спасению и избавлению от всех бед, но речь в этом случае шла скорее о божестве, которому молятся, чем о реальности. Он так много лет сознательной жизни провел в заключении, что фактически спрос больше с колонией, чем с внешним миром.

Во второй жизни, на воле, ему приходилось всему учиться заново, поскольку здесь ничего, кроме профессии, не годилось. Отталкиваемый в сторону, он все глубже уходил в себя, еще пытался войти в какую-то колею, но попытки эти были безуспешными. Незаметно для себя он стал ненавидеть всех членов общества, обвиняя их в своих несчастьях и утверждаясь в своем комплексе неполноценности.

И лишь там, где собирались ему подобные, его встречали с распростертыми объятиями, там он из преследуемого неудачника становился авторитетом и звездой первой величины. Но там нельзя заводить разговоры о честном труде и нравственной жизни. Разумеется, многим и там эти мысли приходят в голову, но они соблюдают приличия и никогда не высказывают их вслух. Свое воровское бессилие и страх перед наказанием они объясняют отсутствием подходящего случая, разговаривают на жаргоне и демонстрируют дурацкий форс перед милицией, которая наведывается в места их сборищ.

И все же время от времени кого-то приходилось оплакивать.

Чаще всего карманников, чье пребывание на свободе самое короткое, короче, чем разломщиков квартир и магазинов. Последние попадают главным образом из-за сулящих златые горы скупщиков краденого или наводчиков, которые сами ничем не рискуют, поэтому разнюхивают кое-как, зато долго рассказывают, как много и легко можно будет там добыть...

Человек в квартире Машки Веселой прошлепал к телефону, но все еще не мог решиться позвонить Варпе. Он уже готов был услышать: «Здесь больше не живет», «Простите, но я вас не помню!»

В трубке детский голосок сообщил, что папы сегодня вечером не будет, пусть позвонят завтра утром.

Детский голос всегда вызывает доверие и ощущение семейности. Охватило странное, давно забытое чувство.

«Я у него ничего просить не стану, просто скажу несколько слов по телефону, и все. Да и интересно узнать, как он живет. Он же никогда не был нашим, в колонию угодил сдуру, по недоразумению — есть такие, несколько лет отсидят, а так никогда нашими и не станут, выйдут за ворота, и ты уже точно знаешь, что сюда они уже не вернуться. А есть и такие, которые колонии в глаза не видали, а встретишься, поговоришь — свой. И никакого сомнения нет, что он в этих отдаленных местах еще побывает, и не раз».

Варпа женился, обзавелся детьми и был доволен жизнью. Он, разумеется, и слышать не хотел о разговоре лишь по телефону, завтра он на несколько дней уезжает в командировку, так что лучше всего встретиться сегодня же. Жена достала хорошей свининки, на всю квартиру пахнет отбивными, так что приезжай. Но обедать им пришлось вдвоем — супруге куда-то спешно надо было ехать. Судя по тому, что у жены, когда она здоровалась, взгляд был не очень любопытствующий, он понял — биография его здесь неизвестна, пожалуй, она даже не ведает, где они с ее мужем встречались. Те, кто знает, откуда он явился, смотрят пытливо, но осторожно, как на интересного, невиданного зверя, который в любой момент может ударить когтистой лапой и оставить на лице медленно заживающие царапины.

— Живу нормально... После экскурсии по стройкам за проволокой закончил два оставшихся курса института, — вспоминал с улыбкой Варпа. — Вечернее отделение. Работаем с женой проектировщиками, дослужился до старшего инженера... Влезали в долги, чтобы обзавестись всем необходимым, теперь расплатились, через год-другой, наверно, сможем машину купить... Если только решим, что она нам необходима... Мы ведь не охотники копить, тогда и жить не стоит, если каждую копейку высчитывать... Да, кстати, как у тебя с деньгами?

— Ничего, обхожусь.

— Если надо будет, не стесняйся...

— Я тут сижу на шее у старых знакомых... Хоть и говорят, что могу жить сколько надо, и от денег отказываются, но неудобно как-то.

— Погоди! — Варпа вышел в коридор к телефону и долго названивал, отыскивая какую-то женщину, но все неудачно.

— Думаю, что уладим, — сказал он, вернувшись. — Позвони, когда я приеду.

Вдохновленный благородной миссией, Варпа энергично взялся устраивать жизнь старого знакомого. То, чего не могли дать долгие хождения по стройконторам и унижения в отделах кадров, сделали два телефонных звонка и занимаемая должность. Вопрос с работой был решен успешно, отверженный стал грузчиком-экспедитором и даже послан был за счет организации на курсы водителей, чтобы после окончания их получить повышение. А вот с жильем было потруднее — действительно свободных мест в общежитии не было. Прописку еще можно проверить, а жилье никак. И Варпа стал уговаривать свою тетку, чтобы та сдала меньшую из своих двух комнат.

— У вас там столько старых и хороших вещей... Теперь они большие деньги стоят... Будет мужчина в доме, все же надежнее...

Уговаривая, Варпа вдруг сообразил, что он ничего про этого человека не знает, кроме того, что тот чуть ли не всю жизнь провел по тюрьмам. Тогда он ему почему-то помог, но, может быть, он и сам выкарабкался бы. Устройством на работу Варпа уже с лихвой с ним расплатился. А не вводит ли он его в соблазн?

Но тетка уже согласно кивнула, и отступить было некуда.

«Нет, он ничего не тронет, если я скажу, что я единственный наследник. Это все равно что меня самого обокрасть».

И все же по-настоящему Варпа успокоился, лишь когда увидел, как текла жизнь этого квартиранта в последующие месяцы. Но в поспешности действий упрекал себя по-прежнему. Оснований для этого было предостаточно — на улице изредка он встречал кого-нибудь из бывших сотоварищей по колонии, наружность и одежда которых показывали, что они совершенно опустелись. Он делал вид, что не замечает их не потому, что было жалко дать рубль-другой, а потому, что те, окончательно обнаглев, таскались бы за ним, чтобы заполучить еще. Могли даже фамильярно и громко, так, что оглядывались бы прохожие, называть должность и фамилию, чтобы поскорее добиться желаемого. Некоторым, кто был ему когда-то симпатичен, он пытался помочь, только помощь эта оборачивалась против него самого.

У большинства тех, кто попал в заключение случайно, судьба сложилась почти так же, как и у него. Вернувшись, они постарались вычеркнуть и забыть потерянные годы, работали, учились и, видимо, именно из-за сопротивления, которое им оказывали вначале, позднее заняли более высокие и лучше оплачиваемые должности, чем другие.

Человек, которому Варпа теперь старался помочь, не шел в сравнение с серой массой, этот был из элиты, такие должны иметь определенные моральные качества, чтобы среди серой массы выжить. И физическую силу, но эта уже играет второ-

степенную роль, потому что спать должен как сильный, так и слабый, а вот во сне-то с ним и могут посчитаться. Отличала его известная яркость ума, благодаря которой он разительно выделялся на общем фоне колонии.

Среди нормальных людей его высокомерно-презрительное поведение исчезало, так как это была лишь отработанная поза, создающая дистанцию между собой и прочими. Но вот обстоятельства изменились, человек этот пытается полностью перейти в другое общество, приспособиться к нему, а Варпе стало все больше казаться, что он переоценил этого человека. Возникло даже какое-то чувство разочарования, так как поддержка его исходила главным образом из эмоций, а не из подлинного анализа сущности человека. Эмоции вначале всплеснулись, как костер от брошенной в него сухой хвоя, и тут же опали пеплом. Да, конечно, переоценил. Человек, которого он устраивал в новой жизни, не выказывал ни малейшего стремления к знаниям, ни желания занять место получше, что Варпа считал необходимыми признаками характера. Он видел у постояльца только одну потрепанную общую тетрадь с лекциями, записанными на шоферских курсах, хотя за стеной у хозяйки пылилась огромная библиотека, где можно было найти все, что душе угодно. Но жилец предпочитал торчать целый вечер у телевизора, смотреть дурацкие и ненужные программы или валяться на диване, курить и глядеть в потолок, чем читать Голсуорси или Бальзака. Все пепельницы в его комнате были полны окурками, казалось, даже штукатурка пропиталась никотиновым дымом. Так как друзей у него не было, раз или два в неделю он заглядывал к своему благодетелю, но уже в четвертый или пятый приход, когда тема воспоминаний была исчерпана, им не о чем было говорить — ведь чтобы разговаривать, нужна хоть какая-то общность интересов. Они уже томились друг с другом.

Наконец жена Варпы не выдержала:

— Вы меня простите, но он вам, наверное, никогда сам не скажет...

Хозяин еще не вернулся с работы. Гость молча встал и вышел. Снаружи его поджидал большой, торопливый и равнодушный город, который придуман, чтобы отчуждать людей. Как он не мог сообразить, что в рай попадают только по особым пропускам?

В кармане у него было два письма. Он откликнулся на объявление в «Рекламном приложении». В первой квартире ему открыл парень лет семнадцати, который понимающе ухмыльнулся. Дальше можно было не идти. По второму адресу его встретила симпатичная женщина. Они пили чай с печеньем, долго говорили о жизни, но женщина все время пыталась повернуть разговор так, чтобы выяснить, не страдает ли он запоями и не было ли у него в роду наследственных болезней. Она хотела иметь здорового ребенка, и чтобы этот ребенок развивался

гармонично. Во имя него она готова терпеть неудобства, которые доставляет в квартире чужой мужчина.

Приходили и другие письма, но он их даже не вскрывал, так как в это время уже увидел ту, которая готова была всем пожертвовать ради своего мужа. Иную он уже для себя не хотел...

— Сколько нам на каждого придется? — деловито спросила женщина, продолжая резать хлеб и раскладывать на расстеленное полотенце. Казалось, ее сейчас интересует только качество бутербродов и размер предполагаемой суммы, хотя в действительности вопрос был лишь обманным движением, как в боксе, чтобы отвлечь внимание противника. Но противник на сей раз представлялся ей необычайно сильным, и она опасалась, что он может даже по лицу прочитать ее намерения.

— Не знаю... Много... Я об этом не думал... — Эта деловитость его неприятно поразила.

— Но сколько?

— Право, не знаю.

Женщина молча стала раскладывать на ломтики хлеба сыр и нарезанные яйца, потом вновь спросила:

— Для него тоже сделать? — И кивнула на дверь в комнату.

— Обойдется, не помрет, — зло ответил человек.

К этому времени инженер Гвидо Лиекнис уже понял, что иного выхода нет, — остается начертить детальный план второго этажа фабрики ювелирных изделий с сигнализационным устройством центрального сейфа. Он еще не совсем сдался, но сидеть сложа руки было бы неразумно. Зачем преждевременно вызывать огонь на себя?

Караандаш легко и привычно бегал по гладкой почтовой бумаге. По обе стороны коридора начали выстраиваться кабинеты, производственные и подсобные помещения.

Работа шла хорошо, заминка произошла лишь тогда, когда инженер вспомнил об одном охраннике, который по ночам дежурит у двери и просматривает весь коридор в длину. Сколько Лиекнис помнит, всегда дежурит один и тот же — уже пожилой, с простоватым лицом, вечно или порезанный во время бритья, или с оставленными пучками рыже-седых волос. Мундир всегда измят и запачкан, только галуны на погонах сверкают. По государственным праздникам прицепляет медальки, и те не очень броские, как и вся его внешность. Вечно жует бутерброды с килькой, а поев, идет к автомату с газированной водой. Хотя стакан моет старательно, запах кильки остается, и каждый раз, когда пьешь после него, с души воротит, чуть стакан не грохнешь. Потом старикан обзавелся алюминиевой кружкой и пил газировку из нее. Пост этот ему назначили, надо думать, из жалости, чтобы мог дотянуть до пенсии.

И вот получается, что из-за этого несуразного человека взломщикам невозможно пересечь коридор незамеченными.

— Придется дать ему по затылку, если я ничего лучше не

смогу придумать, — криво усмехнулся Гвидо Лиекнис, продолжая вычерчивать помещения. Проблему прохода через коридор он оставил на потом...

ВДОВА

Четыре проведенные с Гундаром месяца не могли пройти бесследно. Маргита даже и мысли не допускала, что на самом деле ее не любили, а любовь эту разыгрывали, как в театре. Перед тем как идти в загс, она хотела откровенно рассказать все о своих отношениях с Сэмом, но Гундар не дал ей говорить, сказав, что прошлое его не интересует, что лучше его не знать и не ворошить. Маргита приписала это благородству Гундара и с готовностью согласилась, так как, говоря о Сэме, ей пришлось бы пользоваться словом «любовь».

Но вот Гундар услышал о Сэме от других, и наверняка со всякими гнусными добавлениями. Чтобы искупить свою вину, она старалась быть внимательной и послушной и не предъявляла никаких прав. Гундар мог всю ночь где-то гулять, но она была благодарна, что он вообще утром приходит домой. Гундар не давал ни рубля на хозяйство, но она была благодарна, что он приходит и садится за стол. И только когда он потребовал, чтобы она сделала аборт, она пыталась воспротивиться, но он тут же сломил этот протест.

Такая жизнь Гундара в общем-то устраивала, и он готов был ее продолжать, пока не подвернется вариант получше.

Если он сразу не выбросил Маргиту на улицу, то только потому, что она была тогда в положении и это вызвало бы большие осложнения: еще, того гляди, родила бы, и тогда его, Гундара, стали бы донимать исполнительными листами за неуплату алиментов, пришлось бы судиться из-за жилплощади и всякое такое. И не пожалел, потому что его кормили, как быка, в постели с нею было тепло, а если Маргита пыталась в чем-то возражать, он тут же обзывал ее содержанкой, шлюхой и последней дешевкой, а иногда мог и врезать хорошенько, но чтобы синяков не оставалось.

Мечта заполучить большой куш развеялась — жалко, конечно, но поскольку он не отличался широким полетом мысли и потребности его не выходили за рамки хорошей гульбы, то он смирился. Иной раз во хмелю даже пытался себя убедить, что он в выигрыше, так как вся зарплата остается себе, а будь у Маргиты большой кошелек с деньгами, она бы заставила его плясать под свою дудку, а этого ему совсем не хотелось.

Как только кончился условленный срок, Гундар отправился к Желваку за своими деньгами. Он аккуратно выписал на бумажке, что ему полагается получить: деньги за проданные картины, компенсацию за утраченную мастерскую и потери на обмене квартиры — сто пятьдесят рублей за квадратный метр. Если все пойдет нормально, Желваку придется выложить четыре

тысячи. Глядя на эту сумму, Гундар чувствовал, как тепло становится на душе, — таких денег у него еще не было, и он даже не надеялся, что будут. Разумеется, Желвака придется прижать, но на стороне Гундара было физическое и моральное превосходство. Если не получится, достанет из кармана нож и начнет потрошить Желваков диван и подушки: авось там что-нибудь найдется. А не там, так еще где-нибудь, потому что Желвак деньги в сберкассе не держит.

Поднимаясь по лестнице, Гундар встретил соседку, они учтиво обменялись приветствиями и продолжали каждый свой путь, но ему показалось, что на лице женщины что-то мелькнуло.

Причину он понял позднее, когда подошел к двери, — квартира Желвака была опечатана. От косяка на дверь наклеены две полоски бумаги с печатью.

Он еще не мог понять, то ли Желвак умер, то ли арестован, но бумажки сказали ему главное — все потеряно. Опомнившись, он принялся колотить в соседние квартиры, но никто не мог ничего связно рассказать, так как произошло это тогда, когда все были на работе. Наконец отыскалась тетушка из дома, выходящего на улицу, к которой врач из «Скорой помощи» заходил звонить, чтобы выслали машину за трупом и отвезли его в морг.

Старушка оказалась словоохотливой. Она даже вспомнила, когда Желвак умер, как он в рубашке, черной, будто земля, упал на пороге своей квартиры и неизвестно, сколько там пролежал. Когда приехала «скорая», оказалось, уже преставился.

Произошло это недели три назад, и теперь Желвак спал в сырой земле.

Гундар слушал, скрипел зубами и вначале думал, что его намеренно дразнят.

— Когда увезли покойника, приехала дезинфекция и так все там опрыскала, что кошки два дня не могли на лестницу выходить. Домоуправление описало имущество, потом появились какие-то наследники и под железом перед плитой нашли какие-то деньги...

Гундар охнул и кинулся бежать — больше ему здесь делать было нечего.

— Ух как я набью морду этой стерве! Ух как я ее отвоюю!..

Сослуживицы Маргиты были люди тактичные и не считали вправе вмешиваться в чужую семейную жизнь. Только начальница как-то, когда Маргиты не было, озабоченно сказала:

— Я бы на ее месте развелась.

— Чтобы этому прохвосту квартиры досталась?

— И такого зверя можно любить!..

— Просто не знаю, как бы мы могли ей помочь. Не будем больше об этом...

Беда налетает, как реактивный самолет, — быстро и бесшумно, звука не слышно, даже когда истребитель или бомбардировщик уже над головой. И поэтому, как и летательные аппараты, несчастья приходят целой эскадрилей.

Работу на стройке Гундар, конечно же, не считал ни испол-

нением житейских мечтаний, ни средством как-то материально себя обеспечить. Только потому, что строительство подходило к концу и деньги там платили действительно хорошие, он еще держался. По разработанному им для себя кодексу он считал, что работать нужно, чтобы участковый не лез, а вот деньги зарабатывать следует совсем иными путями. И если Гундар не пустился сразу в какую-нибудь спекуляцию, то лишь потому, что не знал, за что ему взяться. Торговать по ночам водкой — это мальчишество, да и компания у «мельника» давно сменилась и вряд ли достаточно одного звания ветерана, чтобы отеснить конкурентов.

И тут ему предложили место грузчика на пункте приема стеклотары, сказав, что две десятки в день гарантированы. Он поехал по указанному адресу. Угрюмая очередь с авоськами, портфелями и мешками тащилась в подвал. За узким окошечком приемщика мелькал туда-сюда парень в рубашке «сафари» и золотым крестиком на шее. Он выстраивал бутылки, пересчитывал, щелкал счетами, выдавал деньги, зубоскалил, огрызался, а другой — в окошечке лишь мелькали его руки — хватал эти бутылки, чтобы клиент не успел спохватиться, — и глядишь, уже лишний гривенник скатывался в общую кассу приемщика, которую вечером делили на всех.

Как раз начинался обеденный перерыв, очередь выгнали на двор и закрыли дверь. Третий парень, такой квадратной формы, что наверняка раньше занимался поднятием тяжестей, выстраивавший штабеля полных корзин с бутылками, понимающе оглядел фигуру Гундара.

— Тебе хорошо, везде можешь кидать, подтягиваться не надо!

Он отер пот, так и струившийся по его лицу, хотя подстрижен был совсем коротко. Мокрая рубаха прилипла не только под мышками, но и к спине.

— Тут уж вкалывать надо дай бог как, а не кантоваться, зато две красненькие в депь ни один слесарюга на фабрике не выколотит... Да еще зарплата идет...

Он был заинтересован заполучить себе сменщика, так как самому ему обещали место заведующего на другом пункте.

Двое остальных упали на ящики от усталости, даже зубоскал в «сафари», казалось, слова больше не мог вымолвить. Наконец он пробормотал:

— Вообще-то ничего, вот только когда машину нагружать...

Жарко, душно, пахнет как в отхожем месте плохой пивнушки.

«Да пошли вы с вашими красненькими, не собираюсь я уродоваться! — подумал Гундар, уходя. — Поищите другого придурка!»

С ностальгией, свойственной человеку, который, оторвавшись от родины, вспоминает росистые луга детства, Гундар вспоминал мастерскую в подвале, шлифовальный круг и разный хлам, который тащили ему несчастные алкаши. Он понимал, что они

перлись через весь город не для того, чтобы встретиться с ним: деньги на вино им были нужны сразу, незамедлительно.

Места сборищ не изменились, его встретили восторженно. Когда поставленное угощение было выпито, языки развязались, и старые знакомые принялись излагать все как есть. Оказалось, появился новый скупщик, который не только использовал все введенные Гундаром приемы, но даже ввел усовершенствования. Это была та самая стервозная баба — Катя. Она ухитрилась выйти замуж, но за мужика, которого лупила сама, раскатывала в его антикварной «Победе», которая дребезжит, как консервная банка, когда ее пустишь по булыжнику, строит из себя даму в своей дешевой нейлоновой шубейке и покупает все, что тянут ей алкаши. Даже те бабские мелочишки, от которых Гундар, ничего в них не смысля, раньше отказывался. Нет, собутыльнички клялись, что не забыли Гундара, что все самое лучшее и ценное они будут доставлять ему, как и прежде, и он не сомневался, что клятвы эти исходят от чистого сердца, но в то же время знал, что исполнить свои обещания не смогут: ведь жажда настолько же больше, насколько больше число километров, разделяющих их.

— Проклятый Желвак и эта стерва Маргита!

Но ведь недаром сказано: кто ищет, тот находит. Нечаянно он встретил товарища по колонии, у которого приобрел перстень. Наружность того говорила, что он преуспевает, вот только лицо от веселой жизни стало грязно-желтым. Вспоминая проведенное в исправительном заведении время, они завернули в ближайшее кафе, где приятель щедро расплатился с официанткой. Не желая признаваться, что он выбитый из седла неудачник, Гундар рассказал, что покупает, переделывает и потом вновь продает люстры, и так насобачился, что может из ничего сделать что-то, а дураки берут, с руками берут.

— Язык держать умеешь? — спросил приятель.

— Век свободы не видать!

— Тогда поехали!

Такси привезло их к дому на окраине, где во дворе стояло несколько гаражей. Приятель ушел и скоро вернулся с ключами.

Гараж оказался довольно просторный. Протиснувшись мимо грязной машины «Жигули», они попали в большое, но захлащенное пространство, часть которого занимали массивный стол, грубо сколоченный верстак с тисками, полки со старыми автомобильными деталями и стоящие у стены старые покрышки.

Под столом лежало что-то прикрытое замасленными тряпками. Когда их сняли, появилась чудесная позолоченная бронзовая люстра прошлого века и примерно той же эпохи пятисвечники, покрытые воском.

— Можешь получить, только с условием, чтобы в Риге это не толкать.

— Темное?

— Нет, валялось, подобрал.

— Люстру ремонтировать надо.

— Ты мне мозги не пудри, говори, сколько даешь!

— Да сразу трудно сказать.

— Две!

У Гундара заколотилось сердце — с первого взгляда видно, что стоит это вдвое дороже. Но дома у него были только деньги за удачно проданный перстень — немножко больше тысячи, а начать торговаться, приятель еще может обидеться и прекратит разговор.

— Цена нормальная, только все сразу не могу взять. Я тут неделю назад вложил деньги в одно дело, надо подождать, когда навар вернется.

— Сколько можешь сейчас выложить?

— Косую. Вторую через неделю-две.

— Н-ну... Я один не могу решить.

Приятель опять ушел и вернулся с мужчиной лет пятидесяти. Видик у него был не очень ухоженный, с утра не бритый, но обращался он к Гундару исключительно на «вы» и все время вставлял всякие словечки вроде: «как вам известно», «сами понимаете», «ситуация», «конкретно» и «решающе»...

Потом люстру разобрали и вместе с канделябрами положили в багажник, чтобы отвезти на квартиру Маргиты. Мужчина сел за руль, а приятель на прощание сказал:

— Со второй тыщей не тяни, а то можем обидеться.

«Из какого же это древнего закоулка сперли такие вещицы, если на подсвечниках еще воск, а не стеарин? — размышлял Гундар, отваривая канделябры в бельевом котле. — Музейный фонд?»

Когда вода остыла, на поверхности ее загустел слой воска, который легко можно было снять и начать следующую операцию.

После тщательной промывки, просушки и отчистки скипидаром и нашатырем позолота засверкала. Гундар стал соображать, что же делать дальше. Наказ не сбывать вещи в Риге заставил его предпринять еще несколько шагов предосторожности: а что, если все это немного переделать?

Вначале люстра предназначалась для свечей, а Эдисон хоть родился, но до появления электрических лампочек еще должно было пройти несколько десятилетий. В центре люстры находился бронзовый шар размером с арбуз, от которого, как щупальца осьминога, отходили в разные стороны опоры подсвечников. Шар висел на массивной цепи, место соединения украшал двуглавый орел — символ рухнувшей империи.

Специалист назвал бы эту люстру точной копией голландского светильника семнадцатого века. Позднее, в век электричества, свечи были заменены искусственными, куда ввинчивались продолговатые лампочки. Из-за монолитной отливки подсвечников изолированные провода замаскировать было невозможно, поэтому их позолотили, чтобы не очень бросались в глаза, и просто примотали.

Прежде всего Гундар устранил все, что говорило о том, что

люстра когда-либо имела отношение к электричеству, потом отломал двуглавого орла и наконец гнезда для свечей вместе с блюдцами поменял на гнезда и блюдца от канделябров. Для этого пришлось сделать новую нарезку, канделябры теперь выглядели более грузными и неуклюжими, зато маловероятно, что бывшие владельцы их узнают. Не признают их и оценщики в комиссионных, которым, возможно, уже представлены описания или фотографии украденных предметов. Лучше всего канделябры продать по одному в разных городах, но по отдельности они стоят куда дешевле, чем в паре. Наконец Гундар решил, что будет достаточно, если он люстру и канделябры продаст в разных географических точках.

Уложив канделябры в автоматическую камеру хранения на Рижском вокзале столицы, он с разобранной люстрой в двух чемоданах спустился в метро.

Время работы комиссионного магазина еще не наступило, а возле двери уже стояло несколько человек, и Гундар занял очередь за старушкой с мраморным мопсом. Хотя он и был уверен, что засыпаться не может, самочувствие его нельзя было назвать даже удовлетворительным. Трусоватый по натуре, в этом большом городе и среди чужих людей он чувствовал себя совершенно беззащитным и беспомощным.

Присев на скамью и раскрыв чемодан, он стал с помощью разводного ключа и плоскогубцев монтировать люстру. Нагнувшись, доставал в чемодане нужную деталь, прикручивал, отыскивал следующую. И вдруг увидел между чемоданами носки ботинок, направленные к нему.

Перед ним стоял человек в темном простом плаще с невыразительным лицом.

Ловко приподняв носок правого ботинка, человек постучал по крышке чемодана и сказал!

— Выйдем поговорить!

И направился к двери, которая, вероятно, была запасным выходом.

У Гундара коленки тряслись, когда он поднимался со скамьи.

Двор был большой и чистый. Ветер гонял по асфальту песок и бумажки.

— Откуда? — теперь человек заговорил уже вполне дружелюбно.

— Из Прибалтики, — пробормотал Гундар, все еще соображая, то ли имеет дело с работником милиции, то ли с перекупщиком, которые всегда крутятся возле комиссионков.

— Мне нравятся твои железки.

— В наследство достались, а потолки низкие, некуда повесить... У вас цены повыше.

— А что толку, если покупателей нет! Я еще в прошлом году дрезденский фарфор сдал, скоро год уже пылится на полке. Не сезон... — Это столица цену сбивает, но ведь провинция тоже маневр понимает.

— А мне торопиться некуда... Все равно раньше будущего

квартира другую командировку не дадут... А там поглядим...

Сделку оформили в другом месте, далеко от комиссионного магазина. В загаженном голубыми помещении, освещенном крохотными окошками, все детали люстры были внимательно осмотрены, тщательно проверены деньги. После этого тяжелые чемоданы тащил уже владелец.

Разумеется, в комиссионном Гундар получил бы больше, но надо было вновь таскаться по Москве, да и в архиве наверняка остались бы паспортные данные и адрес.

Похоже, что сделка устроила обе стороны.

— Мне иногда кое-что попадается, могу привезти... — предложил Гундар, надеясь, что покупатель даст свои координаты или телефон, но тот был человек осторожный. Пусть с утра приезжает прямо в комиссионный, в очередь, а там он сам Гундара найдет.

Они уже простились, когда рижанин обмолвился:

— Канделябры у меня есть хорошенькие...

— Дома?

— Нет, здесь, в Москве.

— Тоже нельзя повесить, потолки низкие? — усмехнулся покупатель. Он почувствовал, что его провели. Сочтя Гундара за мелкого жулика, которому люстра досталась случайно и который всего лишь надеялся выгадать разницу между ценами в Риге и в Москве, он долго не торговался. Две сотни псу под хвост! Он с удовольствием послал бы Гундара подальше, но именно канделябры просил его достать один денежный человек, который только что выложил у себя в гостиной камин.

Подавив возмущение, человек со скучающим лицом остановил такси, и они поехали на Рижский вокзал.

Увидев канделябры, покупатель понял все. Он был тертый перекупщик антиквариата, годами крутился у магазинов, десятки раз писал объяснения в кабинете следователя. От него не ускользнуло, что гнезда и блюдца другого стиля, что они обменены с люстрой, и понял, зачем это сделано. Поэтому назвал смехотворно маленькую сумму, и лишь когда Гундар собирался разговор прервать, накинул немного. И на эту цену Гундар никогда бы не согласился, если бы не ~~лень~~ было ехать в Ленинград и искать покупателя там. Кроме того, он надеялся, что уж теперь-то войдет в доверие и больше не придется прибегать к комиссионкам, что сопряжено с нежелательными последствиями.

— Я думаю, вам самому было бы удобнее дать мне свой адрес...

— Да! Да! Конечно! — быстро согласился покупатель и продиктовал семизначный телефонный номер. — Попросите Вячеслава Львовича...

И, быстро простившись, уехал, а Гундар отправился обедать и бродить по магазинам, так как до вечернего поезда времени оставалось еще много.

Телефон был придуманный. И никакой он не Вячеслав Льво-

вич, и Гундара он видеть больше не хотел. Жизнь научила его, что воры в конце концов попадают и тогда тянут за собой и скупщиков. И он решил несколько месяцев ходить по другим комиссионкам.

В приятном расположении духа Гундар лениво прошелся по проспекту Калинина и Арбату, заходил в магазины, хотя покупать ничего не собирался. Разве что попадется что-нибудь «супер», но ничего такого не видно. Легко доставшиеся деньги не давали покоя, и после сытного обеда в ресторане он позволил себе купить две летние югославские рубашки и несколько долгоиграющих пластинок. Последние чисто случайно: за ними была давка, ну и он выбил в кассе чек. Пока толкался в очереди у прилавка, слышал вокруг, как перевозносят этот ансамбль, название которого было написано на ярких конвертах.

Едва поезд отошел от Москвы, как он уже перебрался в вагон-ресторан и просидел там до самого закрытия, так как в купе кряхтели две толстые бабы и тихо листал свои газеты военврач в очках.

Вагон-ресторан как будто создан для того, чтобы наблюдать жизнь, если у тебя нет желания надраться до помрачения. Устроившись в уютном уголке у окна, здесь можно посидеть очень даже интересно, потому что публика в общем-то меняется быстро — ведь заходят только поесть, а официанты не особенно надоедают, главное же дело делается: ты едешь.

Поев, Гундар заказал кофе и бутылку чудесного португальского портвейна, который и потягивал потихоньку. Когда бутылка опустела наполовину, Гундару вдруг стало жаль своей прожитой жизни. И что это он взламывал трамвайные автоматы, торговал водкой и скупал у «синюшников» всякий хлам?! И если хлам хотя бы повышал квалификацию, то оба предыдущих занятия только портили репутацию. Ему было стыдно, что он занимался такими мизерными делами, что растрачивал свой талант и даже радовался, когда за ночь зарабатывал десятку.

Гундар! Гундар! Как ты мог так жить? Мечтать о десятке недостойно тебя! Это столь же унижительно, как мечтать о носках, которые купишь с очередной полочки, или о галстук с последующей! Нет, о носках ты не мечтал, а вот о десятке — да! Стыдись! Ты, который смог за несколько дней заколотить почти две тысячи! Эти деньги сейчас же, незамедлительно, надо вложить в бизнес!..

Попивая, он перемигивался с буфетчицей, и той, очевидно, понравился рослый парень, а вполне может быть, что ей нравятся все, кто ей подмигивает. Когда дело уже шло к закрытию ресторана, она на минуточку присела к его столику, чтобы обменяться игривыми словечками. Судя по всему, тут можно было кое о чем договориться, и он уже собирался это сделать, но вдруг вспомнил о деньгах, рассованных по карманам, и о высокой миссии, которая ему и этим деньгам предназначена.

«Ничего, могу подождать и до дома». Гундар сделал вид,

что не понял, что скрывается за игривостью буфетчицы. Это сработало молниеносно, женщина тут же встала. Может, и показалось Гундару, что она предлгала себя, скорее всего дурака валяла, чтобы слегка встряхнуться после тяжелого дня, но только Гундар сегодня казался себе такой важной личностью, что приближение к нему женщины не мог расценивать иначе...

Маргита жарила рыбу. На столе стояли тарелки с разбитыми яйцами и с мукой. Обваляв филейные кусочки, она клала их на сковороду, где шипело масло. В квартире стоял запах рыбы и подгорелого масла.

— Здравствуй! — сказал Гундар, войдя в кухню.

Маргита вздрогнула от неожиданности. Последние месяцы он не здоровался иначе как «Чао, шлюшка!». Даже когда, как сейчас вот, возвращался после многодневного отсутствия. Этим обращением он ставил жену на место, одновременно оно служило предостережением, что она в любой момент может отхватить, что ей положено.

— Наверное, чаду полно, сейчас я окно открою, проветрю, — торопливо сказала она. — Ты ел?

— Ладно, давай чего-нибудь. — Гундар поставил на стол в комнате новую вместительную сумку, которую тоже купил в Москве. — Только ополоснусь.

Маргиту ошеломило, что он на этот раз не хмурый и не злой. Наоборот, какой-то просветленный, солидный. Откуда ей было знать, что со вчерашнего вечера ее муж поднялся на более высокую ступень и называть ее «шлюшкой» ему теперь не пристало.

Раздевшись до пояса, Гундар исчез в ванной, и оттуда послышались звуки льющейся воды. По дороге в ванную и обратно Гундар в узком проходе задевал за Маргиту, стоящую у плиты. На ней был только легкий халатик.

«Эта дура-буфетчица вчера взбудоражила все-таки меня», — подумал Гундар, возвращаясь в комнату. Желание все нарастало.

Бросив на стул обе югославские рубашки, он достал из сумки пластинки, не зная, что же с ними делать. Маргита на кухне выключила плиту и начала накрывать на стол.

— Иди-ка сюда, — позвал Гундар.

Маргита тут же появилась в дверях.

— Мне посоветовали... Вот я тебе в Москве купил пару дисков... Если самой не нравится, отдашь кому-нибудь...

Маргита крутила пластинки, словно разглядывая надписи и рисунки на конвертах, но ничего не видела — в глазах ее стояли слезы. Простил! Наконец-то простил! Наконец-то вернулись эти счастливые четыре месяца, благодаря которым она все терпела.

Гундар поднял ее и отнес на диван...

Заснули они поздно, усталые, обнявшись. Гундар долго га-

дал, что это так всколыхнуло обычно прохладную Маргиту, и решил, что причиной всему подарок. Ну ладно, такую мелочь он может себе позволить и дальше, стоит того!

В понедельник утром, идя на работу, Гундар собирался послать мастера подальше, если тот начнет придирается за прогул. Пошлет — и напишет заявление. Скоро лето, и работать вовсе не захочется, с переменой квартиры переменился и район, здесь уже другое отделение милиции. Если какие документы и переслали, в чем Гундар сомневался, то любая проверка уже подтвердила, что он стал безупречным рабочим человеком и семьянином.

Строительство нового корпуса на ювелирной фабрике, как думали прохожие, рассматривая длинное четырехэтажное здание, подходит к концу. Один только прораб знал, что понадобится по меньшей мере год, чтобы в цехах заработали машины. Еще даже не начали внутреннюю отделку, так как проект за время его длительных путешествий по инстанциям успел устареть. Заказали совсем иные рабочие столы и поточные линии, так что пришлось выламывать только что сложенные стенки и возводить новые. Куда ни пойдешь, везде битый кирпич, ведра с застывшим раствором, в углах высятся плиты для пола и торчат электропровода. Как всегда, когда работа прервана на половине и бригадир не может придумать, чем занять рабочих, — он и сам не уверен, не начнут ли завтра ломать то, что сегодня выложили, — дисциплина падает, и люди клонятся все больше в ту сторону, где находится ближайший винный магазин.

— Ну что я им скажу? — допытывался мастер у прораба, портя ему и без того дурное настроение.

— Пусть еще немного потерпят, а там исправленный проект дадут. Не может быть, чтобы в таком большом здании не нашлось для них работы, — уклончиво отвечал прораб. Он-то хорошо понимал, что всерьез его ответ принимать нельзя.

— Напишем — простой!

— Если вы не хотите работать в нашей системе, то это не значит, что и я не хочу. Нет стройки, где бы не было простоев, но нигде и никогда это не показывают. Так не принято!..

— Что-то надо придумать! Поговорите с администрацией фабрики, может быть, им требуется уголь сгружать, территорию приводить в порядок, красить помещения. Надо же что-то рабочим делать, а то совсем распустятся. Уже теперь у меня на глазах спокойно в картишки шлепают. Поверьте моему опыту, когда исправленный проект получим и надо будет нажать, нажимальщиков не останется!

— Я позвоню директору!

— Да хоть это сделайте! — сказал мастер и вышел из кабинета прораба, находящегося на первом этаже.

В другое время мастер накинулся бы на Гундара, как орел на суслика в степной траве, так как два дня прогула сами за себя говорят, но на сей раз он разговаривал спокойно.

— У тебя что... бабушка пятый раз умерла?

— Да такая ерунда получилась, что и говорить неохота!

— Ну-ну! А ты Расскажи.

— Автобус сломался.

— А я-то думал, будильник не зазвонил!

— Нет, без шуток... автобус! Вечером поехали к родственникам жены в Тумажи, думали, последним автобусом вернемся, а он, набитый до отказа, как банка кильками, даже не остановился.

— И в пятницу с утра не остановился, да?

— А по пятницам там утреннего нет, в лучшем случае я мог в Ригу приехать около двенадцати. Пока домой переодеться... А какой смысл из-за двух часов? Остались на субботу и воскресенье, помогли там что надо...

— Ну что мне с тобой делать?

— Не знаю! — сказал Гундар и вновь принялся выравнивать киянкой оцинкованное железо для крыши — никак лист не хотел ровно ложиться на бетонное покрытие.

— Другие тут вкалывают, так сказать, в поте лица, а он филонит. Статью тебе в трудовую книжку и соломинку в задницу!

— Давай! Сейчас же сдам инструмент!

— погоди! Не слезай! Ты мне эти два дня отработаешь!

— Когда?

— Еще не знаю. Когда понадобится, тогда и отработаешь!

— Спасибо, мастер!

Уже уходя, мастер вдруг вернулся и грозно помахал своим сухим пальцем:

— Но чтобы ты сегодня не уходил, пока навес мне не сделаешь!

«Это я ловко придумал, — потирал он руки, переправляя в табеле букву «н» — не явился — на цифру 8 — восемь часов работы. — Теперь малый у меня на крючке! Когда штурмовать начнем, он у меня отработает субботу или воскресенье!»

По дороге домой Гундар завернул к приятелю по колонии. Застать его он не надеялся, но ведь достаточно оставить записку, чтобы тот понял и зашел за деньгами.

Возле дома, въехав двумя колесами на тротуар, стояли «Жигули», но Гундар не стал бы уверять, что это та самая машина, которую он видел в прошлый раз. Грязь отмыта, хромированные части блестят, а горчичные тона у этих машин встречаются часто.

Оба кредитора попались ему на лестнице. Они торопились. Известие о деньгах их очень обрадовало, но тем не менее старший отказался менять маршрут.

— Нам нельзя опаздывать, он жутко пунктуальный! — сказал владелец машины, открывая дверцу. Выглядел он озабоченным, как человек, опасющийся пропустить очень важный визит, который играет решающую роль в его жизни. — Договориться можем и потом...

— Ну нет, монету надо забрать! — запротестовал приятель Гундара.

— Садитесь... Быстрей, быстрей! По дороге договорим! — подгонял их старший.

Им долго пришлось ждать просвета в автомобильном потоке, чтобы выбраться с окраины. Парни сидели развалясь, сзади. Гундар попросил, чтобы его выбросили где-нибудь подле троллейбуса, но водитель отмахнулся: видно будет!

— Тут у нас барахлишко кое-какое завелось... — сказал приятель.

— Могу посмотреть... — лениво сказал Гундар, скрывая заинтересованность, которая могла повлиять на цену.

— А деньги-то у тебя будут?

— Если понравится, так и денег хватит.

— Ну и порядок!

Приехали в тот район города, где Гундар жил раньше, — здесь он не только фасады домов знал, но и дворы. Немало подростком тут колобродил!

Машина неожиданно остановилась у зеленого, невзрачного деревянного дома. Узкие окошки со ставнями, перекосившиеся водосточные желоба и слегка приоткрытые деревянные ворота, чтобы только пройти можно было, так как снаружи нет ни одной двери.

— Успели, — сказал водитель, взглянув на часы, и выключил мотор.

Гундар вспомнил, что в школьные годы — еще в младших классах — он приходил сюда за макулатурой. Ее давала дрожащая старушка. Ребята удивлялись, что в таком некрасивом снаружи доме такие большие, высокие комнаты с богатыми, выложенными позолоченными изразцами печами, на вершине которых сидели ангелы с дудками, а стены и потолки — с ясеневыми панелями. Большая комната была вся в книжных полках, и старушка каждую кампанию по сбору макулатуры одну из полок очищала для них.

По дороге они перелистывали книги и выдирали красивые цветные картинки, делили между собой, а потом в школьном подвале, куда сваливали макулатуру, он видел, как учительница английского языка с интересом перелистывала их.

Человек, вышедший из зеленых ворот, был низкорослый, лет этак сорока, просто одетый, но подтянутый, и чувствовалось, что у него большая физическая сила. Не ожидая приглашения, он открыл дверцу, кивком поздоровался и сел рядом с водителем.

— Ты знаешь, мы чуть не опоздали... Улицы так забиты, что на каждом углу приходится стоять... — Водитель вновь включил мотор. — Может, отъедем подальше?..

— Зачем?

— Как знаешь... — Компаньон приятеля выключил зажигание.

Человек достал из кармана листок бумаги и развернул. Во всю его длину был начерчен ключ. Гундар даже подумал,

что просто обвели шариковой ручкой настоящий, а не начертили. Интересной формы ключ — длинный стержень со множеством мелких зубцов с обеих сторон.

— Как ты мне сказал, это ключ от твоего гаража, который ты потерял, а тебе надо дверь открыть... — Человек отчетливо выговаривал каждое слово.

— Гм... — многозначительно кашлянул компаньон, но тут же пожалел об этом, так как человек бросил на него такой взгляд, что тот готов был вскочить, звякнуть шпорами и отдать честь.

— Этот твой ключ от гаража очень интересный ключик, удивительно, где тебе такой удалось раскопать. Вот здесь, — он указал на одно место, — на шарнире западает книзу, а вот здесь, — палец прикоснулся к другой точке, — здесь сверху.

— Попробуем подпилить...

— Без оригинала не сделать. — В голосе его была скрытая снисходительность, характерная для высокого класса специалистов, тогда те говорят с дилетантами.

— Ты хоть скажи, какие инструменты нужны.

— Ты этого не сделаешь никакими инструментами!

— Так подсоби...

— Я больше не практикую.

— Да ведь не даром же, круглая деньга будет...

— Я больше не практикую! Извини, но перерыв уже кончается. Я иду хоккеем смотреть. — Человек открыл дверцу и, выбравшись, поклонился пассажирам на заднем сиденье. — До свидания!

Он решительным шагом пересек тротуар и исчез за воротами.

— Надо было одному поехать, может, удалось бы уговорить, — горестно вздохнул компаньон. — Он у меня в большом долгу.

— Что-то раньше я его здесь никогда не видел, — сказал Гундар.

— А он здесь раньше не жил... И теперь... Всего полгода, как на воле. — Машина тронулась. — В колонии ты о нем наверняка слышал. Это сам Жип.

Гундар пожал плечами. Имя это ничего ему не говорило.

— Ну, у недомерков, может, о нем много и не говорили... Самый большой специалист по сейфам, каких мир видел. Если у тебя английский замок, он только мизинцем два раза стукнет — и все, открыто. Но шуток не прощает. Барыга, из-за которого он погорел, от страха в окно выскочил, когда Жип, выйдя на волю, зашел к нему поздороваться. Вот так! — Компаньон явно гордился таким знакомством. — Ну что, сначала за деньгами едем, а потом товар смотреть?

Решили, что сначала смотреть товар, чтобы за деньгами дважды не ездить.

По дороге водитель долго еще рассказывал о своих встречах с Жипом. На воле им раньше не доводилось находиться одновременно, зато в колонии встречались несколько раз.

— Чем будем дело делать? — озабоченно прервал его приятель Гундара.

— Сверлом и пилой.

— Чертова работа.

— Зато потом хлеб с изюмом!

— Вот же проклятый ключик!

— Раньше мастера черт-те что выделывали. — Машина свернула во двор и остановилась у гаража. — Идите смотреть, а я здесь побуду, чтобы кто-нибудь не сунулся!

На сей раз в углу гаража под теми же самыми мешками находились четыре стенных подсвечника, старинные, с барочными завитушками, и распятый Спаситель среди толпы людей, нарисованный на деревянной доске, метр на метр. Приятель сказал, что были еще две чаши, но их они толкнули в первый же день, так как не думали скоро Гундара увидеть.

После долгого торга Гундар остался почти без денег, но все эти вещи переселились в квартиру Маргиты. По картине видно, что она из какой-то не то лютеранской, не то католической церкви, и на нее он возлагал большие надежды. Работа явно старого мастера, может быть, и копия, но и за такую платят хорошие деньги. И если ему отдали за полцены, то лишь потому, что не знают, где найти покупателя на такую, религиозного содержания, картину, так как скупщик православных икон уже видел ее и отказался.

Гундар теперь понял, откуда поступает товар, — это его весьма успокоило. Он уже видел много разворованных церквей с разломанными органами, ободранными печами и выбитыми окнами, да и сам в компании как-то забирался в одну из них и разводил там из оставшихся скамей костер, и никто даже не пришел одернуть их, когда дым повалил наружу. Ведь они же были герои, которые борются с невежеством и мракобесием. И на разрушение церквей многие смотрели сквозь пальцы, вероятно, полагая, что это даст положительные результаты в деле воспитания молодежи.

Кто поймает приятеля и его компаньона в их ночных похождениях? Эти доживающие свой век богомольные старухи? Милиционер на такое дело наплюет с высокого этажа и пойдет своей дорогой, даже протокол не составив.

Гундар просто не знал, что слабые голоса протеста пробудили здравый смысл, что некоторые церкви стали охраняться как памятники архитектуры, а в других начали тщательно учитывать предметы искусства, которые находились там веками, и стали в первую очередь подходить к ним как к художественным ценностям, а не как к культовой атрибутике.

— Ну, вы на золотую жилу напали! — завистливо сказал Гундар.

— Ты только денежки готовь, скоро еще будет! — дсвовльно усмехнулся приятель...

Директор фабрики ювелирных изделий понимал заботы прораба. И особенно когда они совместно обошли строительство и встретили там трех-четыре работников с красными глазами.

— Я только выясню, сколько человек можно обеспечить работой, и дам распоряжение выписать пропуска, — сказал директор на прощание.

Пропуска строителей были недействительны для прохождения на территорию старой фабрики, хотя люди и считались работниками «Опала». Не всем, кому можно доверить кирпич, доверишь бриллианты, платину и золото. Кроме того, теперешние штаты внутренней охраны — о будущих вопрос еще решался — не могли обеспечить надзор и за старым и за новым корпусами. Пока что обходились так: пять вооруженных охранников в милицейской форме и две злые собаки круглые сутки дежурят на старой территории, а новую обнесли легкой изгородью и на ворота посадили тетку, которая пропускала строителей и машины со стройматериалом. Чтобы тетка зимой не мерзла, ей сколотили будку с чугунной печуркой, которую она топила брикетами и обрезками досок, так что жара у нее стояла как в финской бане.

Новый и старый корпуса были состыкованы друг с другом, в переулочек не выходило ни одного окна, ввысь вздымались гладкие стены — у одного белая, из силикатного кирпича, у другого красная, уже позеленевшая, сложенная еще с раствором. Из точно такого же кирпича была выложена пятиметровой высоты ограда, которая, описав петлю, возвращалась к старому корпусу.

Выстроив своих подчиненных в кривую шеренгу, словно призывников, суровый мастер основательно пропесочил их, хотя те еще не успели нагрешить, но он придерживался правила, что все что-нибудь натворят, а тогда пойди ищи виновного.

— Там вы увидите всякие яркие штучки, но боже упаси что-нибудь утащить! Перед уходом домой вас в проходной тайком рентгеном просветят, а уж он покажет, даже что у вас в брюхе!

Перед этим он говорил о рабочей чести и премии, которую будут срезать беспощадно. Насчет рентгена у него вырвалось в последний момент, когда он вспомнил аэропорт, — тогда он забыл в кармане ключи — и в такой подкове, через которую надо было проходить, что-то задребезжало.

Сам мастер никогда в старом корпусе не бывал, но работяги не должны об этом знать! Пусть даже он глубоко убежден, что в числе его ребят воров нет — любому из них он доверил бы свой кошелек и ключи от квартиры, душа была неспокойна от предстоящего экзамена на честность. Словно мать из глухой провинции, провожающая своего сына в столицу, где везде столько всяких соблазнов, столько, что она даже не в силах ото всех предостеречь, так как не все их знает, поскольку сама там никогда не была.

— Погодите! Не расходитесь! Кто из вас с электрокаром умеет обращаться? — спросил мастер, когда шеренга уже дрогнула.

— Я, — лениво поднял руку Гундар.

— Тогда явись к начальнику транспортного цеха...

Примерно в это же время в далекой Москве происходили заслуживающие внимания события. Среднеуважаемый, но весьма денежный человек по имени Игнат Матвеевич завинтил пластмассовую бутылочку с жидкостью для чистки драгоценных металлов и бронзы, перевел дух после тяжелого труда и бросил в камин ватный тампон, пахнущий нашатырем. Потом опустился в кресло и довольно стал оглядывать новое приобретение — два пятисвечника, которые сверкали на камине, будто они из чистого золота.

— Чудесно! — прошептал он.

По всем стенам густо висели иконы и картины, в витринах жили своей жизнью фарфоровые фигурки, чашечки, блюдечки, сахарницы и декоративные тарелки. Под потолком висела павловская люстра с зеленой стеклянной сердцевиной и хрустальными подвесками на выгнутых бронзовых разветвлениях.

— Дорого, но красиво! — прошептал он снова.

И воображение нарисовало ему картину комиссионки двадцать первого века, где его внуки получают за эти канделябры, фарфор и иконы огромные деньги, раз в десять больше, чем он в них вложил. Будущее внуков обеспечено! Даже если они вырастут такими же беспутными, как его, Игната Матвеевича, дети, которые умеют только мотать деньги, но не зарабатывать. Нет, вообще-то они ничего, да вот не добытчики! Интеллигентщина!..

В дверь позвонили, и Игнат Матвеевич обрадовался, что еще кто-то сможет полюбоваться его приобретением. К сожалению, это был всего лишь сосед Серафим, у которого испортился телефон и который хотел позвонить в бюро ремонта.

Серафима Игнат Матвеевич ставил не очень высоко, но не смог отказаться от соблазна — провел гостя в комнату и равнодушным жестом указал на канделябры.

— Великолепно! — выдохнул Серафим.

— А вы ближе посмотрите! — великодушно позволил Игнат Матвеевич.

— Бронза, — сказал Серафим, подойдя к самому камину. — Позолоченная бронза. Жалко, что гнезда и блюдечки потом подогнали.

— Чистый стиль!

— В стилях я не разбираюсь, но вот металлы — это, разрешите вам заметить, моя специальность, и потому я думаю...

— Почему вы так думаете? — яростно спросил Игнат Матвеевич, но Серафим этой ярости не заметил.

— А вы поглядите сюда, где позолота сошла. — И он ткнул пальцем туда, где сходились гнездо и монолит. — В обоих случаях под позолотой видна бронза, но другого цвета. Вот здесь желтоватая, а здесь почти красная. Цвет бронзы зависит от про-

порции олова и меди. Чем больше меди, тем сплав краснее. Чем больше олова, тем сплав желтее.

— Глупости, — буркнул Игнат Матвеевич, хотя следил за рассказом весьма внимательно.

— В старину каждый литейщик придерживался своего, проверенного состава. Я даже не могу представить, что должно было случиться, чтобы он от него отказался. Изменение состава осложняет дальнейшую работу: надо менять плотность формовочного материала, металл иначе течет по формам и может застывать, не доходя до конца... А подсвечники действительно прелестные, только жалко, что... Ну, я пошел, а то сказали, что монтер сейчас придет...

Игнат Матвеевич хорошо разбирался в артикулах джемперов и курток, металлургия и искусство для него были глухой лес, но нельзя от одного человека требовать слишком много. Во всех иных областях жизни приходилось полагаться на честность специалистов и на цену. А если честность продавца хромает?

Игнат Матвеевич до тех пор разглядывал желтые и красноватые пятна бронзы, что у него в глазах зарябило.

Ему стало нехорошо. Ну прямо так, будто ему дали взятку фальшивыми деньгами, которые ни в одном магазине не примут. Нет, надо как-то успокоиться...

Игнат Матвеевич сел к телефону, позвонил продавцу и попросил его незамедлительно приехать. Тот почуял, в чем дело, обругал себя за то, что не переставил гнезда с люстры обратно: ведь он же понял, что Гундар этим обманом хотел сбить с толку тех, кто будет искать украденное, но и он не захотел рисковать. А теперь уже помочь никак нельзя: люстра вчера уехала в южную республику.

— Вас пугает, что бронза разного цвета? Это часто бывает, — отчаянно держался продавец. — Не каждый мастер может отлить фигурное основание. Такому мастеру не окупается возиться с гнездами и блюдечками, и он заказывает их другому. Ценности предмета это не снижает. «Если этот дурень вздумает потащиться с канделябрами в комиссионный, то моя репутация погорела», — в отчаянии думал он, так как репутация порядочного знатока была главным источником его доходов.

— И вы готовы вернуть мне деньги? — выкинул главный козырь Игнат Матвеевич.

— Через полчаса, если вам угодно!

— Нет, мне не угодно... Я просто так...

Но, когда продавец ушел, Игната Матвеевича вновь охватило беспокойство: появится еще какой-нибудь Серафим и осрамит тебя перед всеми.

И вдруг у него возникла гениальная идея. Он получит официальную бумагу, которая всем заткнет рот. Стоп, стоп... Кто же это рассказывал про атрибуционную комиссию, которая существует при музеях и в которой сидят ученые доки. Уж сколько надо, столько и заплатит, дело не в этом!..

Есть слова, которые волнуют и будоражат, — «золотых дел мастер», «банк», «сейф». Фабрика ювелирных изделий относилась к их числу. Слова эти почему-то связаны со сказочными богатствами — наверное, тут заслуга приключенческой литературы, и мы упрямо не хотим считаться с тем, что говорит раскусок: в большинстве сейфов хранят документы, а в большинстве банков, даже международных, шуршащие бумажки привозят только в тот день, когда надо выплачивать зарплату, как на самом обычном предприятии, а большинство золотых дел мастеров с золотом дела не имеет.

И хотя работавшие на крыше и на верхних этажах и глазевшие через забор фабрики ювелирных изделий говорили, что ничего заслуживающего внимания там нет, подчиненные старого мастера возле проходной «Опала», где исключительно придирчиво проверяли документы, сравнивая фотографии с оригиналом, стояли раскрыв рот и рассчитывали увидеть за воротами хоть одно чудо. Никакой корысти в этом ожидании не было, но кто же откажется от удовольствия потрогать слиток золота или хотя бы погладить на ящик с серебром, с обрезками серебряной пластины после того, как штамп вырубил из нее нужные детали. Ведь потом остаток жизни можно об этом рассказывать! Но когда они прошли за ворота, глазам их предстал небольшой, самый обычный асфальтированный двор, в конце которого высилось главное здание с живописно вылепленным порталом. Венчали его две мощные девы, которые из цинковых кувшинов с узкими горлышками лили в цинковую амфору не то воду, не то вино. Скорей последнее, потому что вокруг колонн портала вились виноградные лозы с листьями и гроздьями. Ясно было, что администрацию надо искать за этой дверью.

В обоих концах здания были еще входы, но высокие и широкие, чтобы туда можно было въезжать на машине.

По правой стороне двора стояло одноэтажное длинное подсобное помещение, судя по большим дверям из шпунтованных досок, — гараж. В том конце валялись разного размера железные балки, некоторые, наверное, довольно давно, так как успели уже заржаветь.

Когда все смирились с тем, что кровельщики были правы и никаких чудес здесь нет, из подсобного помещения вышел милиционер-старшина. На поясе у него кобура, видна даже ручка пистолета, а в руках дымящийся чайник, который он нес очень осторожно, чтобы не ошпарить ноги.

Милиционер пересек двор, провожаемый взглядами рабочих, так как на своей стройке милиции им видать не доводилось.

Старшина прошел в угол, где высокая стена, сделав резкий поворот, образовывала острый угол. Там на кронштейнах — крыша на одном уровне со срезом стены, чтобы снаружи не было видно, — прилепилась небольшая дощатая будка. Окошечки ее отсвечивали на солнце, их было много, чтобы обзор был во все стороны.

Жонглируя чайником, милиционер взобрался по лестнице, напоминающей корабельный трап.

И вот теперь строители разглядели тросы, тянущиеся параллельно стене, заметили надетые на них кольца, к которым были прикреплены цепи, — когда рабочий день кончится, на цепи сажают сторожевых собак, и те могут бегать вдоль всей стены. Крупные, обученные овчарки. На таких же кронштейнах через каждые пятьдесят метров установлены мощные прожекторы, а два находятся над крышей будки — их можно вращать так, чтобы луч проникал в любой угол двора.

— Тут нас сторожат почище, чем в тюрьме! — присвистнул Фредис, одинаково хороший и работник, и картежник. — Моя мама может быть спокойна, здесь я никуда не денусь!

Несколько человек оставили убирать двор, остальных распределили по цехам, а Гундар получил красный болгарский электрокар. Постоянный водитель его довольно тяжело заболел и раньше, чем через полмесяца, его не ждали.

Ночью электрокар хранился в подсобном помещении, где одно отделение предназначалось для зарядки аккумуляторов. Явившись, Гундар отсоединял клеммы выпрямителя и ездил по фабрике куда пошлют: возил тару, детали из главного цеха на монтажные участки, из штамповочного в гальванический, мотки мельхиоровой ленты и листы нержавеющей стали, многолитровые стеклянные бутылки с химикалиями и заклеенные картонные коробки с готовой продукцией на склад. В первый же день он изъездил все четыре этажа вдоль и поперек, усвоив, как быстрее можно подъехать к грузовым лифтам, которые поднимают груз вместе с электрокаром на нужный этаж. Только на втором этаже этот лифт нельзя останавливать. На втором этаже Гундару вообще нечего было делать — здесь было тихое царство с милиционером у запертой двери и спецпропусками. Казалось, этот этаж, практически часть этажа, так как остальное занимали кабинеты администрации, куда мог попасть любой, и оправдывал вывеску: «Фабрика ювелирных изделий «Опал». Все остальное было придатком, огромным грибом-трутовиком, чужеродным наростом, в десять раз больше самого тела. На остальных этажах штамповали, красили, лакировали, покрывали эмалью, полировали, и самый ценный материал там был мельхиор, но и его расходовали аккуратно. И чего там только не делали: бензиновые и газовые зажигалки, алюминиевые подстаканники, простые запонки и булавки для галстуков, чайные ложечки, цепочки для часов и большие кольца стоимостью в полтора рубля штука с красным камешком, а в рубль двадцать — с белым.

Выяснилось, что учет здесь ничуть не лучше, чем на других фабриках. Когда Гундар спер коробку с десятком зажигалок, никто не рвал на себе волосы и не причитал, скорее всего пропавши никто не заметил, а если и заметил, то не считали нужным из-за двадцати рублей поднимать шум — у каждого хорошего мастера есть запас деталей, а смонтировать зажигалки — невелика хитрость. И вынести добычу за ворота оказалось не-

трудно, только Гундар не смог найти, кому эти зажигалки сбыть, и потому операцию не повторил. Он уже стал с пренебрежением относиться к фабричным порядкам и продукции, как вдруг одно событие заставило его пересмотреть это отношение.

Как-то перед самым обеденным перерывом железные ворота раскрылись, каждая половинка отъехала в свою сторону, и впустили во двор темно-синий, почти черный автобус. Он очень напоминал обычный пикапчик, в которых по кулинариям развозят булочки, здесь тоже рядом с шофером сидел всего один человек. Только автобус был раза в три больше и число антенн показывало, что в нем по меньшей мере две рации и еще радиотелефон.

Ловко развернувшись посреди двора, машина задним ходом подъехала к главному входу. И стала ждать, когда из караульного помещения и из проходной выйдут три милиционера — двое из них встали возле двери, как почетный караул, третий преградил движение по лестнице, не разрешая больше никому ни подниматься, ни спускаться. И тут вылезли и шофер и сопровождающий. Оба были вооружены. Сопровождающий держал какие-то накладные и конторскую книгу в дерматиновой обложке. В эту же самую минуту со второго этажа спустился высокий, очкастый человек с большими ушами, кивком головы приветствовал приехавших и взглянул в поданные ему накладные.

Наконец шофер и сопровождающий достали из карманов каждый по ключу и отперли заднюю дверцу машины. Гундар увидел, что дверца эта толщиной не меньше двадцати сантиметров, как у сейфа, и что стенки машины почти такие же.

Очкастый старикан потянулся и достал из машины запломбированную коробку размером с консервную банку, проверил, в порядке ли пломба, и торжественно понес ее по лестнице. За ним следовали провожатый с документами и оба милиционера из почетного караула.

— На мороженое хватит, а? — усмехнулся Фредис, который тоже был в числе зрителей.

— Как по-твоему, что там? — спросил Гундар.

— Ясно, что камешки! Здесь ведь делают и такие брошки и серьги, которые продают только за границу на валюту.

Провожатый вернулся, теперь у него под мышкой была лишь конторская книга. Сразу же за ним высыпали на двор милиционеры, и автобус уехал, а у Гундара перед глазами все еще была невзрачная жестяная коробка, которой оказаны такие почести.

И тут он сообразил, что и сам стоит по стойке «смирно», будто матрос при виде адмирала.

Ну, миллиона там, конечно, нету, это число первым выскакивает в таких случаях... А вдруг? Нет, не будет... Ведь не сказано, что коробка обязательно полна, наверняка и половины нет... А все-таки интересно узнать, на сколько эта штука тянет...

Мысль о коробке изводила Гундара весь день, а когда под вечер отпустила, Фредис вновь подлил масла:

— Ну, придумал, как этот фургончик грабануть?

— Баба-ба-ба-бах, коробку сгреб и на трамвай!

— Не выйдет, у этой машины пуленепробиваемые стекла!

— Ну, тогда не будем и грабить.

— Не будем! Привет, до завтра! — Фредис махнул рукой, перешел улицу и нырнул в толпу на троллейбусной остановке.

А что, неужели такой автобусик ни разу не обчистили? Это уж точно, что нет, иначе бы слышно было. А если попробовать? Нет таких денег, чтобы нельзя было выманить, и нет такого ключа, чтобы нельзя было подделывать... Но тут Гундар вспомнил про антенны на крыше — наверняка во время следования поддерживается радиосвязь.

«Вот бы Жипу это увидеть, он бы как профессионал от злости на свое бессилие из штанов выпрыгнул бы», — усмехнулся про себя Гундар. Довольно усмехнулся. Потому что дома его ждала работа, сулившая небольшой, но надежный доход. Картина пока что стояла за буфетом целенькая, Гундар понемногу реставрировал стенные подсвечники. Работа кропотливая, но потихоньку двигалась. Как только будет готово, отправится снова в Москву.

С такими вот мыслями Гундар приближался к дому, где находилась квартира Маргиты, которая уже давно стала и его жильем.

Если бы он обращал больше внимания на окружающую обстановку, он бы заметил на дворе у поленницы зеленые «Жигули» с асфальтово-черной крышей, которых здесь никогда не бывало. Из-за покрывающего поленницу рубероида казалось, что прикрыта заодно и машина. Он бы наверняка заметил, что номер машины начинается с ЛАР — серия, которой пользуются исключительно служебные машины латвийской службы внутренних дел.

Гундар коротко позвонил. На лестнице пахло жареным мясом, он сглотнул слюну — хорошо бы, если бы его жарила Маргита.

Дверь широко распахнулась — на пороге стоял лейтенант милиции.

— Пожалуйста, пожалуйста! А мы вас уже поджидаем.

Оба одновременно прикинули расстояние до лестницы — это единственный путь к бегству — и каждый понял свои возможности.

В комнате было полно людей. Маргита сидела на диване вся белая, стиснув губы. Какой-то человек в штатском писал протокол, который уже подходил к концу.

— Гундар Одинь? — спросил он, не переставая писать шариковой ручкой.

— Да.

— Прочитайте! — Левая рука протянула ему заполненный бланк, правая продолжала писать.

Это был ордер на обыск. «В соответствии со статьей Уголов-

ного кодекса ЛССР... В связи с возбуждением уголовного дела...»

— А что это за восемьдесят девятая прим? — угрюмо спросил Гундар.

— Хищение государственного имущества в особенно крупных размерах, — ответил человек, предлагая подписать протокол понятым.

— Да, да... — продолжал он, видя, что Гундар остолбенел. — Все церковные здания и предметы в них — это государственное имущество.

Маргита вдруг заплакала. Сначала тоненько, сдавленно, потом громко, открыто, в голос, уже никого не стыдясь. Это было весеннее половодье, прорвавшее плотину и теперь смывающее все на пути.

— Прекратите истерику! — взглянул на нее человек в штатском. — Еще и двух лет не прошло, как я здесь проводил последний обыск! Тоже мне — барышня из института благородных девиц! Одевайтесь, поедem в управление и поговорим там.

Шаря перед собой, словно во тьме, Маргита встала и пошла к шкафу. Гундар помог ей надеть пальто. Она взяла его руку и прижала к щеке.

«По дороге надо шепнуть ей, как я ее люблю, — подумал Гундар. — Будет хоть на свидания приходить, глядишь, сала принесет».

Два стенных подсвечника и картину уложили в багажник, два других лейтенант держал в руках.

Маргиту поздно вечером отпустили домой, а Гундара лишь на следующий день привели в кабинет следователя. Он был завален распятиями, иконами, дисками, купелями, толстыми книгами в коже и аккуратно сложенными антиминсами, а посредине грудой лежали бронзовые вещи, главным образом паникадила и подсвечники.

Следователь тер покрасневшие глаза — прошлую ночь он не спал — и старался убедить кого-то по телефону, что сейчас нужны эксперты, чтобы хотя бы приблизительно определить ценность предметов.

— Так вот, Одинь, — сказал следователь устало, — в вашей квартире обнаружено четыре стенных подсвечника и алтарная картина.

Гундар кивнул.

— Что вы еще покупали у обвиняемых?

Гундар поколебался, потом решил врать — ведь признание сразу же делало его соучастником. Он рисковал, так как эта ложь лишала его возможности получить низшую меру наказания за чистосердечное признание.

— Ничего я больше не покупал.

— А обвиняемый Светов показывает иначе.

— А меня мало интересует, что эта подлюка показывает.

Следователь донимал Гундара еще с полчаса, но, не добившись нужного ответа, велел привести бывшего товарища по колонии. Тот выглядел довольно кисло. Со всеми подробностями

он рассказал, как продал Гундару люстру и канделябры. И даже добавил, что Гундар перепродал это в другой республике.

Последний упрямо отрицал это. Тогда Светов, которого Гундар поколачивал в колонии, из опасения, что им еще придется там встретиться снова, решил действовать по-джентльменски. А может, он и впрямь это продал кому-то другому? Тогда ему со многими приходилось иметь дело, так что насчет Гундара он категорически утверждать не решается. Следовательно ведь и сам видит, что покупателей набралось уже около двадцати, может, действительно перепутал и это был совсем другой человек.

Для следователя Гундар был только один из многих, с большинством еще предстояло беседовать, а он уже устал. Он не очень-то верил ни Гундару, ни Светову, но в пользу Гундара говорило хотя бы то, что он на работе не прогулял ни одного дня — табель его проверили, — так что никакой дальней поездки не мог совершить. Все дни был на работе, все отмечены цифрой 8.

— Дайте подписку о невыезде, — сказал следователь.

ЯНВАРЬ

Во рту оказалось всего несколько капель — бутылка была пуста. Парня в сером свитере это так поразило, что он поболтал посудиной и посмотрел на свет, повернувшись к воротам сарая. Пустая!

Он сунул ее под старые обрывки толя и принялся колоть изопревшие доски.

Он чувствовал, что непременно надо хотя бы еще стакашек, но хорошо понимал, что не получит его, так как спиртного больше нет. Нет в этой проклятой снежной пустыне, из которой впопыхах не найти дороги к какому-нибудь жилью. Того и гляди при переходе через речку поскользнешься, упадешь в воду, а там тебя затянет под лед. Он так отчетливо представил себе эту картину, что даже передернулся, будто ледяная вода уже коснулась его кожи.

И как он не сообразил прихватить две бутылки! Вот эту большую и еще «Ласите». Она плоская, и в нее входит не меньше трехсот. Он всегда наполнял ее и носил с собой, когда ехал на мотокросс или еще куда, чтобы рассеяться на лоне природы, потому что «Ласите» не оттягивает пиджак.

Нет, вовсе он не алкаш, просто в такой момент стакашек в самый раз... Может, выпить чаю и желание пройдет?

И вдруг парень бросил топор и кинулся к спрятанной бутылке. На ней же отпечатки пальцев!..

Жажда выпить на миг заглохла, подступил страх.

Это же для мильтонов чистая находка! Сравни отпечатки на бутылке с картотекой, бери «воронок» и поезжай прямо в дом.

Он зажал бутылку с двух концов и принялся энергично тереть о свитер.

Вот бы где мы, бараны, загремели! А какого черта мне ее надо вытирать? Я же могу ее просто закинуть или — еще лучше — засунуть в снег. Нет, не годится... Останутся следы... Конечно же, мильтоны пойдут по следам... И уж точно надыбают, делов-то! Разве бросить где-нибудь на полдороге, а самому продолжать идти? Но ведь у мильтонов собака может быть, а?

Размахнуться и забросить как можно дальше... Лучше всего с горы вниз, это лишних пяток метров... А весной снег растает... Значит, в лучшем случае до весны, когда кто-нибудь из местных ее найдет и, конечно же, зная, что именно в этом заброшенном доме произошло в январе, позвонит участковому... А скорее всего мильтоны уже сейчас обшарят всю округу...

Нет, от бутылки избавиться невозможно!

Вспомнились газетные статьи о работе экспертов-криминалистов. Как отпечатки находили даже тогда, когда взломщики работали в резиновых перчатках, — они изнутри сохранили рисунок папиллярных линий.

Ладно, он сможет вытереть бутылку, вытереть топорище, но он не может вытереть все, к чему прикасался в этом доме. А тут еще специалист и эта стерва!.. Все вокруг излапали! От фундамента до чердака! Да еще лыжные следы, да еще следы лыжных ботинок, да еще следы палок... И хотя он в эти газетные статьи не особенно вникал, читал их вскользь, почему-то сейчас вспомнилось, что, зная длину шага человеческого, ширину его и угол, легко можно вычислить рост и примерный возраст. Нельзя же сгрести весь снег, по которому они вчера шли! Нет, он считал шефа куда умнее! Наивняк! Откуда у того этот ум может взяться, если только и знал, что сидел! Умный не сидит! Умные покупают машины, строят дачи и борются с воровством, опасаясь, как бы у них самих чего-нибудь не сперли...

Только и чести, что сяду по одному делу со знаменитым специалистом по сейфам!..

Не взяв нарубленные дрова, парень помчался к дому, чтобы хоть как-то успокоиться.

Выходя, он оставил дверь приоткрытой и потому слишком неожиданно появился, застав врасплох шефа и женщину.

Она продолжала готовить бутерброды, а он стоял рядом, держа ее за талию.

— А ты подумал, сколько отпечатков мы здесь везде оставили? — спросил парень, сделав вид, что не заметил, как шеф снял руку с талии и покраснел.

«Ах ты, потешный старикаша, от этого же не беременеют! А ты, стерва, умна, перестраховалась! Бери ее, бери, раз позволяет, мне плевать! Только тебе до этого еще далеко, ты ведь старомодный. Ты наверняка сейчас думаешь, в какой дворец ее ввести да на какую золотую кровать уложить, а ее надо на мусорный ящик валить! И как я раньше не заметил, что вы уже спелись?»

— Отпечатки сейчас не имеют значения. — Старший сел на свое место к шкафу, глуповато посмотрел на свою руку, которая была на талии женщины, и вдруг разозлился: — Милиции сюда нечего соваться...

Он опасался, что женщина его руку стряхнет и взглядом выразит: «Ах, папаша, что это на вас накатило?» Или, не желая обидеть, тихо скажет: «Не надо... Вы мешаете...» А она сделала вид, что не заметила руки, что вообще ничего не случилось, и это уже что-то значит. Теперь надо о чем-то заговорить, что-то же надо сказать, а он знает только то, что в таких случаях говорят в книгах, и понимает, что в жизни это звучит искусственно и глупо. Но еще глупее стоять вот так молча, ведь она же ждет, что он что-то скажет.

— Ты в Крыму уже была?

— Нет.

— Поедем?

— Хорошо.

И тут ворвался парень и давай страшать отпечатками пальцев. Удивительно, как он от страха испариной не покрылся. О дактилоскопии он, конечно, имеет представление самое смутное, и старший решил, что рассказывать такому дурню про отпечатки нет смысла.

— А если мильтоны придут, тогда мы горим...

— Инженер будет молчать, — сказал старший. Парня все же надо было успокоить. — Он у нас не возьмет ни рубль, ни тысячу, ни десять тысяч, купить его нельзя, но он скорее повесится, чем проговорится о своей трусости... До того как откроем шкаф с бриллиантами, он в милицию не пойдет, а потом уже смысла не будет... План, который он начертил, его не только трусом делает, тут уж соучастием пахнет — долю свою не получил, вот и побежал доносить... Для пущей надежности я ему скажу, что мы ведь так и покажем, а уж остальное пусть сам соображает...

Все из-за той же руки на талии старший не решался взглянуть парню в глаза, иначе бы он увидел, как при слове «инженер» взгляд парня метнулся к рюкзаку Гвидо Лиекниса, долю секунды задержался на нем и вновь обратился к старшему.

— Ну и скажи!

— Запри за мной дверь... Я с ним еще одно дело хочу обсудить... Если он попытается какой-нибудь фокус выкинуть, оставь пистолет ей и иди на помощь... Да не надо — сам справлюсь.

Как только дверь за ним была заперта, парень кинулся к рюкзаку Лиекниса и стал шарить в нем, засунув обе руки по локоть. Ну, конечно, есть! Первые радости с дамой без спиртного не вытанцовываются!

Он достал из рюкзака бутылку коньяка и сунул себе за пояс.

— За дровами пойдешь, да?

«Она меня презирает. Она всегда меня презирала. Я вколол в нее страх и покорность, но презрение выбить никак не уда-

лось. Вот это и скребет! А пусть! Послезавтра мы видимся последний раз, стоит ли из-за дерьма расстраиваться!»

— Если ты стукнешь ему, я тебе зубы выбью! Не сейчас, а потом! Ты знаешь, что я в таких делах слово держу, стерва! Сгребу за волосы и выбью, иди потом к доктору, вставляй железные.

Каждое слово он выговаривал со вкусом. Вспомнился один саксофонист в оркестре, которому вот так же пригрозил его товарищ, Женька, узнав, что саксофонист встречается с его бывшей дамой. Но встречи продолжались, тогда они подстерегли саксофониста после танцев и у троллейбусной остановки затащили в подворотню. Лицо саксофониста потом напоминало отбитый кусок мяса. У самого парня остались на большом пальце два глубоких шрама от клыков того музыканта. С неделю, наверное, палец болел. Милиция долго искала виновных, но не нашла, так как Женька в этом деле участия не принимал — у него было железное алиби со свидетелями. Парень не мог припомнить, что там дальше было с избитым, но в том клубе на саксофоне он уже не играл.

— Оставь меня в покое, как и я тебя!

— Повежливей, слышишь! Ты чего с папашей заигрываешь? Хочешь отвалиться от меня?

— Он мне симпатичней.

— Ври больше, стерва! А хоть и врешь, мне плевать! По мне можешь с него хоть последний пиджак снять и подорвать, только я не советую тебе этого делать.

— Не городи ерунду.

— Ну-ну... Пусть будет ерунда!

А тем временем в комнате шел деловой разговор. Инженер Гвидо Лиекнис показывал чертеж.

Если бы парень в свитере мог анализировать, а не хранил бы в памяти только события с острыми сюжетными поворотами, он был бы удивлен переменой, которая с ним произошла.

Они, ребята, которых объединяло общее несчастье, с чем они свыклись и делали вид, будто его не существует и о нем даже неприлично говорить, собирались на дворе между поленницами дров, где сами смастерили себе столик и пару скамеек. Сюда сходились со всей округи, сколачивали футбольную команду и мчались к железнодорожной насыпи играть. Здесь собирались, чтобы ехать на Киш-озеро или на Юглу купаться, здесь ковырялись в каком-нибудь старом будильнике, обсуждали школьные события и спортивные новости. Здесь был центр, в котором перекрещивались судьбы многих ребят.

Если кто приводил приятеля и тот спрашивал, может ли он прийти еще раз, ему отвечали одной и той же фразой: «Двор, он для всех!» Никого не гнали и не лупили только за то, что сует свой нос, но проходила неделя-другая, и один новенький сам больше не появлялся, а другой прилипал как репей и скоро

становился своим. Надо было, чтобы ты подходил этой компании. А для этого необходимо было иметь свое несчастье. Конечно, немножко иное, чем у всех, но ведь и два кирпича не совсем совпадают, а уж несчастья и подавно. Но в основном совпадают.

У этих ребят вроде и был дом, а в то же время его не было, и они старались находиться на дворе как можно дольше, иной раз и за полночь, и их никогда не звали спать. У этих ребят как бы были родители, у кого один, у кого оба, а в то же время как бы и не было. Поглядишь, как родители шатаются, послушаешь, как ругаются, год-другой — и вся любовь к ним уже выплакана, и с дружеской помощью других ребят слезы сменялись гоготом и насмешкой. В школе они были одеты хуже всех, форменные пиджаки изжеваны, порваны и запачканы, потому что это ведь единственная одежда и уж что только ей не приходилось выносить! У некоторых были бабки, жившие в другом месте, этим одежонку порой стирали, и тогда владелец ее ходил отутюженный и подстриженный, гордясь сам собою. И старался не прислоняться к кирпичной стене, не бить по мячу, брался только судить, вообще как-то держался среди своих особняком. К счастью, на свете хватает углов и выступов, за которые можно зацепиться, так что скоро он уже опять был на равных.

Ребята эти почти всегда были голодны, и если кто выходил с ломтем или краюшкой черного хлеба, посыпанной сахаром, то, не ожидая просьб, сам делился с другими. Они быстро приучились обчищать карманы пьяного отца, где, кроме мелочи, обычно ничего и не было, и потом бегали в столовку есть манную кашу и пончики с вареньем.

В школе их чаще всего использовали в качестве наглядного пособия — демонстрировали как образец лени и неряшливости, наказывали, не брали с собой на экскурсии.

Мальчишки считали себя пасынками и принимали облик гордых и злых упрямцев. Так как чаще всего на помощь со стороны не приходилось рассчитывать или же та по разным причинам обычно запаздывала, они начинали помогать сами себе.

Несчастье не монополия одних только мальчишек, поэтому в компании входили и девчонки, становясь «своими парнями». К ним относились с завидным джентльменством, не приставали и на танцах оберегали от притязаний чужаков. Может быть, понимали, что девчонки свою трагедию переживали еще горше?

Юнец, теперешний парень в свитере, в эту компанию не очень-то вписывался: материна левая зарплата, несмотря на разных отчимов, изрядно тянувших из нее, вполне хватало, чтобы сын был накормлен и прилично одет. Эти два недостатка он старался компенсировать лихим поведением и горлом. А может, и умением подладиться к вожаку — Женьке.

Иной раз на дворе стояла блестящая «Победа», по тогдашним понятиям, мечта автомобилистов. Лимузин принадлежал благодушному дядьке, про которого говорили, что он спекули-

рует чем-то. Гараж у него был далеко, поэтому он машину оставлял на ночь во дворе, если рано утром надо было куда-то ехать.

Женька в тот вечер был очень злой, так как мать не дала ему денег в понедельник на обеды и теперь всю неделю приходилось жить впроголодь. Придя из школы, замесил на воде тесто, чтобы испечь блинчики, но оказалось, что дома нет ни маргарина, ни растительного масла, а из мучной болтушки можно было лишь сварить что-то вроде клейстера, который даже с солью не лез в глотку. Кроме того, учительница велела ему зайти к Екуму и сказать, что задано. Тот по своей сознательности — отличник же! — даже и во время болезни хотел учиться.

Войдя в большие и светлые комнаты, Женька оробел, за что потом и злился на себя. Екум лежал под толстым ватным одеялом, рядом стоял пластмассовый столик на колесиках, который ломился от лекарств, кувшинчиков с питьем и фруктов — осень же, груш и яблок на базаре навалом — и конфет. А он, конечно же, и не думает все это пробовать, потому что ему, видите ли, из-за температуры все невкусно. Поинтересовался, когда будет сбор дружины, кто вместо него старостой класса и чисто ли дежурные класс подметают. Как только Женька сказал, что надо читать и писать, тут же Екум схватился за учебники и погнал Женьку домой готовить уроки, хотя тот с удовольствием поглядел бы еще на всякие красивые вещи вокруг.

Из «Победы» вылезла дочка владельца и заносчиво поглядела на мальчишек у столика. Ей было лет двенадцать, но фигура ее уже начала формироваться. Хотя она жила в этом же доме, ребята даже не знали, как ее зовут, потому что она училась в какой-то другой школе и где-то в другом месте проводила время. На руке у нее висела юбка, какие в старину носили, со всякими узорами — наверное, выступает в каком-нибудь танцевальном коллективе. Она ждала, когда отец закроет машину и достанет из багажника вещи. Кроме разных кульков, там была корзина с изумительными красно-желтыми яблоками. Выбрав самое спелое, девочка так вонзила в него зубы, что Женька почувствовал, как у него из уголков рта потекла слюна.

Ух как ему захотелось врезать по ее самодовольному лицу!

Девчонка с отцом исчезли на лестнице, а злость продолжала kloкотать в Женьке. Он подобрал возле мусорного ящика гвоздь и провел по боку машины во всю длину рваную борозду. И сразу стало как-то легче, как будто он отомстил за себя.

— Дурак, что ты делаешь! — всполошились остальные. — Под монастырь подведешь!

Уже смеркалось, и у столика их оставалось всего пятеро.

— Буржуи проклятые! Спекулянтская душа! Вот завтра захнычет, как увидит!

— Ага, не будь таких, всем бы жилось лучше, — подхватил другой.

Мудрость была не Женькина, а дома усвоенная. Когда мать

искала причины своего бедственного положения, она ни себе, ни другим не хотела признаться, что главную вину надо искать в себе самой. У нее были два громоотвода — отец Женьки, который часто задерживает алименты, и живущие по благу, которые получают огромную зарплату, так что другим ничего не достается. То, что она сама ни на одном месте дольше недели не задерживалась, это в такие минуты забывалось. О, она великолепно знала, что надо делать! У нее были радикальные планы переустройства, и она готова была изложить их перед миллионной аудиторией, только ни один из этих планов не включал ее собственной занятости трудом, а основывались они исключительно на переделе уже существующих ценностей. К счастью, миллионная аудитория была занята на работе, но в грязных и галдящих квартирах она находила иногда благодарных слушателей, и тогда целый вечер напролет шли разговоры о больших и малых несправедливостях, которые без ведома короля творят его неправедные слуги.

— Все эти дачи палить! Раз все равны, так никому! А машины? Разве на машину можно честно заработать? Честным трудом только вошь на аркане да нужду заработать можно! Я за десять лет столько не получила, сколько «Москвич» этот стоит. А ведь ездят! Потому что воруют! У меня малость украл, у тебя украл — вот он уже и барин! Брюхо вперед, весь в шубе и нос кверху! Да будь у меня власть, я бы...

— Тогда бы одни винокурни и вытрезвильники работали! — заржал один из компании и, перегнувшись на табуретке, стал довольно оглаживать свои ляжки.

— Постыдился бы! Я своего ребенка воспитываю... Всего...

Это подчеркнутое «своего» больно уязвило собеседника, так как ему пришлось воспитывать чужого. Если можно назвать воспитанием то, что спишь с ним в одной комнате.

Какие бы ни были мотивы, вызывавшие желание переделывать все ценности, — то ли зависть, то ли отчаяние, то ли комплекс неполноценности, кое-какие словечки и рассуждения выламывались из общего текста и западали в умы ребят, как падают зерна в весеннюю, набухшую почву.

Борозда на полировке «Победы» была как бы сигнальной ракетой для дальнейших действий. В ту же ночь в квартире Екума были выбиты все стекла со двора.

— Он и ветра не почувствует под своим ватным одеялом, — сказал Женька, вспомнив белый накрахмаленный пододеяльник и отливающее вишневым атласом одеяло.

Все то, чем они ранее восхищались и чему завидовали, стали ненавидеть и захотели сокрушать, разбивать, уничтожать. Пробудившийся дух протеста обратился прежде всего против утверждаемых школой норм поведения и учения вообще. И главным образом потому, что большинство не справлялось со школьной программой из-за неналаженных бытовых условий и отсутствия контроля в семье, из-за отсутствия элементарных условий для регулярной работы.

Им было всего четырнадцать-пятнадцать лет, но, сбившись в стайку, они стали сознавать свою физическую силу. Для начала отлупили всех чистеньких-аккуратненьких и пошвыряли в канаву их учебники. Большинство из побитых были дети просто из нормальных семей, но компания все равно считала их чем-то иным — враждебным, чужеродным телом.

Первый разговор в инспекции по делам несовершеннолетних. Дяденьки и тетеньки дружески втолковывают, что черное — это черное, а белое — белое. В вежливой форме угрозы, но больше так, на всякий случай.

Домой ребята ушли злые из-за нотаций, унижений и обещаний, которых от них требовали и которые они дали, чтоб отвязались.

— У меня дома бардак, — грустно сказала одна из девчонок, которой сегодня досталось за то, что она вместе с мальчишками сбежала и жила в садовом домике в Дарзнях. — Они же это хорошо знают. А так как мою муттершу законами не проймешь, они ругают меня. Ничего, как только получу паспорт, выйду замуж!

Женька с надеждой посмотрел на нее. Ни для кого не было секретом, что девчонка ему нравилась и потому могла им крутить как хотела.

— Если только школу удастся кончить, — продолжала она, — то можно и не выходить замуж. Пойду в профтех, там общага...

— Морды свинячьи, — прошипел теперешний парень в свитере, имея в виду дядек из инспекции. Ему-то особенно жаловаться было нечего, но и он хотел подладиться к общему настроению. Внутренний голос подсказывал, что сейчас самое время утвердиться в главарях рядом с Женькой. Был он малый рослый, физически сильный, но Женьки боялся, потому что тот был из тех, кого можно было победить, лишь убив. Если его побеждали кулаком, он хватал с земли кирпич, не думая о последствиях, а если вырывали кирпич, то убегал в дом и выскакивал с ножом или топором. Может быть, Женька создал себе такую репутацию, но ребята верили в это, боялись мальчишку и подлаживались к нему.

Хотя внешне это не проявлялось, человек он был расчетливый и за всеми его действиями что-то стояло: каждый шаг должен был принести что-то, необязательно даже материальную выгоду. Так, играя в карты, он чуточку жулил, даже когда игра шла не на деньги, потому что хотел сохранить за собой репутацию удачливого игрока.

От инспекции они прошли квартал, а может, чуть больше. Оживленный перекресток с магазинами, аптекой и газетным киоском остался позади. Оглянувшись, можно было увидеть, как там мелькают троллейбусы и машины — некоторые уже включили габаритные огни. По обеим сторонам улицы тянулись облупленные, неприглядные дома с большими проходными дво-

рами, забитыми дровяниками, кривыми гаражами и цветочными грядками.

Впереди появился парень с гитарой. Лет двадцати, довольно широкоплечий, очень хорошо одетый, мускулы так и играют под модной нейлоновой курткой. Оценив встречных ребят, он счел за благо своевременно перейти на другую сторону улицы.

Юнец тоже перешел улицу, и встреча была неизбежна. Никакого сговора не было, так что Женька с остальными только остановились и смотрели, что будет.

Парень сошел на мостовую, чтобы пропустить задиру мимо, но и подросток сделал несколько шагов в ту же сторону. Тогда парень подался к стене дома, но тот был опять перед ним.

«Сейчас побежит назад», — подумал юнец и уже представил, как он, стоя на месте, затопает, чтобы убегающий подумал, что за ним гонятся, и прибавил скорости. Вот смеху-то будет!..

Но парень не побежал — он застыл на месте.

— А ну сыграй! — приказал юнец.

Парень стал лихорадочно дергать струны. Вообще-то он играл хорошо, но от волнения не мог взять ни одного аккорда.

— И пой!

С губ сорвались какие-то сильные звуки. И в этот же момент юнец примерился и ударил. Удар его скользнул по подбородку и по чистой случайности пришелся на кадык. Парень схватился за горло и упал. Он хрипел и не мог перевести дух. Юнец почувствовал что-то вроде счастливого возбуждения: он же впервые осмелился ударить взрослого человека. Он бы и сейчас этого не сделал, если бы рядом не стоял Женька с товарищами и если бы парень не перепугался до оцепенения.

Победитель двинул упавшего по ребрам, но реакции не было никакой: тот продолжал дергаться и хрипеть.

Герой поднял гитару и провел большим пальцем по струнам.

Точно в ожидании совета взглянул на своих, стоявших по другую сторону улицы, и, выражая недоумение, выразительно пожал плечами. Потом взял инструмент за гриф и уже хотел трахнуть об стену, как девчонка закричала:

— Менты!

Сзади по булыжной мостовой на большой скорости мчался милицейский «газик», длинная антенна моталась, как хлыст, во все стороны. Наверное, кто-нибудь из окна увидел происходящее и позвонил дежурному, и тут, как на грех, совсем близко оказалась оперативная машина, которой по радио отдали приказание.

Чтобы не спугнуть подростков, не включили ни синюю мигалку на крыше, ни сирену.

Юнец, не выпуская гитару (ему даже в голову не пришло бросить ее), нырнул в ближайшие ворота. Пробегая мимо дровяников, он слышал за спиной топот остальных. На улице взвизгнули тормоза, послышалась отрывистая команда, и машина рванулась вновь. Из этого двора было несколько выходов, и

юнец понял, что милиционеры об этом знают и теперь или на машине будут кружить, или поставят по милиционеру у каждого выхода, а остальные погонятся за ними по пятам.

На улицу высовываться нельзя, надо спрятаться где-то здесь!

В одном дворе находилась двухэтажная хозяйственная постройка, кирпичный каркас которой был облеплен сарайчиками. Вокруг строения тянулся какой-то балкончик с перилами, служащий и опорой для крыши, и проходом. И там, одна подле другой, двери узких, но зато глубоко уходящих чуланов.

Взобравшись по скрипучей лестнице, юнец стал дергать всякие замки: а вдруг найдется незапертая дверь. Если ничего ценного нет, хозяева порой обходятся просто щеколдой или загнутым гвоздем.

Уже через полминуты такой сарайчик был обнаружен, и юнец шмыгнул туда с Женькой и девчонкой, бежавшими за ним. В щель между досками была видна большая подворотня и часть двора. Сердце от всего пережитого колотилось так, что казалось, его слышно снаружи.

Вскоре в подворотне появились два милиционера с парнем, который все еще держался за горло. Посовещались и вышли на улицу. Тут же послышался шум машины.

— И болван же ты! — сердито сказала девчонка. — Тебе бы за эту барахольную гитару пришили ограбление, а может, и Женька не вывернулся бы! Очень она тебе была нужна?

Девчонка смело болтала языком, зная, что Женька не даст ее в обиду.

— Выгодно толкнул бы, у меня покупатель есть, — на ходу придумал юнец. — А вы видели, как он спикировал? Да этаких на меня двоих надо!..

— Тебя и один бы хорошо умыл, не стой Женька рядом, — не унималась девчонка.

— Чего там, рядом! Да я...

— Да заткнитесь вы, может, менты еще внизу стоят! — цыкнул на них Женька. Те продолжали спорить, только уже шепотом.

— Сколько ты за нее получишь? Пятерку? Уж если деньги нужны, так лучше пойти колпаки с машины снимать... или... Ты знаешь, сколько стоит запаска, если ее из багажника вытащить? — Благодаря знакомым матери девчонка знала несколько надежных приемов, как раздобыть деньги. При случае она ходила с матерью на Большое кладбище за пол-литровыми банками из-под цветов, а потом сдавала их. Брели и цветы, но их не очень покупали и с подозрением крутили в руках, расспрашивая, почему на листьях песок и отчего привялые.

— Я ему потому врезал, что он стукач!

— Что ты свистишь, ты его первый раз видел!

— Кто тебе сказал, что первый раз? Я его с дружинниками видел!

— Свисти, свисти больше!

И теперь, спустя годы, парень вспоминал эту девчонку с боль-

шней неприязнью. И даже с большей, чем раньше, потому что девочка стала элегантной, независимой дамой. У нее теперь двое красивых детей, тихий и солидный муж, а сама она работает в ателье мод закройщицей. Чтобы сшить у нее пальто или костюм, надо долго ждать в очереди. Парня она как будто и в упор не видела, но Женьке, который допиллся до инвалидности, подкидывала то трешку, то пятерку. Даже выхлопотала ему место в лечебном профилактории, но тот ушел в загул и уже не просыхал. Мужа ее парень в свитере помнил со школьных времен, но близко не знал. И не знал также причины, почему девочка так резко отделилась от компании. Появилась какая-нибудь дальняя родственница? Устроили в интернат? С матерью это никак не могло быть связано, так как старухи поговаривали, будто мать в трезвом виде смотрит на свою дочь из лестничного окна дома напротив, когда та после работы выходит из ателье.

...На дворе уже была кромешная тьма, так что происходящее в кухне отражалось в давно не мытом окне. Вот женщина, нагнувшись, что-то делает на столе, вот даже виден пар из котелка на краю плиты...

— Где мой хромированный фонарик? — грубо спросил парень, словно женщина умышленно засунула куда-то эту вещь, лишь бы ему досадить.

— В желтой сумке... — Она сразу поняла: хочет в сарае пить коньяк инженера. Какую же позицию теперь занять? Дозволить ему или помешать? Напившись, он тут же в тепле заснет, а когда проснется, будет сволочной и невыносимый. При шефе ее не тронет, но не исключено, что попытается излить гнев на инженера. Ах, и почему такая сила дана такому дряблему человечиске, такой размазне?..

— О чем ты думаешь?

— О тебе...

Парень рассмеялся.

— Обо мне ты долго будешь думать! Я неизгладимыми буквами вписан в твою биографию! Так где-то было написано, я читал. Да, вот так, стерва!

— Как тебе не надоест!

— А потому что ты мою жизнь исковеркала! — Чтобы успокоиться, ему немедленно надо было сделать хоть глоток. Не вынимая бутылку из-за пазухи, он отвернул металлический колпачок и сделал пару глотков. — Ну чего мне до тебя не хватало? Все у меня было! Все мне нравилось!

Открылась дверь комнаты, и появилась голова старшего.

— Иди сюда, — крикнул он.

— Чего тебе? — сердито осведомился парень. Алкоголь подействовал на него почти моментально — он уже ничего не хотел делать.

— Иди. А ты запри за нами дверь. Откроешь, когда я скажу. Договорились? — Последнее слово шеф скрепил улыбкой, ко-

торая сделала лицо совсем чужим — так редко он улыбался. Женщина от волнения вздрогнула, но постаралась не выказывать нервозности, опасаясь, что острые глаза шефа тут же это заметят.

Засов крепкий, если бы достать какую-нибудь жердь, дверь можно бы еще крепче запереть, не выломали бы. Вот с окнами хуже... Только не бояться... Только не бояться...

Она взяла круглый электрический фонарик и, освещая протоптанные в глубоком снегу следы, быстро пошла к сараю...

— Покажи ему место, где мы выходим в коридор, — приказал старший парню.

Толстые и тонкие, пунктирные и прерывистые линии занимали весь лист бумаги. Они скрещивались и изгибались, шли параллельно, сходились, чтобы тут же снова метнуться в разные стороны.

Усатый парень сделал серьезное лицо, но все равно ничего не мог понять.

— Это план второго этажа, — попытался ему помочь Лиекнис. — Он еще, конечно, не закончен, но...

— Да вижу, вижу...

Мысленно парень мог пройти каждый отрезок пути, так как план взлома принадлежал ему, он уже десятки раз его продумывал, пока выложил старшему. Он исходил весь путь от старта до финиша, который в предварительных играх был куда ближе — у дверей центрального сейфа.

У тетки, которая охраняет еще не законченный корпус ювелирной фабрики и строительную площадку, есть собака, и ей за эту дворняжку что-то приплачивают, но она бегаёт снаружи только летом и не очень долго, так как бабуся волнуется, как бы ее не покалечили коты, к которым она по своей собачьей натуре лезет, хотя уже столько раз вынуждена была с воем удирать. Зимой собачонка спит в проходной возле печурки и облаивает только того, кто открывает дверь и впускает холод.

Да и сама-то сторожиха не часто выходит, потому что снег глубокий. Будучи сознательной, иной раз еще дойдет до нового корпуса и подергает ручки дверей, заперты ли. До туда можно пройти по наезженной машинами дороге. Машины подвозят всякий отделочный материал, а вывозят строительный мусор, на который мастер просто ополчился, — загорелось, видите ли, ему сдать эксплуатационникам здание вылизанным. И теперь, как только кому делать нечего хоть минуту, старик тут же сует в руки лопату и тачку. Мужики ворчат по углам, но спорить не осмеливаются, потому что он тут же осведомляется:

— Что? Ты хочешь, чтобы тебе платили, когда ты в курилке сидишь, ручки сложив? И сколько я тебе должен за это платить?

Так что дорога укатанная.

По замыслу, завтра вечером, с наступлением темноты, взломщики должны перейти двор по протоптанной тропинке, которая начиналась у пролома в заборе недалеко от будки сторожихи.

Протоптали ее те, кому надо к трамваю. Таким образом они выгадывают каких-нибудь двести метров. Доски в заборе держатся только на верхних гвоздях, так что их можно отодвинуть, и образуется чистенький, удобненький проход. Учитывая, что ликвидация этого прохода затрагивает интересы слишком многих, мастер не велел его заделывать, хотя ради приличия ворчал.

Опасными являются только первые пятьдесят метров — тут сторожика может увидеть их в окошечко. К сожалению, реакция старухи непредсказуема. Парень полагал, что она выйдет и начнет допрашивать как положено, но предосторожность заставляла допускать и телефон: испугается людей и позвонит в милицию.

Для милиции была придумана легенда. Чтобы она была более или менее правдоподобной, надо минут двадцать выждать у входа в корпус и только тогда открыть его. Этих двадцати минут с избытком хватит, чтобы приехала оперативная группа. И если она действительно придет, то обнаружит неудачную попытку открыть дверь, виновником которой является один из строительных рабочих и его приятель. Оба изрядно выпившие — запах можно легко изобразить, полив водку на одежду и пополоскав ею рот. И этот самый рабочий божится, что в комбинезоне забыл кошелек с деньгами, а у приятеля оказался такой же ключ, вот они и решили пойти за деньгами. Ключ, который он предъявит, лишь отдаленно напоминает нужный, а нужный шеф с появлением милиции забросит. Так как никаких орудий взлома у них не будет — парень постепенно пронес их и запрятал в строящемся корпусе, — то их наверняка отпустят. Особенно после того, когда окажется, что в комбинезоне действительно кошелек с деньгами.

Парень не раз и обстоятельно взвешивал все «за» и «против», особенно там, где дело касалось нового корпуса: на втором этаже старого ему редко приходилось бывать.

Итак, они закрыли за собой дверь корпуса. Вокруг тишина и темнота. Он нажимает на кнопку фонарика. Сквозь цветное стекло пробивается только тусклый свет — яркий луч может мелькнуть в окнах, и его снаружи кто-нибудь заметит. Лестница погружена во тьму. Между подошвой и цементом слышится, как поскрипывают песчинки.

— Сюда. — И он идет первым.

Пахнет свежей краской и раствором. Они пересекают коридоры, большие и маленькие помещения. В некоторые уже внесены рабочие столы, здесь еще стоят ящики с надписями: «Не бросать!», «Аппаратура!» на четырех языках, и пальцы любопытствующих уже надорвали в разных местах бумагу, чтобы разглядеть металлические части, все в густой вазелиновой смазке.

И вновь помещения, и вновь коридоры.

По дороге он подхватывает стремянку. И вот входят в небольшой закуток.

Он раздвигает стремянку, влезает на самый верх и дотяги-

вается до декоративной решетки кондиционного устройства. Та довольно долго дребезжит, но наконец поддается. Шеф принимает решетку и ставит к стенке.

Чтобы дотянуться до старомодного саквояжа — в фильмах про старые времена с такими ходили врачи, отправляясь по визитам, — надо стать на цыпочки, потому что воздухопровод глубокий. За саквояжем следуют два электрических сверла.

— Дай, я заделаю... — Парень указывает пальцем на люк. Шеф несет свои инструменты.

— Теперь надо в правое крыло... Я нарочно все спрятал в другом конце...

Шеф ничего не говорит, но про себя одобряет его действия. Он ведь король взломщиков, именно поэтому парню хочется блеснуть перед ним, доказать, что и он что-то может, не просто мальчишка на побегушках, которому можно лишь доверить принести спички. Если еще раз придется вместе работать... Нет, не придется... В этом сейфе слишком много добра, хватит на всю жизнь... Может, даже на десять или на сто жизней...

Опять они блуждают по незаконченному корпусу, и может показаться, что именно блуждают, но на самом деле все продумано и вымерено до последнего шага.

Наконец-то! Пустое помещение, похожее на зал, с цементным полом, в котором два длинных углубления, — здесь через несколько месяцев будут скользить конвейеры. В пол вбетонированы толстые стержни с нарезкой. Они размещены в определенном порядке, обычно по четыре, образуя квадрат, в центре которого отверстие. Из него торчат концы трехжильных кабелей, тщательно изолированные. На эти болты насадят основания токарных, фрезерных, расточных, штамповочных станков, подтянут, чтобы не шатались и не вибрировали, а к кабелям подсоединят электромоторы.

— Надо организовать ток, — говорит шеф. — А я пока подключусь...

— Сначала надо отметить место, — возражает парень.

— И верно, — поспешно подтверждает старший, когда его подводят к стене.

— Вот здесь центр, — указывает парень на чуть заметную царапину.

— Что-то уж очень ты уверен, — недоверчиво говорит шеф.

— Потому что раз двадцать измерял.

Взяв центр за ориентир, они вычерчивают на стене трапецию. После того как просверлят, выломают, отобьют и опилят, она станет отверстием, которое пройдет через стену толщиной в два кирпича, отделяющую новый корпус от старого. Сквозь него можно прорезать в душевую на втором этаже, из душевой пройти в раздевалку, из раздевалки — в коридор.

— Я пошел! — И он круто направляется вниз к распределительному щиту, чтобы включить электричество. Он уже точно знает, который из многих рубильников надо дернуть книзу. Но он включает не только тот зал, но и коридор, и комнаты

в конце здания. Так что надо сначала слетать туда и вывернуть лампочки, иначе какая-нибудь из них загорится. Об экономии энергии говорят много, мастер в конце рабочего дня носит как ищейка, щелкая выключателями, что обычно другие забывают делать, но и он за всякой верхотурой не может уследить, поэтому обязательно надо вывернуть, что, между прочим, шефу и в голову не придет.

Наконец-то все в порядке: сверло включено в сеть, остальные инструменты разложены, чтобы удобно было действовать. Они садятся на пол и ждут. Шеф то и дело поглядывает на часы, а парень лишь посмеивается: ему на расписание поездов плевать. Когда состав будет подходить, даст знать сигнал на переезде. Шлагбаум еще не опустили, а звонок уже дребезжит. Сверлить и долбить стену можно, только когда мимо проходит поезд, его шум все остальные шумы заглушает...

— Ну, показывай! — подталкивает старший, но парень тупо смотрит в паутину нитей, начерченных инженером, и ни черта не соображает.

— Вот это кабинет директора, — помогает ему Лиекнис. — Здесь сидят технологи... Здесь...

— Ага... Это стеклянная дверь?

— Да.

— О'кэй! Вот здесь раздевалка и душевая?

Лиекнис кивает.

— Вот через эту стенку мы и хотим пожаловать... в гости...

Гвидо Лиекнис не удивлен: его, кажется, уже ничто не может удивить...

К тому времени, когда мужчины возвращаются в кухню, женщина уже набросала в угол у плиты хорошую кучу дров. Лицо ее покраснело от ходьбы к сараю и от холода.

— Погоди, я наношу, — предлагает парень. — Чтобы ночью больше не таскаться.

Старший садится на свое место, приваливается к шкафу, потом, заметив на столе бутерброды, тянется за одним, откусывает сразу половину и как-то сонно начинает жевать. Челюсти ходят механически, еда кажется безвкусной. Разумеется, даже не поблагодарил: не настолько акклиматизировался в нормальном мире, чтобы пользоваться словом «спасибо», которое среди заключенных обычно истолковывается как вздох беспомощного.

Его лицо, послушное воле, как обычно, ничего не выражало, в противном случае на нем отразился бы неожиданный прилив страха. Как иной раз у хорошего пловца, который беззаботно плывет навстречу волнам, но тут перед ним горой вздымается девятый вал, и он почти машинально, движимый инстинктом самосохранения, оглядывается, далеко ли берег.

План слишком грандиозен, чтобы быть реальным.

Какое-то пятое или шестое чувство говорило: «Это невозможно!», «Не ходи туда!»

Не ходи туда, беги, пока не поздно!

Но только из-за грандиозности цели он и пошел на разговор

с этим подонком. Чтобы сделать то, что еще никто не сделал. Чего никому и в голову не приходило. И парню этому не пришло бы в голову, не будь он дилетантом. Серьезно и тот не думал о вскрытии центрального сейфа, просто нравилось от нечего делать размышлять с битым и опытным волком. Ведь любая сопля хочет, чтобы с нею разговаривали и относились к ней, как к стоящему человеку. Жадности, вот этого у него хватает, а ума лишь на то, чтобы выполнять те простые поручения, которые шеф стал ему потом давать: разъезжая на электрокаре, подручный смог измерить толщину двери комнаты-сейфа, расстояние между замочными скважинами, засовом и заклепками.

Фирма «А. Т. Шеер и К°» — именно она изготовила и встроила центральный сейф фабрики ювелирных изделий — в конце века была довольно известной в Европе, и сейфы ее считались весьма надежными из-за сложности механизма замка. Кроме того, дверь и боковые стенки делались из сплава, который в те времена не брали ни сверло, ни пила. Но ведь прошло восемьдесят лет, прогресс двинул технику вперед — с этим не поспоришь. Уже делаются алмазные диски, сверла и фрезы, которым любой материал по зубам, у трехфазных сверл теперь тысячи оборотов в минуту. В результате развития техники сейф, конечно, утратил некоторую свою супернадежность.

Обмеры помогли набросать схему засова и положение механизма в двери. Постепенно можно было подойти и к ключу.

Когда все попытки подручного разглядеть ключи ни к чему не привели, так как Микки Маус с ними не расставался ни на минуту, взломщик все же не оставил надежды. Наполеоновский комплекс уже так вступил ему в голову, что сделался для него просто необходимым. Если у парня даже дух захватывало при мысли о богатстве, которое ему привалит, и о радостях, которые он себе доставит благодаря этому богатству, то старшего пьянило сознание могущества — он будет первый! Самый, самый, самый первый! Богатства и связанные с ними блага были для него довольно абстрактными понятиями, потому что ни того, ни другого он не знал. Среди воров-взломщиков богатых нет, их радости — это радости ограниченных и очень бедных людей. Одно лишь и есть у них — это наигрыш и заносчивость прожигателей жизни, за которыми скрывается страх перед возмездием, которое может наступить уже завтра.

Когда общаешься с тем, кто провел долгое время в заключении, то это прежде всего общение с ребенком, которому расти да расти. Нередко с цинично-зловным, безжалостным ребенком с философией хитрого старца «А сколько мне и жить-то осталось!», которая как бы наделяет его особыми правами и оправдывает любые его действия.

«Как бы рассуждал я сам, если бы сидел в дирекции фирмы «А. Т. Шеер и К°», а ко мне явился клиент с просьбой изготовить комнату-сейф? — задавал себе вопрос старший. — Размеры уже определены архитектором исходя из функций фабрики. Итак, я могу только одеть стены, пол и потолок в огнеупорный

материал и обшить стальными плитами от взломщиков. Остается дверь, но и ее размер уже определен. Есть ли смысл ради одной двери привлекать нескольких конструкторов? Дорого и долго. Ведь есть же простой выход — увеличить механизм существующих в производстве сейфов в соответствующее число раз, а замки, к которым отмычку не подобрать, оставить те же самые».

В Риге, оказывается, еще имеется немало больших и малых сейфов «А. Т. Шеер и К°», которые украшают кабинеты, а в ремонтных мастерских порой можно увидеть сразу два. Пропорции дверцы везде совпадали, и теперь уже было точно известно, где надо сверлить и пилить, чтобы открыть запирающий механизм и заставить его работать без ключа.

Не хватало лишь точных сведений о сигнализации.

...Заметив, что женщина надела желтую куртку и идет к двери, парень спросил:

— Куда это ты?

— Ты тоже можешь туда, — отрезала она. — Куда фонарик дел?

И тут же увидела его сама. Парень сунул его за матицу. Она потянулась, взяла его и проверила — горит ли.

— Пейте чай... сахар в моей сумке.

С жалобным скрипом закрылась за нею дверь.

Парень видел в окно, как луч фонарика проскользнул во двор и исчез за сараем. В темноте выделялось только пятно света, вычерчивающее разные геометрические фигуры. Самой женщины не было видно.

— Я этой стерве... За ней поглядывать надо...

— Я тебе запрещаю ее обзывать... Мы... Нам надо заодно быть! — Старший старался говорить резко и отчетливо, как обычно, но на сей раз у него это звучало не очень внушительно.

— Вы что, сговорились, что ли? — Это было уже не просто любопытство, а скрытая насмешка.

— А тебя это не касается.

— Ты не очень-то ей верь. Ни одной бабе нельзя верить. На меня жаловалась?

Старший понял, что молчание в этом случае не лучший ответ, но ничего на скорую руку придумать не мог. Умом он понимал, что с женщиною ведет себя смешно, как мальчишка, но что же делать? Несмотря на солидный возраст, опыта в любовных отношениях он почти не имел. Он несколько раз пытался прикидывать, как компенсировать разницу в годах, если только удастся заполучить и удержать эту женщину.

— Инженер не раскис?

— Нет, старательно работает. Ты цветных карандашей для него купил?

— Угу... — кивнул парень. — Чтобы сигнализацию обозначал красным... А как глубоко провода могут быть проложены?

— Как где... Одни сантиметра на два под штукатуркой...

Он расскажет, какие препятствия и где нам припаивать новые сопротивления...

— Отсоединить от сети, и все!

— Инженер лучше знает. Он уже мягонький стал, потек...

— А как ты скажешь, что его ждет, если плап к утру не будет готов?

— Он и сам понимает.

Парень взглянул в окно, но фонарика нигде не заметил.

Зайдя за сарай, женщина выключила фонарик и подождала, пока глаза привыкнут к темноте. Вскоре она уже могла различить острые вершины елей на фоне неба, белый снег и очертания строений. Она пошла дальше.

Обойдя вокруг, подошла к открытой двери сарая, прислушалась, что происходит дома — там разговаривали, но слов нельзя было разобрать, — и исчезла в сарае.

Идя за дровами, она хорошо запомнила, где находится колода с воткнутым топором. Но сейчас долго и беспомощно шарила вокруг. Боялась задеть какую-нибудь доску, чтобы шумом не сорвать весь план.

Наконец топор был у нее.

Пройдя почти по самой кромке оврага, она подошла к дому сзади и стала пробовать доски последнего заколоченного окна. Все искала щель, куда можно просунуть топор.

Если гвозди выдирать, они могут заскрипеть.

Нечаянно можно задеть стекло, и оно разобьется.

Ее могут начать искать.

Убить не убьют, старик не даст: он, кажется, в меня влюбился.

Наконец повезло: она нашла щель под нижней доской, сунула туда топор, уперлась и потянула за топориче. Тянула изо всей силы, но доска не поддавалась.

«Не смогу», — в отчаянии думала она.

За окном кто-то дышал. Это мог быть только он.

Как же ему объяснить?

— Я вам хочу помочь, — прошептала женщина.

Ответа не было, хотя она ясно слышала, как он там дышит.

От холода даже пальцы прилипали к топору...

ВДОВА

— Наша церковь находится поодаль от селения. Место на отшибе, каменная ограда и большие деревья, — показывал суду свидетель. Лицо у него было бурое от загара, поэтому голубые глаза выглядели по-детски светлыми. На парне была куртка из искусственной кожи, через локоть висел мотоциклетный шлем. — В тот вечер я возвращался с работы поздно.

— Почему? — спросил один из заседателей. Такой уж у него был нрав: все время задавать вопросы, и потому, хотя про-

цесс шел только третий день, судья уже морщил лоб, когда тот опять получал слово.

— Так ведь у нас в деревне не как в городе, — усмехнулся свидетель. — Мы не по часам работаем, а по барометру... Можно дальше рассказывать?

Судья кивнул.

— В тот вечер я возвращался с работы поздно, было уже темно... Чтобы ребятишек не будить, оставался на кухне. Поставил чайник, стал искать в холодильнике, чего бы поесть.

— Суд это не интересует.

— А вот и нет! По-моему, это очень важно, так как, сидя за столом в комнате, я бы не видел дорогу.

— Продолжайте.

— Налил чаю, стал хлеб намазывать... Вдруг вижу — «Жигули» катят. Как автостраду проложили, по старой дороге почти никто не ездит. Только свои. А этот чужой, из-за выбоин едет тихо, а местные так не ездят, они каждую кочку знают и дуют себе смело. У меня еще никаких подозрений не было. Огни исчезли в деревьях у церкви. Будто в воду нырнула машина, из-за поворота уже не показывается. Поел я, убрал со стола, а как-то не по себе. Инспектор нам говорил, что в последнее время церкви часто обворовывают, а жена у меня в сельсовете работает, я знаю, что ждут мастеров, которые в церкви сигнализацию установят, как в магазине. Теперь-то ее, между прочим, сделали, а тогда еще не было. А меня в сон клонит — все же восемнадцать часов отработал...

Судья опять хотел сказать, что свидетель слишком многословен, но передумал — это может занять еще больше времени.

— Я уж хотел рукой махнуть и спать ложиться, но тут подумал: это же я буду виноват, если церковь обворуют. Вполне же возможно, что я единственный эту машину заметил. И вот из-за моей лени какие-то подонки распотрошат старый храм, который стоит здесь больше трехсот лет...

При слове «подонки» оба подсудимых подняли головы и злобно посмотрели на свидетеля, но тут же вновь понурились.

— Накинул я вот эту самую куртку и пошел взглянуть. Была полная луна, ночь прямо как для привидений создана.

Адвокат что-то быстро отметил в своем блокноте, напоминающем конторскую книгу: не забыть упомянуть эти привидения в защитительной речи.

— «Жигули» стояли метрах в ста от церкви, за углом кладбища, чтобы с дороги видно не было. Я бы даже проскочил мимо, но луна ярко освещала следы протекторов, и стало понятно, куда машина свернула. Я к ней не подошел, а через кладбище к церкви. Во-первых, потому что так ближе, а во-вторых, дома я провозился довольно долго, и воры могли возвращаться оттуда. Фактически мне надо было узнать номер, бежать домой и позвонить в район — милиция на автостраде задержала бы машину без всякого шума. Но ведь неудобно людей сразу называть ворами из-за того, что их машина ночью стоит у кладби-

ща. И еще поди знай, помчится ли районная милиция сломя голову ловить кого-то, если я не могу конкретно доказать сам факт ограбления.

Обошел я церковь кругом, ничего подозрительного — дверь на месте, окна целы. Понять ничего не могу, потому что близко в округе ничего ценного нет, из-за чего бы машина могла сюда прикатить. Даже рыболовы это не могут быть — ни реки, ни озера.

Вдруг слышу в церкви щелкает что-то, под сводами отдается. Вроде как толстый провод перекусывают.

Обошел я церковь еще раз, уже прислушиваясь, и к дверям хорошенько пригляделся. Главная дверь целая, а вот маленькая, которая ведет в помещение за алтарем, на метр от земли перепилена ниже замка и держится на одной петле. Воры влезли и половину эту за собой плотно прикрыли, так что и пропил не виден. Даже когда я ручку подергал.

Ну, ясно, что я один ничего не сделаю, нужен помощник, да ведь грабители тем временем уходят. Я уж было стал искать, чем бы эту отпиленную половину припереть снаружи, как пришло другое решение. Сбегал я к машине и открутил у колес вентили — если и примутся накачивать, так это порядочно времени займет, и я успею вернуться.

Разбудил своего школьного товарища Арона, позвонили в милицию. Там нам сказали, чтобы мы по возможности воздержались что-либо предпринимать, сейчас оперативная группа придет. Потом подняли ветеринара, он неподалеку живет, и вторым опять к церкви. Приложил ухо к двери — слышно, как воры орудуют: ходят, берут что-то, кладут, тихо переговариваясь.

— Надо что-то делать, — не унимается ветеринар, — а то от одной порчи будет больше потерь, чем от кражи.

Я сказал, что мне велел дежурный в милиции, но тут к ветеринару присоединился и Арон, потому что в алтаре и на кафедре у нас резьба красивая. Поломают, а кто чинить возьмется? А если и сыщется мастер, так каких денег это будет стоить!..

— Эй вы там! Что вы там делаете? — громко крикнул я и забарабанил в главную дверь.

В церкви все стихло. А мы только тут спохватились, что промашку дали, — даже веревок у нас нет, чтобы их связать, когда вылезут. Ветеринар пошел на хитрость, чтобы дать Арону возможность слетать домой за веревкой. Стали мы с ним спорить, есть ли кто в церкви или нет. Я говорю, что слышал там шум, а он говорит — голуби это, что на колокольне живут. Поспорили, обошли вокруг церкви и опять разговор завели, что это, похоже, и впрямь голуби, потому что нечего человеку в такой паршивой церкви делать. Это чтобы грабителям внушить, что мы сейчас уходим.

Старший из подсудимых, попавшийся на эту уловку, поднял голову и с такой яростью посмотрел на куртку из искусствен-

ной кожи, что она должна бы была загореться и расплавиться.

— Когда Арон вернулся, а с ним прибежал и его братишка, мы потребовали, чтобы бандиты вылезали по одному: во-первых, мы не знали, сколько их, а во-вторых, по машине понятно было, что не с подростками имеем дело.

Какое-то время те молчали, потом попробовали ставить условия, потом торговаться, как в Ташкенте на барахолке. Обещали нам ящик водки, грозили церковь спалить, если не дадим им уйти по-хорошему. Это длилось довольно долго, а милиция все не ехала. Чтобы время потянуть, стали вроде бы уступать.

Но тут оказалось, что они нас обхитрили, а не мы их. Покамест один балабонил с нами из-за задней двери, другой открыл большую — она закрывалась изнутри на засов. Слышим вдруг, парламентар оборвал разговор на полуслове, дощатый пол загудел. Мы к другой двери, но они опередили — первый мелькнул будто тень и уже перелез через ограду. Ребята — они вперед вырвались — кинулись за ним, но под старыми деревьями такая темень, ну он и улизнул. Потом в милиции сказал, что добрался до «Жигулей», но увидел, что колеса спущены, и давай пешком уходить. Нам сразу стало ясно — попробует выйти на автостраду и там будет голосовать. Так и вышло, там его милиция и прихватила.

С другим, помоложе который, я схватился один из один, потому что ветеринар с Ароном искали по кладбищу первого и братишка Арона им помогал.

Этот ворюга бросился на меня из распахнутой двери, чтобы проскочить к воротам. В правой руке железяка, орет: «У, стукач! Уложу, собака!» Я подпрыгнул и ногой ему под ребра. Он и свалился, железяка отлетела в сторону, в лужу. Связали, посадили на церковную ступеньку, а там и милиция приехала.

Адвокат, желая отвести от клиента неприятности, связанные с железной палкой, что суд расценивал как вооруженное нападение, сначала стал задавать свидетелю окольные вопросы, чтобы вывести его из равновесия.

— А какие у вас религиозные убеждения?

— Никаких... — Парень недоуменно пожал плечами и в поисках поддержки взглянул на судью, но тот в это время перечитывал подшитые объяснения подсудимого и взгляда его не заметил.

— Лютеранин? Католик? Когда был крещен? Был ли у причастия? Как часто бываете в церкви?

Парень мямлил что-то, потом преодолел смущение, и тон его ответов стал злым.

— Вот вы сказали: я подпрыгнул и ногой ударил его под ребра. Это ведь специальный прием нападения. Где вы тренировались?

— Я служил в десантных войсках.

— Где в церкви могла оказаться эта железная вещь?

— Наверное, с собой принесли — концы сточены, можно было использовать как лом.

— Интересно, почему же милиция в первый день никакого лома не обнаружила?

— Прошу суд приобщить к делу медицинскую справку, — адвокат обошел столик и остановился перед судьей, — что мой подсудимый получил легкие телесные повреждения. Вся ответственность за это ложится на свидетеля, который стоит перед вами. — Адвокат подал судье форменный бланк и направился к своему месту. — А насчет лома... Позвольте усомниться, что он вообще был! Мало ли что можно было найти в грязи поблизости от места происшествия!

— Ну, понятно, что это я главный виновник! Они, — и парень кивнул на скамью подсудимых, — обокрали четырнадцать церквей и причинили ущерб, который не смогут возместить, даже если проживут сто пятьдесят лет, как тот знаменитый абхазец, про которого в журнале «Здоровье» писали, а виноват я! Это верно, уважаемый адвокат, не надо было мне их ловить! Пускай взламывают, пускай крадут, пускай грабят! Вы же их ловить не стали бы, так ведь? Что ж, учту — исправлюсь!

Во время перерыва адвокат отыскал в коридоре парня и отечески вразумил его:

— Вы напрасно на меня обиделись... Это же суд, а суд — это поединок умов и фактов. Милиция с этим ломом допустила ошибку, а я ею воспользовался...

Парень оскорбленно посмотрел на него, повернулся и вышел на улицу...

На четвертый день судья совершенно случайно столкнулся с тем, что приходилось на начало его карьеры. Знакомясь с материалами предварительного следствия, судья упустил тот факт, что у одного из свидетелей, помимо обычного имени и фамилии, еще имеется и кличка Жип.

Тогда судья еще учился. Крохотная стипендия не давала даже сводить концы с концами, поэтому он перешел на вечернее отделение и устроился на работу в юридическое учреждение, которое занималось трудновоспитуемыми подростками.

И вот этот Жип — судья как сегодня помнит это дело, потому что оно было у него первое, — в очередной раз бежал из закрытого воспитательного заведения. И хотя парнишка вскоре был задержан на квартире у матери, положение весьма волновало воспитателей. Они просто не знали, что делать с Жипом, — парнишка ухитрялся отпирать любые замки. Обычные — гвоздем, сложные — тонкой медной пластинкой. Причем с необычайной легкостью. Повар только отвернулся, чтобы помешать в котлах, как Жип, который вместе с другими мальчишками чистил на кухне картофель, открыл кладовую и «увел» пакет с пыльным сахаром. Все вместе и съели. Двенадцатилетняя биография его состояла из многочисленных краж.

Сделав суровое лицо, начинающий юрист приказал беглеца, бродягу и воришку в одном лице привести к себе в кабинет, чтобы предупредить его, что в будущем ему грозит колония и строгий режим. Хотя и сам не верил в эффективность предуп-

реждения, так как по материалам дела было видно, что мальчишка большой пройдоха и лгун.

И каково же было его удивление, когда он увидел зарезанного мальчонку с черными потеками на лице, тщедушного даже для своих лет!

— Сахар украл?

Мальчишка отрицательно покачал головой.

— Я только отмычку сделал.

— Ты хочешь сказать, украли старшие?

Мальчишка стоял, стиснув зубы.

— Отвечай же!

Мальчишка молчал.

— Ты в группе самый маленький?

— Да.

— Тебя обижают?

Ответа нет.

«Куда я его дену?» — размышлял взрослый. Ему почему-то показалось, что колония для мальчишки пойдет только во вред. Хотя криминологии он еще не проходил и не имел понятия о типизировании, классифицировании и прогнозировании правонарушителей, каким-то чутьем он понимал, что обратно мальчишку посылать не надо бы. Хотя теоретически пребывание в исправительном заведении ни одному подростку не могло осложнить в дальнейшем жизнь, но практика показывала, что в школах и в отделе кадров с ними лишь мирятся, как с зубной болью. И навернсе, не без оснований.

Прежде чем принять окончательное решение, судья решил поговорить с его матерью.

Это была довольно красивая женщина с ученым званием, лет тридцати с лишним. Муж ее несколько лет назад погиб в автокатастрофе. Двухкомнатная квартира ухожена, полы натерты до блеска. Так и кажется, что из всех углов веет порядком, что жизнь здесь течет ровная и спокойная. Когда судья попросил разрешения закурить, ему, конечно, было позволено, хоть пепельницы в доме не водилось и после окно наверняка не закрывали два дня. А самый крепкий напиток, который в этом доме когда-либо пили, — самодельное яблочное вино.

Мать грустным голосом рассказала, что сынишка связался с уличными мальчишками и совершал вместе с ними мелкие кражи. По правде говоря, делал он это за компанию, так как сын полностью обеспечен, ни в чем недостатка не испытывает. Кроме того, в этой стайке воришек нет ни одного, кто бы был достоин мизинца ее Жипа, — четвертый класс он окончил с отличными оценками, много читает, интересуется механикой. Во дворе у них есть небольшая слесарная мастерская — мальчик пропадал там целыми днями. Точил, пилил, шлифовал. Помогал мастерам, которые охотно это позволяли, так как у них благодаря этому оставалось время подхалтуривать или бегать к пивному автомату. Потом в детской комнате милиции ей пока-

зывали и поддельные жетоны для пивного автомата, которые сынишка выточил на станке.

— Его надо было вырвать из-под влияния банды, — деловито продолжала мать. — Я списалась с дальней родственницей в деревне и за плату отослала его туда. Пусть живет на свежем воздухе, рыбу ловит. Там чудесное место, вокруг реки и озера, я ему даже велосипед купила. И все равно его тянуло назад, в город, к своим друзьям. Через неделю он вернулся. Приехал в поезде без билета, бежал от контролера. Я отругала его, отвезла обратно, и все равно скоро он был здесь. На сей раз я его наказала и только тогда отвезла — у одного из моих коллег есть машина, он помог. И родственницу — между прочим, очень порядочный и тихий человек — поведение мальчика волновало. После третьего побега домой сын уже не явился, спал где-то на чердаке и в садовых домиках.

Туда дружки носили Жипу еду, там он начал уже воровать. Так, вполне профессионально был «взят» киоск с продовольствиями — тогда такие синие вагончики на автомобильных колесах встречались часто, в них продавали рыбные и мясные консервы, масло, сыр, конфеты и прочие товары первой необходимости.

Дважды мать видела сына на другой стороне улицы, когда возвращалась из института, но в обоих случаях он убегал. Ей ничего не оставалось делать, как сообщить в детскую комнату милиции и попросить помощи. Подростков вскоре задержали, нашли у них часть украденного, они признались, что в ближайшие дни планировали ограбить еще один киоск.

— Что он вам сказал, когда на этот раз появился дома?

— Сказал, что за хорошие отметки и поведение ему разрешили два дня побить у меня. Но я хорошо помню, что было в последний раз, когда он сбежал. Поэтому я велела ему идти в ванную и отмыться, а сама тем временем позвонила воспитателям. Вскоре за ним приехали...

Юрист стал говорить о статистике, которая его потрясла. Слишком большой процент воспитанников исправительных заведений позже вновь вступают в конфликт с законом. Вместе с этой женщиной они пытались понять, почему это происходит. Она полагала, что сам исправляемый материал не без дефектов, поэтому нельзя требовать, чтобы конечный продукт отвечал высоким стандартам. Он высказал мнение, что человек, являясь существом общественным, ищет друзей соответственно своему статусу. Статус уже раз судимого зыбкий, поэтому он ищет таких же друзей. Они объединяются в группы, чтобы вызываясь относиться к окружающим людям и к установившимся порядкам, которых не придерживаются.

— Подросток закон никогда в одиночку не нарушает. Для этого нужна группа или хотя бы двое людей. Почти девяносто процентов случаев именно такого рода.

Женщина согласно кивнула.

— Я думаю, что виновата урбанизация. Образ жизни горожа-

нина можно охарактеризовать как анонимный, поэтому падают общие показатели дисциплины. Число нарушений закона на тысячу жителей в городе больше, чем в деревне.

— Да, вы правы. К сожалению, процесс урбанизации неизбежен...

Его поразили ум женщины и ее уровень образованности. Она не боялась пользоваться многими иностранными словами и никогда не ошибалась в их выборе. На все процессы, происходящие в жизни, она смотрела куда шире, чем другие люди, которых он знал.

— Если вы напишете заявление, я, может быть, смогу добиться возвращения сына домой... Так он мог бы избежать влияния колонии. Боюсь, что в противном случае мальчик замкнется, так как он физически довольно слабый и там его будут обижать..

— Глупости! — резко возразила женщина. — Там достаточно педагогов!

Судью удивил больше тон, чем смысл сказанного.

— По учебному материалу он не отстал, разве что не стоит его посылать в ту же самую школу...

— У вас абсурдная идея! Пока он в колонии, я могу хотя бы быть спокойна, что ничего страшного с ним не случится. Не хотите ли посмотреть телевизор?

Тогда подобное предложение значило совсем иное, чем теперь. Тогда в квартиры редких владельцев телевизора собирались все ближайшие соседи, а родственники и друзья приезжали даже издалека. Невероятное явление — кино с доставкой на дом, пусть фильмы и старые, зато бесплатно! Понадобилось время, чтобы к нему привыкли, а пока что на экран размером в игральную карту смотрели нередко человек двадцать. Вскоре придумали линзу, наполненную дистиллированной водой, которую ставили перед экраном, и стали смотреть как бы через увеличительное стекло.

Женщина воткнула вилку, на полу загудел стабилизатор, щелкнув, начал нагреваться аппарат.

У молодого юриста волосы стали дыбом, и он торопливо попрощался. Спустя десять лет он уже не приходил в такое смятение от предательства матерей. Сыновья мешают матерям устраивать личную жизнь так, как им хочется, и они ищут предлога, чтобы хоть на время от них избавиться. Они готовы щедро платить, поэтому в колонии едут огромные корзины с передачами, и соседи говорят, что такой заботливой матери еще не видели.

Жип, наверное, обожал свою мать, раз убежал из деревни, чтобы встретиться с нею, чтобы хотя бы взглянуть на нее с другой стороны улицы, если уж убежал из колонии, рискуя быть наказанным. Неразделенная, отвергнутая, трагическая любовь... Разве может она не превратиться в ненависть, когда раскроется предательство? И какова будет цена этой ненависти?

А еще десять лет спустя судья старался найти истоки бес-

сердечия этих матерей, которые удобно паразитируют на принятых обществом нормах. Паразитируют, хотя порой кажется, что они чем-то жертвуют. И скорее всего ими руководит не эгоистический расчет, а результаты их воспитания. Это женщины из таких семей, где все в жизни регламентировано, начиная с рекомендованного школьникам режима и кончая датой платежей, предписанных домоуправлением, где детей превращают в деревянных человечков с рациональным мышлением вычислительной машины, которая не допускает никаких импровизаций. А уж если случаются какие-то отклонения, она сама отведет сына куда следует и не выронит ни слезинки. Ненависть со стороны детей, которая их обычно постигает, они считают абсолютно незаслуженной и очень переживают...

— Судились? — спросил судья.

— Да.

— Когда? За что?

— Гражданин судья. Пожалейте секретаря...

— Ведите себя прилично! — одернул судья Жипа, продолжая изучать справку, приложенную к делу. Взгляд его скользил по строчкам указа 1947 года, по которому раньше судили за хищение государственного имущества, а потом по статьям теперешнего кодекса. — Что вам известно о ключе?

— Ничего мне не известно! Принес рисунок ключа — очень неточный — и попросил сделать. Я отказался.

— Объясните причины.

— Такой ключ можно сделать только по оригиналу, а не по рисунку.

— Вам, как специалисту, конструкция замка наверняка указала на его старину. Зная человека, который попросил вас об услуге, вы могли хотя бы примерно представить, для какой цели он может понадобиться.

— А чего догадываться? Я и так знал. Он мне сам сказал. Сказал, что потерял ключ от гаража, но остался его контур на бумаге. Машина у него есть, так что вполне логично сделать вывод...

— А почему нет? Теперь в деревне много заброшенных строений... Это уж массовое явление... У половины рижских гаражей огромные замки от клеток, которые делали местные кузнецы. Они довольно надежные, потому что у каждого ремесленника был свой фокус. Современная промышленность ничего подобного предложить не может, все слишком стандартизировано.

— Будут еще вопросы к свидетелю? — И судья перевел взгляд на прокурора и адвоката. — Пожалуйста! — И он заметил поднятую руку старшего подсудимого.

— У меня не вопрос, а пояснение. Так же как на предварительном следствии, я утверждаю, что свидетелю не было ничего известно о моих намерениях и он даже не мог о них догадываться.

— Конечно, если бы я догадался, я бы тут же побежал в милицию! — усмехнулся Жип.

— Как поживает ваша мать? — спросил судья.

Губы Жипа сжались и стали тонкими, на лице выступили белые пятна.

— Вы знаете мою мать?

— Немножко.

— В марте тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года я прочитал в газете, что она защитила докторскую диссертацию. Мой ответ вас удовлетворяет?

— Займите место на какой-нибудь скамье.

— Спасибо.

Протиснувшись между сидящими, Жип пролез в самый угол к стене. Судебное заседание продолжалось.

Вскоре Маргита почувствовала, что на нее неотрывно смотрят. Взгляд не был сверлящим, но вызывал беспокойство. Во всяком случае, ей было неуютно. Быстро оглянувшись, она заметила, что виной всему последний свидетель. Тот самый, с которым Гундар вчера на лестнице в здании суда подобострастно поздоровался.

Процесс подходил к концу, оставались еще кое-какие «хвосты», которые надо было уладить. В деле только позавчера появился документ, требовавший конкретного, неотложного действия. Какая-то музейная атрибуционная комиссия уведомляла, что гражданин имярек принес для обследования пятисвечовые канделябры, унаследованные от прапрапрабабки. Если не считать гнезд и блюдец, канделябры идентичны тем, фотографии которых получены от уголовного розыска. Кроме того, канделябры были изготовлены лет на двадцать позже кончины бабушки. При разговоре с инспектором уголовного розыска владелец признался, что он вовсе не унаследовал, а купил у пока что не установленного лица.

С одной стороны, судья должен был бы вернуть дело на дознание, чтобы выявили посредника, который отвез канделябры в Москву, а, с другой стороны, это опять на несколько дней оторвало бы свидетелей от работы, и при этом нет никакой гарантии, что посредника удастся найти. Подсудимые сам факт похищения признали, потерпевшая сторона свое имущество получит... И судья предложил заседателям соломоново решение — передать там-то и там-то обнаруженные канделябры юридическому владельцу.

— Ну, теперь ты у меня, стерва, попляшешь! — с издевкой заявил Гундар Маргите спустя день после вынесения приговора. — Ты же дала суду заведомо ложные показания, ты хорошо тогда знала эти штуки, я тебе сам показывал и рассказывал.

— Ничего ты не рассказывал.

— Тебя посадят, а мне квартира останется. Ничего, хорошенькая квартирка.

— Гундар, не можешь ты такую подлость сделать... Ты же знаешь, что мне некуда деться...

— Не волнуйся, койка и баланда в тюрьге тебе обеспечены. Наконец-то я смогу тебе по-настоящему отплатить за ту пакость, которую вы мне с Желваком сделали!..

Толстые, почернелые, никогда не чищенные кирпичные стены... На улице у проходной переминаются замкнутые, ушедшие в себя женщины... Время от времени открывается оконце в стене, и после короткого разговора одну из них впускают... Булыжником мощный дворик с небольшим домиком в углу... Кухня, где громко играет репродуктор и на сковородке шкварчит отбивная, в которую тычет вилкой полуголый мужчина. Левой рукой обнимает растрепанную женщину. Сэм... Нет, эти развалины Карфагена не имеют ничего общего с Сэмом! Это только говорящая рухлядь, засунутая в старушечьи боты, из которых торчат серые портянки... «Не удивляйся, детка, в этих стенах очень холодно... Очень холодно...» — говорит то, что осталось от эlegantного Сэма...

— Ты просто хочешь меня застрашать!

— Сто семьдесят четвертая статья, сама расписалась.

— Ладно, тогда я расскажу все! И про зажигалки, и про...

Гундар расхохотался. Глаза стали узкие, мешки под глазами тряслись вместе с кадыком. Наглый, самоуверенный приказчик с набриолиненными волосами по воскресеньям, который считает себя самым неотразимым мужчиной в округе.

— Разведемся, — тихо сказала Маргита. В ней что-то порвалось. Она вдруг поняла, что это слово надо было произнести уже давно, что это единственно верный выход, что иначе просто невозможно, и все же слезы навернулись на глаза.

— А чего это мне разводиться? Мне и так хорошо! Раз я муж, так смело могу тебе по морде врезать, когда заслужишь.

Вечером Маргита поехала к матери. Конечно, не верила, что мать может понять, так хотя бы прости. Но, войдя в дом, она даже и разговора не завела о том, что привело ее сюда. В задней комнатухе устроилась сестра с мужем, переднюю перегородили шкафом и занавеской, в ней спали родители и брат. Телевизор выставлен на кухню.

— Не так страшен черт, как его малюют!.. — Оптимист у нее брат. — Как только молодые малышом обзаведутся, а это уж само собой, нас сразу поставят на очередь. Если они долго не будут чикаться, годика через четыре мы тебя, Маргита, пригласим в ванне мыться и в лоджии загорать.

— Да как тебе в голову пришло! — возмущалась начальница. — Во-первых, общежития тебе не дадут, во-вторых, ты будешь последняя дура! Оставить такому негодю свою квартиру! Он только этого и ждет! Пожалуйста, разводишься, но от жилплощади не отказывайся ни за какие деньги! В жизни все может случиться: познакомишься с человеком, который его в баранку скрутит и с лестницы спустит, или этот спутается с какой-нибудь девкой, у которой свой домик или хотя бы две комнаты... Тогда он сам с готовностью удерет от тебя, потому там при разводе ему больше светит. У Зойки-табельщицы так и

получилось. Что хочешь, но квартиру оставлять ему я тебе не позволю!..

Гундар часто не ночевал дома, Маргиту это устраивало, но появление его всегда было связано с большими или малыми конфликтами и оскорблениями. Если эту тактику применять систематически, можно довести до самоубийства. Когда запугивание судом не дало нужного результата, Гундар запланировал длительное, позиционное наступление, сулящее, помимо всего, и удовольствие, которое испытывают мальчишки, мучая кошек и прочих животных.

Неожиданно, когда после суда прошло три или четыре месяца, Гундар заговорил по-человечески.

— Я знаю, Маргита, ты хочешь, чтобы я убрался... Верно, квартира фактически принадлежит тебе. Для двоих разведенных она тесновата. Я готов уйти, если ты окажешь мне одну услугу.

— Я больше не верю ни одному твоему слову. Я знаю, что ты никогда не сделаешь то, что в первую очередь не принесет тебе пользы.

— Ну, конечно, иначе я был бы полный остопоп. Просто тут такой случай, когда мы с тобой хорошо бы заработали, а внакладе остался кто-то третий. Я вижу, что ты мне не веришь, поэтому есть предложение встретиться с одним человеком, который хорошо знает Сэма. Они вместе были в колонии. Сэм ему про твои прелести все уши прожужжал, так что он влюбился в тебя заочно... Нет, он же тебя видел один раз, в суде.

Хотя воспоминание о Сэме особенно не грело, все же приятно сознавать, что хоть кто-то говорит о тебе хорошее...

ЯНВАРЬ

— Я хочу вам помочь, но... У меня мало сил, — шепнула женщина и выжидательно замолкла. Она слышала дыхание инженера по другую сторону заколоченного окна.

— Я действительно хочу вам помочь, — вновь прошептала женщина. И вновь напряженно прислушалась, ожидая ответа. Она не чувствовала ни этого ночного холода, ни снега, забившегося в лыжные ботинки, ни побелевших от мороза рук.

— Бегите в Эргли и на почте свяжитесь с милицией. Телеграф там открыт всю ночь.

Пауза была долгой.

— Нет, — шепотом ответила женщина. — Тогда я погибла... Вы их не знаете... Надо придумать что-то другое...

— А иначе вы, Илона, мне не можете помочь.

— Меня не Илоной зовут. Я плохо знаю окрестности. Я заблужусь... Они меня поймают, не успею и до реки добраться...

— Тогда вы не можете мне помочь.

— Уже шесть часов, осталось всего три.

— Бегите в Эргли... Бегите, пока еще темно...

— Прежде всего они убьют вас, а потом меня...

— А может, вас подослали меня уговорить? Как я сразу не сообразил! Но ведь я же не упираюсь, я же черчу, делаю, что от меня требуют, просто я не могу вспомнить разные детали, но к девяти все будет сделано! В каком месяце вы родились? Если в феврале, то ваш счастливый камень аметист, если в марте, то аквамарин... Заберете все — и у вас будет очень много счастья!

— Тише! — прошептала женщина. — Прошу вас, тише!

Поняв, что Гвидо Лиекнис сейчас не владеет собой, она быстро пошла назад.

Злость улеглась так же быстро, как вспыхнула, но вместе с нею исчезли и силы, и инженер вяло добрался до лежанки. По дороге он зацепил табурет, тот опрокинулся, исчерченные и чистые листки и чертежные принадлежности рассыпались по грязному полу, свеча упала и потухла.

А зачем им меня стрелять? Какой от этого прок? Старший хочет продемонстрировать молодому свою непреклонность, чтобы добиться от того полного послушания? Старший, добивающийся власти любой ценой, так он и выглядит. А ведь, по сути дела, ему нужна лишь гарантия, что я буду молчать. Ну, разумеется, я буду молчать! Буду, буду, буду молчать... — Лиекнис опомнился, сообразив, что при каждом слове он бьет затылком о печку. — Нельзя же убить человека только за то, что он не помнит.

Спустя час инженер Гвидо Лиекнис сообщил старшему бандиту, этой взведенной, тугой, злобной пружине, что не помнит некоторых мелочей в одном из блоков сигнализации и потому не может гарантировать отключение ее от центрального сейфа. Младший растерялся, но старший, кажется, понял или хотя бы почувствовал, что дело не в памяти инженера. Прищурив и без того маленькие, острые глазки, он спокойно сказал, хотя за этими словами чувствовались жестокость и угроза кары, которая постигнет за ложь:

— У вас еще есть время... До девяти... Больше у вас времени не будет...

Как там дела у группы, которая схватила в Латгалии Гибало? Как он себя повел? Ведь и ему, когда он рисовал план, пришлось столкнуться с тем же самым препятствием. Парень он, как бык, но именно у таких обычно сдает характер. Если он нарисовал все, мое самопожертвование не имеет уже никакого значения! Тогда это уже не жертва, а банальная глупость. Из-за тупого старика мы можем погибнуть. Два молодых, образованных человека, которые еще много могут дать обществу. У Гибало семья, а об этом старике, может, никто не всплакнет, в его возрасте многие из-за войны лишились родных. Он обществу уже ничего не дает, только берет. Хоть кого спроси, никто не скажет, что надо уберечь неряшливого старика, а пожертвовать молодым человеком, у которого остались маленькие дети. Как я потом смогу его сиротам в глаза смотреть? Мне было жалко это-

го старикашку? А почему тебе не было жалко нашего папу, спросят они...

Ну, одного из этих типов я покалечу, прежде чем второй успеет отправить меня на тот свет!

И тут он вдруг отчетливо почувал запах кильки, хотя и знал, что в комнате нет ничего такого, что могло быть хоть немножко схоже, и поэтому подумал: я начинаю сходить с ума!

Если бы раньше кто-то сказал инженеру, что этот жалкий охранник — в нем не было ничего, абсолютно ничего, заслуживающего внимания, — займет его мысли хотя бы на две минуты, Лиекнис считал бы это неудачной шуткой. Сейчас он продумал о нем всю ночь, как будто сотню раз мысленно ощупал с головы до ног, прошелся по каждому шву его измятой одежды. Что он, по полу ползает или по помойкам роется, что всегда так выглядит? В простоватом, даже глуповатом лице его он знает каждую морщину, волосы седые, вечно перхоть на пропотелом воротнике.

Любая счетно-вычислительная машина вывела бы результат — сто к одному: если из двоих только один может остаться в живых, то преимущество за инженером. Любые объективные факторы за этот выбор. К сожалению, право решать вопрос на сей раз принадлежало не машине, а Гвидо Лиекнису.

Старик, дежурящий на втором этаже, — наверняка у него какая-то болезнь, если работает по ночам, — своим присутствием мешает взломщикам пересечь коридор, чтобы очутиться у двери центрального сейфа.

У старика письменный стол с телефоном и замусоленное мягкое кресло, в котором он по ночам дремлет, а по-настоящему, наверное, никогда не засыпает. Даже если иной раз и заснет, это мало что даст — не могут же они сидеть за углом и быть в полной зависимости от старикова желания поспать, когда они уже пробились через столько стен! Тогда им остается идти вабанк. Нет, старика миновать невозможно! Невозможно так пересечь коридор, чтобы тот не заметил, а заметив, он выхватит пистолет и нажмет ногой на педаль тревоги под письменным столом или на кнопку сигнала рядом с телефоном — и началось столпотворение: завоют сирены, помчатся машины, залают собаки, прожекторы начнут ощупывать заборы, крышу, послышатся резкие команды, и взломщикам придется сдаться. Неудачу они, без сомнения, припишут предательству Гвидо Лиекниса, и кто-то здесь, в этом холодном доме, с равнодушным видом всадит ему в живот пару пуль.

Если удастся изолировать старика или пересечь коридор, взломщики смогут работать довольно шумно и ничто им не грозит. Лиекнис придумал с десятков ходов, как нейтрализовать старика, один фантастичнее другого. Все они предусматривали необходимость связать или оглушить его, но он сам же, Лиекнис, вынужден был их отвергнуть, так как планы оказывались нереальными.

Столкнувшись с неудобным стариком, Лиекнис сперва даже обрадовался и рассказал обо всем старшему.

Оказалось, что те уже информированы об этом охраннике и приняли его в расчет.

— Со стариком мы сами все уладим, — мрачно сказал старший. — Вы насчет сигнализации позаботьтесь.

Ну, конечно, они решили убить охранника! Иначе и быть не может!

Инженер против своей воли стал размышлять, как преступники это сделают. Как убить, чтобы смерть наступила мгновенно? И ему пришло в голову, что от распределительного щита, который находится недалеко за углом, можно протянуть кабель и сзади подвести к сидящему два оголенных конца... Американцы в своем электрическом стуле используют две тысячи вольт, но можно и меньше... Смерть, быстрая и безболезненная... Гуманная... Сколько стариков в больнице годами корчатся от боли, не в силах дожидаться, когда же придет костлявая с косой... Кошмар какой, я собираюсь стать убийцей... Я вынужден стать убийцей... Я вынужден стать убийцей, если сам хочу остаться в живых... Если я начерчу план до конца, они убьют старика. А не нарисую — расправятся со мной... А может, не расправятся? Какой им смысл стрелять в меня? Ведь им же нужна только твердая гарантия, что я буду молчать!

Да нет, какая там гарантия — им нужно золото!

Неожиданно из щели на потолке на него посыпался песок. Он чиркнул спичку и зажег свечу. Поднял голову, чтобы лучше видеть, но тут же еще загудели шаги и струйки песка посыпались в разных местах.

— Сдурела ты, что ли? — забранился кто-то на чердаке. По голосу — парень в свитере.

— Нет, честное слово, мне показалось, что здесь кто-то есть. Ясно слышала... Погляди, вот эта доска не отстала? Нет. Нету... А та?

— Активная больно стала! Пошли, еще часик можно поспать!

Шаги стихли в той стороне дома, и через минуту заскрипел снег, когда они пошли вдоль строения.

Лиекнис скрипнул зубами. Потом приложился ухом к двери.

— Ну? — спросил старший.

— Мерещиться уже начинает...

— Ничего, свежий воздух тебе на пользу пойдет, — сказал старший, и все в кухне опять стихло.

Парень сразу заснул — коньяк еще держал его в своей власти, старший закрыл глаза, но заснуть не мог, как и раньше. Женщина была сама настороженность, но притворялась спящей. Она прикорнула на стуле в самом углу у двери, прикрывшись своей желтой курткой. Номер прошел, ей удалось осмотреть чердак, но надежда ее не оправдалась: доски там слишком прочно держатся, явно ей не под силу.

♦Если я вбегу к нему в комнату, как долго мы сможем там

оставаться? Нет, тогда уж лучше залезть на чердак и втащить туда лестницу. Но долго я там не продержусь, уж они-то придумают, как меня стащить».

Где-то далеко, в стороне Эргли, слышался ленивый собачий лай, напоминающий, что есть в мире другие дома и другие люди.

Поленья в печи прогорели, но жаркие угли еще не подернулись пеплом и время от времени постреливали огоньками.

«Красные флажки... Маленькие красные флажки... — вспомнила она. — Маленькие красные флажки, которыми отмечают лыжную трассу... Наверняка она всегда проходит через реку здесь, и хотя бы один конец должен выходить к Эргли...»

Днем, не желая находиться при разговоре с инженером, она каталась с горки за сараем. Спуск кончался, выходя за угол леса, и ей приходилось пересекать лыжную дистанцию, отмеченную флажками.

Неожиданно в лицо ей ударил яркий луч карманного фонарика. Парень проснулся — это с ним в подпитии случалось, — и уже начинался похмельный комплекс.

— Перестань! Дай поспать! — И она отвернулась от света.

— А чего это у тебя глаза блестят? Как у кошки весной!

— О тебе думаю! — отрезала она и натянула куртку на голову.

Парень выключил фонарик и вскоре засопел. Перед этим он взглянул на старшего и на часы. Без нескольких минут семь. Усатый парень не знал, что старший бодрствует, только прикрыл глаза, и что разговор он слушал внимательно.

«Если он думает, что я буду стрелять, то ошибается! — Устроившись поудобнее, парень заскрипел табуретом. — Пусть сам сует голову в петлю!»

Злость на старшего нарастала в нем с каждым часом. И потому, что тот частично уже взял женщину под свое покровительство и она тут же нахально воспользовалась этим, делая глазки этому неискушенному в любви человеку и крутя задницей, чтобы подчинить того своему влиянию и выскользнуть из-под его власти. И еще потому, что на успех этого дела оставалось все меньше надежд. Если инженер действительно чего-то там не помнит, так нечего и близко к фабрике соваться, можно прямо шагать в милицию или в тюрьму.

«Если бы я не связался с ним, все было бы иначе, — злился про себя парень. — Напарников бы себе нашел и со временем сообразил бы, как вскрыть сейф и отключить сигнализацию. Как и все остальное, так же бы хитро обмозговал! И все было бы в лучшем порядке, если бы тому не стукнула в башку идея насчет инженера!» Разумеется, мысль о вскрытии сейфа и отключении сигнализации была всего лишь хвастовством пьяного. Лишь полная неосведомленность в этой области заставила его искать опытного компаньона.

Женщина думала, вспоминала весь ход событий.

У нее было мало информации...

— Это правда, что за вельветовые штаны просят двести рублей? — спросил шеф.

— За белые еще больше, — подтвердила она.

— Ну, раз просят, значит, есть кому платить. Да, кто живет на зарплату, тот всю жизнь ездит только на трамвае. — Помолчав, чтобы дать возможность переварить текст и подтекст, он продолжал: — Нам нужна помощь.

Они разговаривали, сидя в оранжевом «Москвиче» с грузовым кузовом. Мотор и вентилятор работали, иначе запотевали стекла.

Усатый парень стоял, прислонясь к стене дома, и поплевывал от скуки.

«Наконец-то я избавлюсь от него», — с торжеством подумала женщина.

— А конкретно? — спросила она.

— Инженеру нравятся красивые дамы... Он не пропускает ни один лыжный поезд... — Шеф говорил коротко и деловито. В заключение он сказал: — Мы с утра исчезаем, а ты останешься, чтобы освободить инженера незадолго до возвращения поезда, и сама с ним поедешь на станцию. На обратном пути он наверняка будет не таким любезным...

Женщина будет приглядывать за инженером от заброшенного дома до Риги, в Риге на вокзале за Лиекнисом будут следить — усатый парень пешком, шеф — на оранжевом «Москвиче». Если инженер захочет покаяться в грехах, он в тот же вечер свяжется с милицией.

— Я ему скажу, чтобы он с вокзала шуровал прямо домой, чтобы не могли какой-нибудь его шаг неправильно понять, — сказал старший. — Явившись в Ригу, он вынужден будет помалкивать, а там ему и дальше придется молчать.

— С утра он встретится на фабрике со своим помощником Гибало.

— Это не имеет никакого значения. Он же сам будет маскироваться, рассказывая об удачной лыжной прогулке, так что все, что расскажет помощник, будет тоже считать маскировкой.

«Конечно, если бы он нарисовал план, было бы проще, — думала женщина. — Как только они бы убрались, так и мы сразу же... Уж какая-нибудь машина нас бы подобрала».

— Вы смотрите... Ждете-ждете, а он себе на теплой лежанке похрапывает... — громко сказала она, не обращая ни к кому конкретно.

— Тебя не спросили, — брюзгливо ответил парень. «Нет, эта стерва далеко пойдет, гляди, как ловко она начинает мной командовать! Неужели старый барсук это не замечает? Ведь ты охотник до сладенького, скоро будешь ей завтрак в постель подавать и туфли чистить. И как я мог с таким дураком связаться! Ведь у меня же был такой план, такой план!.. И он все испортил... Дурак!.. Инженер ему понадобился! Ну, где у тебя план второго этажа? Нет и не будет! И я не стану и не пойду смотреть, не жди! Кто этого инженера придумал, тот пусть сам от него избавляется... Я в девять встал на лыжи — и ходу!»

А как ты, папаша, с ним справишься, сам думай, я уже далеко буду. И тебе бы советовал — забрать эту курву и смыться, иначе в большое дерьмо влипнешь! Завтра оба придете, а я ее вещички за дверь выкину. Такой план испортил! Договорился бы с кем-нибудь другим, завтра у меня грандиозная жизнь началась бы!..»

— И верно, поглядите-ка, что он там делает, — сказал старший. Как он ни старался отворачиваться, взгляд его все время обращался к женской фигуре.

Поскольку парень не поднялся, он прикрикнул:

— Оглох, что ли?

Лязгнул засов.

Со скрипом открылась дверь комнаты. Парень остановился на пороге.

Женщина прошла мимо него и скользнула в сени. Там она наткнулась на прислоненные лыжи, которые с грохотом соскользнули. На ходу она успела заглянуть в комнату пленника. Инженер не рисовал план. Он словно застыл, упершись затылком в печку и глядя в потолок. Наверное, даже не слышал, как открылась дверь. Свеча на табурете почти догорела.

Женщина прислонилась к стене дома и заплакала. Тихо, беззвучно. Уже утро, а еще совсем темно. Между снежным покровом и звездным небом обозначились силуэты хозяйственных строений и леса.

«Если мне удастся бежать, они не посмеют расправиться с инженером... Ах, если бы я умела хоть немножко ходить на лыжах!

Маленькие красные флажки вдоль лыжни... Лыжня твердая и накатанная... Сейчас, в темноте, я, скатившись с горы, могу выйти на трассу и если меня догонят, то когда уже рассветет...»

— Эй, что ты там так долго? — постучал кулаком по двери парень.

— Дышу свежим воздухом, душно очень в комнате.

— Иди, дай чего-нибудь горло прополоскать... Хоть помирай...

Чтобы не злить его, она вновь вошла в кухню, нашла кружку уже остывшего чая и подала парню:

— Здесь совсем нечем дышать... Мне нехорошо...

И старший не сомневался, что игра проиграна. Кто бы мог подумать, что сигнализационные устройства стали такими сложными и что незнание параметров двух-трех сопротивлений и конденсаторов может свести на нет весь тщательно разработанный план! Но еще вовсе неизвестно, проиграл ли он от этого. Парень неуравновешенный, хвастун, стремясь к большим деньгам, может наделать больших глупостей. Как он будет отбиваться от умелых ходов следователя? И сомнений нет, что за него возьмутся на другой день, как уже судимого. Дураков нет, сообразят, что какой-то соучастник работает на фабрике. Сначала отсеют тех, кто имеет доступ и в старый и в новый корпус, потом тех, кто и в старый, и в новый, и на второй этаж. Ну ладно, на-

берется с полсотни, у тех алиби, у этих нет, тылы у парня обеспечены хитрым приемом, в первый заход его не возьмут, но в поле зрения он все равно попадет. Незаметно и неслышно учтут каждый истраченный им рубль, заинтересуются друзьями. Нет, до меня они не доберутся, нас вместе не выдали, но и мною интересуются, только наверняка позже. Немного на счету у милиции таких, кто может взять солидный ларь с деньгами. О девке волноваться нечего, она с умом, едли и потратит, то эти гаврики решат: из прежних сбережений — многие ведь уверены, что у нее должны быть.

«Я должна что-то сделать... Я должна что-то сделать сейчас же... — Женщина пыталась собраться с духом. — Как бы я не вызвала подозрения тем, что часто выхожу...»

А старший продолжал обдумывать последствия неудачи: «Ведь я от этого дела сколько раз хотел отстать. Могу спокойно сказать: дверь сейфа вскрыть невозможно, и он поверит. Но не скажу. Из-за бабы этой? Я что, хочу перед ней покрасоваться и, впутав в общее дело, привязать к себе? А зачем мне этот сейф вскрывать, какой прок я от этого иметь буду? Сумма такая огромная, что за десять лет не растратить! Угрозыск только и ждет, чтобы у тебя лишний рубль сверкнул! А через десять лет и мне уже до пенсии недалеко, и врачи разрешат только в шлепанцах по комнате ходить да овсяночку принимать! Нет, судьба знает, что делает, даже хорошо, что у инженера память отшибло!..»

Женщина встала и вышла за дверь. Слышно было, как она топчет в сенях. «Наверное, ботинки тесноваты, мороз сразу хватает», — подумал старший.

— Она радуется, что у нас ничего не получится, — злобно сказал парень, словно надеясь, что этой фразой он их поссорит. — Куда ты думаешь потом инженера засунуть? В шкаф? Светло становится, нечего там болтаться. — Страх перед неизбежным возмездием подавлял желание убежать в одиночку. И он только надеялся, что до осуществления плана дело так и не дойдет.

Женщина тихо взяла лыжи и воткнула в сугроб у двери. Топала она в сенях для того, чтобы не слышно было стука лыж и креплений, но ей казалось, что вот-вот кто-нибудь выйдет посмотреть. Она постаралась действовать еще осторожнее, еще тише, но мужские лыжи были длинные и тяжелые, их не поднимешь как пушинку. А тут еще волнения, холод, чистый воздух, который как будто звенит, точно до предела натянутая струна, даже когда к ней и не прикасаются.

— Я должна это сделать сейчас... Мне надо это сделать сейчас же... — словно сама не своя твердила она и продолжала свое дело. Но самое тяжелое уже было позади: решение принято, и каждое очередное движение отдаляло ее от возможности отменить его.

Лыжи в сугроб она воткнула плотно друг к другу и немного

наклонно, носками в сторону сарая, чтобы на ходу удобно было взять под мышку.

Она будет на середине двора, когда те увидят в окно, но когда парень выскочит и спросит, куда это она понесла лыжи, она уже будет за углом. Ответить надо как-то неопределенно, например: «Я сейчас!» или «Мне пришла хорошая мысль!», чтобы парень не сразу побежал за нею. А если сделает это, тогда все пропало, она не успеет добраться до своих лыж, а ведь надо еще застегнуть крепления и спуститься до половины склона. Увидев, что она уносит и остальные лыжи, он все поймет и понесется как ошалелый. Страх погонит его так, что глубокого снега он сначала не заметит, а когда она будет уже на опушке, он, конечно же, будет стрелять.

Она обдумала все, исключая одно: что же будет, если пуля ее зацепит.

Ничего не будет. Он меня догонит и убьет.

Она рассчитала, что успеет свернуть на наезженную лыжню в сторону Эргли, прежде чем парень успеет, побежав по прямой, перехватить ее у реки. А если он от дома побежит наискось по речному обрыву, она свернет влево — трасса наверняка проходит вблизи какого-нибудь жилья или подходит к проезжей дороге. При первом варианте будет легче. Перебираясь через реку, она три лишних пары лыж спустит под лед. Не надо будет их с собой нести. И конечная цель ближе.

Надо быть самоубийцей, чтобы в такой ситуации, когда ты остался в глубоком снегу, почти беспомощен и знаешь, что скоро сюда явится милиция, пытаться прикончить инженера.

Когда все лыжи были воткнуты в сугроб, она взяла свои и понесла по протоптанной дорожке мимо выломанной двери сарая за строение. Там она положила лыжи на накатанную вчера лыжню, высмотрела просвет между кустами и пошла назад.

Парня ошарашило ее появление, когда они столкнулись посреди двора.

— Ты что... стерва... собираешься делать?

Не успел даже ни перчатки схватить, ни шапку.

— Без одной минуты девять, мне хочется покататься на лыжах, — заявила она. — Я буду вон там, если надо, позовете. Пошли в дом. — И женщина проскользнула мимо него.

— Что это значит? — угрожающе спросил парень, указав на торчащие в сугробе лыжи, идя следом за женщиной.

— Вы оба жуткие дураки! — ответила она и, войдя в кухню, стала греть руки у печи. Брошенные на почти потухшие угли, щепки ярко занялись. — Удивительно, как это мы вчера не дождались гостей! Я думаю, не в наших интересах кому-то показываться. — Она помолчала, потом продолжала: — Если у дверей увидят лыжи, то никто не полезет мешать чужой компании, а заброшенный дом всегда привлекает любопытных горожан. Ладно еще, если их двое-трое, а что вы будете делать, если пожалуют целой группой? Инженерик может такой номер выкинуть, что вы не будете знать, куда и деться! А в чем его

можно обвинить? Он же не виноват, что вам нужны деньги! И вообще, я бы на вашем месте его отпустила. Добейтесь от него какой-нибудь гарантии, что он даст вам недостающие сведения...

Говорить! Надо заставить себя говорить еще! Независимо что, только бы отвлечь внимание от лыж!

— Ну, стерва! — яростно вытаращил глаза парень. Похмелье у него еще не прошло, и был предлог сорвать злость. — Отпустить, пусть идет!.. Ты, конечно, ничем не рискуешь, а мы...

— Конечно, меня только побранят! Куда он побежит? В милицию? Пусть идет! Скажет, что его силой заставили дать план? Пусть говорит! А я скажу, что он начал ко мне приставать еще в поезде и что он в моем присутствии осмелился меня лапать, и мы решили его проучить — заперли в комнате одного. До утра. А больше для того, чтобы он в подпитии не заблудился и не замерз.

— Мы с тобой в разводе.

— Но наши отношения могут поправиться, что, впрочем, никогда не произойдет. — И она бросила молниеносный взгляд на старшего. — Милиция пошлет его подальше!

— Одна женщина стоит двух змей, — процедил старший. Величественное выражение лица его не изменилось. На самом деле он радовался, что предложение освободить инженера исходит не от него. — Милиция его действительно пошлет к черту. В действительности же все будет выглядеть так, что он хочет отомстить тем, кто его держал взаперти. Если он сможет дать нам конкретные гарантии, что нужные сведения мы позже получим...

— Гарантии эти есть! — воскликнула женщина. — Точный, до конца не дочерченный план. Он многое отдаст, чтобы никто об этом не узнал! И поедем назад с утренним поездом все вместе...

— Не верьте ей! — вскочил парень, неожиданно перейдя на «вы». Губы его и руки тряслись от ярости. — Она что-то замышляет! Она давно хочет со мной рассчитаться!

Воцарилось гнетущее молчание. И длилось бы оно довольно долго, если бы в дверь не постучал Гвидо Лиекнис. Стучал он нетерпеливо, словно опасаясь что-то упустить.

— Делайте как знаете! — сказала женщина и вышла в сени.

«Когда они в кухне заговорят, я побегу. Гвидо на какое-то время отвлечет их внимание от окна, и тогда мне обязательно повезет. Хоть бы повезло! Хоть бы один раз в жизни повезло! Хоть бы раз!»

В голове одну мысль мгновенно сменяла другая. «Если тот погонится за мной, Лиекнис останется с шефом в кухне один на один. Если пистолет останется на кухне, то у преследователя его не будет... Если он погонится за мной с пистолетом, тогда тем в кухне придется драться голыми руками...»

И тут она услышала, как Гвидо сказал:

— Я вспомнил...

Фраза, которую она так ждала. И совершенно не обрадовалась ей.

Неожиданно ей стало жаль, что больше не надо из-за него рисковать собой, что он никогда об этом не узнает.

Женщина вошла обратно в кухню и вновь стала греть руки, словно ничего не случилось и не случится. Она спокойно смотрела на испепеляющиеся в огне щепки, словно за спиной ее и не было троих мужчин, склонившихся над чертежом и обсуждающих грандиозный план ограбления фабрики ювелирных изделий.

Заинтересованнее всех говорил инженер. Шаг за шагом, деловито, предостерегая о каждой мелочи, которая могла подвернуться на пути, обозначая на плане восклицательным знаком каждое опасное место, он как бы за руку подводил грабителей к сокровищнице. Это приближение возбуждало их, вызывало тревогу, мысли о необходимых укрытиях, которые понадобятся, о посредниках, которые, продавая, попытаются ухватить самый большой куш, о милиции, которая тут же пойдет по следу. Эти большие деньги, они считали, уже принадлежали им, а значит, вполне реальными были и края с кипарисами, красивыми женщинами в ярких туалетах, блестящие лимузины и мягкие ковры в роскошных отелях, о чем им только рассказывали или что они видели в цветных сентиментальных фильмах. На миг даже исчезла мысль о милиции, а когда вернулась, то появление ее вызвало ярость: ведь эта милиция хочет изгнать их из рая!

Женщина ждала и так хотела, чтобы он вспомнил все детали на плане, а теперь, когда это случилось, ей показалось, что он что-то предал. И с каждым словом предает вновь и вновь. Что именно предает — этого она не знала, но что-то большое, высокое, такое, о чем она втайне мечтала и ради чего готова была на жертву. И предает так, что прощение уже невозможно. Предаёт надежду. Предаёт тот мир, который сам в ее глазах олицетворял и представлял в этом логове.

Предавал мир, из которого она так давно ушла и на простоту которого сначала смотрела с презрением, так как, казалось ей, она нашла лучший. Она стремилась на сцену, но в спешке проскочила мимо нее и очутилась за кулисами, где тесно, пыль, где воздух душный и света мало. Даже увешанная самыми настоящими драгоценностями, она в последнее время чувствовала себя лишь придатком к бутафории и раскрашенным клеевой краской кулисам.

Энтузиазм в голосе Лиекниса ее потряс — она уже опять не видела выхода. Он лишал смысла ее продуманные, героические действия и делал их смешными. Он, чье появление было возвращением утраченного!

— Здесь сидит старик охранник, — показал Лиекнис на плане. — Я не знаю, как вы с ним управитесь, но у меня есть такое предложение... Или перехватить его по дороге, когда он пойдет в уборную, или за водой для чая, или позвонить... У него на столе есть телефон, я скажу номер... Можно несколько раз

позвонить, но не говорить... Пусть думает, что где-то не соединяется... И сразу же после этого позвонить по другому телефону, который за углом коридора. Он встанет и пойдет, понимая, что звонят ему.

— А если не пойдет?

— Почему не пойдет?

— А если не пойдет? — мрачно повторил старший. — Надо отсоединить и ту сигнализацию, которая находится у него под столом.

— Это невозможно. — Инженер в отчаянии схватился за голову. — Не будете же вы долбить бетон у самых его ног?

Внимание всех приковано к плану. Теперь можно незаметно исчезнуть, спуститься к трассе, но что-то не хочется.

— В стене? — спросил шеф.

— Стена в два кирпича, а провод идет в середине... Начнете долбить, а вдруг обломки посыплются прямо на крышу будки начальника охраны?

— Надо! — взревел парень. — Думай, времени у тебя осталось мало! — Для пущей угрозы он выхватил из кармана пистолет. Жест был настолько выразителен, что не поверить ему было невозможно, — у Лиекниса задергалось лицо.

— Нельзя... Никак нельзя... — забормотал он.

Женщина смотрела на остывающие угли. Она ждала только одного — хоть бы скорее все кончилось. Внутри у нее кто-то хохотал над ней отчаянно и страшно: «И ты еще боялась, что не сможешь рассказать ему все о себе достаточно приличными словами... Этому?»

Преступники смотрели на Лиекниса и молчали.

— Пусть дама выйдет! — решил инженер.

— Ничего, у нее нервы крепкие!

— Как вам угодно. Сами будете виноваты... Как угодно... За углом есть распределительный щит... Если не сможете придумать ничего лучше... Надо взять с собой кабель, концы оголить... Смерть наступит моментально, без боли... Если сами ничего не придумаете...

Предложение Лиекниса застало бандитов врасплох, но инженер их растерянность понял превратно:

— Такой грязный старик... Вечно жрет кильку... Стакан в автомате с газированной водой потом воняет за версту...

«Убийство!» До женщины наконец доходит суть разговора, но она отказывается верить. Отказывается упорно, отчаянно, хотя Лиекнис с инженерской точностью продолжает говорить о необходимой длине кабеля и других деталях страшного плана.

«Ты становишься убийцей! Замолчи!»

Надо что-то предпринимать. Надо что-то предпринять сейчас же.

Женщина встает и делает несколько шагов в сторону Гвидо. С детским удивлением смотрит ему в лицо, будто хочет убедиться, что все здесь происходит наяву.

«Замолчи же! Хочешь, я упаду перед тобой на колени, только замолчи!»

Ей необходимо на что-то опереться, иначе она упадет, и ее рука находит плечо парня в сером свитере, и она прячется за его спиной.

Но слова продолжают преследовать.

Слова ее колют и рвут.

Слова жгут.

Слова принимают реальный, убийственный облик и наезжают на нее гусеницами...

— Электрический стул... Две тысячи вольт... Самый гуманный вид... В двадцати четырех штатах и на Гавайских островах. — Она уже видит только движения губ инженера, предложения ломаются на части. — Конденсаторы... Трансформатор... Сухая кожа имеет большое сопротивление... В конце проводов следует припаять острые иголки... Я запах кильки не могу переносить с детства...

Женщина берет со стола пистолет и стреляет инженеру Лиенису в грудь. Она совсем не хочет его убивать, просто надо заставить его замолчать. Остановить поток предательских слов, которые рушатся на нее.

— Стерва! — вскричал парень, вскочив. И сделал это так резко, что женщина была отброшена к двери, но пистолет остался у нее в руке.

«Пусть милиция по следам инженера, — промелькнуло в голове шефа. — Пока его ищут, к остальным внимание не будет приковано...»

«А уж ты, милый, у меня в неоплатном долгу!»

Парень повалился на стол, не успев повернуться к ней лицом. Пуля угодила точно, рука не дрогнула.

Немного замешкалась с патронником, в котором было еще две пули и которые надо было повернуть к двум стволам. Если бы старший не сидел, привалясь к шкафу, он бы убежал.

«А может, его не надо? Все равно... Четвертую пулю в себя... Четвертую пулю уже в себя...»

Лыжный поезд проснулся довольно поздно.

Тяжелые, темные, недвижные ели только еще ждали утреннего ветра, как ждут его беспомощные барки и бриги с истосковавшимися по ветру парусами, но снежинки, зацепившиеся в мелких веточках осины, уже сверкали в солнечных лучах, снежный покров слепил голубоватой белизной, и местные мальчишки уже который раз мчались на санях, на которых возят бревна. Вспыхивающие пылинки сухого снега неслись за ними, как сноп искр, мальчишки весело кричали и махали руками, а перед кустарником скатывались и падали в мягкий сугроб, как в пуховую перину. Потом маленькие снеговики отыскивали среди старых, почтенных ветел и болотных березок свои санки и вновь тащили их на гору.

Сначала из зеленых вагонов, точно десантники, вылетели полуголые мужчины и парни, смехом и криками отпугивая мороз, — они обтирались снегом и делали зарядку. Вернувшись в купе, они уже не дали спать остальным, и вскоре весь перрон заполнился людьми.

У кого-то оказался бинокль, и он переходил из рук в руки, потому что каждый хотел взглянуть на склонившиеся ветлы и огромные дубы, которые позировали, точно атлеты перед фотографом, демонстрируя свою мускулатуру, или разглядеть что-нибудь необычное среди белой, ровной пелены, которая тянулась за рельсами и в дымке сливалась с горизонтом.

— Я что-то вижу... Только понять не могу...

— Разрешите мне... — Начальник поезда протянул руку. — Где? Ничего особенного я не...

— Правее... Там, где заросли рогоза...

Взгляд начальника быстро скользнул по снегу и по острой осоке, пучками торчащей из него.

Он увидел темноволосую женщину в желтой спортивной куртке. Она, выбиваясь из сил, брела по колено в снегу, оставляя за собою глубокую, неровную борозду, ранящую белую, тихую гладь. В ее совершенно автоматических движениях было что-то безнадежное, отрешенное. Шла она, подавшись вперед, и начальник поезда видел, что руки у нее голые и обмерзшие, губы стиснуты, глаза закрыты.

— Ничего особенного, — сказал он и вернул бинокль. — Какая-то женщина...

Потом, уже поднявшись в вагон, он подумал, что все же есть что-то особенное, если бредут по глубокому снегу, а не по дорожке, но тут же решил, что, очевидно, так ей ближе...

ОБ АВТОРАХ

ОБРАЩЕНИЕ К ПАМЯТИ

Трудно писать послесловие к произведениям такого рода. И потому прежде всего, что они — подлинный человеческий документ. В. Кондратьев в своей рецензии на журнальную публикацию повести «Это мы, господи!» в «Литературной газете» не случайно отметил эту ее особенность: «...как-то неловко разбирать как литературное произведение, она просто выше и больше этого. Повесть эта — не только явление литературы, она — явление силы человеческого духа, потому как писалась не для самоутверждения, писалась без всяких честолюбивых мечтаний, а писалась как исполнение священного долга солдата, бойца, обязанного рассказать о том, что знает, что вынес из кошмара плена, чтобы после Победы люди узнали, что довелось испытать и выдержать очень и очень многим, попавшим без всякой своей вины в страшный немецкий плен» («ЛГ», 1986, 10 декабря).

В этих словах писателя, тоже с уникальной по всем нынешним меркам литературной судьбой, выражено то главное, что выделяет повесть К. Воробьева из произведений данного рода. А с войне, как известно, написано действительно много. И немало о том, что происходило на «той» стороне. Конечно, сегодня, когда для нас открылась если и не вся еще, но уже значительная часть правды войны, когда история беспристрастно и сурово начала предъявлять счета, заставляя нас задуматься о заплаченной за Победу цене, когда без прежнего безоглядного упоения мы стали всматриваться в некогда спешно возведенные монументы — сегодня, повторяю, каждое новое свидетельство увиденного и пережитого из того

времени и что-то добавляет к нашей общей памяти, и рождает вопросы, побуждающие к переосмыслению, к передумыванию и к собственной жизни независимо даже от того, как далеко отстоит ее начало от трагических дней войны. Правы, очевидно, те, кто утверждает, что военный катаклизм такого все-ленского масштаба и такой сокрушительной для многих народов силы определенным образом изменил весь человеческий генотип, и память о войне в силу этого неизбежна в каждом из нас.

Лучше всего, пожалуй, о том сказал поэт: «И это все в меня запало и лишь потом во мне очнулось». Не будем искать научно-го ответа на сей феномен! Вслушаемся в самих себя, почувствуем значимость вопросов, которые не дают нам покоя, и поверим поэту на слово. Посчитаем, что История намеренно возвращает непрожитое нами время — для того, чтобы облегчить нам поиск ответов на вечные для человечества вопросы о смысле жизни, о сути человеческого бытия на земле. А иначе — зачем История, зачем Время, если каждое поколение может начать жизнь с чистого листа, то есть может не думать о том, что было до него, и не отвечать за то, что успело сделать само?

Мы и без того уже слишком много потеряли, стерилизовав свое прошлое, обелив без всякой меры подлинники событий, а кое-что и переписав заново, наивно полагая, очевидно, что История примирится с подобным самоуправством и послушно двинется по искусственно проложенному нами руслу. Увы, жизнь не подчиняется директивам, а история не изучается лишь по учебникам и канонизированным мемуарам военачальников. Пришло время, и горькая правда о войне прорвала плотину молчания и открыла нам свою другую сторону, о которой мы хотя и мало знали, но догадывались, что она существует. И не умалило ничуть это новое горчайшее знание ни нашей Победы, ни нашего человека, как думалось прежним заботливым охранителям душевного спокойствия советских людей. Спокойствия ли только? Случайно ли оказалась за семью печатями статистика наших военных потерь и велась ожесточенная многолетняя борьба с так называемой «окопной правдой», рассказывающей с безжалостным откровением о другой войне — с ошибками и просчетами, грусостью и подлостью больших и малых чинов, которые оборачивались большой кровью при достижении малых целей? О гой не п р а в и л ь н о й войне, которая, собственно, и была войной на уничтожение, когда кто — кого? Когда человеческая жизнь и вправду могла показаться иному, привыкшему оперировать тысячами и десятками тысяч людских единиц, ничтожной пылинкой, мало чего значащей в своей отдельности... И что же тогда оставалось думать о тех, кто попал в плен и выжил, и рассчитывал жить дальше, отняв тем самым часть славы у погибших? Не было ни жалости, ни милосердия к этим изгоям судьбы, которые, едва вдохнув глоток свободы в год-второй со дня Победы, отправлены были досиживать за свою непонятную вину перед страной и народом в отечественных лагерях, где доуничижалось все то, что еще могло остаться на доньшке души.

Страшная эта правда, но нет без нее правды о войне, в первый год которой попало в плен около четырех миллионов, и три четверти из них погибли уже к февралю 1942 года в фашистских лагерях. И была то лучшая часть нашей армии — призыв-

ники 1919—1920 года рождения, здоровые, крепкие ребята — призывные комиссии довоенной поры были весьма привередливы на сей счет. И уже не надо ничего тут домысливать — в свете этих ужасающих цифр иначе, чем прежде, читаются многие страницы «правильной» истории войны, сложенной заботливыми военными историками и учеными. Той, о которой фронтовик-писатель В. Астафьев однажды с горечью и сарказмом сказал, что он, очевидно, был совсем на другой войне.

Домысливать не надо, а вот думать все-таки следует, поскольку сложившиеся стереотипы нашего мышления, живучие догмы сознания цепко держат нас в своих объятиях, и потому, должно быть, у многих еще слово «плен» ассоциируется с нравственным падением, а в сочетании «пропавший без вести» ищем мы тоже какой-то «душок». И ходят их близкие и родные до сего времени возле да около казенных кабинетов в ожидании, что признают наконец за пропавшими сорок три года назад, хотя бы право на гибель в войне...

О том пишут сегодня в газетах, того требуют постаревшие фронтовики-писатели, которым не дают возможности молчать ни долг памяти, ни совесть. Но вспомним, как трудно складывалась судьба «Брестской крепости» С. С. Смирнова, этой книги-подвига, с момента появления которой, собственно, и начался отсчет нового отношения к советским людям, оказавшимся в плену и боровшимся там всеми возможными средствами.

Отмеченная высшей наградой — Ленинской премией, книга не переиздавалась у нас более двадцати лет. Нужны ли еще какие к тому комментарии?

А судьба самого К. Воробьева и его немногих книг? Повесть «Это мы, господи!», написанная в 1943 (!) году, сорок лет пролежала в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР. Другие же повести и рассказы, в том числе поразительная по искренности и честности «Убиты под Москвой», по свидетельству его друзей-товарищей, подвергались ожесточенной травле со стороны ряда профессиональных критиков и с огромными трудностями попадали к читателю.

Думается, причина этого была в одном: автору, побывавшему в плену, просто-напросто отказывали в доверии. Не имел, ну, не имел никакого он нравственного права, коль там бывал, быть духовным наставником советского человека. Политические ярлыки навешивались в то время с большой лихостью и с чувством полнейшей безнаказанности. И вершился таким образом неправедный суд не только над человеком, а и над его рукописями, которые, по известному выражению, хоть и не горят, но вполне надежно обесцвечиваются.

Прав, прав В. Кондратьев: писалась эта удивительная повесть не для самоутверждения и без всяких честолюбивых мечтаний, потому что творилась она в подполье в литовском городке Шяуляе в течение 30 дней, когда по улицам рыскали немецкие патрули и шли повальные обыски, и жизнь двадцатичетырехлетнего автора могла оборваться в любое следующее мгновение. Представьте себе эту картину, сверьте ее с тем, что прочли два-три часа назад, и вы, безусловно, поймете, какому отчаянному риску подвергал себя К. Воробьев уже самим фактом написания этой исповеди, одной страницы которой было достаточно для виселицы. За спиной — несколько дерзких побегов из лагерей смерти, многомесячные скитания по лесам и боло-

там, впереди — жизнь на грани и — борьба, борьба, борьба... Мог ли знать молодой писатель, что, помимо всего, он, как и многие его товарищи по беде, на чью долю выпал, может быть, самый тяжкий из имеющихся у войны жребиев — плен, — будут нести свой крест и после Победы? Увы, не знал. Все это было еще впереди.

Так уж случилось, что три года назад я писал послесловие к повести «Убиты под Москвой», не подозревая, что в журнале «Наш современник» набирается и скоро явится свету другая, ранняя вещь писателя, в которой так неожиданно и ослепительно ярко «прорастет» дальнейшая судьба лейтенанта Алексея Ястребова, только что уничтожившего фашистский танк и, подавленного и потрясенного гибелью своей роты и взвода, бредущего по опушке леса к своим — вернее, туда, где предположительно могли быть свои... За пять дней боев переживший все мыслимые, казалось бы, искусы войны, уже испытывавший предательский страх и поборовший в себе себя — наивного, зашоренного книжно-романтическими представлениями о будущих сражениях и о враге, но — чистого, но — верного до конца великой правде жизни, которая рождалась в душах этих самых зашоренных и романтизированных вопреки всем шорам — по неведомым пока еще нам законам движения большой и светлой идеи революции.

Вот, кстати, тоже один из парадоксов нашего недавнего прошлого, объяснение которому мы пытаемся дать только сейчас, сгибаясь под грузом все нарастающего объема новых знаний о нашем далеком и не очень далеком прошлом. Нет, не слепая вера в идею, не фанатизм вовсе, а убежденность в своей конечной правоте подвигала молодых, необстрелянных еще людей на самопожертвование в бою и помогла затем выдержать многое из того, что человек выдержать, казалось бы, не может.

Персонажи повести «Это мы, господи!» — это те же самые, по сути, оставшиеся в живых, попавшие в окружение и захваченные в плен солдаты и офицеры, что сражались в подмосковных осенних лесах. Они прошли перед вами скорбной колонной, умирали на ваших глазах от голода в лагерях, корчились на дыбе в тюрьмах гестапо, гнили заживо на нарах, теряя человеческое обличье, кидались вылизывать расплесканную баланду на промерзлой земле, готовы были рвать руками и зубами живую лошадь, запущенную в толпу немцами ради потехи...

Это они, плененные и распятые на фашистском кресте, но они же — и гордые, и дерзкие, и нестигаемые, и способные на отчаянно смелый шаг, и могущие стоять до конца, несмотря ни на что.

Труднообъяснимо то, что давало им силы выжить во что бы то ни стало, и не просто выжить, но выжить для продолжения борьбы. «Это самое «то», — размышляет герой повести Сергей, — можно вырвать, но только цепкими когтями смерти. Иным путем нельзя отделить «то» от этого долговязого скелета, обтянутого сухой желтой кожей. Только «то» и помогает представлять ноги по лагерной грязи, только оно в состоянии превозмочь бешеное чувство злобы, желание вспыхнуть на минуту и испепелить в своем пламени расплывчатое пятно, маячащее перед помутившимися глазами, завернутое в зеленое, чужое... Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кро-

винки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем!»

Вся повесть К. Воробьева — предельно честная, обнаженно-откровенная исповедь молодого человека о том, как он сохранил в себе это самое «то», которое единственно и мог противопоставить дьявольской машине истребления людей — и физически, и морально — на фабрике смерти. И она, машина, тоже хорошо понимала, что до тех пор, пока существует в человеке это «то», ей неподвластное, фашисты не могут рассчитывать на полную победу над плененным противником.

Нет, не бессмысленную вакханалию жестокости развязал фашизм на земле! Это было бы слишком простое объяснение.

Боролись две идеи, и в этой борьбе не на жизнь, а на смерть в конечном счете победила — да и не могла не победить — та, носители которой сумели и в невозможных, нечеловеческих условиях сохранить в себе человеческое — высокое нравственное, духовное начало. Суть личности. Ее ядро.

Вот о чем эта повесть, которую вы только что прочитали и к которой еще не раз вернетесь, чтобы перечитать.

Ю. ПОРОЙКОВ

СИБИРСКИЙ ПОЧЕРК

Сибирь — земля щедрая. Когда речь заходит о Сибири, в воображении возникают кедровые чащобы, горностаи, нефтяные вышки, газовые факелы и алмазный блеск. И, кроме всего прочего, дарит нам этот край еще одно, особое богатство: обилие талантливых писателей. Нынешнюю нашу литературу невозможно представить без Вампилова, Шукшина, Лихоносова, Астафьева, Распутина. В этот ряд сравнительно недавно добавилось еще одно имя — Василий Афонин. Родился он в Новосибирской области в 1939 году. Выпустил ряд сборников, в частности «В том краю», «Последняя осень», «Чистые плесы». И с каждой новой книгой все уверенней проявляется особенный, самобытный, суровый «афонинский» стиль, начисто лишенный сюжетных фокусов, крикливых метафор и прочей беллетристической бижутерии.

С помощью лексики, которой располагает немногословный житель сибирской деревушки, протянувшейся вдоль берега речки Шегарки, Василий Афонин ухитряется породнить читателя со своими невыдуманными персонажами, заставляет переживать как свои — их деревенские радости и горести и физически ощущать злые ветры таежной зимы.

Афонин — однолюб. Лейтмотив его творчества — судьба сельских тружеников, тревожные думы о будущем деревни. Душа его слита с местными жителями и местной природой навечно. В одной из повестей Афонин рекомендует художнику нарисовать его портрет так: «Сумерки, заросший осокой и камышом пологий берег речки, мосток для полоскания белья. Я стою лицом к воде, лицо задумчиво. За правым плечом моим и спиной гордыба огорода, баня, сарай с поленницей дров, изба».

Думы свои автор воплощает в события, настолько достоверные, что некоторым критикам «даже как-то неловко» назвать их

сюжетами. Между тем в повестях и рассказах Афонина события сюжеты часто обретают странно четкую стереоскопическую ясность и глубину. Это оттого, что автор искусно вправляет их в рамку исторической перспективы прошлого. Это легко заметить в повести «Обоз», персонажи которой, и старые, и молодые, несут наследственные отметины торопливой, насильной коллективизации и четырехлетней войны с фашизмом. Автор снова и снова напоминает, что следы роковых бедствий тридцатых и сороковых годов не исчезли. О них напоминают и обезлюдевшие деревни, и мертвые кусты на полях, а в городах — пустые прилавки.

Повесть «Обоз» ценна, между прочим, и тем, что в ней явно обозначена и желанная перспектива будущего. Вложив всю любовь и нежность души в изображение солдатской вдовы Евдокии Щербаковой, автор молчаливо внушает читателю: вот она — бессмертная созидательная сила русской деревни, вот она — наша надежда. Освободите Евдокию от пут обветшалых регламентаций и инструкций, сделайте ее не газетной хозяйкой родной земли, а правдешной, и снова расцветут села и деревни, и не надо будет гонять обозы за сотни верст в города, чтобы продавать клочков и на вырученные рубли покупать ребятишкам сушки и пшеничные сайки.

В. Афонин не употребляет видимых усилий для того, чтобы выбить из читателя слезу умиления или сострадания. Его рассказы под стать суровой сибирской погоде и чужды сиюминутной сентиментальности. В них нет ни сознательных умолчаний, ни преувеличений, нет кокетливой игры областными словечками-диовинками, понятными одному автору. Все строго списано с жизни и изложено немногословно, с угрюмой выразительностью таежного охотника.

В. Афонин изображает своих героев, ни на минуту не отводя глаз от высокой, суровой правды, ни на минуту не уклоняясь от нее. Так изображена и Евдокия, и тем не менее она вырастает в цельный, поэтический образ.

Дух поэзии неотделим от материи правды. В. Афонин понимает это. Потому-то правда жизни в его лучших произведениях легко и радостно оборачивается истинной поэзией.

«Обоз», на мой взгляд, одно из числа таких произведений.

С. АНТОНОВ

ПРОФИЛАКТИКА ДУШИ

Сложна наша жизнь. И чем сложнее она становится, тем явственнее в работах социологов и философов проявляется стремление объяснить все сложности развития человека и человечества действием элементарных законов живой природы. Притом даже не только животной, но и растительной его части. Корни чуть ли не всех сложнейших социальных проблем иные ученые ищут и находят где-то на уровне первоначального деления живой клетки и возникновения простейших многоклеточных организмов. К парадоксам типа: «Нет ничего более постоянного, чем временное» — скоро, вероятно, прибавятся новые. Что-то вроде: «Самое сложное — это то, что элементарно просто» или: «Самое серьезное — то, что попервоначалу кажется несерьезным».

Примеров того, с какой серьезностью следует относиться к вещам и явлениям, принимаемым на первый взгляд за пустяки, история дает нам предостаточно. Вспомним хотя бы, как дорого обошлась миру и человечеству трагическая недооценка подлинной значимости появления на улицах германских городов первых гитлеровских штурмовиков на рубеже двадцатых-тридцатых годов. Их поначалу считали просто мелкими хулиганами, а над их вождем снисходительно подшучивали. Или вот захлестнувшая современный мир проблема молодежной моды и музыки. Попервоначально, а многие и поныне называли и называют ее просто возрастной скоропроходящей детско-юношеской дурью. А это — проблема. И очень большая. И сложная.

Долгие годы отлучали от культуры, а многие отлучают и поныне ту ее часть, которую называют «массовой». Ее презируют по причине крайней примитивности, а она тем временем завоевывает умы и сердца сотен миллионов людей. Долгое время то же самое происходило с детективом, которому из-за той же «примитивности» отказывали в праве причисляться к литературе. А детективные книжки при этом печатались и раскупались миллионными тиражами и буквально заполнили книжный мир.

Ныне о детективе создана целая литература научных толкований этого жанра, его корней и возможных морально-психологических последствий, его влияния на человека и человечество. Исследуется, кто создает детективы, кто их читает и почему. Серьезная наука дает серьезные психо-социологические объяснения феномену детективизации читательского интереса, проявляющегося вдруг даже в тех слоях населения, которые в примитивности сознания, мышления и вкуса уж никак упрекнуть нельзя.

В качестве одной из причин этого явления называют и то, что наряду со множеством примитива и даже явной халтуры в детективе, жанре, как говорится, «обреченном на успех», работают и талантливые, серьезные авторы. Известный далеко за пределами своей республики латышский автор Андрис Колбергс — яркий тому пример. Хотя считать его детективщиком в чистом виде уже нельзя. Но об этом чуть позже.

Литературная судьба Андриса Колбергса сложилась удачно. Начав, как и многие, с журналистики в сатирическом журнале, он довольно быстро стал выступать как писатель, а затем одна за другой пошли в печать его повести и романы. За изданиями на латышском языке последовали переводы на русский: «Три дня на размышление», «Человек, который бежал по улице», «Обнаженная с ружьем», «Вдова в январе», «Тень», «Быть лишним».

Часть из них вскоре после выхода экранизировалась. Кроме того, по оригинальным сценариям Андриса Колбергса были поставлены такие фильмы, как «Подарки по телефону», «Ралли», «Отблеск в воде».

Первые повести и романы, принесшие автору широкую известность, были построены по принципам классического детектива со всеми присущими ему традиционными атрибутами и признаками. Начиная с четкого построения: преступление — расследование — возмездие. В стадии расследования, как положено, безошибочно действовал опытный, отважный и мудрый сыщик, — у Колбергса это полковник Ульф — в окружении молодых, энергичных, столь же отважных, но еще недостаточно опытных лей-

тенантов. И конечно же, писатель ведет с читателем обязательную в классическом детективе игру в «горячо — холодно» с обязательно неожиданной разгадкой в финале. Присутствует в тех книгах А. Колбергса и набор детективной атрибутики. Все есть. И все же не этим «взяли» читателя первые же книги молодого латышского автора. Преступление и начало следствия — это в его книгах лишь своеобразная «наживка», на которую «клюет», а затем и прочно «ловится» читатель, чаще всего не замечая, как вместо ожидавшегося легкого чтения он оказывается вовлеченным в исследование сложнейших морально-психологических коллизий. Полицейская история у Колбергса чаще всего — лишь своеобразный «стартер», чтобы запустить двигатель сюжета, который затем питают совсем другие силы. Криминал — заправка для разговора о главном, что интересует писателя: о мотивации преступления и преступности в целом, о драматизме повседневного тесного сосуществования добра и зла в самых разных их проявлениях и о том поистине неисчислимом и абсолютно непредсказуемом многообразии и взаимовлиянии разного рода объективных и субъективных обстоятельств нашей жизни, которую в общем-то равно и добро заряженным от природы людям доводится прожить по-разному.

Зло, подобно болезнетворной, порою смертельно опасной инфекции, постоянно окружает нас повсюду. Начиная уже с воздуха, который мы вдыхаем с первым криком, свидетельствующим о начале жизни, и испускаем с последним вздохом.

Известно, что физическое здоровье нашего организма, помимо генетически врожденных его особенностей, зависит от тысяч случайностей, то ли усиливающих, то ли ослабляющих его в постоянной ежедневной и круглосуточной борьбе с инфекцией. Точно так же практически непредсказуем и исход духовной, морально-нравственной сопротивляемости человека вредоносному действию бактерий всепроникающего зла.

Ослабление физиологических защитных сил организма вызывает его болезнь или даже смерть. Сбои в функционировании иммунитета духа могут привести к тому, что называют «неадекватным поведением», и далее к совершению преступлений. Перечень аналогий можно было бы продолжить тем, что и в той и другой области есть своя гигиена. И терминология та же — профилактика, и против возникновения болезней, и против распространения преступности.

Так вот, возвращаясь к творчеству нашего автора, неизбежно приходишь к выводу, что главная цель его человековедческих исследований, а настоящий писатель — всегда исследователь, — это анализ сбоев иммунитета духа. В этой его работе нет, конечно, претензий на выработку чудодейственного абсолютного средства по искоренению преступности. И все же так же, как в здравоохранении, немалую роль имеют гигиена и профилактика болезней, творчество Андриса Колбергса в сфере духа можно считать одним из средств своеобразной гигиены человеческих душ.

Перечитывая и сопоставляя друг с другом книги А. Колбергса, замечаешь, что даже в тех из них, которые по форме вроде бы — явный детектив, есть с точки зрения чистоты жанра один общий изъян. Преступник в них либо известен сразу, либо легко просчитывается даже малоискушенным читателем. Почему так, мы уже говорили: главная задача писателя — показать читателю не само преступление и даже не самого преступника, а то,

как шел и пришел к преступлению изначально чистый человек, показать, кто, когда и как на него влиял, какие силы добра и зла толкали его в ту или иную сторону, так, что в конце концов заставили перешагнуть роковую, последнюю границу, разделяющую добро и зло, возврат из-за которой в мир честных людей возможен только через трагедию суда и искупление приятием наказания.

То, что в первых работах Андриса Колбергса проглядывалось как заметная тенденция, в последующих его книгах стало принципом творчества, заставившим литературных критиков называть его романы не детективными и не криминальными, а социально-психологическими.

Преступления и преступники в них в той или иной форме и степени по-прежнему присутствуют. Но это, да простят нам такое сравнение, для того же, для чего обращались к теме преступности, скажем, Л. Толстой или Ф. Достоевский: для обострения социального и морально-нравственного конфликта, для максимального обнажения остроты той последней грани, на которой происходит «сшибка» добра и зла.

В своих последних вещах, и прежде всего в публикуемом в настоящем томе приложения «Подвиг» романе «Вдова в январе» у Андриса Колбергса вообще получился как бы детектив наоборот. Во-первых, нет никакого расследования и даже не появляются представители власти, ибо преступление произошло не в начале, как обычно, а в самом конце, под занавес романа. И совсем не то, которое должно было совершиться. Не ограбление произошло, а тройное убийство. И решился на него не преступник, а человек, который, пройдя по тонкой и опасной, как лезвие бритвы, грани, отделяющей добро и зло, совершил во имя добра поступок, который безвозвратно вверг его в пропасть неоправимого зла.

В этом романе Андриса Колбергса особенно ярко проявилось его мастерство построения психологической интриги, умение связывать и решать нравственные конфликты, в которых он буквально выворачивает наизнанку человеческие души, так, что обнаруживаются самые секретные, казалось бы, уж совсем недосыгаемые для постороннего взгляда темные их уголки.

Вспомним: Гвидо Лиекнис, добропорядочный инженер, завлечен во время загородной лыжной прогулки очаровательной Маргитой в логово бандитов. Она оказалась сообщницей преступников, задумавших ограбить фабрику ювелирных изделий, на которой работает молодой инженер. Практически на протяжении всего романа мы являемся свидетелями напряженнейшего психологически-нравственного поединка честного человека с преступниками, требующими, чтобы Гвидо раскрыл им секрет отключения системы охранной сигнализации, которую он когда-то спроектировал и установил. Инженер непреклонен, понимая, что в случае согласия он станет фактическим сообщником грабителей.

Параллельно с рассказом о том, что происходит в заброшенной хижине, занесенной январским снегом, ретроспективными вставками автор повествует нам о печальной и, к сожалению, нередкой истории жизни очаровательной Маргиты. Когда-то чистая, скромная девушка из добропорядочной трудовой семьи, она разменяла свою чистоту на яркие тряпки, рестораны и прочие прелести «красивой», «сладкой» жизни. Став невенчанной женой, а после того, как «муж» угодил в тюрьму, «вдовой» одного пре-

ступника, затем содержанкой другого, потом третьего, она покатилась по наклонной плоскости в омут преступности. В мир, где ни любви, ни дружбы, ни чести, ни совести, где из великого многообразия человеческих стремлений и чувств остаются лишь два: жажда денег, которые могут продлить хмельной угар надрывных удовольствий, и страх перед тем, что им вот-вот положат конец тюрьмою власти или свои же, блатные, ударом ножа.

Читая роман «Вдова в январе», мы видим, как, наблюдая за психологическим поединком Гвидо Лиекниса, напомнившего ей о чистоте юношеского прошлого, и бандитов, представляющих грязный мир ее настоящего, Маргита, словно трезвея от многолетнего хмельного забвения, духовно возрождается к новой жизни. Еще не осознавая того, что с нею происходит, она решается спасти инженера и предотвратить ограбление ювелирной фабрики, готовая пожертвовать ради этого даже своей жизнью.

Мы видим, что, натолкнувшись на моральную стойкость Гвидо, «дают слабину» и бандиты, готовые уже отказаться от преступного замысла. И вдруг, когда до торжества нравственного начала остается совсем чуть-чуть, инженер ломается. Была, наверное, где-то в нем трещина. И вот он уже не только открывает бандитам секрет системы охраны ювелирной фабрики, но и даже превосходит профессиональных преступников в масштабах затеваемого злодейства — предлагает им изощреннейший план бесшумного убийства электрическим током сторожа фабрики, своего знакомого и коллеги. И это тогда, когда, как знала Маргита, сами бандиты вовсе не хотели идти на «мокрое дело».

Вспомним кульминацию романа: «Убийство!» До женщины наконец доходит суть разговора, но она отказывается верить. Отказывается упорно, отчаянно, хотя Лиекнис с инженерной точностью продолжает говорить о необходимой длине кабеля и других деталях страшного плана.

«Ты становишься убийцей! Замолчи!»

Надо что-то предпринять. Сейчас же.

Женщина встает и делает несколько шагов в сторону Гвидо. С детским удивлением смотрит ему в лицо, будто хочет убедиться, что все здесь происходит наяву.

«Замолчи же! Хочешь, я упаду перед тобой на колени, только замолчи!»

Но слова продолжают преследовать.

Слова ее колют и рвут.

Слова жгут.

Слова принимают реальный, убийственный облик и насаждают на нее гусеницами.

— Две тысячи вольт... Самый гуманный вид... — Она уже видит только движения губ инженера, предложения ломаются на части. — Конденсаторы... Трансформаторы... Сухая кожа имеет большое сопротивление... В конце проводов следует припаять острие иглы...

Женщина берет со стола пистолет и стреляет инженеру Лиекнису в грудь. Она совсем не хочет его убивать, просто надо заставить его замолчать. Остановить поток предательских слов, которые рушатся на нее...

Вслед за инженером Гвидо Лиекнисом, словно подводя итог своей неправедной жизни, и как бы во искупление всех ее грехов, Маргита убивает и двух бандитов.

Но это уже вроде бы заодно. Главное же, что отключило

все тормоза, что заставило, не задумываясь, сделать самое страшное, было заставить замолчать его, Гвидо, обманувшего, предавшего, убившего мечту и только что родившуюся, неясную еще надежду на возможность возвращения в прежнюю, чистую, светлую жизнь.

Говорят, что в самой страшной и бесперспективной ситуации, даже тогда, когда организмом исчерпан весь без остатка физический жизненный ресурс, человек остается жить, пока жива надежда. И наоборот — иногда, когда он еще может жить, человек умирает, если надежда иссякла.

Для Маргиты Гвидо Лиекнис стал неожиданным лучом надежды на спасение из грязи преступного ее окружения. В книге этого нет, но из того, что рассказал нам А. Колбергс о жизни Маргиты, читатель, конечно же, понял, что при всей своей испорченности непристойностью своего существования, она, пусть неосознанно и безотчетно, но не могла не мечтать о возврате в мир чистых и честных людей. И вот теперь, когда мечта и надежда воплотились в решимость порвать с прошлым, когда вот он, за дверью хижины по белому снегу открывается путь в тот светлый мир, он, Гвидо, посланец оттуда, все рушит, убивает надежду и мечту. Если он такой, значит, и другие там тоже такие.

Кажущаяся неожиданно странной развязка романа психологически обоснована автором безупречно. Маргита должна была действовать так, и только так — заставить замолчать Гвидо во что бы то ни стало, не раздумывая, не задумываясь о том, что с нею после этого будет. Пусть самое страшное, пусть смерть. Жить ей после того, что произошло у нее в душе, больше незначит.

Итак, в финале Маргита — преступница, хотя действовала она, повинувшись благому душевному порыву, и предотвратила к тому же ограбление с убийством. А Гвидо Лиекнис в результате стал жертвой преступления, которое, как мы знаем, помешало ему, войдя в сговор с бандитами, самому стать грабителем и убийцей.

Подобное в романах Андриса Колбергса случается постоянно. В книге «Ночью в дождь» жертвой преступления становится шантажист Грунский. Фотограф Димда в романе «Обнаженная с ружьем» погибает тоже в силу своего крайне предосудительного поведения. Весьма условны также, почти случайны, границы, разделяющие преступников и жертв в «Трех днях на размышление». И это вовсе не случайность, а унаследованный Андрисом Колбергсом у классиков метод неоднозначности, многоплановости в оценках человека, душа которого — это целый мир, бесконечное, бездонное вместилище и добра и зла.

И в заключение еще об одной характерной особенности творчества Андриса Колбергса, уже отмечавшейся в критике — об удивительно тонком, как у хорошего художника, его чувстве последнего мазка, финального абзаца романа, финальной фразы. Какую бы вещь Колбергса вы ни взяли, вчитайтесь в последнюю страницу и увидите, что там несколько, и уж по крайней мере два конца. Один, где поставил бы точку любой другой писатель. И второй — чисто колбергсовская финальная фраза, неожиданная, как вспышка молнии, высвечивающая все только что прочитанное произведение, построенная по тому — помните? — горьковскому принципу, с которым он подходил к выбору названия

рассказа: такое надо придумать, чтобы рассекало рассказ надвое и из него кровь шла.

Последние фразы романов Андриса Колбергса именно такие. «с кровью». Вспомним «Быть лишним», где в финале бегущего вооруженного преступника Волдиса настигает случайный молодой прохожий. Читатель ждет, что преступник выстрелит в отважного парня, но... «Волдис опустил парабеллум и яростно рассмеялся. Затем направил дуло пистолета себе в рот и выстрелил». Все, казалось бы. Финал. Что тут еще добавить? Нечего. Но Колбергс находит: «В сугробе сидел парень. Из кармана его незастегнутого пальто торчал пушистый шарф. Парень громко плакал».

Или вот финал романа «Три дня на размышление». Сотрудник уголовного розыска проезжает мимо дома, в котором разыгрался трагический финал рассказанной писателем истории: «Двери великолепного дома Рамшей были заперты и опечатаны белыми полосками бумаги. Неубранный сад выглядел заброшенным и запустелым, казалось, что и дома уж больше нет». Чем не финал? Но Андрис Колбергс добавляет всего пять слов. И какой это яркий эмоциональный штрих:

«— Пустое место, — сказал шофер.

— Поехали».

И, наконец, вспомните, как кончается только что прочитанный вами роман «Вдова в январе». Начальник туристского поезда, не зная, что произошло, случайно видит в бинокль, как Маргита, совершив тройное убийство, уходит с места трагедии на встречу страшной своей судьбе: «Шла она, подавшись вперед, и начальник поезда видел, что руки у нее голые и обмерзшие, губы стиснуты, глаза закрыты.

— Ничего особенного, — сказал он и вернул бинокль. — Какая-то женщина...»

Хороший конец. Но Колбергс находит еще лучше:

«Потом, уже поднявшись в вагон, он подумал, что все же есть что-то особенное, если бредут по глубокому снегу, а не по дороге, но тут же решил, что, очевидно, так ей ближе...»

Ю. МАШИН

СОДЕРЖАНИЕ

К. ВОРОБЬЕВ. Это мы, господи!	4
В. АФОНИН. Обоз	80
А. КОЛБЕРГС. Вдова в январе	151
ОБ АВТОРАХ	306

Под редакцией
О. ПОПЦОВА, Б. ГУРНОВА

Редактор **Б. Гурнов**
Главный художник **Н. Михайлов**
Обложка **М. Ермолова**
Рисунки **М. Ермолова, Б. Сопина, И. Данилевич**
Оформление **А. Шипова**
Художественный редактор **А. Ким**
Технический редактор **М. Симонова**

Сдано в набор 25.07.88. Подписано к печати 29.08.88. Формат 84 × 108¹/₃₂. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Бумага кн.-журнальная. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр-отт. 17,43. Уч.-изд. л. 22,7. Тираж 400 000 экз. (200 001—400 000 экз.). Цена 1 р. 60 к. Заказ 157.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

ЧИТАЙТЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ ТОМЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

"Подвиг"

●●● «Женщину охватило странное предчувствие. Что-то ужасное было в этом крике и в наступившей затем мертвой тишине. Нервно поерзав, она встала и несмело приблизилась к окну, и тут же перед глазами у нее промелькнуло женское тело, которое стремительно падало вниз. Развевающиеся светлые волосы и сбившаяся назад широкая красная юбка — все, что она успела заметить».

Ш. Дюрк. — «Шкода «ZM 00-28»

●●● «Впереди, на паровозе, стояло двое бандитов, которые, направив револьверы на машиниста, приказали ему отцепить паровоз и вместе со всеми бандитами, уместившимися на тендере, ехать вперед, пока они не прикажут остановиться. Паровоз тронулся с места, оставив позади горящий поезд и людей, которых освещали всполохи пламени из вагонов...»

Б. Травен. — «Сокровища Сьерра-Мадре»

1 р. 60 к.

Надежда

The background is a dark, moody illustration of a prison. A large, multi-story building with a dark roof and several small, barred windows is visible. In the foreground, a barbed wire fence stretches across the bottom of the frame. The overall color palette is dark, with shades of brown, black, and grey, punctuated by the bright orange-yellow of the title text.